

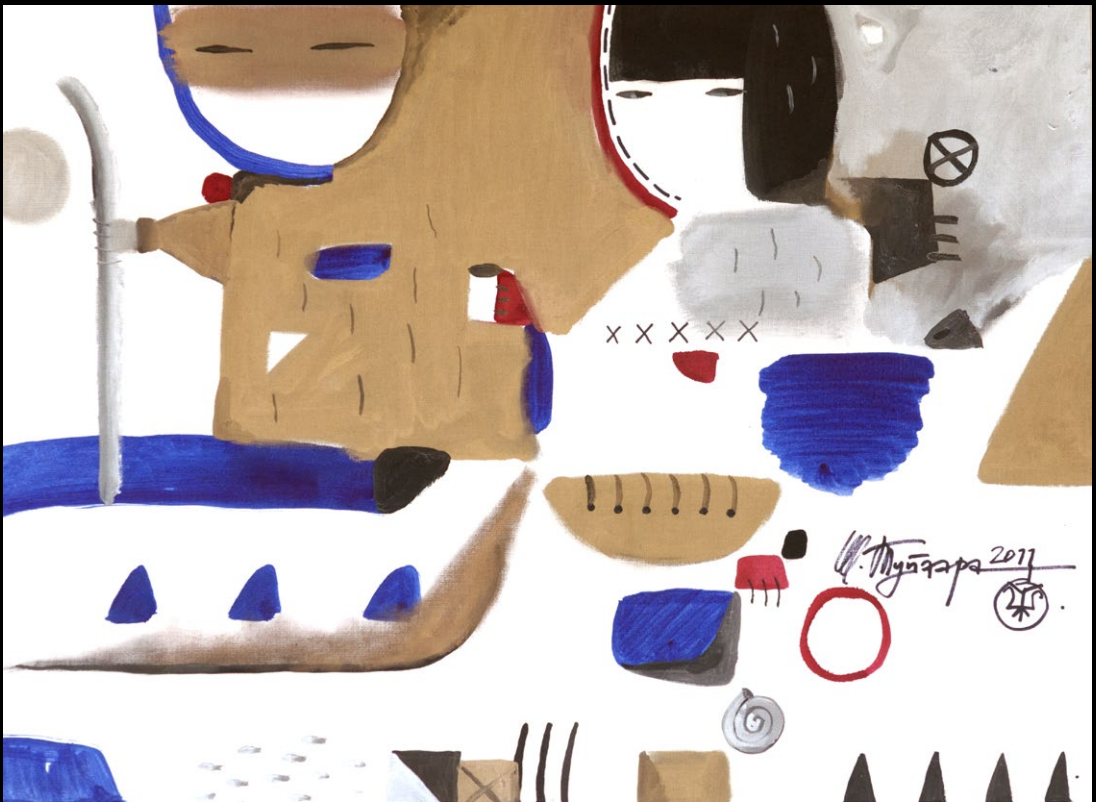
ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2014





У. Шуйгаара 2013



У. Шуйгаара 2017

Туйаара Шапошникова

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2014

В номере

.....

- | | |
|--|---|
| ВЕНОК СОЛНЦЕВУ | ДиН ДИАЛОГ |
| Евгений Попов | Юрий Беликов, Сергей Черемных |
| 3 Слово о друге | 36 Достоевский без работы не останется |
| Ахат Мушинский, Евгений Попов | |
| 4 «Старший мой брат ушёл...» | ДиН ЮБИЛЕЙ |
| Эдуард Русаков | Евгений Степанов |
| 11 Последний романтик | 40 Юбилейные заметки о смысле жизни |
| Марина Саввиных | 43 Быть русским |
| 12 В ответ | |
| Роман Солнцев | ДиН ПАМЯТЬ |
| 13 Оглядываясь через пятнадцать лет... | Илья Тюрин |
| 15 Закрой, судьба, глаза... | 45 Пушкин—Божий псевдоним |
| Алексей Козловский | Марина Кудимова |
| 18 Я счастлив, что провидение
свело меня с этим человеком... | 47 Столько большой воды.
Аквапоэтика: Иосиф
Бродский, Александр Пушкин,
Илья Тюрин |
| ДиН ЛИТ | |
| <i>Дни и ночи Литературного
института имени А. М. Горького</i> | ДиН СТИХИ |
| Борис Тарасов | Максим Лаврентьев |
| 20 И кузница, и храм, и мастерская... | 54 Бабочка-книга |
| Владимир Костров | Людмила Шарга |
| 21 Боль и вера | 63 Ночной сюжет новостей |
| Константин Алексеев | Сергей Брель |
| 23 Возвращение | 66 Метроном |
| Александр Орлов | Николай Ерёмин |
| 27 Прощальный мундиаль | 68 В виртуальной круговерти |
| Марина Вахто | Максим Замшев |
| 30 До неба | 70 Теперь придётся жить, как ты хотела... |
| Сергей Арутюнов | Константин Миллер |
| 32 Путь зерна | 100 Вдыхающий жабрами весну |

ДиН ПОЭМА

- Виталий Молчанов
55 Табынская

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

- Арсений Замостьянов
61 За что боролись?

ДиН ПАРОДИЯ

- Евгений Минин
67 Не объедайтесь беленой!
112 Каша из классики
124 Аж страшно!

**БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА**

- Наталья Скакун
71 Сладкая жизнь
Евсей Цейтлин
98 Другие глаза

Надежда Осипова

- 101 Непутёвая весна

Игорь Герман

- 104 Премьера

Иса Айтукеев

- 113 Искра

Александр Пшеничный

- 117 Окно во спасение

ДиН ПОЛЕМИКА

- Александр Астраханцев
120 Критика критики нечистого разума

ДиН ДЕТЯМ

- Евгений Мамонтов
125 Приключения Славки Шукина

ДиН ДЕТИ

- 190 Синяя тетрадь

- 194
- ДиН АВТОРЫ**

ДиН ГАЛЕРЕЯ

«АРКТ-навигация» в Красноярске

Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств впервые в Красноярске представляет выставку якутских авторов Натальи Николаевой и Туйаары Шапошниковой, объединившихся в рамках творческого проекта «АРКТ-навигация». Художницы привезли в наш город около пятидесяти произведений различных жанров и стилей. Все они тематически объединены извечным философским мотивом—это мотив странствий, который воплощается в образах якутских дорог и рек, собирающих и связывающих воедино территории республики.

Туйаара Ефимовна Шапошникова (р. 1967)—выпускница Регионального отделения АХ РФ Урала, Сибири и Дальнего Востока. Отличник культуры республики Саха (Якутия). В 1993–1996—проходила стажировку в творческой мастерской графики Российской академии художеств в г. Красноярске под руководством заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ, профессора Н. Л. Воронкова. Член Союза художников РФ с 1996 года. Первый лауреат независимой общественной премии им. Валериана Васильева для молодых художников (2000), куратор выставки

Союза художников «На земле Олонхо» в Южно-Сахалинске (2009) и проекта «АРКТ-навигация» (2007–2012). Организатор и участник выставки творческой династии Шапошниковых «Утум уран» в 1996 г. (с. Хамагатта, с. Нам, г. Якутск, г. Москва). Участник городских (1999, 2001, 2009), республиканских, зональных («Дальний Восток», 1997, 2003, 2008, 2013), российских и международных выставок. В настоящее время Туйаара Шапошникова живёт в Якутске и работает в Арктическом государственном институте искусств и культуры (заведующий кафедрой графики).

Евгений Попов

Слово о друге

Я познакомился с Романом — страшно сказать! — пятьдесят два года назад, в 1962-м. Ему исполнилось тогда двадцать три, у него уже была книжка; вскоре его в один день с Валентином Распутиным и Александром Вампиловым приняли в Союз писателей. Мы подружились, мы обменивались свежесочинёнными рукописями и заветными книгами.

Он друзей не бросал и не сдавал. Когда мне в 1986 году исполнилось сорок лет и я, исключённый из Союза писателей за альманах «Метрополь», обретался в литературных нетях, он был единственным гостем на моём скромном дне рождения и убедительно внушал моей любимой теще Галине Александровне, что её зять не отщепенец, не фуфло, а обыкновенный русский писатель. То же самое он говорил всегда и везде, несмотря на то, что «доброжелатели» неоднократно предупреждали его, что с такими персонами, как я, ему лучше не якшаться.

Человеческая жизнь всегда коротка, но Роман успел сделать за свою жизнь столько, что только сейчас становится понятным, как всего этого было много. Стихи, проза, драматургия — это всё весомо, это всё само собой, но ведь на его счету и один из лучших современных толстых журналов, и единственный в России Литературный лицей, которым он справедливо гордился. И кинофильмы, и театральные постановки, и Сибирское отделение педцентра, и поэтическая серия «Свинцовый век», издаваемая в Красноярске «на медные деньги».

И попытка «хождения во власть» — вовсе не для собственного комфорта, а для других. Для обретения народом потерянной Родины, как бы пафосно ни звучала эта последняя моя фраза. Именно при его жизни и при жизни Виктора Петровича Астафьева о Красноярске заговорили как о литературной столице Сибири. Именно тогда возникла «красноярская стенка» известных современных сибирских прозаиков: Александр Астраханцев, Сергей Задереев, Олег Корабельников, Сергей Кузнецихин, Эдуард Русаков, Михаил Успенский, Сергей Федотов.

Ему помогали Вознесенский, Симонов, Твардовский, он тоже помогал кому мог, хотел, и многие, самые разные, совсем «новые литераторы», чьи имена сейчас постепенно входят в литературный обиход, обязаны считать его своим крёстным, если у них есть память и совесть. Я видел, как он

общался с ними на Форуме в Липках, где мы с ним неоднократно вели семинары от журнала «День и ночь». Я так не умел, не умею и никогда, наверное, не научусь: говорить доброжелательно, но анализировать беспощадно, с одной стороны — не впасть в панибратство, с другой — избежать менторского тона, продиктованного возрастом, положением. Не заигрывать и не браниться. Говорить о чужом как о своём, выстрадавшем. Безо всякой фальши и «скошенных от вранья глаз».

Он не был «натруженным и праздным». Он был нервным, ранимым, иногда впечатлительным до мнительности. Мне кажется, он не всегда верил, что его действительно любят. А его любили многие, и я говорю не только о его ближайших друзьях и соратниках. На смерть его откликнулись прочувственными словами такие разные люди, как Василий Аксёнов и Владимир Бондаренко, Белла Ахмадулина и Римма Казакова, Светлана Васильева и Светлана Василенко, Владимир Салимон, Вадим Абдрашитов, Виктор Славкин, Сергей Юрский, Юрий Кублановский и многие-многие другие. Последовательный демократ, правозащитник, член знаменитой «межрегиональной группы» депутатов канувшего СССР, он был подлинным плюралистом. Он собирал под обложкой своего журнала самых разных авторов, и единственным критерием отбора для него был талант. Писатели и поэты из русской глубинки соседствовали на страницах «Дня и ночи» с русскопишущими из Америки, Германии, Израиля, Финляндии, ближнего зарубежья. «Космополиты» и «почвенники», «реалисты» и «авангардисты», «левые» и «правые» — такова была пёстрая мозаика журнала «День и ночь», создающая объёмную картину современной жизни России со всеми её бедами и победами.

Памятные мысли о нём всё последнее время сопровождает для меня жуткое, почти безумное ощущение того, что он просто вышел из этой жизни на минутку покурить и скоро вернётся.

Знаю, что это не так. Чувствую, что место его пусто. Не растерять, не разбазарить то, что он накопил для литературы, продолжить то, что он начал, закрепить навсегда ту твердь, которую он намыл среди морока и хляби, — вот лучшая память ему.

За год до смерти он написал эти пророческие строки:

Романтик был, простого норова...
Родня мне: русичи, татаре...
Сгорел, как верный пёс, которого
Не отцепили при пожаре.

21 мая 2014 ему исполнилось бы семьдесят пять.
Уникальная, неповторимая, энергичная личность.
Добрый человек. Такие люди не каждый день рождаются на Руси. Худо, ибо таких людей становится на Руси всё меньше и меньше.

Литературное Красноярье · ВЕНОК СОЛНЦЕВУ

Ахат Мушинский, Евгений Попов «Старший мой брат ушёл...»

— Наш земляк Ринат Суфеев, в литературном мире известный под псевдонимом Роман Солнцев, как писатель состоялся в Красноярске, там выходили его книги, там он редактировал журнал «День и ночь». О нём мы с вами, коренным красноярцем, сразу разговорились при этой нашей встрече в Казани, которая произошла в год его смерти. Расскажите о писателе Романа Солнцева, ведь всё каким-то неслучайным образом переплелось: Казань, Красноярск, нынешний ваш приезд...

— Путаными будут мои слова о Ринате-Романе. Слишком всё близко, слишком всё рядом, слишком всё — вот только что. На свой день рождения в январе ещё этого года я получил от него следующие шуточные стихи:

Твой отец был мельцанером,
Мой отец был мельцанер.
Не был твой отец примером—
Пил... и мой не ведал мер...
Ты— Попов, а я— Суфеев,
Что, по сути, есть Попов.
Ведь суфисты лихоедеев-
Атеистов, как клопов,
У мечетей жгли и били...
Значит, милый человек,
Ты— Суфеев в полной силе,
Я ж— Попов на весь мой век.
Ну а то, что есть и Солнцев
В родове, и Иванов...
Я хотел быть Билли Бонсом,
Но ведь лучше, что— Попов!
У тебя жена— Светлана,
И моя вся— Божий свет...
Милый, нам с тобою рано
Помирать резону нет!

А уже двадцать девятого января мне приходит его короткое электронное письмо. Какие уж тут шутки!

«Милый Женя! Кажется, я допрыгался— врачи нашли в желудке серьёзную бяку... Нет ли у тебя в Москве знакомых хороших врачей? Скорее всего, придётся резать... Светлане не говори. Рома».

Разумеется, я не знал, не мог знать, что это уже как раз те самые «бетховенские» удары судьбы. Ведь Роман всю жизнь был чрезвычайно мнительной персоной. С самого начала нашего знакомства (написал и тут же поправляюсь)— с самого начала нашей дружбы, которая продолжалась— страшно сказать— сорок пять лет, с того самого тысяча девятьсот шестьдесят второго, когда он приехал по распределению из Казани в Красноярск, где я тогда заканчивал десятый класс, баловался литературой и уже имел литературные приключения.

Электронных аппаратов для измерения давления тогда ещё не было. Юный Рома частенько (особенно после крупных наших возлияний) хватался за сердце, любил шёпотом считать число ударов собственного пульса, но добился лишь того, что про него красноярская богема сочинила следующий анекдот:

«В красноярском аэропорту по подозрению в шпионаже арестован поэт Солнцев, который, для отвода глаз держась одной рукой за другую, тайно считал, сколько самолётов находится на лётном поле».

Дурацкий анекдот! Дурацкая жизнь! Не сердце сгубило его, а вот эта самая «бяка», от которой он и сгорел в одночасье, мы и опомниться не успели. Вот он, только что был здесь, а теперь его уже нет больше *навсегда*. «Куда ты исчез, Ромаша?» — вопрошал я его в одном из своих писем, не ведая ещё, что дни его уже сочтены.

Но, Боже, сколько же он успел сделать в земной жизни, прежде чем покинуть этот мир! Множество стихотворных, прозаических, драматургических сборников. Красноярский литературный лицей, единственное в своём роде на всю страну учебное заведение, где школьников, по выражению

В. П. Астафьева, «учили скорее на читателей, чем на писателей». Но и писателей воспитал Роман, совсем новое поколение сибирских литераторов, чьи имена теперь известны далеко за пределами Красноярска: прозаик Александр Силаев, поэты Иван Клиновой и Антон Нечаев.

А его главное детище — «День и ночь», самый крупный и лучший толстый литературный журнал «для семейного чтения» по ту сторону Уральского хребта. Он пестовал его с 1993 года, и последний мой телефонный разговор с ним касался вопросов отнюдь не вечных, а весьма утилитарных, связанных с журналом, с *выживанием* — не Солнцева, а его журнала. Сотни авторов прошли через журнал за эти годы. Именитые и начинающие, «западники» и «почвенники», прозаики, поэты, эссеисты, живущие не только в Сибири или на Дальнем Востоке, но и во всех, порой самых глухих, уголках нашей всё ещё огромной родины. В том числе и в Казани, в том числе и бывшие казанцы, такие как Владимир Нешумов, поселившийся нынче в Старом Осколе, или Николай Беляев, живущий теперь под Владимиром, или даже Равиль Бухараев, оказавшийся вдруг — страшно сказать — в Лондоне.

А его недолгое «хождение во власть», которому он отдался с наивной искренностью и желанием сделать хоть что-то! И опять не для себя — для людей, его окружавших. Сам он с Галей Романовой, уроженкой Казани, ныне — авторитетной профессоршей Красноярской политехнической академии и его единственной на всю жизнь женой, жил, конечно же, не скудно, но скромно. Единственной роскошью в его жизни были, пожалуй, их ежегодные поездки из Сибири «за бугор» во время Галиного отпуска. Прикоснуться к совершенно чуждому социуму не только, допустим, Италии, но и вполне «братских» Черногории, Болгарии — всё это как-то заряжало его, помогало жить дальше. Вот сейчас в Красноярске прошла прекрасно организованная первая Красноярская ярмарка книжной культуры, где одним из основных событий был «круглый стол», который я вёл, под названием «Красноярск — литературная столица Сибири». И это не преувеличение, что — столица. Мне мои именитые коллеги-писатели говорили, что были приятно поражены *уровнем восприятия* их слов и мыслей обыкновенной публикой. Я же им: «А вы полагали, что к дикарям приехали? Вы приехали к литературно воспитанным людям».

Успех ярмарки в большой степени есть результат просветительской работы Романа Солнцева, и «круглый стол» начался с минуты молчания в память о нём, в благодарность ему.

Но о Казани, о Татарстане он никогда не забывал. Он и мне привил любовь к вашей земле и людям, на ней живущим. Его «Лодка пошла на дрова», написанная ещё на «татарском» материале, опубликованная ещё в том «Новом мире»,

выдержала испытание временем, я недавно эту повесть специально перечитал... А рассказывать о нём можно часами — столько за жизнь было и смешного, и горького. Вот, например, в юные годы, когда мы были бедны, как церковные крысы, и я только мечтал о собственной пишущей машинке, Рома вдруг вспомнил, что у него в Казани есть старый «Ундервуд», и велел мне за ним немедленно ехать. Я и приехал, но всё это оказалось чистой поэтической фантазией. Машинка эта ему не принадлежала, ему её тоже на время дали, а меня приняли за самозванца, о чём я горько жаловался Николаю Беляеву, с которым тогда же познакомился. Или вот ещё: в мои студенческие годы он часто останавливался в нашем лихом геологическом общежитии, и однажды, когда мы с ним поздним вечером возвращались из гостей, от прелестной Нины Лагранж, редактора «Молодой гвардии», за нами вдруг погналась нетрезвая молодёжная толпа, которая, как потом выяснилось, состояла из дружинников-комсомольцев, которым мы почему-то не понравились. Мы пустились наутёк, они догнали нас у самого общежития, на подмогу выскочили друзья-геологи, началась дикая драка, закончившаяся в отделении милиции, откуда нас отпустили, а комсомольцев, к нашей великой радости, *закрыли*. Бывали и при социализме чудеса справедливости! Солнцев *щедрый* был человек — во всех смыслах этого слова, и он меня *не сдал*, когда у меня были длительные неприятности из-за альманаха «Метрополь». Более того, поддерживал меня как мог, хотя ему функционеры прямым текстом говорили, что он «не с теми людьми водится» и что это будет для него самого *иметь последствия*. Последнее время мы с ним ежегодно вели семинар на Форуме молодых писателей в Липках. Его ребята обожали, многие его сейчас вспоминают добрым словом. Ведь журнал «День и ночь» после каждого Форума печатал «молодых», пожалуй, больше и объёмнее, чем все остальные толстые литературные журналы, вместе взятые.

Старший мой брат из жизни ушёл, Ринат-Роман. Нет у меня больше брата! Вот ходил я этой осенью по Казани, по улочкам, о которых он мне столько рассказывал, ходил и ежеминутно вспоминал его.

— *В литературных праздниках в компании с Василием Аксёновым, Беллой Ахмадулиной вы участвуете не впервой. Чем отличается казанский «Аксёнов-фест», скажем, от самарского?*

— Тем, что он *первый* (шутка). Первый во всех смыслах этого слова. Самара — великий город, но здесь, в Казани, неповторим вот этот самый трудно уловимый на невнимательный взгляд уникальный национальный татарский колорит фестиваля, прекрасно уживающийся с новыми веяниями в искусстве. Сюда органично вписываются

и Алексей Козлов, и Андрей Макаревич, и Борис Мессерер, и Светлана Васильева, не говоря уже об изысканной Белле Ахмадулиной. И если серьёзно, то я очень рад, что Василий Павлович, на которого всю жизнь клеили ярлык «космополит», наконец-то заново обрёл свою малую родину, и Казань наконец-то признала своего сына, окружила его теплом и заботой, отдала ему должное. У меня два литературных учителя, два Василия: Шукшин, с предисловием которого вышли в «Новом мире» в тысяча девятьсот семьдесят шестом году мои рассказы, принёсшие мне популярность, как говорится, «у широкой читающей публики», и Аксёнов — с которым мы вместе ладили «Метрополь», с тех пор и дружим, с тысяча девятьсот семьдесят восьмого, он даже стал крёстным моего сына Василия. Кстати, и с Беллой Ахатовной тогда же состоялось знакомство, и она в тысяча девятьсот восемьдесят первом году была свидетельницей на нашей со Светланой Васильевой свадьбе. Так что все мы теперь — по истечении времени — в какой-то степени стали родственниками, *роднёй*, и не дай Бог эту взаимоприязнь потерять. Умнейшая Белла однажды обронила такую замечательную фразу: «Из хороших писателей гарнитура не составишь». Это я к тому, что Шукшин и Аксёнов в жизни были, мягко говоря, далеки друг от друга, но если обратиться к их текстам, внимательно читать их, то легко можно обнаружить, что и они — родня. Оба, оба они из народа!.. Оба пострадали от большевиков: у Шукшина отца расстреляли, Аксёнов-старший и матушка Василия Павловича Евгения Семёновна немислимое количество лет отсидели в советских лагерях, он при живых родителях в прямом смысле был «казанским сиротой». И Шукшин в своей поздней прозе явно шёл на сближение с «формалистом» Аксёновым, достаточно вспомнить «До третьих петухов»; а у Аксёнова в рассказах, да и в романе «Остров Крым» — пронзительные описания фантазмагорической жизни «простых людей». Да и персонаж его раннего рассказа «На полпути к Луне» Кирпиченко — это ведь будущий шукшинский «чудик».

— *Прошу прощения за, может быть, крамольную мысль, но первые произведения В. Аксёнова, которые взволновали поколения читателей, сильно разнятся от последних, скажем, от «Москвы-ква-ква», «Редких земель», которые больше напоминают мудрёные литературные игры, лишённые какого-то искромётного, живительного тока. Или я ошибаюсь?*

— Читатель, каковым вы, профессиональный писатель, в данном конкретном случае являетесь, не может ошибаться или не ошибаться, высказывая своё мнение. Вы считаете так, и это ваше право. Ведь главное — не делать орг- и просто выводов. Разумеется, Аксёнов в свои семьдесят пять лет

более умудрён — и житейски, и писательски, чем во времена «Звёздного билета». Но я-то думаю как раз наоборот: его последние книги, особенно «Москва-ква-ква», поражают меня *энергией* текста, чего так не хватает подавляющему большинству его более молодых коллег-прозаиков, вяло ткущих тексты *про себя*. Любимого или нелюбимого — другой вопрос. А здесь всё брызжет фантазией: надо же додуматься, например, что центр ревизионистского «титовского» антисталинского подполья размещается в мясном ряду Центрального рынка города Москвы. Или что лётчик времён тоталитаризма взял да и отвёз свою девушку на денёк в Биарриц. Ну а что касается «Редких земель», то мне сейчас пришла в голову простая мысль о том, что вторая часть «Фауста» тоже резко отличается от первой, «сюжетной» — про молодость, кровь и любовь.

— *Известно, что на вас, как и на многих других, повлиял напечатанный в тысяча девятьсот шестьдесят первом году в журнале «Юность» роман В. Аксёнова «Звёздный билет». Но интересно, какая была ваша вообще первая Книга — книга, которая понравилась, запомнилась, заставила задуматься?*

— Я читаю лет, наверное, с пяти. Аркадий Гайдар, Борис Житков, «Витя Малеев в школе и дома», «Мордовские сказки» почему-то, изданные в тысяча девятьсот сорок первом году в городе Саранске, очень, кстати, кровожадные сказки... Но первая книга, которая *действительно* ввела меня в мир жизни и литературы, — это Константин Паустовский, писатель, на мой взгляд, совершенно несправедливо забытый. Из его «Повести о жизни» я узнал о существовании Бабеля, Булгакова и других писателей, которых тогда не печатали. И эти его описания революционной и послереволюционной России — здесь слышен был голос *интеллигентного* человека, что в моей юности было почти ругательством. Это звучит в моих устах странно, я считаюсь брутальным, резким писателем, но первые мои литературные опыты, два-три рассказа, написанные в пятнадцать-шестнадцать лет, были чистой «паустовщиной». А ещё я практически каждый год перечитываю «Остров сокровищ» Стивенсона. Весёлая, мудрая книга на все времена и возрасты.

— *Когда и как вы начали писать?*

— Вот тогда и начал писать. Вообще-то первые напечатанные строчки появились у меня ещё раньше. Это была подпись к фотографии, которую я, юнкор (было такое звание — юный корреспондент), году эдак в тысяча девятьсот шестидесятом опубликовал в газете «Красноярский комсомолец». А первый рассказ, вот эту самую «паустовщину», под названием «Спасибо» у меня опубликовали в той же газете, но уже в тысяча

девятьсот шестьдесят втором году. Те рассказы, которые я включаю в сборники, я начал писать лет с девятнадцати, когда огляделся по сторонам и понял, что жизнь куда интереснее сладких представлений о ней. Эти рассказы долгие годы никто не хотел печатать, ибо персонажами моими стала всяческая философствующая сибирская пьянь и рвань, которую я встречал в геологических экспедициях, где работали так называемые *бичи*. Они расшифровывали это своё звание как аббревиатуру «бывший интеллигентный человек» и имели фантастические судьбы и опыт. Один из них знал английский язык, которому его обучил в лагере адъютант румынского маршала Антонеску; другой утверждал, что является внучатым племянником Сергея Есенина; третий, сын крупного гэбэшника, был спившимся танцором ансамбля песни и пляски Александрова. Был даже бич-коммунист, он летом платил членские взносы в КПСС, а зимой жил в норильской теплотрассе. У всех у них была в прошлом красивая любовь, которая их стубила. Ясно, что на фоне плакатных строителей коммунизма мои персонажи выглядели странно. Но у меня в Красноярске была литературная среда — Роман Солнцев, Эдуард Русаков, Мы читали друг другу все свои новые вещи ещё в рукописи, безжалостно друг друга критиковали, иногда издевались, сочиняли пародии. Это, кстати, очень помогает писателю. Хуже нет, когда он задирает нос и начинает считать себя совершенством.

— *Одни имена красноярских писателей что стоят: В. Астафьев, В. Распутин, А. Вампилов, Р. Солнцев, Евг. Попов!.. У вас там, на земле вашего края, какое-то особое удобрение для литераторов имеется?*

— Ну, Валентин Распутин и Александр Вампилов — это всё-таки Иркутск, а не Красноярск. Хотя Валентин в юные годы служил в упомянутом «Красноярском комсомольце», если я не ошибаюсь, заведующим промышленным отделом. Он тогда был совершенно другим человеком — весёлым, открытым, не чуждым «западных» веяний и влияния того же Аксёнова. Если не верите мне, посмотрите хотя бы его ранний рассказ «Рудольфио».

Вампилов наезжал в Красноярск, моя первая и единственная с ним встреча была за месяц до его гибели. Мы пили с московскими актёрами, которые под руководством младшего Товстоногова, Александра, Сандро, на гастролях, подальше от столичной цензуры, сдавали худсовету пьесу «Прощание в июне», где блистал будущий кумир публики Эммануил Виторган. Вампилов, обильно используя ненормативную лексику, объяснял актёрам тонкости этой его нежной пьесы всё о той же любви. Актёры ему почтительно внимали. Рассветало, когда мы шли по городу к гостинице «Огни Енисея», где он остановился. Они ведь тогда все дружили, это потом — кто умер, кого жизнь

развела. Распутина, Вампилова и Солнцева в один день приняли в Союз писателей на выездном заседании, в Чите, кажется.

А что касается Виктора Петровича Астафьева, то он ведь на родину вернулся уже в зрелом возрасте, уже известным, пожив на Урале, в Вологде. Приехав, сразу же вступил в конфликт с местным коммунистическим начальством, ответив на приглашение посетить крайком КПСС, что он не коммунист и если нужен зачем-то первому секретарю крайкома, то пусть тот сам к нему едет. Какое-то время его печатал весь мир, но не Красноярск. В тысяча девятьсот семьдесят четвёртом году он публично, в огромной библиотеке, заявил, что лучшим современным русским писателем считает Солженицына, и на некоторое время его имя стали вычёркивать из статей, обзоров. Потом спохватились, что слишком крупная величина, чтобы так с ним поступать. Тем более что «диссидентом» он не был. Но и приручить его не смогли, как некоторых его «заединщиков», с которыми он потом разошёлся. Сибирь — это, пожалуй, действительно какое-то особое пространство. С очень сильной энергетической аурой. В Красноярске и сейчас есть несколько писателей, широко известных за пределами края. Тонкий прозаик чеховского толка, блестящий стилист Эдуард Русаков, один из основателей «славянского фэнтези» сатирик Михаил Успенский, бытописатель Александр Астраханцев. Плюс поэтесса Марина Саввиных. Плюс Сергей Кузнецихин, описывающий хитроватых сибирских мужичков.

— *Англичанин Френсис Грин в беседе с вами поведал о встрече с Астафьевым у него в деревне Овсянка. Писатель рассказывал ему о войне, о детстве, о том, почему разошёлся во взглядах с Распутиным. Какие же разногласия имел в виду Виктор Астафьев? В вашем тексте тоже многоточие.*

— Вы знаете, я никогда с ним на эту тему не беседовал, считая это не деликатным. Но знаю, что порой Виктор Петрович отзывался о Валентине Григорьевиче очень резко. Очевидно, его не устраивала позиция Распутина, особенно во время перемены в нашей стране в начале девяностых, которые сейчас стало модно осуждать, как будто все уже потеряли память и не помнят, в каком состоянии была страна в конце коммунистического правления ею. Астафьев считал, что все беды России — от коммунистов. Я недавно узнал, что он, тонкий ценитель классической музыки, любил петь диссидентскую песню со словами: «Коммунисты поймали мальчишку, затащили к себе в кГБ»; есть даже видеозапись, где он исполняет её вместе с внучкой. А может, его не устраивал «мессианский» тон Распутина, своеобразная мифологизация действительности в его основных

вещах: ведь там, где ушла под воду Матёра, были сплошные лагеря, и некоторые сибирские жители, презрев при советской власти заветы отцов и традиции, за бутылку водки сдавали беглых эков ВОХРЕ, о чём никогда не забывал, о чём с гневом говорил Астафьев. Не знаю точной сути разногласий! Ставьте многоточие снова...

— Нет ли ощущения того, что, переехав в Москву, вы оторвались от какого-то очень важного сибирского «горючего» для своей литературной топки? Впрочем, судя по «свежатине» в печати, современная жизнь и в столице подкидывает вам массу калорийной пищи.

— А у меня есть ощущение, что мир, как и предсказывал канадский философ Маршалл Маклюэн, стал одной большой деревней. И это ни хорошо, ни плохо. Это — факт. Как-то, ведя семинар, мы с Романом Солнцевым говорили о том, что ещё пять-шесть назад мы могли безошибочно определить, «кто есть кто» из юных писателей. Кто из глубинки, а кто — столичная штучка. Теперь определить это с налёта невозможно. Они все примерно одинаковы, все прочитали те основные книги, которые мы раньше доставали, и зачастую парень из так называемой провинции — более дерзкий авангардист, хулиган, чем его московский сверстник. Да вдобавок ещё и чувствует глубже, чем литературный модник, описывающий тяжкую жизнь новорусских клерков с зарплатой не менее трёх тысяч у.е. в месяц, пропадающих на престижных тусовках и нюхающих кокаин. Души больше вне Москвы, а суеты меньше — и соблазнов. И русская современной литературе очень помогает проваливаемый многими Интернет: «молодые» в курсе литературной жизни, они, живущие в разных частях страны, имеют возможность ежедневно общаться друг с другом.

Я ведь и из Красноярска-то уехал потому, что мне там было тогда не выжить, в тех условиях и с моей репутацией. Или посадили бы, или спился, или пополнил ряды конформистов, что, пожалуй, ещё хуже. Я ведь после разгрома «Метрополя» почти десять лет на родине не был, боялся, что ребят, моих друзей, будут таскать в КГБ за связь с такой «вражиной». Зачем людей подводить? Сейчас всё по-другому, и я не уверен, что уехал бы, если бы мне сейчас опять было лет тридцать. К тому же и в Москве люди разные живут, и многие — вполне достойно, в поте лица добывая хлеб свой. А сволочи везде хватает! Я много езжу по своей стране и смею об этом судить. Равно как и о том, что в Кандалакше, Абакане, Воронеже, Казани, Перми, Костроме, в больших городах и на маленьких станциях я встречал и встречаю замечательных, умных людей. С которыми мне легко общаться, вне зависимости от их образовательного ценза и литературной эрудиции. Такие встречи — благодать

для такого сочинителя, каковым я являюсь. Я ведь не мыслитель, а, скорее, наблюдатель.

— Как произошло, что будущего известного писателя Евг. Попова два раза не приняли в Литературный институт?

— Первый раз потому, что я не имел необходимого тогда для поступления «рабочего» стажа в два года, — это раз. И не был комсомольцем — два. Мало того, не быв комсомольцем, был из комсомола исключён за то, что, ещё учась в школе, вместе с товарищами издавал в Красноярске машинописный литературный (подчёркиваю!) журнал. Мы не знали, что это запрещено, нам ведь сказали с трибуны, что со сталинским прошлым покончено. Мы выпустили три номера, совершенно открыто, а потом нас разгромили. Главным криминалом была статья моего друга, ныне известного писателя и журналиста, уже упомянутого мной Эдуарда Русакова о поэзии (заметьте, не о прозе!) Бориса Пастернака и моя статья под названием «Культ личности и „Звёздный билет“». Я поступил в Московский геологоразведочный институт, на «урановую» специальность РМРЭ (разведка редких и радиоактивных элементов), где моя «волчья характеристика», выданная мне родной школой, никого не интересовала. Я рад, что не попал тогда в Литинститут: сломали бы, научили писать разрешённое говно, человек ведь слаб, «цыплёнки тоже хотят жить», печататься охота.

А во второй раз, году эдак в тысяча девятьсот семьдесят четвёртом, разыгралась следующая комическая история, связанная с именем великого артиста и режиссёра Олега Николаевича Ефремова. Он прочитал мою пьесу «Плешивый мальчик», где действовали мои традиционные персонажи: один свою комнату в бараке менял на Париж, другой начисто проворовался в шашлычной, где вместо баранины подавали собачатину, третий демонстративно хипповал. Сюжет пьесы заключался в том (реальная история!), что некий Коля, лётчик малой авиации, ухаживал за стервозной девушкой, которая приехала к нему в маленький городок и согласилась остаться с ним на ночь с условием, что он утром увезёт её на своём самолёте в город К. На работу чтоб ей успеть. На работу она успела, но он при посадке разбил самолёт, за что сел на два года, потом вышел. Действие пьесы происходит в день их свадьбы и заканчивается самоубийством героя. Ефремову пьеса понравилась, но он сразу сказал, что цензура её не пропустит ни при какой погоде, вон, они даже «Утиную охоту» Вампилова выпустить не разрешают. А узнав, что я подал документы в Литинститут, на заочное отделение, чтобы обогатить себя дополнительными гуманитарными знаниями, стал названивать ректору Литинститута Пименову и меня расхваливать. Пименову это надоело, и он сказал, что если я

такой сибирский самородок и всё умею, то мне в Литинституте делать нечего, потому что тут *учат*, а новоявленных гениев им не надо. Я и умылся во второй раз. Кстати, я потом узнал, что за рассказы, которые сейчас печатаются и переведены на множество языков, я получил на творческом конкурсе сплошные двойки и единицы. Такие дела, как говорил Курт Воннегут.

— *За создание вместе с В. Аксёновым, В. Ерофеевым в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году надцензурного альманаха «Метрополь» вы были исключены из Союза писателей. А за двадцать лет до этого за выпуск машинописного, самодельного журнала стихов, прозы вас исключили из комсомола, в котором вы, оказывается, никогда не состояли. Что это — одни и те же грабли, рок, свой путь?*

— Да, это свой путь. Я не занимался политикой, не был патентованным диссидентом, но сочинять я хотел свободно, писать всё, что хочу, с учётом, конечно же, понимания того, в какой стране я живу и кто ею правит. Вы правильно говорите, что альманах был *надцензурным*. К тому времени уже оформилась, стала явлением вторая, «неофициальная» культура: художники, например, после знаменитой «бульдозерной выставки», жестоко подавленной властями в тысяча девятьсот семьдесят четвёртом году, получили гетто в виде залов на Малой Грузинской улице, где они могли выставляться со своим «чуждым» искусством; существовали *самиздат* и *тамиздат*. «Метрополь» был попыткой *здесьиздата*, мы хотели издать свои тексты на родине, а не «за бугром». Увы, не получилось. Попали под окончательное закручивание гаек и очередной маразм. Уезжать на Запад я никогда не хотел, и, слава Богу, не пришлось.

— *Василий Павлович бродил по комнатам казанского дома, в котором когда-то жил, а мы недалеко ждали и разговаривали. Помню, говоря о ПЕН-клубе, Михаил Генделев, как и вы же, участником «Аксёнов-феста», сказал, что писателю негоже объединяться ни в какие союзы, партии, клубы. Насчёт Международного ПЕН-клуба вы тогда убедительно возразили. Не повторите ли эту свою мысль для наших читателей?*

— Тем не менее, уважаемый мною Михаил Генделев состоит в различных этих писательских структурах. И одно дело — железобетонный Союз советских писателей со своими фюрерами и гэбэшниками, другое — вольное объединение свободных людей. Какие-то из этих структур решают — ну хотя бы профсоюзные задачи. Ведь не вам же мне объяснять, что писатели сейчас практически бесправные граждане, которых приравняли чуть ли не к любителям вышивки и вязания, ибо наше государство до сих пор не может принять закон о творческих союзах. С тысяча девятьсот

девяносто первого года писатели не имеют стажа за свою профессиональную деятельность, и никто в стране не может решить этот вопрос. Меня когда восстановили в Союзе писателей в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, то было, помню, какое-то бурное собрание по случаю «перестройки», и меня попросили выступить, как «пострадавшего». Я отнекивался, но потом вышел и сказал, что меня трудно заподозрить в симпатиях к Союзу писателей, откуда меня выперли пинком под зад после семи месяцев пребывания в нём. Но что я считаю: *не нужно* разрушать Союз писателей, он худо-бедно помогает — и молодым, и старым, которые не виноваты, что всю жизнь прожили в тоталитарном идеологическом дерьме. Что если слово «профсоюз» кому-то не нравится, то есть слово более звучное: «тредьюнион». Моё выступление, увы, восприняли как речь юмориста. Союз писателей разрушили, всё, что могли, украли, даже знаменитую поликлинику. Виновных все эти годы искали днём с огнём, но чудесным образом так и не нашли. Вот замечательный «сюжет для небольшого рассказа»: один из чиновников, подписавших документ о продаже поликлиники, принёс справку, когда его прижали, что он во время подписания находился в *невменяемом состоянии* — стало быть, ответственности за это не несёт.

— *Мы с вами познакомились в тысяча девятьсот девяносто восьмом году, когда Русский и Татарский ПЕН-центры ехали в одном поезде на Всемирный конгресс писателей в Хельсинки. Андрей Битов, Белла Ахмадулина, Евгений Попов плюс мы, казанцы, — и все вместе в одном купе. Тогда я подумал: без пена я бы такого не испытал. Вы ведь, Евгений Анатольевич, стояли у истоков Русского ПЕН-центра?*

— Ну а что касается ПЕН-клуба, то он совершенно не дублирует деятельность Союза писателей, как многие ошибочно считали, а иногда и сейчас считают. Это организация благородных людей, которые своим авторитетом и известностью помогают тем, кому плохо, кого несправедливо обижают. Я это почувствовал на своей шкуре. Меня однажды гэбэшник спрашивает: «А вы собственно, кто такой». — «Да я вроде, как-никак, писатель», — отвечаю. «А вы член Союза писателей?» — «Нет, меня исключили». — «Ну вот, а утверждаете, что писатель», — удовлетворённо заметил мой неприятный собеседник.

Так что когда я получил бумагу о том, что Шведский ПЕН-клуб принял меня в свои члены, я снова обрёл писательский статус. Меня уже нельзя было душить втихую.

Да, я являюсь одним из основателей Русского ПЕН-центра, был вице-президентом, членом исполкома, там и сейчас много энергичных, деятельных людей, которые моложе меня. Им и карты в

руки. Несправедливости ещё очень много на земле, и свободу слова нужно постоянно защищать. Равно как и не мириться с антиконституционными попытками введения цензуры ретивыми чиновниками. ПЕН-клуб работает на пользу государству, не во вред ему. В государстве люди, в том числе и писатели, должны жить счастливо и свободно, уважая друг друга, защищая слабых.

— Из вашей замечательной книги «Опера нищих»: «Русский поэт Лермонтов был по происхождению шотландцем, а немецкий Хайне (немецкий выговор имени Гейне)—евреем. Пушкин—эфиопом, Тургенев—татаринном, Лесков—англичанином, Достоевский—поляком, Чехов, естественно, чехом». А Евгений Попов—кетом?

— В каждой шутке есть всё-таки доля истины. Я—коренной сибиряк, и в нашей русской семье бытовала легенда, что одна из моих прапрабабушек была «яшашная татарка». «Яшашными татарами» некогда называли всё местное население, платившее дань русскому царю. Часть моих предков жила севернее Туруханска, в местах обитания народа кетов. Вот мой персонаж, писатель Гдов, подозрительно похожий на автора, и объявил себя кетом. Кеты—маленькая северная народность с уникальным языком, который, как утверждают учёные люди, сходен лишь с языком американских индейцев, со своей космогонией. Есть даже безумная версия, что они космические пришельцы, и Тунгусский метеорит был космическим кораблём, посланным на землю, чтобы вернуть кетов на родину. Статей, исследований о кетах во всём мире гораздо больше, чем их самих. Кетов сейчас у нас в стране насчитывается чуть больше тысячи. Двое из них живут в Москве. Это я и мой сын. Мне, к слову сказать, в Казани подарили каляпуш, и я его с удовольствием ношу.

— Мир ваших произведений—далеко не небо в алмазах. Не тяжело ли в своём творчестве постоянно «смотреть действительности в лицо, не мигая»?

— Тяжело. Поэтому следует время от времени отводить глаза или всё-таки помаргивать и подмигивать. Тем более что действительность—разносторонняя и позволяет сменить фокус зрения.

Мир ведь не чёрный, не белый, не чёрно-белый, а цветной, в нём разновидностей цвета больше, чем в радуге. И не знаю, как у вас, мусульман, а у православных одним из смертных грехов считается уныние. Мир не безнадежен—я верю, хочу верить.

— Не думаете ли продолжить «Рассказы о неприятном»?

— Уже продолжаю, готовлю новую книжку и понемногу печатаю рассказы в журналах. В «Знамени» в этом году был рассказ из этого цикла под названием «Крестовоздвиженский»; другой будет в первом номере «Октября»; в журнале «Ностальгия» вышел очередной текст про Гдова и Хабарова.

— Чем сейчас живёте, какие планы строите в наше не совсем благоприятное для литературы время?

— Почему неблагоприятное? Посмотрите вокруг, сколько чудес и сюжетов для писателя. Даже ленивому литератору не нужно трудиться и что-то там выдумывать. Возьмите хотя бы выборы. Сколько чудес, сколько сюжетов, какие страсти шекспировские разыгрываются! Неблагоприятным было время, когда существовала цензура и за писательское слово сажали по соответствующим статьям: клевета и антисоветская агитация. Не дай Бог, чтобы это время вернулось. Тогда и стране конец, и её литературе. Страна и литература не выдержат этого *дежавю*, когда снова одно и то же, одно и то же, одно и то же, как на заевшей виниловой пластинке. Сейчас практически каждый город имеет своё литературное лицо, а не уксусную физиономию. Интерес к печатному, устному и интернет-слову растёт. Взять хотя бы Казань, где с таким успехом прошёл «Аксёнов-фест», где появился на свет ваш новорождённый альманах, дитя весьма здоровое, крепкое, издание интересное, разностороннее, пытающееся объединить под своей обложкой литераторов разных поколений и направлений. Так что дай вам Бог удачи и силы продолжать это хорошее просветительское дело. А про «планы» не скажу. Я в приметы не верю, но заметил: стоит мне где-нибудь болтануть о своих литературных намерениях, работа тут же останавливается, и мои планы обращаются в прах.

25 ноября 2007

Эдуард Русаков

Последний романтик

Памяти Романа Солнцева

Благодарю судьбу за подаренные мне годы дружбы с этим замечательным человеком и прекрасным писателем...

Каждый раз, вспоминая о Романе Солнцева, бормочу про себя его позднее четверостишие «Автобиография», больше похожее на автоэпитафию:

Романтик был, простого норова...
Родня мне: русичи, татаре...
Сгорел, как верный пёс, которого
Не отцепили при пожаре.

Да, эти чувства горечи, обиды и разочарования он нередко испытывал в последние годы жизни. А ведь когда-то — и я хорошо помню то время! — Роман был жизнерадостным оптимистом и настоящим романтиком, ярким поэтом-шестидесятником, безоглядно влюблённым в искусство, в музыку, в красоту природы...

Воспоминания о деревенском детстве, об отце и матери, о реке Каме можно найти в стихах и прозе Солнцева. В 1962 году он окончил физико-математический факультет Казанского университета и по распределению приехал в Красноярск, где недолгое время работал ассистентом на кафедре физики в политехническом институте.

Хорошо помню солнечный сентябрь 1962 года, когда мы с Евгением Поповым впервые встретились с только что приехавшим в Красноярск Романом на каком-то поэтическом вечере. Впрочем, заочное наше знакомство с Солнцевым произошло ещё раньше, когда в «Литературной газете» мы прочли статью Андрея Вознесенского «Мы — май!», большая часть которой была посвящена Роману и его стихам. В те годы похвала Вознесенского была лучшей наградой и рекомендацией для молодого поэта, и мы это прекрасно понимали. В тот первый наш вечер мы долго втроем бродили по Красноярску, читали стихи, говорили об искусстве, о поэзии, о музыке... Кстати, именно Роман Солнцев заразил меня любовью к серьёзной, классической музыке.

Потом были новые встречи, поэтические вечера, выступления в молодёжных кафе и переполненных залах клубов и библиотек. Роман Солнцев с первых же дней появления в Красноярске завоевал популярность у местных любителей поэзии

своими яркими, эмоциональными, метафорическими стихами. Его метафоры отличались оригинальностью и тонким лиризмом. Вот лишь один пример: «Светают полумесяцы ногтей на кончиках твоих уснувших пальцев...» Одно из ранних его стихотворений — «Ода скорости» — звучало как дерзкий манифест тогдашней молодой поэзии:

Мы памятник скорости
Поставим вскорости:
Вдоль постамента черна черта,
На постаменте — ни черта...

Его сразу и высоко оценили в Москве, в том же 1962 году в журнале «Юность» появились стихи Солнцева с предисловием Константина Симонова. Из института Роман вскоре ушёл, одно время преподавал в школе, работал в геологических партиях. Но главным делом жизни оставалась поэзия, литература.

В 1965 году, после знаменитого читинского семинара, где вместе с ним обсуждались молодые Валентин Распутин и Вячеслав Назаров, Роман Солнцев был принят в Союз писателей. Храню первые его поэтические сборники, подаренные мне с автографами: «Годовые кольца», «Необщая тетрадь», «Вечные леса», «Та осень», «Малиновая рубаха».

«Моя первая любовь, сводившая меня с ума с самого детства — это поэзия, — признавался позднее Солнцев. — Но пишу и прозу...»

Да, писал он и прозу, в 1969 году вышла книга «Ищите меня за мельницей», а спустя четыре года появилась повесть «Имя твоё единственное», вызвавшая тогда бурную реакцию критики и некоторых прототипов, узнавших себя в неприглядных персонажах повести. Эти произведения стоят у меня на полках рядом с его поздними прозаическими книгами «Нож» и «Страна АдРай». Проза Солнцева всегда отличалась злободневностью и гражданским накалом. Такими же актуальными и социально острыми были и многие его стихи (впрочем, мне ближе его тихая, задушевная лирика), и пьесы, которые пользовались особой популярностью в годы перестройки. Эти пьесы ставились на сценах красноярских театров (например,

«Наша бабушка—Гулливер»), в Москве («Стена», «Торможение в небесах») и в других городах России (к примеру, «Мать и сын»—в Омске). По сценариям Романа Солнцева были поставлены и с успехом шли на телеэкранах фильмы «Торможение в небесах», «Запомните меня такой», «Трое на красном ковре», «День защиты хорошего человека».

Он с одинаковым успехом работал в разных жанрах. Был у этого разносторонне одарённого человека и ярко выраженный талант дружбы. Он был верным, надёжным другом, отзывчивым товарищем, всегда готовым прийти на помощь. Мне, к примеру, он помогал неоднократно—и не только в литературных, но и в бытовых делах, связанных с получением жилья или с трудоустройством. И не только мне, очень многим. Правда, у некоторых из этих людей оказалась короткая память—и сейчас они позволяют себе злословить в его адрес...

А ещё Роман Солнцев был замечательным просветителем и талантливым педагогом, организатором всевозможных проектов по работе с творческой молодёжью—семинаров, конкурсов, мастер-классов. Более двадцати лет назад, в 1993 году, он создал и возглавил литературный журнал для семейного чтения «День и ночь», ставший одним из лучших журналов постсоветской России. На страницах этого журнала печатаются произведения самых разных авторов, независимо от их

политических или художественных пристрастий. Помню, с каким энтузиазмом, но и с каким трудом боролся Роман за это своё детище. Приходилось просить, унижаться, стучаться в разные кабинеты. Каково это было ему, с его-то гордым характером! «Так бы галстуком и удавил...»—прорвалось у него в одном из поздних стихотворений в адрес чинуш-бюрократов.

Он же вместе с Мариной Саввиных стоял у истоков Красноярского литературного лицея, на создание которого их благословил Виктор Петрович Астафьев. До последних дней своей жизни Солнцев оставался одним из лучших руководителей творческих семинаров в этом уникальном учебном заведении, к работе в котором он всегда относился очень серьёзно.

Я считаю—жизнь его удалась, он свершил очень много, хотя в последние годы в его прозе и в стихах нередко звучали печальные ноты.

Боже мой! Как быстро прокричали
Мы свои заветные слова...

Жестокая, несправедливая смерть отняла его у нас слишком рано. Первые месяцы после его ухода я звонил в редакцию журнала «День и ночь»—и автоответчик мне отвечал голосом Романа Солнцева: «Здравствуйте!..»

Теперь этот голос звучит только в моей памяти, в моей душе.

Литературное Красноярье . . . ВЕНОК СОЛНЦЕВУ

Марина Саввиных

В ответ

1.

Когда бы мы не умерли тогда,
Не стали только словом, только знаком,
Полуразмытым контуром следа,
Клочком святыни, брошенной собакам,—
То кто б из нас узнал себя в другом,
В сосуде без орнамента и глянца
И в площадной латыни итальянца,
Край света обошедшего кругом?..

2.

Шум вслед крылу—я следом за тобой.
Свет бытия—вслед ядерному взрыву.
Войска, армагеддонскому призыву
Подвигнутые утренней трубой,
Я—за тобой: пересекаю путь
И продолжаю, ибо знаю цену,
Что будет стоить—в лоб не отвернуть
И умереть, не покидая сцену.

1998

Роман Солнцев

Оглядываясь через пятнадцать лет...

«В середине 2000-х годов мы накоротке вели беседы с Романом Харисовичем. В ответ на какой-то мой вопрос он мне прислал вот этот текст. У меня и тогда было ощущение, что он предназначался не только мне, и многие корреспонденты Романа получили эти его воспоминания. Уверенности в этом у меня нет, и я предложил его вам—как людям, несущим эстафету Романа. Впервые его стихи я прочёл в «Красноярском комсомольце» где-то в 60-х годах прошлого века, и запомнилась крохотная справочка о нём: «Окончил физический факультет Казанского университета...» Помню и храню то тепло, которое уже тогда почувствовал в строках его поэзии...»

Георгий Паинёв

Зимой 1991 года, после того как распался СССР и уже не было назойливой политической цензуры, 5-го управления КГБ, которое, говоря прежним языком, курировало все творческие организации, большая часть русских писателей решила отколоться от старой структуры, носившей название «Союз писателей РСФСР». От того самого Союза писателей, руководство которого изгоняло из своих рядов талантливых, но непослушных, поносило Солженицына, да и меньшим братьям по перу доставалось.

У меня где-то лежит стенограмма одного из пленумов СП РСФСР, где осуждаются «философские заблуждения Романа Солнцева». Хотя какой из меня философ?... Писал стихи, пьесы, повести. Но ведь не может всем всё нравиться?! Зачем же сразу политическим ремнём? Даже классиков каждый из нас не всех любит. Дело живое.

Так вот, из михалковского Союза ушли Борис Можаев, Сергей Антонов, Юрий Нагибин, Михаил Дудин, Людмила Петрушевская, Евгений Евтушенко, Борис Васильев... из более молодых написали заявление Игорь Шклярёвский, Светлана Василенко, я, Евгений Попов и другие. Из СП РСФСР вышел Астафьев; правда, никуда более не перешёл...

На съезде СРП я был избран одним из пяти сопредседателей СРП, которым остаюсь до сих пор.

Мне дали работу в Москве, предлагали дачу в Переделкино, но позвонил Аркадий Ф. Вепрев, царство ему небесное, позвонил и Виктор Петрович Астафьев... И я, погасив последние сомнения (Москва не для меня), вернулся домой. И через год учредил журнал «День и ночь»—лучше уж на конкретном деле помогать молодым талантливым писателям Сибири, да и России...

Тем временем СРП разрастался, у нас писателей поменьше, чем в старом Союзе. Но где писателей бездна, так этой в самой Москве,—около пяти тысяч. Помимо главных союзов, есть Союз литераторов, Союз независимых и т. д. В Красноярске на сегодня членов старого Союза—как мы говорим, «михалковского»,—двадцать два писателя, членов СРП—сорок человек. И там, и у нас есть хорошие писатели.

Мы почти никогда не ссорились, разве что во времена недоброй памяти Полушина, был у генерала Лебеда такой помощник (в книге, посвящённой родословной Пушкина, как вы думаете, чьи стихи он цитирует почти на каждой странице? Свои!). Так вот, он везде во всё горло называл членов нашего Союза «врагами»! Надо полагать, врагами России.

Это кто же враги? Михаил Успенский, автор смешных и глубоких романов, огромных русских сказок, признанных сегодня классикой? Или Русаков, пишущий прекрасные рассказы и повести, языком поистине чеховским?! Или покойный Алитет Немтушкин, замечательный поэт, певец Севера,—враг народа? Или пронзительный поэт Анатолий Третьяков? Могу перечислять по всему списку. Это всё враги? Вот до какой дури приводит политизация жизни...

А мы не посмотрим, кто из какой организации. В журнале «День и ночь» печатались—и не раз—Борис Петров, Эдуард Ахадов, Анатолий Янжула, у нас публиковались стихи А. Щербакова, А. Чмыхало, публицистика того же Чмыхало, А. Мещерякова, проза В. Шанина и И. Уразова—его удивительная проза о войне...

И не только сегодняшним днём живёт наша организация. Были же на сибирской земле талантливые поэты Драверт и Вивиан Итин, Игнатий Рождественский и Вячеслав Назаров, Зорий Яхнин и Лира Абдулина, Эдуард Нонин и Николай

Рябеченков. Вместе с Литературным музеем мы проводим вечера памяти этих наших товарищей, в журнале печатаем в разделе «Память» их стихи.

Но мы не можем не думать, что будет завтра. Все эти десять с лишним лет и я, и Марина Саввиных помогали и помогаем Фонду им. Астафьева находить одарённых молодых людей в Красноярском крае, в Сибири, поэтов и прозаиков, критиков и журналистов.

Многие наши лауреаты ныне стали известны всей России. Назову Владимира Миронова-Лазарева, написавшего потрясающую книгу о Чечне «Я был на этой войне», и назову, например, задиристого Александра Силаева. Кто не читал прекрасных стихов Ивана Клинового, Антона Нечаева, Елены Семёновой, Татьяны Долгополовой?

Но мы работаем и с маленькими совсем сочинителями, школьниками Красноярска и Красноярского края. Наш журнал рассылается во все библиотеки края, и у нас уже много лет ведётся удивительная переписка с учителями русской литературы, с юными поэтами и прозаиками. В самом же Красноярске, под крышей гимназии «Универс», мы при поддержке главы города Красноярска учредили единственный в своём роде в России Литературный лицей.

И нет, не графоманов мы там воспитываем, а по завету главного учредителя Лицея — В. П. Астафьева — прежде всего хороших читателей, ценителей великой русской литературы.

И этот наш опыт перенимают в районах, захотели организовать филиалы Лицея работники образования и культуры в Норильске, Ермаковском районе, Балахте, а в самом Красноярске — в замечательной гимназии №10.

Как ни странно, молодым у нас легче. Каждый год мы возим в Москву на очередной Форум молодых писателей талантливую красноярскую молодёжь. Наш журнал «День и ночь», наряду с московскими журналами, проводит мастер-классы и рекомендует Министерству культуры наиболее одарённых для получения гранта или стипендии. И надо сказать, не в моём лоббизме тут дело: красноярцы дают фору многим москвичам!

А вот нам — условно говоря, старикам, — тяжелее. Во всяком случае, тем, кто пишет прозу. Государство не имеет возможности финансировать издание книг. И даже не может напрямую помогать журналу: были бы деньги, я бы издавал хоть двенадцать номеров в год, тем более что наш журнал сейчас читают через Интернет во всей России, читают русские за рубежом, и наши рекомендации для издателей Москвы небезразличны.

Нас сейчас поддерживает Фонд Прохорова, за что ему спасибо, но его поддержки хватает только номера на четыре, если платить хоть какие-то копейки тем, кто делает журнал. По объёму каждый номер «Дня и ночи» в два раза толще «Сибирских огней», но у них сидят десять человек на зарплате, в штате, а нас всего трое. Я говорю об этом, чтобы вы знали, каких трудов стоило издание журнала в течение минувших тринадцати лет...

Но он нужен, необходим, о чём пишет и центральная пресса, о чём говорят и письма читателей; я уж не говорю о мольбе писателей Сибири: не закрывайтесь.

Правда, в недавнем разговоре с Д. А. Медведевым, о котором я рассказывал читателям «Красноярского рабочего», я узнал: готов законопроект (наконец-то), который, если станет законом, даст меценатам, помогающим культуре, налоговые льготы. Да и наша краевая администрация с нашими депутатами, кажется, наконец рассматривают возможность помогать журналу «День и ночь» с альманахом «Енисей» через библиотечный коллатор. Управление культуры опробовало эту схему три года назад, и, как теперь ясно, может получиться хороший вариант для поддержки журналов.

А вот как издание книг поддержать?! В Иркутске каждый год выделяются деньги обоим творческим организациям для издания книг и журналов. В Кемерово губернатор пошёл ещё дальше: он платит стипендии всем писателям Кузбасса — по пять тысяч рублей. Чтоб не вымерли. То же самое делает вот уже лет пять губернатор Строев в Орле.

И только в грандиозном Красноярском крае писателей покуда не видят в упор. Несмотря на обещания, не помогла ни разу и партия «Единая Россия». Увы, мы не спортсмены, которые возвращаются в лавровых венках, с ключами от новой машины. Они, понятно, работают на славу края. А мы — хоть десять премий получи — вызываем лишь раздражение... Да что там — Астафьева-то многие чиновники терпели сквозь зубы! Они любят шёлковых.

В нашей организации, да и в СПРФ, шёлковых нет. Но мы не меньшие патриоты России, чем эти господа. Будущий год объявлен Годом чтения. Неужели они хотя бы Астафьева прочтут?!

И всё-таки надежда нас не покидает. На литературной карте России Красноярск для талантливой молодёжи Сибири — столица. Но хотелось бы, чтобы и мастерам, которыми не обделён Красноярск, здесь жилось не холодно.

75 лет со дня
рожденияРоман Солнцев
Закрой, судьба, глаза...

Роман Солнцев

Закрой, судьба, глаза...

В кафе

А. Аникевичу

«Не судите—не судимы будете».
Я согласен—больше не сужу.
С чаем и сухариком на блюдечке
в стороне от музыки сижу.
Пусть там пляшет нечто полуголое...
некто власть ругает в микрофон...
Я всё это видел в годы школьные,
был в студентах злобой вознесён.
Слыл и я державы грозным критиком,
гибелью грозил чрез пару лет.
Бабушки пугались: что за крики там?
Девушки шептались: он поэт!
Но поэт плывёт в морях с русалками,
выдувает радуги с пера.
А не ходит с бабами усатыми
на базары, митинги с утра.
Хоть стихи твои взошли на лозунги—
ты обманут: захватили власть
те же люди толстые... а слёзыньки
можешь пить до самой смерти всласть...

● ● ●

Друзьями и самим тобою
забыты лещь, взаимный торг,
когда над каждой плыл строкою
преувеличенный восторг.
«Мы в мире лучшие навечно!
И обижать нас не дадим!»
Но время юности конечно.
Зря трёшь свой лобик, Аладдин!
Есть книги в мире те и эти...
Есть премии и прочий бред...
Но есть и гамбургский на свете
жестокий счёт: тянись, поэт!
Шекспир и Пушкин—вот где сила!
Труды переменили всех.
Суровость в лицах победила,
и похвальба сегодня—грех.
Угрюмые, сойдясь под кровлю,
стоим, как доктора, стеной
над истекающею кровью
любовью, а не над строкой.

● ● ●

Закрой, судьба, глаза свои и уши,
забудь, забудь пророчества мои...
Я жить хочу! А то, что в строчках плыли тучи,—
они для ночи тёмной, для любви...
А то, что я от ярости и боли
для избавленья кликал смерть порой...
так в нашей звали деревенской школе
девчонку юркую в косынке голубой...
Из-за её красы в овраг скатился трактор.
Из-за её очей наш агроном ослеп.
И председатель молодой потратил
из-за неё на самогон весь новый хлеб...
И если смерть сладка, как та Наталья,—
я над оврагами пугаю всех бабуш:
я жму, зажмурившись, как в детстве, на педали—
и ничего на свете не боюсь!

● ● ●

То ль жизнь свернула на закат
мгновенно, между делом,
то ль телевизор виноват
с кровавым беспределом,—
привычкой стало—перед сном
с закрытыми глазами
смерть представлять... а что ж потом
на свете будет с нами?

Кого-то водкой обольют,
цветком в кого-то бросят,
кого-то спешно отпоют,
кого-то криком спросят:
покинул на кого меня?..
И вот лежу я тоже...
Машины вой и храп коня,
родное бездорожье...

Ах, где же звёзд волшебный сад?
Летят угрюмо тучи.
Да, может, школьники стоят:
— Он Гумилёва лучше...
И ты подступишь, может быть,
чтоб на ветру, в печали
со мною в мыслях жизнь прожить,
которой нам не дали...



Почему я не еврей? Я б уехал прочь!..
 На сырой земле моей мало белых рощ.
 И отравлена река, и горит село...
 Я б уехал на пока—как им повезло!
 Но татарин и русак, немец и бурят:
 — Бросить родину? Никак!..— тихо говорят.
 И сидим, обняв кресты, звёзды на холмах.
 И сквозь нас встают цветы, да во весь размах.
 И хохочет прочий мир,
 как ведьмачий пир.

Вспоминая 1963 год

В пляшущем кузове старой машины,
 плюхаясь в реки, влетая в дожди,
 мы проносились через осинник,
 дикий малинник... нет, погоди!
 Ветром кепки и шапки сдирало
 и надувало, как парус, пальто...
 сердце орало про козни тирана...
 Нет, всё не то!
 Просто запомнились сумерки, свечи,
 двор постоялый, горящая печь,
 добрых хозяев невнятные речи,
 хоть и казалось, что русская речь...
 Это поляки... а эти вот—венгры...
 Как занесло их в Сибирь, в глухомань?!
 Кто-то бормочет: нету им веры.
 Ты уж молчи, душу не рань.
 Хоть мы ни в чём не виновны с тобою,
 но согласимся, обжёгшись слезою:
 всё впереди, всё впереди—
 ненависть грянет ещё, погоди...
 Люди родные уедут... но вряд ли
 с радостью встретят тебя вдалеке,
 как привечали, когда мы озябли
 на грузовике...
 Здесь по единым мы жили законам,
 лагерным, дружеским... но ведь не век
 мучиться должен в краю удалённом
 чужой человек.

Вечеринка

Отчего-то тягостно и стыдно
 перед теми, кто прошёл войну,
 эту, на Кавказе. Был в плену
 и вопил убого, беззащитно—
 как у волка, цепи на ногах...
 телекамера в глаза смеётся...
 Выкупили. Рассказать никак
 даже с водкою не удаётся.
 На краю большой родной земли
 гнили, обожжённые, смердели...
 Ну а мы, нарядные, вдали
 телевизор за едой смотрели.



Я думал, что птицы промчались под осень,
 а это свинцом обнесло.
 Я думал, алеет закат между сосен,
 а это горело село.
 Я правды хочу, но мучительны слёзы...
 Смеётся лишь каменный скиф...
 Ах, как бы нам, глядя на красные розы,
 не думать о ранах людских...

Снежинка

Гале

Колесо алмазной колесницы,
 на которой эльфы пролетали,
 на моей ладони серебрится,
 только долго проживёт едва ли.
 Но пока и светится, и греет
 высшее свидетельство оттуда,
 я успею, я сказать успею,
 что я верил и в любовь, и в чудо.
 Говорят, всего-то лишь водица
 на моей останется ладони.
 Ну и что? Прильну, чтоб насладиться.
 Пьют же воду радуги и кони.



Моих былых грехов свидетель,
 ко мне явился он домой.
 Весь в инее, полураздетый,
 стоит, кривясь, передо мной.
 В кофтёнке женской, в шапке драной,
 на кулаке наколок вязь.
 Всё тот же смех его поганый,
 всё так же шея напряглась.
 Ах, мне б его послать с порога,
 но я прозрачнее стекла...
 Мы с ним сидим и, ради Бога,
 пьём водку:— Хорошо пошла.
 — Но мы, понятно, были дети...
 Где взять ума нам в те года?
 — Но рассказать про штуки эти...
 — Да всё там чушь и ерунда.
 — Но всё же рассказать не стоит?
 — Не стоит.— Отодвинув стол,
 он просит на похмелье «стольник».
 Уходит. И опять пришёл.
 Глядит свидетель прегрешений
 с улыбкой мудрой, как Сократ.
 Он просит денег, много денег,
 но небогат я, небогат!
 Мы снова вспоминаем смехом
 проделки юности хмельной...
 Он не уходит. Он приехал—
 надолго. Может быть, домой.



Вышел к берегу, а в сердце—ярость...
 Вдруг споткнулся, спички смяв в руке.
 Что ты там увидел? Это парус?
 Господи, белеет вдаль!
 Среди барж с лиловой крышей дыма
 и военных серых кораблей—
 всё же это так непостижимо—
 белый парус милых детских дней.
 Или то волна стоит седая?
 Вот обрушилась—и нет её...
 И клокочет, сладко замирая,
 сердце проясневшее твоё.



Приезжаю на родину—падаю,
 словно весь я чугуном или медью.
 Наслаждаюсь травинкой помятою,
 пререкаюсь с собакой патлатою.
 Здесь такую всё кажется правдою,
 словно время пришло умереть.

Но теперь бы и жить припеваючи,
 от всемирных соблазнов уйдя,
 собирать с ребятишками гаечки,
 в сочинениях ставить им галочки,
 родниковой водой запиваючи
 яд газет и молчанье вождя...

Встречи днём и ночью

— Это кто? Скажи пароль.
 — Я скажу тебе, изволь.
 — Говори же, пёсья кровь.
 — У меня пароль—любовь.
 — Не годится сей пароль.
 Днём другой. Не знаешь, что ль?
 — А я думал, это ночь.
 — Не могу ничем помочь.
 Руки за голову. Пли!
 Посреди большой земли
 льётся кровь, льётся кровь.
 Не дождётся нас любовь.



Прощанье близится, всему назначен срок...
 Как жить? Что делать? Я бреду вечерним лугом,
 слежу, как коршун в небе чертит круг за кругом,
 смотрю, как заяц откусил, смеясь, цветок.
 Я вижу бабочку—я наступить бы мог,
 но прочь согнал... и есть теперь надежда эта:
 золотокрылая запомнит в ливне света
 хотя б на час меня и лёгкий мой сапог...



Темнеют небеса к полуночи... с востока
 всё позже выбегает алый шар.
 Но всё ещё шуршит пред лодкою осока,
 и птицы с овцами толкуются у истока,
 и даже в погребках томит полдневный жар.

Я слышал—за рекой в лесах гудит пожар,
 стоит багровыми знамёнами высоко...
 Ужасный год! Ничто не кончится до срока.
 Не скоро снег, небес прохладный дар.

Лежит старик... сказали, что удар...
 Поникли деревья. И на цветах нет сока—
 шмель воет жалобно—куда тебе комар...
 Чернеют небеса к полуночи... с востока
 всё позже выбегает жёлтый шар.

Страна виноватых

— Во всём виноваты евреи,—
 вопит неудачник-поэт.—
 Друг друга как змеи пригрели—
 свободного столика нет.
 — Во всём дураки виноваты,—
 рыдает политик былой,
 толпой обойдённый когда-то
 и брошенный даже женой.
 — Во всём демократы виновны!
 — А уж коммунистов—в тираж!
 — Повеситься должен верховный!
 — И местные власти—туда ж!

Повинны соседи, плакаты,
 и голуби, и облака...
 Весь мир вокруг нас виноватый!
 Вот так и бредём сквозь века.
 Шагаем угрюмой толпой,
 оскалась, рыча и сопя...
 — Проснись, милый друг. Что с тобою?
 — Я так ненавижу себя.
 Боялся всю жизнь негодяев,
 мордастых, как псы в орденах.
 И даже порою, возлаяв,
 стоял среди них в сапогах.
 И даже послушно порою
 лизал золотое крыльцо...
 И что-то случилось с душою—
 И стало немилым лицо...

Мне лучше с любовью синицей
 иль кошкой теперь говорить,
 в полыни валяться росистой,
 в тумане неведомом жить...

Алексей Козловский

Я счастлив, что провидение свело меня с ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ...

Вспоминая Романа Солнцева

Почти через пятьдесят лет с начала моего знакомства с ним пишу нечто похожее на воспоминания, удивляясь тому, насколько причудлива и капризна наша память. Вроде бы она живёт сама по себе, а человек, ею обладающий, существует отдельно, и только память понадобится — она тут же начинает диктовать свои условия. Только диву даёшься, сколько эта самая штука отсеяла, мимо скольких событий протекла — наверное, чтобы взыскующий не захлебнулся в её потоке.

Между нами, по сибирским меркам, не Бог весть какое расстояние: я живу в Минусинске, он в Красноярске, но мы оба пишем стихи, причём я о красноярце имею самые скудные сведения, он — обо мне и вообще не слышал. Жара, ларёк на минусинском базарчике, где на витрине — книжка его стихов «Годовые кольца», и, возмущаясь ответом продавщицы: мол, ничего здесь стоящего нет, — тут же покупаю тонюсенький сборник. Как же нет? А это разве не находка? Стоит ли говорить: после такого допинга я застрочил с утроенной силой, а первую книжку с дарственной надписью получил от живого поэта на литературном семинаре «Дивногорская весна», куда приехал по его приглашению. В перерывах, под горячим дивногорским солнцем, он и Владлен Белкин распространяли книги, и я, увидев сборник Солнцева «Необщая тетрадь», ломанулс без очереди, отчаянно боясь, чтобы кто-то не взял её раньше меня, — кажется, оставался один экземпляр. Протягивая мне книжку, Роман Харисович, молодой, черноволосый, со всклокоченными вихрами и в отчаянной белизны рубахе, улыбнулся: «А, это ты, Лёша?» — и подписал под смешным символическим ёжиком с цветочком: «Лёше Козловскому, милому и чистому человеку, с пожеланиями стихов хороших и счастья. Роман. 10.06.70. 20 век», — а после на занятиях литературного семинара частенько обращался ко мне. Наверное, ему нравилось наблюдать за смущением лютого провинциала, всё-таки сам он уже частенько бывал в Москве, был знаком с известными людьми: критиком А. Михайловым, писателями К. М. Симоновым, А. Вознесенским, и с В. П. Астафьевым на короткой

ноге, чему подтверждение я нашёл всё в той же книжке: «Витя ласковый, сокол ясный, возле Камы с кривым ружьём ты прими привет красноярский и два слова о том о сём...» После меня заставил выступить со стихами перед приличной аудиторией в каком-то дворце с балконами. Уже тогда я заметил, с какой любовью он относился к своим иногородним друзьям: Вильяму Озолину, Толику Кобенкову, Славе Шугаеву, Марку Сергееву и Славе Филиппову; а из своих сверстников как-то не могу назвать с ходу, вот разве Марину Саввиных, Ольгу Либердовскую, Мишу Успенского, а постарше — Яхнина, Назарова, Тарана, Лиру Абдуллину, Третьякова, Русакова, Нонина и Немтушкина; впрочем, Анатолий и Эдуард побольше моего могут рассказать; а если перечислять всех друзей Солнцева, то можно журнал целиком перечесть одних фамилий заполнить. Как мои стихи добрались до Романа Харисовича — не помню, но верю строкам из его предисловия к моей первой книжке, вышедшей в Красноярске в 1977 году: «Лет пять или шесть назад получил я по почте школьную тетрадку с таблицей умножения на синей обложке, со стихами, записанными чётким почерком на страницах в клеточку... Меня поразили эти стихи. Они были короткие, странные, ясные... — и заканчивалось это предисловие так: — Не пригодилась молодому поэту таблица умножения. Он знает математику куда посложнее! Он понимает людей и желает им добра». Конечно, можно поспорить насчёт моего «ангельского» почерка и тетрадки: на то Роман Харисович и поэт, чтобы даже такую прозаическую вещь, как получение рукописи от мальчишки, заканчивающего школу, обставить слегка романтично. Он вообще обладал каким-то даром гипнотического влияния на людей. Много позже, уже учась то в одном, то в другом красноярском вузе, я часто бывал у него дома. Коридорчик, кухня и кабинет были на теневой стороне его квартиры, но этот лёгкий полумрак, почти сумрак в его академовских пенатах только прибавлял таинственности и необычности моих встреч с поэтом. Он рассказывал о своих делах, обсуждал новости литературной жизни,

а я смотрел за окно, и верхушки берёз, казалось, медленно опускаются вниз, наплывает синева-то-фиолетовое красноярское небо, и на глазах у меня непроизвольно наворачивались слёзы. Ни тогда, ни после я не мог до конца поверить в явь происходящего, а тут ещё из коридорчика словно бы нависала надо мной, сидящем на приличном от неё расстоянии, картина художника Андрея Поздеева «Подсолнухи»: большие, ядрёные, так и подмывает написать — «ядерные», шапки или голвки обыкновенного огородного растения. Роман Харисович описывал в своих стихах процесс создания подобного чуда, когда Андрей спрашивает у сотоварища: «Может, ещё добавить парочку этих самых подсолнухов?» — наверное, и того оглушая своим невероятным талантом волшебника. Или вот ещё: во время моего очередного посещения квартиры Солнцевых извлекал хозяин с одной из многочисленных книжных полок журнал, кажется «Москва», с напечатанными там начальными главами романа Булгакова «Мастер и Маргарита», и словно бы начинал священнодействовать, читая о событиях на Патриарших прудах...

Теперь, вспоминая наши литературные посиделки, мне становится неловко: это сколько же времени я у него тогда у него отрывал! Жена хозяйина, деликатнейшая Галина Николаевна, скромно уходила в комнату, хотя перед этим всегда усаживала пить чай. Впрочем, я частенько отказывался: «Я чай пить не буду...» — «Тогда, может, коньяк?» — интересовался шутя Роман Харисович; но я, наверное, ещё не окончательно потерял совесть, если не принимался чаёвничать. Но не это меня удивляло тогда, занимает и теперь: никогда я не встречал у него на квартире моих тогдашних литературных ровесников, да и старших тоже. Был Роман Харисович человеком чрезвычайно компанейским, любил зажигать окружающих, втравливать их в очередные весёлые посиделки, но вот я не встречался с этими ребятами на квартире у Солнцева, хотя я приходил днём, вечерами готовился к институтским занятиям.

Помню вечер в подвале не то бывшего семинаристского общежития, не то какой-то богадельни, арендованной пединституту для студентов во дворе на улице Мира, где был клуб «Автомобилист». Мы читали конспекты, а тут вваливается некто бородатый и уже тогда крепко лысоватый гражданин (позднее оказалось — Женя Попов, друг Романа); как он узнал моё место обитания, не знаю. Оказывается, меня, Евгения и Дусю Огдо Аксёнову отправляют на 6-е Всесоюзное совещание молодых литераторов в Москву. Я уже тогда жил в Хакасии, но это не смутило Романа Харисовича; а от Хакасии ездил своя делегация из пяти человек, меня тогда в родных степях игнорировали, да я где сам, а чаще — с лёгкой руки моего старшего товарища, начинал печататься

в красноярских изданиях. Первая подборка стихов — «Рыжий календарь» — появилась в «Красноярском комсомольце» с предисловием всё того же Романа Солнцева в 1970 году, как и позднее в журнале «Смена», и очень ему хотелось издать своего младшего товарища в «Современнике», у меня и по сей день хранятся вторые экземпляры его обращений в соответствующие редакции, но для этого почему-то всегда катастрофически не хватало объёма, я и в Москву-то ездил с пятьюстами строками поэтического текста. В поэтическом семинаре, коих там было три, меня приняли и выделили такие литераторы, как Долматовский, Хромов, а особенно Тамара Александровна Жирмунская. Она сказала мне как-то в перерыве: «У нас из руководства приходили, предлагая назвать по одной фамилии, я вас, Лёша, назвала, для итогового доклада Луконину». Больше всех моему успеху радовался Роман Харисович. Он потом неоднократно подчёркивал о моих успехах на совещании, и после выхода второго сборника стихов прислал документы и сопроводилровку для вступления в СП СССР. Было это в 1982 году, но тут захлестнули поисковые дела в школе, где я уже работал учителем географии, и вступление моё оттянулось на неопределённое время.

С тех пор прошло много лет. Перебираю его письма ко мне, штук двадцать сохранилось, ещё больше затерялось, тем более уже в послеперестроечное время со мной случилась беда, и опять без помощи Романа Харисовича и Виктора Петровича не обошлось. Впрочем, сын мой как-то сказал: «У ваших писателей какие-то разъединения, но за тебя они все единогласно заступались».

Я и теперь благодарен моим красноярским друзьям и не делю их на правых и левых, да и они все ко мне относятся благожелательно, хотя после смерти Романа Харисовича мне уже труднее восстанавливать контакты с нашим литературным цехом. Но до этого ещё много времени пройдёт. Даже став заместителем губернатора по культуре, Роман Харисович не забывал о своём питомце, бывал я у него в кабинете при крайкоме партии, говоря по-старому; из «нижнего» Академгородка он переехал в «верхний», почти рядом с домом моего сына, и тогда мы частенько встречались на новой квартире, и он всегда дарил мне свои книги с добрыми пожеланиями.

Я и хоронить его приезжал, а сын мой Ладимир даже с работы отпросился, хотя был уже крепко ответственный за что-то там в своей энергетике. Что сказать: похороны — всегда тяжело. Зал Дома офицеров... Кто-то спросил: «А что с цветами делать? Вот их сколько?» — и Эдик Русаков, помню, кивнул на меня и Ладимира: «А вот Лёша поможет...» На Бадалыке, где похоронили Романа Харисовича, лежит и отец жены моего сына. Мы приходим туда, и это не заслуга, хотя грустно,

что больше нет моего старшего друга. Конечно, с красноярцами он общался чаще, и они больше моего могут рассказать о Романе Харисовиче; но я-то помню: обо мне он никогда не забывал, утешал и успокаивал, когда я получал тычки от наших общих знакомых, и всегда свои письма

начинал со слов: «Милый Лёша!» Даже из далёкой Швейцарии приходили письма с коротким и совсем не официальным адресом, безо всяких почтовых индексов и пояснений: «СССР, Хакасия, Бейский совхоз». Это не всё, но, пожалуй, пора и остановиться.

ДиН лит

Дни и ночи
Литературного
института имени
А. М. Горького

Борис Тарасов

И кузница, и храм, и мастерская...

В журнале «День и ночь» открывается новая рубрика: «Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького». Усадьба на Тверском бульваре, 25, где располагается институт, издавна связана с литературой. В особняке главного здания в 1812 году родился А. И. Герцен. И сейчас Литинститут нередко называют «Домом Герцена», который в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова назван «Домом Грибоедова». В сороковые годы девятнадцатого века в салоне Свербеевых проходили жаркие споры между славянофилами и западниками, приобретающие сегодня, уже в новых исторических условиях, ещё большую актуальность и остроту. Сюда приходили Гоголь, Белинский, Чаадаев, Грановский, Хомяков, братья Аксаковы, Боратынский, Щепкин, Погодин и другие деятели отечественной культуры. В начале двадцатого века на территории института размещалось известное издательство братьев Гранат, выпустившее знаменитый «Энциклопедический словарь». В двадцатых годах минувшего столетия здесь работали Литературный музей, писательские организации и литобъединения, такие как «Кузница» и «Федерация», МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей) и РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), послужившие прообразом булгаковского МАССОЛИТА в «Мастере и Маргарите». Мандельштам в «Четвёртой власти» упоминает чиновников от литературы: «...убежать, лишь бы не видеть эти двенадцать светлых иудиных окон на Тверской, не слышать... звон сребреников, счёт печатных листов...» Кстати, Мандельштам жил в писательском общежитии, располагавшемся в усадьбе «Дом Герцена», так же как и Платонов (с 1931 по 1952 год), Пастернак, Вс. Иванов, С. Клычков, С. Сергеев-Ценский и другие. В залах института до его

создания в 1933 году выступали Блок, Есенин, Маяковский, Горький, Брюсов, Серафимович.

И вот в таком, так сказать, накультуренном и налитературенном месте начал свою работу в 1933 году Литинститут. Восемьдесят лет назад он задумывался как кузница писательских кадров для пролетарской литературы. Но его история свидетельствует о том, что здесь создавалась особая творческая атмосфера, не вмещавшаяся в такое прокрустово ложе. И в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые, и в шестидесятые годы, несмотря на сложности и превратности идеологического давления и ломавшиеся отдельные судьбы, в Литинституте не искусственно насаждалась, а органически выростала особенная среда, высокопрофессиональные и лично заинтересованные отношения между учителями и студентами, между самими студентами. В Литинституте преподавали и учились многие выдающиеся и крупные писатели, в том числе: Н. Асеев, К. Федин, Г. Паустовский, М. Светлов, В. Розов, Ю. Бондарев, К. Симонов, Ю. Трифонов, Ч. Айтматов, Е. Долматовский, Л. Ошанин, Л. Леонов, С. Михалков, Р. Гамзатов, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Ю. Кузнецов, Н. Рубцов, В. Белов, В. Астафьев, А. Вампилов и другие. Сейчас, в изменяющихся исторических условиях, Литинститут стремится развивать лучшие традиции классической и современной литературы, опираясь в новаторских поисках на её незыблемые достижения. На страницах журнала читатель сможет познакомиться с произведениями наших преподавателей, студентов и выпускников. Хочется пожелать открывающейся рубрике, её редактору Александру Орлову, главному редактору журнала Марине Саввиных и всем нам плодотворного сотрудничества.

Владимир Костров

Боль и вера



Яркою зарёй зажжётся рампа,
 Сцена распахнётся, словно даль,
 И войдёт в простор на львиных лапах
 Дивный зверь—сверкающий роаль.
 Разом все дела свои оставишь,
 Озаришься совестью своей.
 В сочетании чёрно-белых клавиш
 Станет ясен смысл ночей и дней.
 Все твои метания и муки,
 Пусть на час, пускай на полчаса,
 Превратятся в сладостные звуки,
 Полетят, как души, в небеса.
 Хоть на час, но, Господи, прости нас.
 Пусть сейчас, невинна и чиста,
 Девушка по имени Россия
 Разомкнёт прекрасные уста.
 Улыбнётся пряжа молодая,
 Поведут гуляку под венец,
 Расшумится липа вековая,
 Разнесётся песня удалая,
 Прозвенит валдайский бубенец!



За порогом давно светает,
 И по дому полно хлопот.
 За порогом собака лает—
 Значит, кто-то ко мне идёт.
 Может, хочет спросить:
 «Недужен?
 Ты один и в пустом дому?»
 Может, сам я по делу нужен
 Посетителю моему.
 Может, с чем-то идёт бумажным,
 Помолчать идёт. Покурить.
 Может, хочет о самом главном
 Он со мною поговорить.
 Ты приехала? Это вряд ли.
 Через двери не увидать.
 О, как горько и неприятно
 Каждый миг безнадежно ждать.
 Я не знаю вернее знака,
 Чем шуршанье юбки твоей.
 И не лаяла бы собака,
 А заплакала у дверей.



Не банкира, не детей Арбата,
 Не актёра в маске какаду—
 Я простого русского солдата
 Вижу в телевизиорном бреду.
 Вот он курит. Вот он щи хлебает.
 Вот вскрывает банку тесаком.
 Вот окоп себе, как крот, копает.
 Вот стоит, пленённый, босиком.
 Отключаю «сникерсы», кроссовки,
 Номинаций подлые ходы,
 Наглые обжорные тусовки,
 Эти бюсты, ляжки и зады,
 Речи президента и премьера,
 Телекомментаторов враньё.
 Ты—мой сын, солдат, ты—боль и вера,
 Горе неизбывное моё.

В поле пусто, на банкетах густо.
 Взорваны больница и вокзал.
 Новый жанр российского искусства,
 Рвущий душу телесериал.

Дорогой Никита, пойте соло,
 Верю, вы не флюгер, не фигляр.
 Ой, покруче «Утомлённых солнцем»
 Триллеры «Будённовск» и «Кизляр».

Я не понимаю вашей мести
 К прошлому. Жесток был вождь. Жесток.
 Ну а что нам делать с «грузом двести»?
 Кто гробы поставил на поток?

На костях убитых батальонов
 Что мы значим и о чём поём?
 Предали мы двадцать пять миллионов.
 Сдали в рабство? Отдали внаём?

Страшно мне, что вас «отцы народа»
 Скоро заласкают до конца.
 Новый русский—старая порода,
 Твёрдо-большевистские сердца.

А солдат убит под смех и крики.
 Снова бюсты, ляжки, голый зад...
 Что ж ты, русский инженер Зворыкин,
 Изобрёл проклятый аппарат?

● ● ●

Нет. Последняя песня не спета.
 В жаркой печке гудит киноварь.
 Приезжай из малинного лета
 В мой седой и морозный январь.
 У меня за певучей трубою
 Захотел зимовать соловей.
 С бубенцами летит за тобою
 Пара белых храпящих коней.
 Куний мех доставай из комода,
 Ставь горячую жизнь на ребро.
 И за золото летнего мёда
 Я отдам всё своё серебро.
 Кони кованы в северной кузне.
 Не зевай на крутом вираже.
 Я в серебряном деле искусней
 Самого старика Фаберже.
 Да и нам ли бояться морозу,
 Если кровь молода и крута?
 С поцелуем ты белую розу
 Выдыхаешь из жаркого рта.

● ● ●

Не надо при полной луне
 Меж ветвями сада,
 Не надо грустить обо мне.
 Не надо. Не надо.
 Не надо сидеть на скамье,
 Где сердце так бьётся.
 Как эхо по лунной земле
 Всё передаётся.
 Плывёт гипнотический свет
 И мир заливает.
 И дальнему чувству в ответ
 Душа замирает.
 Тоска. Наваждение. Плен.
 И холод гипноза.
 И плачут у милых колен
 Фиалка и роза.
 Нельзя ничего повторить
 До смертного стога.
 Не надо пространство делить
 На два камертона.

● ● ●

Вот уж несколько лет перед сном
 Я курю на балконе.
 В окнах зданий соседних
 За тонким стеклом
 Пляшут рыжие кони.
 Потому я курю перед сном,
 Что какая-то птица,
 Управляя бесшумным крылом,
 На карниз наш садится.
 Одиноко ей наверняка —
 Не садится на ветке.
 И в глазах её два огонька
 От моей сигаретки.
 Эти два отражённых огня
 Появляются снова и снова,
 Словно чья-то душа от меня
 Ждёт заветного слова.
 И хочу я ступить на карниз
 С непонятым доверьем,
 Но тогда она падает вниз,
 К затенённым деревьям.
 Научиться бы птицей летать,
 В небе сумрачном плавать.
 Но могу лишь курить, вспоминать
 И над прожитым плакать.
 И за жизнью, пошедшей на слом,
 В безнадежной погоне
 Вот уже несколько лет перед сном
 Я курю на балконе.

Константин Алексеев

Возвращение

Монотонный перестук колёс то стихал, то нарастал вновь, насадным лязганьем металла врываясь в стылый вагон утренней электрички. Лучи яркого зимнего солнца, выбиваясь из-за верхушек деревьев, золотистой рябью пробегали по лицам пассажиров. Слепили короткими разрозненными вспышками. Будили от сумрачных раздумий и утренней полудрёмы.

Капитан, одиноко сидевший в дальнем конце вагона, поминутно шурился от налетавших бликов, задумчиво глядел на бегущие перелески, пустынные белые поляны, нестройные ряды деревянных домов, смотревших заиндевевшими окнами из-под усыпанных снегом крыш. Эти картины, до сей поры спрятанные в потаённых уголках памяти, ныне оживали, наполняя сознание обретением того, что ещё совсем недавно казалось призрачным, навсегда затерянным в прошлом.

Так бывало каждый раз, когда он возвращался из очередной командировки на Кавказ. Из этих нескончаемых командировок он привозил калёное дыхание войны, сожжённые нервы, боль и усталость. И всякий раз на следующий день после возвращения он спешил к утренней электричке, уносившей его прочь от тревог, накопленных за долгие месяцы войны, серого однообразия военного городка, тоскливого, щемящего одиночества.

Вагон ритмично покачивался, словно не катил внутри серебристой стальной колеи, а плыл по лёгким прозрачным волнам. Череда знакомых картин за окном мерным течением реки уносила его в прошлое, в мёрзлый плацкартный вагон, набитый под завязку стриженными «под ноль» призывниками, где он, восемнадцатилетний паренёк с Тамбовщины, прильнув к заледенелому стеклу, напряжённо вглядывается вдаль, пытаясь угадать в синеве вечерних сумерек очертания приближающейся столицы.

Та первая встреча с Москвой, показавшейся ему иной планетой с неведомой цивилизацией, очаровавшей его лепными фасадами зданий, золотом церквей, величием Кремля, вошла в его жизнь подобно долгожданному первому снегу после унылой осенней сырости.

Тогда, двенадцать лет назад, он в одночасье полюбил её величественную красоту, её особенный, таинственный мир, радовался каждому нечастому

свиданию с городом, возможности несколько часов отрешённо бродить по тихим улочкам, вслушиваясь в близкий несмолкаемый гул асфальтовых магистралей, мелодичный перезвон колоколов под куполами древних храмов, шелест листвы на островках тенистых бульваров.

И сейчас, под перестук колёс, лязг сцепок, простуженное хрипение динамика, он по новой осознал своё возвращение в прежнюю жизнь, туда, где не было «зелёнки», изрыгающей смертоносный свинец, притаившихся в засаде снайперов, минных полей. Туда, где царила деловитая суета и шумел пёстрый людской водоворот. Где по проспектам мчался бесконечный поток машин, а в уютных двориках царил усталый покой. И за Садовым кольцом весело звенел трамвай, пробегая по маленькой тихой улочке, где жила его дочка.

Эта пара упрямых глаз, с недетской печалью глядевших из-под пушистых бровей, была для капитана тем, ради чего он жил, стараясь уцелеть на больших и малых войнах. Маленький островок в безбрежном, вечно штормящем океане, она была единственной, кто ждал его возвращения. Как и он, жила лишь этими нечастыми встречами. Дарила надежду и забытое тепло.

Это тепло он впервые ощутил восемь лет назад, принимая из рук пожилой добродушной медсестры маленький живой комочек, завёрнутый в одеяльце, перехваченное ярко-розовой лентой. Тот холодный осенний день он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Мучительное ожидание в вестибюле роддома. Он то и дело выходил на улицу, нервно закуривая сигарету. Осторожно нёс к поджидавшему такси драгоценный свёрток, в котором безмятежно посапывало маленькое существо. Заворожённо сидел подле детской кроватки, прислушиваясь к частому дыханию дочки.

Вопреки законам природы, она ничего не унаследовала от его бывшей жены, а напротив, словно наперекор всему, пошла в него и лицом, и характером, потому с каждым годом всё больше чувствовала себя чужой в семье матери.

Тот давний брак был обречён с самого начала. Семейная жизнь не заладилась с первых же месяцев, с течением времени всё больше обрстая скандалами, непониманием, взаимной отчуждённостью. Жена, будучи на семь лет старше, люто

ревновала молодого мужа ко всем без исключения, ежедневно обвиняя его во всевозможных грехах. Её раздражало его вечное отсутствие, когда он сутками пропадал на службе, возвращаясь усталым и разбитым. Она не понимала его постоянных забот о неведомых солдатах, за коими вечно требовался зоркий глаз её супруга. Злилась на его простодушные армейские шутки. Ненавидела за непрактичность и наивное бескорыстие. Презирала за пустые попытки наладить мир в рушившейся семье.

Отдушиной оставалась лишь дочка. Казалось, с первого дня её появления в доме их соединяла незримая живая нить. Жалобно плачущая в его отсутствие, она мгновенно успокаивалась, лишь только он переступал порог комнаты, неведомо как ощущая его появление. Подобное происходило и с ним, когда, спавший крепким сном после утомительного дня, он моментально просыпался от её малейшего вздоха, едва уловимого всхлипа, и по этим вздохам, всхлипам, шорохам в кровати безошибочно определял всё, что тревожило и беспокоило дочку.

С рождением дочки для него началась новая жизнь, в которой всё, что существовало в прошлом, отошло в тень, переместилось в иное измерение. Порой ему казалось, что в образе дочки судьба послала ему маленький живой талисман, призванный оберегать его от зла, коим был переполнен окружающий мир. И даже позже, когда он ушёл из семьи, их редкие встречи с дочкой продолжали оставаться для него всё той же отдушиной, позволяя на время забыть невзгоды и печали.

...За окном уже не бежали, а медленно плыли городские строения, сменив заснеженные леса и поляны. Электричка, всё больше сбавляя ход, втягивалась в серые каменные массивы. Колея разветвлялась, уходя то влево, то вправо, вдали показалось зелёное здание вокзала, опоясанное узорным лепным фасадом. Вагон просыпался, страшивая с себя зыбкую дорожную дремоту, наполняясь суетой пробиравшихся к тамбуру пассажиров. Похожие на потревоженную стаю птиц, они поднимались с насиженных мест, опережая друг друга, спешили к выходу, кучно скапливались у дверей, готовясь выпорхнуть наружу из холодного металлического короба.

Протяжно заскрежетали тормоза, возвещая о прибытии в конечный пункт следования. Двери с шипением открылись, и капитан, подталкиваемый в спину нетерпеливыми попутчиками, шагнул на запорошённый снегом перрон. Вдыхая обжигающий морозный воздух, двинулся вперёд, крохотной каплей вливаясь в бурлящий водоворот вокзальной жизни.

Вокруг царила привычная толчея. К прибывшим поездам спешили проворные носильщики.

Навстречу им, нагруженные безразмерными баулами и тюками, семенили «челноки». Заросший, неопрятный бомж угрюмо ковылял вдоль неподвижно застывшего состава. Усталый милиционер сосредоточенно курил у входа на перрон, кутаясь в потёртый форменный бушлат. Крупная тётка в ярко-оранжевом жилете, надетом поверх телогрейки, усердно сгребала с мёрзлого асфальта комья грязного снега. Вокзал жил прежней суетливой жизнью: встречал, провожал, шумел сотнями голосов, стуком колёс, гудками локомотивов, мерцал зелёными экранами табло, наплывал нескончаемым людским потоком, струящимся от платформ к мраморному вестибюлю метро.

Выбравшись из толпы, капитан остановился, медленно оглядывая знакомую привокзальную площадь, пронзавший небо шпиль близкой высотки, каменную дугу моста, по которой лениво ползла вереница вагонов.

— Ну что, дружок, вот мы и дома, — произнёс он, бросив взгляд на смешного глазастого утёнка, покоившегося на дне прозрачного полиэтиленового пакета.

Капитан смотрел на игрушку, вновь вспоминая далёкое чеченское село, дымные развалины дома, откуда ещё недавно огрызался очередями вражеский пулемёт. Бородатый стрелок с развороченным взрывом черепом распластался на земле, искривив рот в яростном предсмертном оскале. Чуть в стороне одиноко лежал пушистый жёлтый утёнок. Среди разрушенного жилья, грохота автоматных очередей он выглядел беззащитным, попавшим в беду существом, и рука невольно потянулась к игрушке, бережно спрятав птенца за отворот бушлата. Лишь после капитан заметил мальчика лет четырёх, недвижно лежащего под обломками кирпичей...

«... Не бери в голову, — позже говорил ему комбат, когда ночью они сидели вдвоём в штабной палатке. — Эти наёмники, они по жизни за бабами да ребятишками прячутся. Нелюди, одно слово... Жалко мальчонку, да что поделать — война...» Капитан слушал, соглашаясь, кивал, но перед глазами опять и опять возникал истерзанный взрывом чернокудрый малыш, и мертвец с патлатой ваххабитской бородой уродливо скалил щербатый рот...

Капитан встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Вновь взглянул на утёнка. Сквозь прозрачные стенки пакета птенец казался живым, похожим на пухлого забавного младенца, и капитан невольно улыбнулся, представив, как обрадуется подарку дочка.

Несколько дней назад ему удалось дозвониться ей из Моздока, где после долгожданной замены он ждал отправки домой. Сквозь оглушительный треск в телефонной трубке он едва различал её далёкий голосок, и лишь последняя фраза: «Ты

приезжай, папка, я тебя очень жду...» — отчётливо долетела до него сквозь тысячи километров.

Этот последний разговор с дочкой отозвался в душе тёплой, живой волной. С этого дня капитан не находил себе места, считал часы до предстоящей желанной встречи. А под вечер грудь внезапно сдавила щемящая тоска, и он был готов, не дожидаясь назначенного дня вылета, бежать через заснеженные горные перевалы, добираться пешком до далёкой столицы. Эта тоска, сопряжённая с зыбкой, неясной тревогой, мучила капитана всю последнюю неделю, и лишь когда самолёт грузно приземлился на подмосковном военном аэродроме, тоска отпустила.

...Бархатный снег белёсо искрился в лучах яркого зимнего солнца. Морозный воздух еле слышно звенел, будто в его прозрачную плоть были помещены тысячи крохотных колокольчиков. Тротуар, покрытый тонкой коркой льда, блестел перламутровым глянецом, и капитану казалось, что он движется по сияющей волшебной дорожке, соединяющей прошлое и будущее. С прошлым, с его молодостью были связаны и высокий кирпичный дом с зеркальной витриной булочной, и старый клён, беззащитно раскинувший мёрзлые голые ветви, и семящая навстречу старушка с батоном в ветхой авоське. Настоящее же оставалось позади, в стылом вагоне электрички, в унылом казённом блоке офицерского общежития, за серыми горными перевалами, где по-прежнему грохотала незаконченная война. С каждым шагом капитан всё больше отдалялся от неё, уходя в глубь заветной улочки, по которой много лет назад он шёл, молодой, счастливый, а впереди весёлым колюбом катилась дочка, скользила по сверкающему льду, пытаясь догнать резво прыгающего воробья. Он придерживал её за шарфик, слушал её радостный смех и на какое-то время сам становился ребёнком...

Он замедлил шаг, стараясь задержать драгоценное видение, но оно неумолимо исчезло, и капитан вдруг остро осознал, что этот далёкий день никогда не повторится. Дочка, неуклюже скользящая по мёрзлому тротуару, убегающий воробей, как и его беззаботная молодость, — всё это осталось в прошлом, кануло в бездонные глубины времени.

Эта нехитрая мысль поразила его. Он замер, почувствовал, как внутри вновь проснулась давняя неясная тревога, запульсировала резкими злыми толчками. Как и неделю назад, он не мог понять её причины.

Собравшись с силами, капитан овладел собой. Преодолев оцепенение, бодро зашагал туда, где в глубине квартала возвышался серый монолит многоэтажной панельной башни. Вошёл в подъезд. Поднявшись на лифте, на мгновение застыл перед знакомой дверью, затем решительно нажал звонок.

... Дверь распахнулась. Жена, взъерошенная, сонная, оторопело застыла в дверном проёме.

— Здравствуй, — растерянно произнесла она, на мгновение подняв выпуклые белёсые глаза. — Ты откуда?

— Оттуда, — холодно отозвался он, смерив её усталым равнодушным взглядом.

— А мы тебя позавчера ждали... — она запнулась, глухо закашлялась, отвернув в сторону худое угловатое лицо.

— Не вышло позавчера, — по лицу капитана пробежала едва заметная тень. — Шесть суток в Моздоке просидели.

Он вдруг замолчал, недоумённо глядя на бывшую супругу. Не узнавал прежнюю склочную, истеричную бабу в нынешней притихшей и робкой женщине.

— А где Танюшка? — спохватившись, спросил он. — Она... — жена замешкалась, непонимающе взглянув на него. — Ты разве не получал телеграмму?

— Какую телеграмму? — недоумённо произнёс капитан, вновь ощутив давнюю тревогу.

Его взгляд заметался по квартире, наткнулся на вешалку, где среди вороха одежды не было знакомой серой шубки, скользнул по столику перед зеркалом, не находя неизменной ярко-красной расчёски с приставшими завитками каштановых волос, проник через приоткрытую дверь в комнату дочери, пробежал по непривычно пустому письменному столу.

— Где Танюшка? — повторил он, шагнув к жене, и та, вдруг всхлипнув, уткнулась ему в плечо.

— Где она?! — он встряхнул её за плечи, заглянул в глаза и в них неожиданно прочёл безмолвный страшный ответ...

— ...Она последнее время сама не своя ходила, всё за тебя переживала. А как ты позвонил тогда, так она места себе не находила от радости. Любила она тебя... — жена печально взглянула на него. — А в тот вечер я её за хлебом послала, полвосьмого уже было, торопила я Танюшку: магазин вот-вот закроется... Никогда себе не прощу!.. — она вновь закрыла руками лицо. — Я из окна смотрела: она вдоль дороги назад шла. А тут этот джип... И откуда взялся — Бог его знает. То ли на льду его занесло, то ли ещё чего — выскочил на тротуар ишибанул её со всего маху. И пока скорая, пока одно, другое... — жена запнулась. — Крови много потеряла, не успели довести...

— Когда это случилось? — глухо спросил капитан. — Тогда же, во вторник, — жена устало прикрыла глаза. — Вчера похоронили... Я тебе сразу телеграмму послала, на тот адрес, что у Танюшки был записан...

— Надо было в часть звонить, — вздохнул он, — они бы быстрее разыскали...

— Не сообразила,— она обречённо махнула рукой.— Я и телефона не знала...

Капитан молчал, уставившись в пустоту. Перед глазами, словно в калейдоскопе, мелькали разрозненные картины недавнего прошлого. Клубилось косматым дымом горное село. Огромный джип накатывался на дочку, накрывал её чёрной лакированной тушей. Под развалинами дома медленно остывало тело чеченского мальчика. И над всем этим зловеще хохотал мёртвый ваххабит, распростёршийсь возле искорёженного пулемёта.

Одoleвая бред, капитан тяжело поднялся, непослушными руками одёрнул китель, провёл по лицу ладонью, будто смахивая невидимую паутину.— Ладно,— еле слышно произнёс он.— Пойду я, пожалуй, Наташа...

— Куда же ты?— жена встрепелась, подняла на него воспалённые глаза.— Остаешься... Ну куда ты сейчас пойдёшь?

— Да нет,— капитан покачал головой.— Пора мне, пойду...

Он сдавленно вздохнул, спешно вышел в прихожую. Дребезжащий лифт опустил его в холодный сумрак подъезда. Потом он брёл через двор, мимо детской площадки с застывшими качелями, белым квадратом песочницы под пушистым снежным покровом. Качели, песочница— всё, что раньше было связано с дочкой, в чём чувствовалось её незримое присутствие, ныне сквозило пустотой, отзывалось в груди щемящей болью. С каждым шагом боль усиливалась, застилала глаза вязкой непроглядной пеленой, сквозь которую звучал печальный голос дочки: «Ты приезжай, папка, ты приезжай...»

На повороте, где посередине мостовой тускло блестели трамвайные рельсы, капитан остановился, оглянулся назад, на серую громаду дома, холодно смотревшую ему вслед льдистыми глазами окон. Дом, долгое время наполненный

теплом и уютом, теперь казался огромным каменным склепом, в котором была навеки похоронена последняя несбывшаяся надежда.

У стеклянного бруска трамвайной остановки он медленно опустился на узкую мёрзлую скамью. Яркое солнце нещадно било в глаза, и в свете его слепящих лучей капитан внезапно увидел дочку. Маленькая, в короткой шубке, она бежала к нему, оскальзываясь на тонкой наледи, и её алый шарфик развевался, трепетал на студёном ветру. Подбежала, радостно засмеялась и стала энергично тормошить его...

— Вам плохо?

Молодой милицейский сержант вновь тронул его за плечо. Круглолицый, розовощёкий, он недоумённо смотрел на капитана простодушными голубыми глазами, в которых, словно в небе, белёсой искоркой отражалось солнце.

— Да брось ты его!— из кабины патрульного «уазика» выглянул угрюмый сонный напарник.— Небось перебрал малость, до Нового года не дотерпел!

— Подожди ты!— отмахнулся сержант и снова склонился над капитаном:— Что с вами?

Капитан очнулся. Обвёл взором милиционеров, притулившийся у кромки тротуара «уазик», узкий жёлоб улочки, по которому, гонимые ветром, клубились снежные вихри. Грузно поднялся.

— Всё нормально, браток,— произнёс он, взглянув на сержанта невидящими, будто присыпанными пеплом глазами,— всё путём.

Он кивнул милиционеру, слегка пожал ему локоть и, тяжело ступая, медленно двинулся прочь.

Встречный ветер колко ударил в лицо россыпью мелких снежинок, но капитан не чувствовал их жгучего холода. Похожий на слепца, он медленно уходил в прозрачную морозную синеву, и лишь забытый на остановке утёнок одиноко глядел ему вслед своими чёрными круглыми глазами.

Александр Орлов

Прощальный мундиаль

Каникулы! Эта радость удваивалась свободой: весь июнь я должен был жить один. Не в полном одиночестве, конечно: родители оставили под мою опеку забавного старика. Отец моего отчима уже давно удивлял всех своими выходками. Прошлой весной он пошёл выносить мусорное ведро и уехал выбрасывать содержимое с Ленинского проспекта в Сокольники, к стадиону братьев Знаменских, где проживал ранее. А на днях вышел во двор, а через сутки милиция обнаружила старика на лавочке у Большого театра.

Москва меняла свой облик, а я с друзьями каждый день спешил на Сретенку к открытию книжного магазина. Впервые в продаже появились цветные альбомы и наклейки с фотографиями футболистов — участников чемпионата мира в Италии. Спекулянты, менялы и накачаные ребята из Подмосковья сопровождали длиннющие очереди, а у метро перепродавали водку, играли в «напёрстки» и «три листа» иногородние светлые парни.

Центральное телевидение в первый раз отважилось на трансляцию всех матчей чемпионата мира. Казалось, весь мир замер в преддверии футбольного торжества.

Девятое июня... первый матч сборной СССР на мундиале. Перед самым началом трансляции дверь распахнулась, и с улыбкой и извинениями в комнату, прихрамывая на обе ноги, заспешил Александр Ефимович. Как обычно, старик был одет в каштановый пиджак с орденом Красной Звезды поверх белой майки и синие тренировочные штаны, которые он усиленно вытягивал, подгоняя под армейские галифе. Я не был рад его появлению. Но как прогонишь старика?

Усаживаясь на стул, Александр Ефимович весело начал разговор:

— Ну что, Старостина освободили, теперь игра у «Спартака» наладится, чемпионство не за горами. Я ведь тоже когда-то за «Дукат» в полузащите играл, — старик помолчал минуты две и вновь оживился: — А кто сейчас капитан «Спартака»? — Фёдор Черенков, — чёрство ответил я.

Началась трансляция, комментатор называл состав сборной СССР, перечисляя футболистов киевского «Динамо» — Владимира Бессонова, Олега Кузнецова, Анатолия Демьяненко, Геннадия

Литовченко, Олега Протасова, а старик, сидя вполоборота к телевизору, вдруг заулыбался и сказал: — Наши ребята из киевского «Старта»!

Я не сразу сообразил, о чём говорит Александр Ефимович, и хотел было возразить ему, но постеснялся; я внимательно посмотрел на него, а он улыбался, качал головой и говорил:

— Наши! Наши герои! Николай Трусович, Иван Кузьменко, Алексей Клименко, Николай Коротких, Макар Гончаренко.

Началась игра. Во время трансляции матча комментатор непрерывно называл фамилии игроков сборных СССР и Румынии. Александр Ефимович резко окинул меня взглядом и спросил:

— С румынами играют?

— С румынами, — ответил я.

— Они что же, «Рух» уже обыграли и венгерский гарнизон, сейчас с румынами, а потом «Флакелф»? Я-то знаю, сейчас всё и начнётся! — Александр Ефимович повернулся ко мне и спросил: — Помнишь, как они их дважды разделили?

— Помню, вернее, знаю: пять-один и пять-три. «Матч смерти!» — смущённо ответил я.

В самом начале игры, на второй минуте, после великолепного паса Александра Заварова Олег Протасов оторвался от защитника сборной Румынии, вышел один на один с голкипером румын Лунгом и пробил, но вратарь с лёгкостью устранил опасность. Были активны белорусы Сергей Горлукович и Сергей Алейников, опасно действовал воспитанник тираспольской футбольной школы Игорь Добровольский, а ближе к концу первого тайма Александр Заваров, обыграв румынского защитника, пробил вслепую, Лунг успел выйти вперёд, сократить угол и парировал его удар. Румынская сборная стала остро контратаковать, комментатор постоянно перечислял фамилии: Лупеску, Сабэу, Лэкэтуш, Радучою...

— Антонеску, Думитреску, Константинеску... — встревоженно повторил Александр Ефимович. — Румыны? — ещё раз грозно переспросил он меня. — Румыны, румыны... — рассмеялся я.

— Румыны, цыганскую их мать! У-у-у-у-у, па-дадь! — проголосил старик.

Я никогда не слышал, как ругается Александр Ефимович. Я был ошарашен и смотрел на этого дряхлого деда с ужасом.

— Знаешь, как они в Одессе на работу плётками людей выгоняли? Знаешь? А как они, мадьяры, немчура поганая, баб наших драли?— он требовал ответа и свирепел.

Мне было неполных пятнадцать, я смотрел на разгорячённого ветерана и не знал, что ему ответить.

— Румыны, суки продажные! Не воины— говно. Мы их с Мишкой-одесситом в плен даже не брали. Давили! Он хороший паренёк был, еврей, ему двадцати ещё не исполнилось, всё мечтал после войны в море ходить и в «Гамбринус» легендарный меня приглашал; только нет его, в Трансильвании заживо сгорел. Какой парень погиб! Я после войны к его родне, в Одессу на Бунина и в Киев на Крещатик, гостить ездил. Родня его киевская чудом выжила, их священник православный, кавалер георгиевский, окрестил и выдал свидетельства, так он всю их семью от Бабьего Яра спас. А скольких ещё кто сосчитает? Только в памяти у киевского еврейства тот священник остался, его служители автокефалистов-самостийников— гарные хлопцы в рубахах с нагрудной вышивкой— распять пытались, да не смогли, проволокой колючей к кресту привязали, бензином облили и сожгли живьём. Знали мы о многом и давили с Мишкой всю эту погань так, чтобы всю жизнь помнили, давили на Украине, давили в Румынии, везде, где попадались подстилки гитлеровские. Всех их помню! Антонеску, кондукатор сраный,— за ним след кровавый по Бессарабии через Буковину в Одессу и Сталинград ведёт, а Думитреску— я ему и Днестр, и Крым не забуду, крыса одноногая, перекрашенная, а Константинеску, Мочульский, Дэскелеску...

Фронтовик с трудом самостоятельно передвигался, но с какой яростью он вспоминал, как честно и люто ненавидел! Я подумал, что в нём живёт та самая строчка из священного гимна Василия Лебедева-Кумача: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна,— идёт война народная, священная война». Только для Александра Ефимовича война была не закончена.

А на сорок первой минуте стремительный полузащитник сборной Румынии и бухарестского «Стяуа» Мариус Лэкэтуш забил первый мяч в ворота сборной СССР.

Первый тайм был окончен.

Я смотрел, как восседал на румынском стуле из красного дерева Александр Ефимович, а его самодельные галифе становились мокрыми, капли стекали в тапочки.

— Пойдёмте,— уныло протянул я.

— Куда-а-а-а-а?— виновато и боязливо поинтересовался он.

— В ванную, мыться.

Начало второго тайма было за румынскими футболистами, которые превосходили сборную

СССР в скорости и собранности; арбитр усмотрел игру рукой в штрафной площади у экс-спартаковца Вагиза Хидиятуллина и ошибочно назначил пенальти, которого не было. Мариус Лэкэтуш уверенно переиграл Рината Дасаева— 2:0.

Александр Ефимович сидел на стуле, обтянутом клеёнкой: после ванной комнаты я завернул старика в простыню.

Он внимательно посмотрел на меня и угрюмо промямлил:

— А пиджак?

— А он вам очень нужен?— спросил я.

— Мне без пиджака никак нельзя, мне орден сам Драгунский вручил, наш комбриг, геройский мужик был, в нём жила сила духа необычайная, Самсон ветхозаветный позавидовать мог. У него на родине, в Черниговской области, фашисты расстреляли отца, мать, сестёр, братья на фронте погибли. Он знаешь какой был? В сорок третьем я в танке горел, моя машина первая ворвалась на вражеские позиции, нас подбили; слава Богу, уцелели все. Я слово комбригу дал, что, пока жив, не сниму награду.

Он молча принёс Александру Ефимовичу пиджак, накинул ему на плечи, он заулыбался.

— Под Житомиром зимой сорок третьего комбриг наш вперёд всех вырвался на танке, ему это было не впервой, ранили его в том бою тяжело, такто... Я ведь Киев и Правобережную Украину под командованием Драгунского освобождал, потом ранен был, случайно нахитгальцы, суки недобитые, подстрелили. Но это что! Я бендеровских выблюдков до середины пятидесятых истреблял, так что в расчёте.

...За два года до чемпионата мира я с отчимом и его сыном от первого брака был в гостях у Александра Ефимовича, который проживал тогда в одиночестве на улице Подбельского. Внук Александра Ефимовича как-то зловеще обратился к деду:

— Ну что, дед, здорово.

Дед читал пожелтевший номер «Красной звезды» десятилетней давности.

— Дед, а дед, это я, твой внук Саша,— желчно ухмыляясь, проговорил мой тёзка.

Александр Ефимович, не отрываясь, читал газету, он вообще был глуховат— сказывалась житомирская контузия. Мы стали собираться, в этот момент Александр Ефимович достал носовой платок, стал громко сморкаться и харкаться.

Как я узнал позже, мой отчим студентом был на практике в Алтайском крае, он вернулся домой с беременной девушкой Надеждой. После войны Александр Ефимович работал в мгб, и для пенсионера-чекиста не составляло труда узнать всё о новоиспечённой родственнице. Как оказалось, барнаулка была дочерью одного из оуновцев, после лагерного срока осевшего на Алтае. В морозный

вечер на Сретение Александр Ефимович выгнал сына и сноху с ребёнком.

...Становилось понятно, что сборная Румынии доминирует на поле и может выиграть с более крупным счётом. Комментатор искал причины поражения, ругал футболистов, и в тот момент, когда он назвал Василия Раца, Александр Ефимович вновь оживился.

— Это какой Раци? Иштван? Лайош? Вражина! — сквозь зубы процедил старик.

А что мне было ему ответить? Объяснять, что Василий Раци — футболист сборной СССР, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата Европы, бывший игрок киевского «Динамо», выступающий за «Эспаньол» из Барселоны?

— Венгры! — ядовито усмехнулся старик. — Их я тоже помню, особенно Сталинград, а кто-то — Дебрецен, Будапешт или Балатон. И вождей их помню: Хорти, Яни, Салаша, Вайна, Карой! Как забыть? Жалость одна: не я их к стенке ставил, не я их на виселице вздёрнул; вот ничего уже больше не могу, а всё сожалею, что не я. В Венгрии я и воевал, и после войны там бывал часто. Еда там вкусная, свой вкус, особый, немного украинскую кухню напоминает. Свинины много венгры едят, и гуляш, и паприкаш, и паштет гусиный у них что надо, а палинка какая — м-м-м-м... — усмехнулся старик. — Только я когда Венгрию вспоминаю, всё один вечер на ум приходит. Вблизи советской части в деревеньке играли свадьбу, весело было, солдатиков наших так на свадьбе палинкой наугощали, что они все пьянющие задремали. И те, которые были на посту. А вот поутру нас туда и вызвали. Смотреть было страшно! Никого мадьяры не пожалели, а ребята все хохлы, совсем молоденькие; я и не знаю, как сказать: гуляш из них сделали или паприкаш, а может, ретеш. Сонным всем им перерезали глотки, а потом вспороли животы, а некоторых разрубили на куски. Такой вот кровавый чардаш. Так было спустя пять лет после нашей Победы, и не раз.

Матч между сборными СССР и Румынии был окончен, румынские футболисты и болельщики праздновали победу, а Александр Ефимович смотрел на меня с повинной гримасой. Я протянул

ветерану руку, и мы отправились в ванную комнату.

Вскоре сборная СССР сыграла свой прощальный матч на чемпионате мира в Италии тысяча девятьсот девяностого года. Мы каждый вечер смотрели футбол вместе с Александром Ефимовичем, я готовил еду, мыл его, а по ночам слышал судорожные вскрики:

— За Родину-у-у-у-у-у! За Сталина-а-а-а!

Как-то ночью перед финалом чемпионата мира я почувствовал, что в комнате я не один. Александр Ефимович при полном параде стоял напротив иконостаса. Всматриваясь в иконы, старый коммунист взглянул на меня и спросил:

— Как думаешь, Бог есть?

— Есть, — ответил я.

— Все вокруг ангелы, а я грешник. Всю жизнь я примечал грязь вокруг и всматривался в себя тайком, всё хотел понять: не я ли слякоти человеческой причина? — он молчал какое-то время, а потом скорбно прошептал: — Иисусе Сладчайший, я сознаю свою немощь, отпусти мне мои согрешения.

Александр Ефимович встал напротив меня и спросил:

— А ты знаешь, кто такой патриот?

И, как прежде, я не мог ответить ему ничего. Тогда Александр Ефимович душевно и строго произнёс:

— В переводе «патер» означает «отец», а патриот — это хранитель отеческих заветов, этому учили меня в приходской школе.

Весь мир рукоплескал чемпионской игре сборной Германии; о немецких виртуозах Андреасе Бреме, Рудольфе Фёллере, Юргене Клиинманне, Лотаре Маттеусе говорило всё человечество.

На футбольной площадке после нескольких горячих игровых дней соперник-десятиклассник, глядя на мою майку с заветным десятым номером и повязку капитана сборной школы, крикнул:

— Саш, ты как Лотар Маттеус!

— Я как Фёдор Черенков! — злобно парировал я.

В тот вечер, вернувшись домой, в прихожей за спиной мамы я увидел покрытое чёрной тканью зеркало.

Марина Вахто

До неба



Тёмный омут, берег тинный... Там, под ивами, в тиши
Кукло делала из глины, из травинок—шалаша.

Помню, мнёшь в руке да гладишь маслянистый катышок,
С зеленцою мокрый мякиш—вот и кукла-голышок.

Светлый лес покойно дремлет. И светло, покойно мне.
И казалось, что и время спит на омутовом дне.

Но клонился день к закату, и просились в шалаша
Мои славные ребята—глиняные голыши.

Но взаправдашно-живыми были дочки и сынки.
Как я плакала над ними, сиротинками моими,
У темнеющей реки!

Уходила в слёзы сила. Сон всё ближе, боль—слабей.
И я Боженьку просила: «Деда, деток пожалей».

До неба

До самого неба бежать спозаранку!
Не слыша зазывных охранных молитв,
С угора сигать в световое пространство,
Нырять в запредельность озёрных мокистр¹

Теряться в распластанном мире бесследно.
Какую-то тайну пытаться постичь,
Пугая стрекоз и кузнечиков медных,
Пугаясь внезапности утренних птиц.

Качаться от ветра, как жиденский стебель,
Не чуя ни корня, ни мокрой земли,—
И таять взаправдашним облаком в небе—
Ни зов, ни молитвы достать не могли!

А бабка страшила змеиною кочкой,
Цыганами, порчей, лесным лешачьём.
Но беленький крестик на тёмном шнурочке
Отважно попрыгивал: всё нипочём!

А бабка крепила сухими перстами,
От сна отгоняя и туки, и гнёт:

«Как к хлебу и соли ничто не пристанет,
Так к нашей Маринке ничто не прильнёт».



Я любила запах лилий,
Омут с белою звездой.
Мы в краю небесном жили
Над коричневой водой.

Был наш дом высок и тёмн,
Полон шорохов ночных.
Тишиной шуршали в доме
Тёплый Дох и мягкий Дых.

Под окошком шастал кто-то—
Пело скрипами крыльцо,
И стучало о ворота
Сердцевидное кольцо.

— Кто там?..—кто-то был—и сгинул.
За окошком—горстка звёзд.
Только Васька горбит спину,
Всё шипит и дыбит хвост.



Что осталось, мой друг, нам с тобою?
Ворох листьев да груды песка...
Да вечерние гуды гобоя,
На котором играет тоска.

Эти долгие низкие гуды
Из безлюдных скалистых миров—
Нестерпимей слезливой простуды,
Неотвязней нытья комаров.

Скука марта... ах, как всё знакомо:
Небо жидкое, клейкий снежок.
И гудит над весенним погромом
Этот сиплый английский рожок.

Как роднит он с бездонным сиротством,
С миром брошенным, с небом ничьим.
Что ещё нам с тобой остаётся?
И сидим, и молчим. И молчим.

1. Мокистры—лешачихи, кикиморы, шишиги (сев.).



Давай уйдём, куда-нибудь уйдём—
В леса лучей и платиновых лезвий,
Пока слюдится дождь под фонарём
И пёс бездомный греется в подъезде,
За семь небес, за тридевять созвездий
Давай уйдём—

Куда глаза глядят. Глаза глядят
В лицо твоё. В лицо вселенских бедствий.
В слюде дождя младенчество маслят.
Давай уйдём, и тоже станет греться
В добре желательств, душий и соседствий,
В добре дождя.

Окно в дожде, и в раме белый свет.
Какой пустяк: любить и всё отсрочить.
Приникнуть детством к скважине замочной,
Чтоб разгадать пергаментный секрет.
Тебя узнать в далёкой чёрной точке
И ждать сто лет.

И ждать, и трогать крашенный косяк,
Пучок хвоща и ягоды в корзине.
И посекундно видеть каждый шаг,
Как мокрый мостик под тобой пружинит
И липнут к брюкам катышки полыни.
Какой пустяк!

Уснуть в лесах созвездья Близнецов,
И в тридесяти царстве двуединства
Смотреть вселенской радости в лицо,
И никуда уже не торопиться.
Легонько гладить кончиком мизинца
Твоё лицо.



И ларчик расписной захлопнул крышку,
Похоронил сокровище своё.
Шершавый ветерок проворной мышкой
Обнюхивает жалкое жильё.

Снега сошли. Билибинские сини
В сырые подворотни уползли.
Колокола сиреневых глоксиний
Заглохли в нафталиновой пыли.

И ты стоишь средь неба и бурьяна,
К дверям закрытым прислонив батог...
Скрипит песок в суставах деревянных,
Мой низколобый, дряхлый городок.

И что тебе— мои любовь и память?
Их ливни смыли, с корнем выжег зной.
Чернеют под дождём резные ставни,
Захлопнул крышку ларчик расписной.

Варвара

Сугробов ветрами надуло до крыш.
В замёрзшем пруду спит лягушка-царевна.
Здесь нет благодати да глади. Но тишь
И глушь здесь такие, что страшно. Деревня.

Пылятся в чулане хомут и узда.
Каурка издохла, заглох колоколец.
Лишь торит тропинку в сугробах нужда—
Седая Варвара бредёт на колодец.

Искусно её было сшито пальто,
Да нынче изношено, молью побито.
А ей всё едино— что воля, а что...
Старик на погосте, разбито корыто.

Что дождик, что ведро, что колкий снежок...
Ей всё неотвратной бедой отзовётся.
И снова скрипуче и хрипло: «Дол-жо-ок!»—
Со скрипом бадейки ползёт из колодца.

Бесстрастного страх не изменит лица—
Все лиха, все грозы стряслись над Варварой:
Уж ей ли страшиться той сказочки старой?
Добраться бы с ношей живой до крыльца!

Да Муське, душе разъединой-одной
На всём белом свете,—
Тех щец, что прокисли...
А небо смеркается над головой,
А снег всё летит, неотвязный, как мысли.
И горбят заботы, как ведра с водой
На чёрном от века её коромысле.

Сосна

Это было когда-то— не помню когда:
Я ходила на ключ за водой.
И была ледянее январского льда
Та вода под сосною седой.

Волосами свисали косматые мхи.
На стволе каменела слюда.
Смоляные лодчонки сухой шелухи
Уносила беглянка-вода.

Всей дремучестью хвойной от хвори и зла
Свой родник укрывала она.
Я такой же дремучей и верной была,
Как и эта седая сосна.

Молчаливость моя ей была по душе.
И, хрустя муравьиной трухой,
Я несла в золотом берестяном ковше
Ледяное питьё с шелухой.

Сергей Арутюнов

Путь зерна

Россия

Вот идёт она от шлагбаума
Мимо спящих в пыли дворняг
Под мотивчика пошловатого
Примитивно-тупой верняк,
В драных трениках, блёклой маечке,
Наблондинена, подвита,
И гадают бухие мальчики,
Где там ижица, где фита,

А не надо, заиндевелившие:
Под пшеничку взошла куколь.
Те стреляли, а эти вешали,
Только разницы никакой.
Здесь не росчерк, а фальшь факсимиле,
Как в салонах ни процедуры:
Проступает печать насилия
Синяками сквозь поцелуй.

В «Бургер Кинге» ли, «Баскин Роббинсе»
Те же самые окружают,
Посочувствуют—оскоромился,
Присоветуют оранжад.
Но не слякотными обидами,
А лишаем на лишае
Дышит муза моя убитая,
Горевавшая лишь по мне.

Так давай же, крути, проматывай,
Заговаривай полухворь,
Этой кровушки цвет гранатовый,
Этой касочки—полевой.
Покажи нам вторую серию,
Муза русская, дуй в свирель.
Бедный дом наш, увитый зеленью,
Чем обугленной, тем светлей.



Дёрнешь «Примы» за магазином,
И пригрезится в пять минут,
Будто в зареве негасимом
Годы прежние вспять идут.
И покажется: неужели
Так бессмысленно коротка
Эволюция униженья
Престарелого городка?

Вместо слогана—пыльный лозунг.
Это в космос кидает клич
Детской памяти отголосок,
Дорогой Леонид Ильич.
Слава утру! Врагов угробив,
Горделивая, как балет,
Марширует страна героев,
Боевых, трудовых побед.

И опять, как на всём Востоке,
Кучковаты до тесноты,
Олимпийские новостройки,
Поликлиники, детсады.
И колец—как лучей, как будто
Ветеранам под шестьдесят,
И ликующему кому-то
Тополя стеной шелестят,

И, немотствуя в отраженье,
Проржавевший скрипит шарнир:
Жив и дед в ледяной траншее,
И отец, объяснявший мир.
И, покрытый золой и пеплом,
Ты вернёшься, насквозь пробит,
К фотографиям чёрно-белым,
Где неистовый век трубит.

Эмилю Сокольскому

Кто в юности не радовался грозам,
Тревоге и тоске небесных сфер,
Тому, что дуб, обуглен и раскромсан,
От молний схорониться не успел?

Кто не мечтал однажды о потопе
И жизни новой, чистой, как разряд?
Изломы туч—души сырой подобье,
В ней бесовские паводки пестрят.

Кто бедствия считает высшим благом,
Геройством бредит, мал ещё для битв,
Поскольку о земле ещё не плакал
И не смеялся, счастье отлюбив.

С тех пор, не раз переведён с латыни,
Я тщетно слово русское грызу,
И чужд ему, но пошлости святые
Произношу бесстрашно, как в грозу.

Обратившееся колосьями,
Наклонившимися земно,
Как ты выжило в зябкой озими,
Неприкаянное зерно?
Всю дорогу впритык, по краешку,
Чтоб, учёту не подлежа,
Аварийную жала клавишу
Измудоханная душа.

Не смущая себя вопросами,
Жили будто бы век не свой,
Под гармонии брели на росстани,
Выворачиваясь листвою,
Отбиваясь от властной похоти
И от века, что бесноват,
Попадали куда ни попадая
Длинным списком робинзонад,

И такая была тут истина,
Некий даже что идеал,
Что и вера была убийственна,
И поток её обтекал,
Потому что и верить не во что,
Если в зыби, поросшей мхом,
Обессиленно, третьедневношно
Мчатся годы порожняком.

Так ропщи же, тяни, не сматывай,
На ветру сыром трепещи,
Это начат отсчёт предстартовый,
Молодой, аки огонь в печи,
Это ревмя ревёт крольчатина,
Но практически спасена
Перемогшая окончательно
Нескончаемый путь зерна.

Александру Орлову

Туда, где беспечное солнце блудит
И облака реет крахмал,
Мы ехали молча, солдат и бандит,
И дождь нам по стёклам кропал

О том, кто чеканил, как лист—хлорофилл,
Бренды «Логоваз»—«Евросеть».
Но так ли, как мы, он друзей хоронил,
Уйдя в депутаты борзеть?

В «Тойоте», похожей на старый башмак,
Покрытой шершавой корой,
Мы выстояли на своих рубежах,
А дальше—учёт и контроль.

Сверяйте по спискам, бандит ли, солдат,
Кого погубил или спас.
Но полнился духом иль был пустоват,
Господь разберётся без нас.

За признаки повторенья,
Что в сверстниках узнаю,
Будь проклято это время,
Сводящее нас к нулю:
С душком его коммерсантским
Не всхлипнешь пред образком,
Прислуживая мерзавцам
На пиршестве воровском.

О век наш! Блюда уставы
Окраинных пустырей,
Мы с детства искали славы,
Чтоб вырасти поскорей.
Примерные каторжане,
С костяшек содрав бинты,
Курили за гаражами,
Желая Большой Беды.

Пока нам о продрозвёрстках
Талдычили день за днём,
Мечтали о далях звёздных
И верили: ускользнём,
Искрящими егозами
Прорвёмся поверх плетней—
Уж мы б себя показали
И собранней, и бледней

При этих мельканьях пёстрых,
Что средствами внесены
В те щели, где пуст напёрсток
И вечен повтор зимы.
...Сгрузившись на волокуши,
Что кто-то во мгле запряг,
Ты скажешь: бывало хуже.
Да что бы ты знал, сопляк.



Эта пыль картонажная, едкая хлорка в сортирах,
Оцинкованный тазик и тряпка засохшая в нём —
Наслаждайся, пацан. Это запах родимых затирок.
От него мы не раз неприятеля прочь шуганём.

Нам давно не в новинку сливные потёки на трубах.
Нас рожали на смерть подмосковные вечера.
Мы наследники тлена, последыши приисков рудных,
И душа голосит, в неминуемое вовлечена,

Что и вправду пора, посреди копошенья заглохнув,
Затвердить наизусть — коли нет ничего, шикани:
Пропади в этой мгле между саун и автосалонов,
Подле платных парковок у моргов и бывших нии.

Это Родина пахнет — невинно, подмышечно, сонно,
И над нею смердят оккупантов клыки и резцы,
Потому что свежи и манящи бесплодные стогна
Вдоль заборов рифлёных и липкой апрельской грязи.



Когда над крышами горит
Усталость ледяного плена
И явь отсвечивает бледно
Меж Сцилл кровавых и Харибд,
На ржавых пиках арматур
Трепещет горизонта сажень,
Чтоб ветер, землю искушавший,
Аллеям слёзы промокнул.

Мне холодно в родном краю,
Протопленном с такой натугой,
Что ноздри забивает уголь
И злаки чахнут на корню.
Мне — холодно в краю родном,
Без мыслей, чувств, надежд, желаний,
Когда манит зрачок шерханий
На запасной аэродром,

Где хором дизели козлят,
Не помня, как весны хотели,
И март врывается в котельни,
Удушьем затыкая взгляд.
Что делать мне? Охолону
Под ликами канонов строгих,
Стадами блёклых новостроек,
Расписанных под хохлому.

И лишь густая синева,
Дымясь эффектом парниковым,
Встаёт враспор, как в горле комом,
Самой собой осенена —
Одна, не пятак, не юля,
По испохабленному праху
Внесёт прижизненную правку
Последним снегом февраля.



Соскальзывая в слабину,
Надежды хороня,
Не сын я веку своему
И прочим не родня.
Приказывая: околей
Пред ледяным ручьём, —
Он столько бросил в топку дней,
А я-то здесь при чём?

Когда он мечется в тоске,
Куражится в бреду,
Повисни мир на волоске —
На помощь не приду.
Ещё проснувшись не вполне,
Струит он тишину,
А я в раздутом им огне
И гибну, и живу.

А я ему и стол, и дом,
И просто вид сырья,
И мне в кумире золотом
Не распознать царя,
И вера дольняя мертва,
И велики долги,
И отблеск зыблется едва,
И постромки туги.

Но здесь, в арктическом аду,
Близ тёмного ядра,
Затеял я одну игру,
И удалась игра.
Теперь скули ты, не скули —
Не выкричишь дупла,
И то, чем был я искони,
Изжарено дотла.



И люди побега, и звери погрома,
И те, что за небо цеплялись корнями,
Годами гадали, насколько огромна
Та вера, что душами их окрыляли,

А ветер уже подымался в оврагах
И бил по ноздрям лопухом и сурепкой,
Стуча в переносицы ставен квадратных,
Вбирая потоки земли разогретой.

Но стоило стихнуть и пеплу, и праху,
Туда, где в тумане мерещилась пристань,
Как будто внося неизбежную правку,
Два облака плыли во мгле серебристой,

И рогом звучал погребам и кладовкам
Сигнал о конце примитивных семантик:
Два облака плыли в молчанье глубоком,
И третья, поменьше, пыталось догнать их.

● ● ●
Елене Костандис

До упора бродить в этом смутном аду,
Поклоняться дивану, кувшину, окну,
И обиды сносить от своих параной,
И перчатки терять по одной...
Не мешало б, конечно, беречь свой очаг
И у Родины милой не быть в сволочах,
Но стоишь почему-то у створа окна,
Примечая: перчатка — одна.

Так не щёлкай же клювом, бедой отболей,
Прорываясь к метро меж пьянчуг, тополей,
Мимо горцев, которым пророк — Мухаммед,
И того, чему имени нет.
Потому что, измеренный плоской шкалой,
Ты влачишь на себе этот век нежилой,
И рыдаешь, и ржёшь, закусив удила
Ожиданьем тепла.

Но затем и манили степные огни,
Что прикопаны клады, куда ни копни,
И пока ты любим даже здесь, на краю,
Я слезами твоей путь окроплю.
Я Господь, мне угодна последняя тварь,
И горючий сентябрь, и трескучий январь,
Я найду тебя там, где ты вспомнишь меня,
Посредине жнивья.

● ● ●
Ещё бесснежен сумрак вековой,
А ты, до края чашу наливая,
Отчаливаешь в облачный конвой,
Где так вторична участь нулевая.

Заткнись и пей. Вторая — соколóm.
Тверди: мол, мир от смерти заслоняю,
Вбирая немолчный шелест за окном,
Пошатываясь между сном и явью...

Не пробуждайся. Молча сиротей,
Размокшие талоны отоварив.
Оттиснут на сетчатке серый день,
И ранняя зима, и гром трамваев.

Когда судьба коричневее шпал,
Болезненнее плётки семихвостых,
Уместно вспомнить, как полжизни ждал
Чего-то запредельного, как воздух,

Но, вымахнув почти на полтебя,
Как сивка перед горками крутыми,
Стоит октябрь, и паче бытия
Предзимний взбрык унынья и гордыни.

● ● ●
На ветру походном, в шёпоте постельном,
Днём при ясном солнце, ночью при луне
Маленькая вилла с голубым бассейном
Никогда под финиш не светила мне.
Рифы да лагуны, тропики-саргассы,
Спел про вас мне Север песенку одну:
Пышно вы цветёте — нечем восторгаться,
Я над вашим горем только хохотну.

Кто обедало грязью, ночевал на трупах,
Знает неусыпно: дальше — пустота.
Может, это опыт, сын ошибок трудных,
Но скорее — чувство липкого стыда.
Мёрзлы наши души, стены прокопчёны,
Ржавы теплотрассы, гибелен маршрут,
Но скользнут по сваям солнечные пчёлы
И тоску-тревогу поедом сожрут.

Поскользнусь в заулке, изогнусь да съеду,
С дряхлого асфальта стылый лёд сколов,
На картонке драной по сырому снегу,
Полечу, как пуля, меж витых стволов.
Знает наше небо, что душе в охотку:
Скорости хмельные, воля в три струи!
На картонке драной вдоль по околотку —
Господи, помилуй! Боже, приструни!

● ● ●
Ты не обитель — путь мне укажи
Среди руин, снегами погребённых,
Пока друзья уходят в алкаши
И плачет в церкви блоковский ребёнок.

И то сказать: печальна ребятня,
Что выживает с нами ради Бога,
Когда самой душе внутри меня
Так безнадёжно, гулко, одиноко.

Хрустит стекло под мёрзлым сапогом,
Молчат просёлки, стыннут батареи,
И хлеб мой чёрств — чеснок да самогон,
И ближние в тоске поднаторели.

Огня б сюда, людей, прожекторов,
Компрессорно-бульдозерного рыка,
На Родину письма: мол, жив-здоров, —
И тумбочки, где с Родины открытка...

Но даже если времени петля
Потуже сдавит веку шею бычьей,
Я, так же на условности плюя,
Ни жизни, ни судьбы не закавычу.

Юрий Беликов, Сергей Черемных Достоевский без работы не останется

Уже закончилась наша беседа, уже я выключил диктофон и Сергей Валентинович подвозил меня на машине к дому, а предмет разговора всё продолжал притягивать его, как магнит: даже за рулём он говорил о Достоевском. По иронии (а может быть, волею) судьбы мне наемдни вручили орден Достоевского 1-й степени. Вообще-то эту награду надо бы вручить Черемных.

Разумеется, мне и раньше приходилось общаться с юристами. Не могу сказать, что я испытывал при этом радость. Все они мне казались «сухарями» и— за редким исключением— регламентированными, скучными и где-то даже унылыми людьми. А сейчас я ловил себя на мысли, что с судьёй Сергеем Черемных мне интереснее, чем с иным филологом, давно погружённым в тему.

Я спросил Сергея Валентиновича о том, что, наверное, в его кругу на эту тему приходится распространяться нечасто. Он ответил утвердительно и не без сожаления. Черемных работает в Пермском краевом суде вот уже четверть века. Перед тем как перейти в кассационную инстанцию краевого суда, довольно длительное время рассматривал тяжкие и особо тяжкие уголовные дела. Собирается написать книгу. Не сомневаюсь, что одним из адресатов-собеседников её станет Достоевский.

— Сергей Валентинович, из рассказов ваших коллег я представляю прямо-таки мистическую картину: судья Черемных, прежде чем вынести приговор, читает романы Достоевского. Причём— при свечах. Это уже какой-то ритуал. Прочитает— и вынесет. Где тут истина, а где миф?

— Действительно, я читаю Достоевского при свечах, однако не на работе, не дома, а на даче. Но свечи— не ритуал, а бытовая необходимость, потому что иногда злоумышленники обрезают провода. И на даче судьи краевого суда— тоже. При этом я сразу хочу сказать: современному человеку при свечах много прочитать нельзя. Мы уже привыкли к другому освещению. А при свечах зрение всё равно устаёт. Наверное, свечи выглядят в моём случае как нечто театральное и пафосное, но они— в чём-то порыв души, мечущейся в поисках утраченного времени, которое мы не застали, но нам его оставила в наследство русская

классическая литература. Поэтому хочется проникнуться: как, например, люди писали гусиными перьями в колеблющемся свете свечей? Помните, какие были заботы у Фёдора Михайловича? Накупить свечей да бумаги.

— А всё-таки увлечение Достоевским началось до того, как вы избрали стезю юриста? Или выбранная стезя разбередила в вас интерес к его романам?

— В школе мы ведь проходили только «Преступление и наказание». И знаете, чему я поразился? Даже мальчишкой, многого не понимая, но начав погружаться в этот текст, я похолодел: он— как бездна!..

— Неужели эта «бездна» подтолкнула поступить на юрфак?

— Совершенно верно: Порфирий Петрович. Он самый. Пристав следственных дел из «Преступления и наказания». Я перечитал весь роман, ища его фамилию. Как так? Должностное лицо— всё равно его фамилия должна была мелькнуть. А тут везде— Порфирий Петрович. Фёдор Михайлович, очевидно, долго подыскивал фамилию для Порфирия Петровича. И не нашёл. Той, которая бы соответствовала этому образу.

Прислушайтесь: в романе у каждого героя— говорящие фамилии. Родион Романович Раскольников. Три «Р». Свидригайлов. Потом— Соня. Здесь, видимо, переключка, с умершей дочерью Фёдора Михайловича. Он назвал свою героиню её именем, чтобы воскресить эту душу, хотя это опять же мои предположения. Та Соня умерла в Швейцарии, а вот эта— Соня Мармеладова.

Вдумайтесь в фамилию! С одной стороны, что-то сладкое, а с другой— тяжёлая жизнь с жёлтым билетом. Я всегда поражался умению Достоевского давать фамилии своим героям и названия произведений. Вот Шатов из романа «Бесы», который ничего не боится. На нём всё держится— на Шатове. И— шатается... Нет лучшего названия, чем «Братья Карамазовы». В слове «братья»— близкое, родное. И в то же время— Карамазовы. В самом звучании кроется нечто страшное! Можно было бы наречь роман просто— «Карамазовы», но Достоевский уравнивал их словом «братья».

Кстати, проглядывается и любопытнейшая аббревиатура: диа... Дмитрий, Иван, Алексей.

Начало слова «диавол». Понимаете, что получается?..

— *Вы сами пришли к этому открытию?*

— Сам. Хотя, может, где-то написано уже. О Достоевском — тысячи исследований, но можно писать ещё тысячи. Самое главное — надо его читать.

— *Отчего именно труды Достоевского стали Библией Черемных? Не Тургенева, не Льва Толстого, не Чехова, не Бунина?*

— Очень верно сказал Иосиф Бродский: «На Олимпе не надо искать первых и последних». Есть Тургенев, есть Толстой, есть Чехов, есть Бунин, есть Достоевский. Это наш Олимп.

— *И всё-таки вы выбрали Фёдора Михайловича?*

— Наверное, потому, что люди, о которых он писал, были узнаваемы на улицах. Низы общества. В своё время я работал слесарем на пермском машиностроительном заводе им. Октябрьской революции. Там, знаете ли, не было разговоров о Леонардо да Винчи. Но дело даже не в этом. А в том магнетизме, который возникает во время чтения произведений Достоевского. Конечно, читать Фёдора Михайловича второпях, на пляже или в гамаке не стоит.

— *Но смотрите: я читаю Бунина и слышу мелодию фразы. Читаю Достоевского — и слух мой начинает спотыкаться о небрежности его прозы. Допустим, в «Записках из мёртвого дома» только в одном абзаце я насчитал десяток производных от слова «работа». Парадокс, но любой теперешний маломальский редактор правил бы Фёдора Михайловича нещадно! Недаром Никита Михалков на обсуждении его фигуры в известном телепроекте «Имя Россия» обмолвился: «Философ Достоевский». Заметьте: не писатель, а философ. Не думаю, что это была случайная оговорка... Ясно, что Достоевский писал, спеша. Потому что ему нужно было работать.*

— Действительно, во всех письмах Фёдора Михайловича проглядывает зависть к Тургеневу и Толстому по поводу того, что им не надо думать о хлебе насущном, о том, чтобы отработать аванс. У одного — Спасское-Лутовиново, у другого — Ясная Поляна. Да, это так. Но я поражаюсь другому. Будучи в Швейцарии со своей женой Анной Григорьевной, Фёдор Михайлович взял аванс. Она беременна Софьей. Небольшая комнатка. Жена лежит за перегородкой, а он пишет роман «Идиот». Пишет-пишет и вдруг спотыкается и приходит к мысли: это всё не то!..

Да, огромную работоспособность Достоевского отмечали все современники. Он был, как кандалами, прикован к столу. Но в данном случае Фёдор Михайлович бросает массу написанного

и начинает с чистого листа — тот вариант, который мы сегодня знаем как роман «Идиот». То есть Достоевский себя правил!

Конечно, реальность часто делала Фёдора Михайловича фигурой карикатурной — завистливой, обидчивой, мнительный, спорящей едва ли не из-за каждого проигранного рубля, но, садясь за письменный стол, Достоевский из этого мира уходил.

— *Однако в наше нечитающее время сложно даже представить, чтобы человек не просто читал романы Достоевского, а, я полагаю, и перечитывал их!*

— Но я их на самом деле перечитываю. Больше всего — «Братьев Карамазовых». Дальше идут «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы». Помните — в «Преступлении и наказании»? «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Имеется в виду Библия. В этой картине скрещиваются все вопросы.

— *И — приметы нынешнего дня?*

— Блудниц — полно, убийц — тоже.

— *Вы действительно можете воспроизводить по памяти целые куски из Достоевского?*

— Нет, я всё-таки не актёр и целиком никакие куски не заучивал. Но мне очень нравится сцена в доме старшего Карамазова, когда он задаёт вопрос Ивану: «Иван, скажи мне точно: есть Бог или нет? Только точно скажи». Иван говорит: «Нет Бога». — «А бессмертие, Иван, хоть маленькое, малюсенькое есть?» — «Нет бессмертия». — «А ты, Алёшка, что думаешь?» А тот: «Если есть Бог, есть и бессмертие». Старший Карамазов подумал: «Нет, по-моему, Иван прав». Вот видите, великий вопрос, который волнует всех, — и сплошные противоречия. Как тут, в этом романе, всё сошлось?! Чем вам не учебное пособие для всех наших юристов?!

Вот коллизия: сын убил отца. И сын же осуждён. Но допущена следственная и судебная ошибка! Потому что осуждён другой сын — тот, который не убивал, а не Смердяков. Но ведь был суд присяжных, который мы считаем высшей формой суда. И, тем не менее, чудовищная ошибка происходит...

— *В статье известного публициста и литературоведа Людмилы Сараскиной, опубликованной в «Российской газете» под заголовком «От Рублёвки до Куцёвки», говорится о том, что «мы живём в уникальное время, когда «работает» не один, а все романы Достоевского». Вы с этим утверждением согласны? И что же за «уникальное время» мы получили в результате всех социально-экономических и политических преобразований?*

— Да, эту статью я читал. А что я на сей счёт думаю? Романы Фёдора Михайловича «работают» в наше «уникальное время» хотя бы в том, что сейчас наружу вылезли нажива и богатство... Но здесь мне хотелось бы оперировать конкретикой. Достоевский очень любил число «сто тысяч». Разумеется, рублей. У него это число фигурирует едва ли не во всех романах! Смердяков говорит Ивану: дескать, убили бы его, Карамазова-старшего, — и вам бы всем вышло наследство по шестьдесят тысяч рублей. А затем Смердяков достаёт из носка три тысячи, отдаёт их Ивану: мол, вот они, деньги! Тем самым признаётся в убийстве. Но при этом продолжает жадно смотреть на извлечённые из носка радужные банкноты. Магнетизм денег и наживы! Человеку осталось жить-то два-три часа... Если помните, потом раздаётся крик, что «свидетель Смердяков повесился». Поразительно: он только что исповедался, но за шаг до смерти человеку хочется посмотреть на эту кучу радужных бумаг.

Что мы видим сегодня? Жадность, предательство друзей, убийство партнёров... Таково наше «уникальное время». Поэтому и романы Фёдора Михайловича без «работы» не остаются.

— Любопытный факт: один из отцов приватизации, небезызвестный Анатолий Чубайс, не так давно во всеуслышанье признался, что до как-то пор не читал романа Достоевского «Бесы». А когда осилил, у Анатолия Борисовича возникло необоримое желание «разорвать его на куски». На ваш взгляд, отчего такая бурная реакция?

— «Разорвать на куски»?.. Может быть, он узнал себя в Верховенском-младшем? Давайте отдадим ему эту роль, потому что на Ставрогина Чубайс явно не тянет. Конечно, хорошо, когда ты похож на Гамлета. А когда — на Верховенского-младшего, или — на Ставрогина, или — на Смердякова, какую же радость может испытывать человек? Он понимает, что гений писателя проник в самые дальние закоулки его души и всё про него узнал ещё сто пятьдесят лет назад.

— Может быть, роман «Бесы» должен стать настольной книгой любого политика, рвущегося на вершину власти? Хотя, вероятно, постижение этого романа отбивает охоту туда подниматься. Мне рассказывал бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина Павел Воцанов, что после того, как он, Воцанов, сделал заступ за кремлёвскую стену, он вынес оттуда только одно желание: больше никогда никому не служить.

— Власть — это магнетизм почище романов Фёдора Михайловича! Что сказал старец Зосима Ивану? «Если этот вопрос не решился в вашем сердце в отрицательную сторону, то он не решится и в положительную». Когда человек устремляется во

власть, он пойдёт в эту власть, встав из-за письменного стола, на котором раскрыт роман «Бесы».

Кстати, мы забываем: а сам-то Фёдор Михайлович переворот ведь затевал! То есть шёл не куда-нибудь, а в ту самую власть. Хотел перевернуть мир и оказаться наверху. Он уже отодвигал Петрашевского. Потому что в глазах Достоевского это был болтун, не желающий воплощать в реальность революционное дело.

— Чтобы был понятен мой дальнейший вопрос, хочу привести цитату из статьи Людмилы Сараскиной: «Казалось, только что российское общество, пройдя через все фазы навязанной ему социальной утопии, познав самые страшные последствия смутного времени, выкарабкалось из трагической ситуации „Бесов“ — романа о дьявольском соблазне переделать мир... Но нас, только что переживших опыт... изгнания бесов из общественной жизни, будто взрывной волной отбросило назад, в контекст другого романа Достоевского — к событиям „Преступления и наказания“». Не наблюдали ли вы в материалах конкретных дел, которые рассматривались в краевом суде, вот это перемещение общественного сознания от «Бесов» к «Преступлению и наказанию»?

— Уголовное дело — это всё-таки не роман. В уголовном деле фиксируется преступление. Подозреваемое лицо привлекается в качестве обвиняемого, признаёт он вину либо не признаёт. Собираются доказательства. Убийств, конечно, за последнее время я рассмотрел много. Их статистика выросла в разы. На первом месте — масса убийств бытового плана и на личной почве. Пьяная ссора, во время которой человек теряет границы дозволенного. Видит на столе нож и берёт его в руку. Или заходит за перегородку, хватается за ружьё и стреляет в обидчика. К сожалению, заказных убийств мы рассматриваем не очень много.

— Оттого что нераскрыты?

— Может, нераскрыты, а может, раскрыты, но не так. Что касается Родиона Раскольникова, замислившего убийство старухи-процентщицы... Есть один очень страшный момент, получивший сегодня распространение. Нам по-человечески больно рассматривать дела, жертвами которых всё чаще становятся старушки. Это люди, которые социально незащищены. Их жестоко обманывают одни, являющиеся под видом представителей соцзащиты, а другие просто их за эти пенсии убивают. Как могут противостоять семидесятилетние-восьмидесятилетние бабушки и старики разъярённому наркоману? Конечно, никто никогда из этих преступников не задаётся известным вопросом Раскольникова...

— «Тварь ли я дрожащая...»

— «...или право имею?»

Когда человек через несколько лет после совершения преступления пишет явку с повинной, ты понимаешь, что с его душой что-то стряслось в тот роковой миг, да и происходит сейчас, в момент явки. А так — мотив преступления, как правило, банален: нужны деньги или вещи, имущество. Миром по-прежнему правит корысть. Те самые сто тысяч рублей, которые фигурируют в романах Достоевского. Не понимают люди, что переступил за черту — и обратной дороги нет.

— Вы судите уже более четверти века. В свете всего уже проговорённого нами, можете ли вы, положив руку на сердце, сказать: всегда ли судили по совести, и не давала ли она досадных сбоев?

— Есть такой старый анекдот: на крыльцо земского суда выходит судья, рядом — писарь, который несёт во-о-от такую стопку законов. Недалече — мужички, пришедшие судиться. Судья спрашивает: «Ну что, мужички, как вас судить? По закону? — показывает он на писаря, в руках которого — десять томов. — Или — по совести?» Они: «По совести, батюшка, по совести!»

— То есть на мой вопрос вы отвечаете притчей?

— Я просто вспомнил анекдот. Само собой, все люди допускают ошибки. И я тоже не был от них застрахован. И меня, разумеется, поправляли — и когда я работал в Дзержинском районном суде, и когда перешёл в краевой. Поправляли в вышестоящих инстанциях, отменяя вынесенные мной приговоры. Но считаю: «страшных» ошибок (так я их называю) я не допускал.

— Как-то я спросил одного хирурга: «Помните ли вы всех своих пациентов?» Он ответил: «Не сомненно». А судья, читающий Достоевского при свечах, помнит ли всех своих подсудимых?

— Я скажу так: помню фабулы дел, рассмотренных в первой инстанции. Восемь лет я работаю во второй инстанции. Здесь помню меньше. А те дела, которые рассматриваешь непосредственно, они какими-то своими крючочками остаются в душе. И я не забыл первого своего осуждённого. Фамилия у него смешная — Фунтиков. Это был человек дна. Раньше писали не «бомж», а «бомжир». Что означало: без определённого места жительства и работы. Была в восьмидесятых годах такая двести девятая статья в УК.

— Какое же злодеяние совершил господин Фунтиков?

— Никакого. Просто он бродяжничал, у него не было социальных корней. Его доставляли куда следует, предупреждали, что он должен изменить свой образ жизни. Но как он изменит его? Хотя как раз в этом смысле-то можно было в Стране

Советов что-то да попробовать. И Фунтиков был осуждён. Причём — уже по пятому разу. Он через год выходил на волю, просил судей, чтобы они ему подгадали освободиться летом, опять вливался в свой круг, обитавший рядом с вокзалом Пермь-вторая. Их снова задерживали, помещали в спецприёмник, паспортизировали, давали направление на работу...

— Какое у нас, однако, было социально ориентированное государство! На фоне нынешнего: сколько сейчас в России кругов Фунтикова?! А всё-таки не кажется ли вам, что настало время материализации хрестоматийной, зазубренной каждым школьником фразы из «Преступления и наказания»: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» И эту фразу вот-вот — и начнут воспроизводить не только бомжи у теплотрасс, но и все «униженные и оскорблённые» граждане России?

— Знаете, меня очень потрясло и задело, когда я услышал, что у нас в Прикамье четыреста тысяч человек живут за чертой бедности. То есть у них доход — две и менее тысяч рублей на человека. Четыреста тысяч — из двух миллионов живущих в Пермском крае!

— При этом — у нас два официальных миллиардера и более трёх тысяч миллионеров.

— И по городу в час пик невозможно проехать из-за скопища иномарок. И рядом — четыреста тысяч людей, которые не то что сводят концы с концами, а просто не могут их свести!..

— Вы, конечно, помните, как Родион Раскольников говорит: «Все законодатели и установители человечества... все до единого были преступники...» Есть ли в вашей памяти пример из новейшей нашей истории, который бы опровергал эти слова главного героя «Преступления и наказания»?

— Всё-таки судьи — это правоприменители. Издан закон. Мы должны им руководствоваться. Законодательство в нашей стране здорово менялось и меняется. Возникают новые общественные отношения, которые требуют регулирования и, соответственно, развития законодательства. Однако иногда и правоприменители не выдерживают: «Ну что тут они намудрили?! Что наворотели?!» Мы понимаем, что эта норма неправильная или не до конца выверенная. Но надо как-то её применять. При этом несогласие с «законодателями и установителями» остаётся.

Вот я вам всё это говорю: а сам думаю: как на ваш вопрос-то ответить? Во всех решениях Конституционного суда присутствует такая фраза: «Жизнь, честь, достоинство и свобода человека — высшее благо». И когда это будет не только фразой в правовом документе, но и реальностью, вот тогда, наверное, я и смогу ответить на ваш вопрос.

Евгений Степанов

Юбилейные заметки о смысле жизни

Юбилейные заметки о смысле жизни

Близкая подруга (поэт и редактор журнала) попросила меня написать небольшое эссе о смысле жизни.

Что я могу сказать?

Пятого июня 2014 года мне исполнится пятьдесят лет. Время, как говорится, подводить итоги. С точки зрения обывателя, моя жизнь прошла весьма разнообразно и нескучно.

Коренной москвич, я более десяти лет провёл вне родного города. Учился в школе не только в Москве, но и в Крыму, в Евпатории, жил и работал в русской провинции (в Тамбовской области, Чувашии), за границей — во Франции, Швейцарии, США, Украине (это теперь тоже за граница), Швеции, Германии, Болгарии и так далее.

Каждая страна — отдельная эпоха. Когда надо было завоёвывать своё место под солнцем. Иногда в условиях, приближенных к боевым.

Каждая страна — тема отдельного эссе (или книги).

В детстве и юности занимался спортом — футболом, хоккеем, боксом. Был чемпионом Москвы.

Увлекался музыкой — играл в оркестре баянистов-аккордеонистов.

Изучал иностранные языки — работал переводчиком.

Изучал филологию и журналистику — работал и работаю (двадцать пять лет) в издательстве. Издал более двух тысяч книг, сотни выпусков газет и журналов.

Окончил экономический факультет университета по специальности «Финансы и кредит» — стал финансистом.

Прошёл через какие-то суровые жизненные университеты — не хочу сейчас о них вспоминать. Выжил.

Построил дом. Встретил и сохранил на всю жизнь любовь. Вырастил ребёнка. Посадил много деревьев. Написал книги. Печатался и печатаюсь как стихотворец, прозаик и литературный критик в толстых и тонких журналах.

Обо мне написаны десятки лестных статей — я им верю.

Обо мне написаны десятки ругательных статей — я им не верю.

Это канва внешняя. Но важнее — другое. Важнее не то, как я жил, не то, что обо мне написано, а то, что я понял.

Я понял, что человек должен найти свою формулу счастья. Открыть её — лично для себя.

Моя формула счастья проста.

Я живу по тем законам, которые сформулировал для себя уже давно.

Винюват, неправ — извинись, исправь ошибку. Должен денег — верни.

Если делаешь хорошее дело, но тебя ругают, — не опускай руки. Работай ещё активнее.

Помогай родным и близким.

Не забывай — у тебя есть право: обнимать не всех. И есть право уклоняться от объятий.

Но быть вежливым и корректным желательно со всеми.

По сути, помимо десяти заповедей, я сторонник великого стихотворения Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно / и не оспаривай глупца».

В мире (не только в России) живёт много взрослых, которые похожи на подростков. Люди боются брать ответственность на себя, зависят от государства (особенно на Западе).

Я скажу даже резче: западного человека поддерживает государство, а в России всё наоборот — здесь человек поддерживает государство.

Трагические события в России в девяностые годы, когда рухнул Советский Союз, постперестроечная эпоха научили меня суровым, но полезным правилам: рассчитывать только на себя, принимать решения самостоятельно и меньше говорить — больше делать.

В 1991 году я стал соучредителем своей первой фирмы.

Позднее, в 2000 году, с ближайшими друзьями мы создали компанию, которая имела очень хорошие стартовые позиции. Мы нашли инвесторов. Сняли роскошный офис на Арбате. Среди наших заказчиков были крупнейшие организации страны. Но фирма быстро прогорела. Потому что было очень много капитанов корабля.

Я понял, что капитан должен быть один. Иначе судно неизбежно идёт ко дну.

Вот уже одиннадцать лет я руководитель и единственный учредитель холдинговой компании «Вест-Консалтинг». За всё приходится платить

одному. Но зато и прибыль (если есть)—тоже только моя.

Вспоминаю смешной эпизод из своей издательской практики.

Я купил один журнал (бренд). Начал издавать. Через некоторое время некоторые литераторы начали давать мне ценные указания, какой журнал делать, каких авторов печатать, а каких не печатать. А потом и вовсе стали обвинять меня в том, что я захватил рейдерским путём этот журнал. Пошла фейсбуковская ругань в мой адрес.

Я читал эту ругань и, жалея моих оппонентов, думал: «Друзья! У меня есть конституционное право издавать то, что я считаю нужным. Почему же вы хотите его у меня забрать? Если же вы считаете, что я купил журнал с нарушением закона, обратитесь в суд. Пусть он нас рассудит. Оттого, что вы сто раз обзовёте меня плохими словами, дело ведь не изменится!»

И ещё я удивлённо думал: «Почему же люди такие наивные и беспомощные? Ведь так не бывает, чтобы решения принимались коллегиально, а расплачивался за всё один человек».

Я, наверное, всё-таки не поэт. Я прежде всего— бизнесмен. Эмоций у меня осталось предельно мало. Но это не мешает мне любить поэзию и поэтов, понимать их маленькие слабости и спокойно относиться к колкостям, которые нередко от них слышу.

Я благодарен за всё Богу.

С самого начала я был очень хитрый и ловкий парень. Я так ловко подгадал, что родился в самой лучшей в мире семье. Мой отец—известный специалист в области сметного нормирования, заслуженный экономист России. Мама—лингвист и переводчица с немецкого языка. Я, конечно, не превзошёл своих родителей, но пошёл по их стопам, став и экономистом, и лингвистом. И, надеюсь, хорошим человеком.

С ранней юности и молодости со мной самые близкие мои люди: Наталия Лихтенфельд, Сергей Бирюков, Марина Кудимова, Юрий Беликов, Марина Кива, Юрий Милорава, Сергей Мнацаканян, Нина Давыдова, Дмитрий Цесельчук...

Жизнь подарила мне множество прекрасных встреч и друзей.

Я помню, как встречал своё восемнадцатилетие. Мы были вдвоём с Наташей Лихтенфельд.

Мне казалось тогда, что я всё в жизни уже испытал, что знаю о жизни слишком многое. Мне казалось, что я старик.

Пятидесятилетний юбилей я встречаю опять-таки с Наташей, а также с нашей дочкой Настей, и внучкой Катинкой, и зятем Куберой.

Я чувствую себя очень молодым. И неопытным. Каждый день я делаю новые открытия.

Всё очень странно.

Всё хорошо.

Спасибо.

Жора и Женя

Они вместе учились на факультете иностранных языков Тамбовского педагогического института, в восьмидесятые годы прошлого века. И—так получилось—не виделись тридцать лет. Жора и Женя, два закадычных (когда-то) друга.

...2012 год. Им обоим исполнилось по пятьдесят два года. Жора приехал на встречу выпускников из райцентра Рассказово, а Женя прибыл на тридцать первом поезде из Москвы.

— Ну как ты, Жорж?—хлопнул по плечу старинного и немного распольневшего друга поджарый, даже суховатый Евгений.

— Да что я? У меня всё по-прежнему. Как распределили в школу директором, так и работаю. Забот много. Дети пошли сложные, сплошные компьютеры в голове, книг совсем не читают. Но боремся, языки преподаём. Всё-таки есть хорошие ребята. У меня уже и дочка, Сашенька, в школе работает. Английский преподаёт. Тоже наш пед закончила, это теперь университет. Всё солидно!

— А жена как? Я её помню. Она же училась на истафаке, правильно?

— Правильно. Жена со мной, Светочка моя драгоценная. Мы всю жизнь вместе. Тоже в школе работает. Правда, в другой, не в моей. Историю преподаёт. Я Светочку очень люблю. Люблю как святую женщину.

— Да ладно!

— Нет, правда. Мы уже давно не живём плотской жизнью, мы стали единое целое, как-то так само получилось, что она для меня теперь как икона. Хочешь верь, хочешь не верь. Она и в церковь каждый день ходит, я-то редко, только по праздникам. Она теперь поистине Божий человек. Придёт домой— всё колготится, колготится, что-то по хозяйству делает, даже на табуретку не сядет. И—молится постоянно. Только за полночь угомонится. «Пойду ляжу»,— скажет, полежит чуток и опять молится...

— Ну а ты ещё чем занимаешься? Кроме того, что в школе работаешь?

— Да не поверишь: я немного и в политике участвую. Вот уже второй срок депутатствую в районе. Второй срок, так сказать, мотаю... Много вопросов, ты знаешь. «Ты умач!»,— так Сашенька сейчас надо мной смеётся, когда я какие-то статьи в газете печатаю. Но что-то делаем, старикам помогаем, молодым... А ещё я люблю, как прежде, ездить на рыбалку. Карась у нас по-прежнему хорошо берёт, да и карпы в прудах остались. В Лесном Тамбове, конечно, рыбы особой нет, хотя мужики иногда ловят...

— Как же я рад за тебя, Жорж, ты полностью реализовался. Я даже в чём-то завидую тебе. Ты социально-значимая личность, человек на своём месте. Молодчина!

— Ничего я особенного, Жека, не добился. Нигде, кроме Тамбовщины, не был. Даже в Турцию жену

и дочку не свозил... Ну а ты-то как? О тебе совсем ни слуху ни духу, как уехал тогда в Москву, так и пропал. Рассказывай, москвич, как дела!

— У меня, братан, всё немножко по-другому. Я так и не женился. Хотя женщин знал много. Прожил, ёлы-палы, греховную жизнь холостяка — где были яркие, хотя и недолгие, встречи с невероятными женщинами. Жил не только в Москве, но и за границей... В Польше, Германии... В Америке только болтался четыре года...

— Ну ты даёшь! И там у тебя были женщины?

— Конечно. Как же без них?!

— А какие они, американки? У них, поди, и это... всё другое?

— Поперёк ни у кого не растёт. Всё то же самое. Есть, конечно, свои особенности. Иногда просто забавные, как сейчас говорят, прикольные.

— Ну какие, какие? Рассказывай! Это же интересно!

— Да что рассказывать? Два года там жил с женщиной-банкиром шведского разлива. Умная, богатая женщина. Она в банке работала, я баранку крутил. Таксистом был в Нью-Йорке. Сначала мы вместе жили, ребёнок у нас родился, Джозефом назвали, по-русски он говорит, но с акцентом, взрослый сейчас уже... Тоже в банке работает. Когда мы расстались, я снял себе студию в Манхэттене, жил один. В самом центре города. Опять шоферил, деньги на воспитание ребёнка своей экс давал. Хотя она и так богатая! Ну и жил на полную катушку! Дорвался до свободы. Негритянки, китаянки, корейки, мексиканки... Секс — это тоже познание мира. Собственно, весь мой опыт — от них, от женщин. Знаешь, что их, американок — и белых, и чёрных, и жёлтых! — объединяет?

— Что?

— Уверенный взгляд.

— Не понял.

— Ну, они очень уверены в себе, я бы даже сказал — самоуверенны. Во всяком случае, хотят такими казаться.

— Интересно. А почему они такие?

— Не знаю, но, видимо, это связано с бизнесом. Если хочешь устроиться на работу — рекламируешь себя изо всех сил. «Это умеешь делать?» — «Умею!» — «А это?» — «И это!» Если же ты замешкаешься в ответе, босс усомнится в тебе и возьмёт другого. А если он всё-таки возьмёт тебя, ты по ходу дела всё освоишь. Именно так думают многие американцы, в том числе и женщины. И, разумеется, это отражается на лице, на внешнем облике человека. Привычка становится второй натурой.

Наверное, так и надо жить. Но иногда, знаешь, бывает немного забавно. Когда, например, какая-нибудь страшная толстуха считает, что она не уступает по красоте Мэрилин Монро. В общем, уверенностью в себе, самоуверенностью американки сильно отличаются от наших женщин...

— Ну а как ты сейчас? В Москве?

— Да, в Москве, в столице нашей Родины. Уже лет двадцать как вернулся из Штатов. Фирма у меня своя. Довольно большая. Занимаемся извозом. Примерно двадцать машин у меня в Москве. Частное такси. Бизнес успешный. Квартира в центре. Да не одна. Купил квартиру Джозефу в Квинсе, это неплохой район в Нью-Йорке. Вообще, миллиона два-три долларов в недвижимости у меня есть. — Сколько?

— Два-три миллиона баксов. Да не удивляйся, старик! Это же очень мало! Копейки! Я самый маленький предприниматель. В Москве знаешь какие воротились?! Мне же денег всё время не хватает. То одна машина сломается, то другая, а гаишникам сколько надо отдать, а налоги, а зарплаты, а офис... За всё же надо платить. В общем, верчусь, как белка в колесе. Да и, опять же, на баб сколько бабла уходит!..

— Мне тоже всё время не хватает. Хотели мы тут со Светочкой дачку купить, но цены и у нас кусаются. Домик с газом уже меньше чем за миллион рублей здесь, в Рассказове, не купишь. Но ничего, может быть, какой сарайчик без газа купим. Это дешевле. В общем, всё нормально. Слушай, а Джозеф твой не женился ещё? У меня Сашенька всё никак мужика нормального не найдёт. Нос воротит от наших, рассказовских...

— Мой олух женился. Знаешь на ком? На негритянке. Сюзен зовут. Тоже в банке, ети её, работает. Внучка уже у меня. Мулаточка. Керри. Хорошая такая девочка, два годика ей, я к ней часто в Нью-Йорк летаю. Очень её люблю.

— По-русски говорит?

— Знает несколько слов. А по-английски уже говорит лучше меня, все слова знает. Умная — страсть. Компьютерные игры обожает.

— Да, небывалая у тебя жизнь. Я тебе даже завидую.

— А я, наоборот, завидую тебе. У меня, по сути, никогда не было нормальной семьи. Я прожил много лет один. И сейчас живу один. Приходящие подруги — это не в счёт. Это не семья.

— Ну ладно, Жека, не кисни! Пойдём теперь всё-таки выпьем, с другими ребятами поговорим. Тебя все заждались.

— Пойдём.

Евгений Степанов

Быть русским

Всё о том же

непонятки тоска перепалки
догонялки за грешной мошной
целый день бы смотрел ёлки-палки
фильм какой-нибудь глупый смешной

я устал от стервозных клиентов
на меня нагоняющих страх
я устал от неврозных комментов
в социальных безумных сетях

только паузы нет и надежде
я сказать ничего не могу
остаётся бежать — так как прежде —
остаётся упасть на бегу

Быть русским

не знаю — может быть и голь мы
потёртые у нас порты
быть русским — значит с колокольни
плевать на деньги и понты

быть русским — делать то что можем:
пахать творить молиться петь
и быть счастливым в храме Божьем
а вне — терпеть

Герой земного шара

жизнь похоже Божья кара
или просто смертный бой
ты герой земного шара
потому что ты живой

то болезнь то в доме свара
то налоги то грабёж
ты герой земного шара
потому что ты живёшь

ты живёшь ты не сдаёшься
в плен не схваченный никем
улыбаешься смеёшься
несмотря на боль — меж тем

смерть пленительная шмара
забывать о ней — не сметь
ты герой земного шара
потому что встретишь смерть

Октябрь

закрывают озябшие дачи
засыпает мой сад-огород
и душа потихонечку плачет
хоть она — говорят — не умрёт

плачет точно предчувствует лихо
точно холод нездешний в груди
точно острая как облепиха
замаячила жизнь впереди

ничего-ничего — всё в порядке
очень скоро здесь будет тепло
я вернусь — эти вечные грядки
я вскопаю всем бедам назло



очки пиджак — рюкзак — планида
башка как бабушка седа
и — лебединое либидо
в холодной упаковке — льда

смешенье рас смешенье наций
но я спокоен как удав
пройдя этапом эмиграций
себя — хотя б чуть-чуть — познав

я говорю: отставить слёзы
отставить громкие слова
а памяти моей занозы
я вытащу — са ва? са ва



достоинств хилая дружина
была разбита в пух и прах
сама себя впотьмах душила
душа уставшая в боях

я погибал — так гибнет юнкер
узнав что знамя сожжено
я умирал — но я не умер
как дачу обживая дно

и грешный точно нувориши
забывший про слова любви
я вдруг услышал голос свыше
ты нужен и такой — живи

Поэзия

Журналистка из Америки спросила меня
 А что такое поэзия
 Я не стал отвечать
 Я думаю она бы не поняла меня
 Поэзия это моя мама
 Никогда ни на что не жалующаяся
 Поэзия это картины Модильяни
 «Тёмные аллеи» Бунина
 Второй концерт Рахманинова
 Ближний бой Майка Тайсона
 Панда забирающаяся на дерево
 Касатки выныривающие из океана
 Поэзия это вечер в Быково
 С той невероятной двадцатилетней чаровницей
 Которая потом чуть не погубила меня
 Это подросток уступающий место в метро старушке
 Это «поехали» Юрия Алексеевича Гагарина
 Поэзия это...
 А что же тогда печатают журналы поэзии
 Это стихи всего лишь стихи



Жизнь? И ладно, и живы куда.
 Смерть? И значит, законный удел.
 Я спокоен—вот счастье и чудо.
 Кое-что на земле я успел.

Я обегал полмира—так заяц
 Обегает не частый лесок.
 Я любил гениальных красавиц.
 Я воспитывал Настю как мог.

Хоть бывало я нес разный бред—но
 Краской лжи не поганил стихи.
 А еще я молился усердно—
 Дабы смыть прегрешенья свои.



время безжалостней сути садиста
 так что не будем пенять
 надо бы жить лет наверное триста
 чтобы хоть что-то понять
 чтобы освоить какое-то дело
 чтобы скопить капитал
 чтобы душа наконец повзрослела
 чтобы я в космос слетал
 чтобы глаза точно рампа лучились
 чтобы прозрели верхи
 чтобы стихи у меня получились
 чтобы сложились стихи

Главное

а главное—и в холод лютый
 любви храни очаг и кров
 а главное—не перепутай
 дары данайцев и волхвов
 а главное—не будь обузой
 своим земным опекунам
 а главное—на встречу с музой
 не приходи напившись в хлам

Этот город

молодые—жили-были
 этот город не клыня
 убивали—не убили
 в этом городе меня

научился здесь терпеть я
 нипочём не унывать
 и спустя десятилетия
 оказался здесь опять

всё как прежде—отморозки
 и святой блаженный люд
 и красивые берёзки
 в тихих сквериках растут

Восемь строк

1.

монетизация скандала
 монетизация войны
 монетизация развала
 большой и правильной страны
 героизация бандита
 поэтизация тюрьмы
 а нация почти убита
 а виноваты сами—мы

2.

извне—оттуда—вот она
 Россия—свет—восторг
 Россия—это Оптина
 а не оптовый торг
 Россия—сила Божия
 Россия—свет—всегда
 а бедность бездорожие...
 так это не беда

Илья Тюрин

Пушкин — Божий псевдоним

...Творчество Пушкина вошло в поэтическую душу моего сына очень рано: к трём годам он знал наизусть множество его стихов, но особенно любимым стало описание битвы в «Полтаве». Надо было слышать, с каким пафосом он произносил, например, такие строки:

..Из шатра,
Толпой любимцев окружённый,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза...

В Михайловское я привезла Илью, когда ему исполнилось девять лет. И Святогорский монастырь, и светлые воды реки, и, конечно, сам комплекс музеев произвели на него колоссальное впечатление. Он буквально фонтанировал стихами Пушкина, чем, в свою очередь, потряс здешних музейщиков настолько, что для него одного устроили экскурсию по дому Александра Сергеевича.

Потом была долгая дорога в гостиницу с разговорами и стихами, и тогда же на подобранной деревяшке Илюша углём и соком трав изобразил Святогорский монастырь, а вечером в гостинице нарисовал фломастером портрет поэта... Уже много позже я нашла в записных книжках Ильи новое обращение к тому давнему впечатлению: на листке изображён всё тот же Святогорский монастырь, где упокоен Александр Сергеевич, но — в перечерке косою дождя...

Первым книжным приобретением Ильи-подроска стал внушительный том в суперобложке «Сочинения А. С. Пушкина в одной книге». Именно к нему он обращался беспрестанно, хотя и других изданий поэта в доме было предостаточно. Видимо, тогда же и сформировалась мысль, которую уже в своих стихах он выразил так блестяще: «Пушкин — Божий псевдоним». Гений Пушкина растворён во всём творчестве Ильи, но мы отобрали только те стихи, которые он прямо посвятил любимому поэту.

О мистическом творческом родстве поэтов разных эпох написала и Марина Кудимова в эссе «Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пушкин, Илья Тюрин». Предлагаем вашему вниманию несколько фрагментов из этой работы.

Ирина Медведева

Для Пушкина

Я буквой начинаю стих,
Когда мне хочется начала,—
И в чёрных записях моих
Найдутся три инициала.

Они не значат ничего.
И вздор под ними ими правит,
Но имя бога своего
Им каждый облак предоставит.

Один из них избрал я сам
Для поклонения дурного:
В двух буквах обратится к вам,
Мой неуспешный Казанова.

Второй выходит на крыльцо,
Как будто вонь избушки гонит
Его наружу, но лицо —
В любом Пегаса с места стронет.

Обоим словно ведом код,
Что позволяет внутрь пробиться,—
Но только третий каждый год
Ко мне просителем толпится.

Я слышу гомон у дверей
И жду колеблющимся ухом
На промелькнувший тут хорей
Настроиться коварным слухом.

И в почерневших небесах,
Чужая нашему испугу,
Проходит буря на глазах
У мира к розовому югу.

6 июня 1997

Крыльцо

Поэты разны. Мне от роду
 Не впору бойкое перо.
 Оно, как давнее тавро,
 Не тяготит мою природу.
 Мои напевы мудрены
 И костенеют год от года,
 Но не боятся кануть в воду,
 Поскольку сердцем сложены.

Я был бы рад казаться миру
 Живым наследником твоим,
 О Пушкин — Божий псевдоним,
 Чью ненастойчивую лиру
 Мой карандаш вплёл в сотню грив
 Стихов нечёсаному клиру
 И после возвратил кумиру,
 Все струны лыком заменив.

«Но что есть толку в переделке? —
 Вы скажете, мой судия. —
 Искусством слога вы и я
 Равно от боткинской сиделки
 И от «Полтавы» далеки...»
 Но подражанья и подделки
 Я не равняю, хоть и мелки
 Меж них различия ростки.

При родственных чертах и сходстве
 Им силы чуждые даны.
 Не чувствующая вины
 В окружном горе и сиротстве,
 Подделка тянет соки их,
 Без мук рождая шум и скотство, —
 Но только стыд за злое сродство
 Дан подражанью на двоих.



Вчера я понял: я — Пушкин,
 И с этой мыслью по свету
 Скитаюсь, как сумасшедший,
 И каждому говорю:
 Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.

Вчера мне было виденье,
 Не помню точно, какое,
 И что в нём, собственно, было.
 Но результат налицо:
 Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.

Я не прошу дать мне денег
 И не хочу публикаций,
 Поскольку сего сознанья
 Вполне довольно с меня:
 Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.

Но вот остального
 (Всего остального)
 Мне не понять никогда.

1994

Покуда робкою строкою
 Она крадётся на листы —
 Лишь им питаются персты
 Знакомых с лирой и тоскою,
 Небритых, чуть живых творцов,
 И рифмой с древней бороδοю
 Поют стада покрытых ржою
 Литературных праотцов.

И сводный полк названий строгих,
 В шкафах сомкнувшийся в ряды,
 Собой затмил его следы —
 Следы своих падений многих.
 Им жили тьмы переводных
 Романов и стихов убогих —
 Солдат словесности безногих —
 И взводы гениев лихих.

И я, в селе подвластный небу,
 Сбирающий малину в горсть,
 Один поэт на двести вёрст —
 Лишь в нём одном являюсь Фебу,
 Как в престарелом пиджаке.
 И речь моя понятна skleпу
 Лесов, и кирпичу, и хлебу,
 И светлым волнам на реке.

Чужой направленный рукою,
 Я вижу в два свои окна,
 Как ночь стремится быть вольна
 От высшей силы и покоя:
 То в листьях прошумит она,
 То стен дотронется рукою —
 Но умолкает вновь с тоскою,
 Тому подобию верна.

Коленцы, 7 июля 1997



Я лёгкости хочу; пускай я брежу,
 Что Пушкина мне прояснит она,
 Но я, по крайней мере, обезврежу
 Себя от разума, как от вина.

Когда рука погонится за словом,
 Разбрызгивая грязь чернил вокруг, —
 В обличье кратковременном и новом
 Я обрету мой золотой досуг.

Сравнения, не равные природе,
 От вольной скорости неясный тон
 Я различу в случайном песен сброде,
 Который никому не подчинён.

Восторг очей не будет переменным,
 Поскольку слабости найдут в нём кров.
 И стану я читателем отменным
 Чужих, несносных, но живых стихов.

16 июня 1997

Марина Кудимова

Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пушкин, Илья Тюрин

Из эссе

<...> Тюрин? Какой ещё Тюрин? И что вы себе позволяете, сопоставляя шестнадцатилетнего мальчишку с Пушкиным, Бродским, Манделштамом? Но стихи—такое место, где можно найти что угодно. Всё на свете насквозь зарифмовано, начиная с генетического кода. Ведь рифма, бывая тайной и явной, двойной, тройной, может оказаться и десятерной—и разведённой в пространстве по произволению акустики времени со своей парой—тройкой, семёркой, тузом. Поэты равны не по возрастам, благозвучию фамилий или томам ПСС, но по «ощущению неизбежности сказанного» (Бродский). Фамилия «Пушкин» очень смешная. Смешнее—только «Грибоедов». А бог Тюр в скандинавской мифологии принадлежит к тому же роду *асов* (курсив мой.—М. К.), что Один и Тор. Нужны ещё оправдания, господя геронтократа? Первым лауреатом Илья-Премии, учреждённой в память об Илье Тюрине, стал тоже Тюрин— Вячеслав. Из посёлка Лесогорск Иркутской области. О нём тоже хорошо бы написать книгу, потому что масштаб позволяет. Но речь пока об Илье. Равном среди равных, если эгалите приемлемо в разговоре о даре.

Стихотворение Ильи Тюринна «*Сельское кладбище*», написанное в 1996-м, рифмуется с начальной строкой «*Исхии в октябре*» Иосифа Бродского («Когда-то здесь клекотал вулкан») и с неподъёмной по величине элегией Томаса Грея, переведённой Василием Жуковским, строго говоря, не за двести, как для округлости проставлено Ильёй в подзаголовке, а за сто девяносто пять лет перед тем— в 1801 году. Сочинил же Грей свою бесконечно длинную и социал-демократическую элегию аж в 1750 году. Где же тут таится рифма, кроме иронически обыгранного и дословно совпадающего с переводом Жуковского заглавия? Точное переложение романтического оригинала звучало бы, скорее, как «*Элегия, написанная на сельском кладбище*» («*Elegy Written in a Country Churchyard*»). Сколько же, спрашивается, времени надо было провести тридцатичетырёхлетнему англичанину в этом уютном парке, если опус построчно тянет на приличную поэму? Стихотворение Ильи Тюринна,

напротив, состоит из трёх строф, по объёму соответствуя времени взгляда—или короткой пробежки шестнадцатилетнего юноши *мимо* места упокоения,—то есть времени возникновения образа:

Сельское кладбище
(Через 200 лет)

Шрифт из книжек для неопытного возраста
Исключил геометрию надгробия.
Неуместнее меня—посланца бодрости—
Из полей встаёт вулкан клаустрофобии.

Единицей, вавилонскою святынею,
Выстрел-тень швырнув на луг, оврагом вспоротый,
Здесь не грех она, быть может, ибо ныне я—
У подножья перевернутого города.

В кислород впиваясь вычурными Альпами,
Он гнетёт меня и здесь глухими сводами,
И на склепах отпечатанными скальпами,
И незримыми домами-антиподами.
4 марта 1996

Дата написания, однако, показывает, что пробежка была метафорической—в виде воспоминания или исполнения сделанной прежде заготовки: в марте юноши оказываются на кладбищах, только если их удалось в воспитательных целях («*memento morе, сынок!*») выманить на похороны близких или знакомых. Стихотворение это я не отношу к большим удачам Ильи. Размер определённо требует заменить прошедшее время в первой строфе («исключил») на настоящее: «исключает». Вторая строфа изобразительно переусложнена, и смысл затемнён. К тому же она содержит противоречие первой строфе: там «вулкан» неуместен, во второй содержится признание, что боязнь замкнутого пространства—не грех. Гениальным можно считать тюринское «*Сельское кладбище*» по замыслу, и отдельная запись замысла представляется мне квинтэссенцией, превосходящей стихотворный вариант: «...кладбище есть «перевернутый город» (нам видны лишь «корни»), и клаустрофобия на нём—естественна...» («*Записные книжки*»).

Пушкин испытывал похожие ощущения, описав могильную клаустрофобию в поэме «Тазит»:

Уж труп землёю взят. Могила
Завалена.

Но почему у Ильи появляется «вулкан»? С ним сравнивается ведь не сам некрополь, но порождаемый им страх. Чей — страх? Если вулканическому конусу уподобляется могильный холм, то речь, по идее, идёт о клаустрофобии мёртвых? Но обычная житейская метафора «мертвеца» — «усопший». «Спящий». «Различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы», — сообщает энциклопедия. Значит, кладбище и есть метафорически такой «уснувший вулкан». Какой же массой он начнёт извергаться, когда проснётся? Пушкин ответил на этот вопрос в «Медном всаднике», к которому мы будем прилежно обращаться не раз:

Гроба с размытого кладбища
Пльвуют по улицам!

Их выносит на поверхность главная движущая сила нашего исследования — вода. Французский философ Гастон Башляр в удивительной книге «Вода и грёзы» тщательно исследует мифологему смерти в воде как путешествия, плавания. Но только Пушкин отправил во *вторичное плавание* (курсив мой. — М. К.) похороненных традиционно — преданных земле — покойников! Впрочем, по его мнению, петербургские покойники обречены гниению в подпочвенных водах: «В болоте кое-как стеснённые рядком» («Когда за городом, задумчив, я брожу...»).

Это странное стихотворение, посвящённое сравнению двух погостов, повторяет почти дословно строки из письма Наталии Николаевне от 1834 года. Действительно, разве не странно, что через год после свадьбы счастливый муж пишет жене о собственных похоронах: «...мало утешения в том, что меня похоронят... на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку»? В не менее ошеломительном стихотворении «В Петрополе прозрачном мы умрём...» Осип Мандельштам, значивший для Ильи не меньше, чем Пушкин или Бродский, присутствующий во многих его стихах, насытил трагедией эротизированный молодым Пушкиным миф о Прозерпине — римском аналоге Персефоны, властительницы преисподней. Кстати, «прозрачность» мандельштамовского Петербурга отозвалась строкой Бродского: «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки». Пушкинская «Прозерпина» — мощнейший прорыв из страха смерти-земли к земной любви: «Прозерпине смертный мил». Реалист Бродский обыгрывает это обстоятельство: «...точно известно, что вовсе нет их / у Персефоны...» («Памяти Т.Б.») Мандельштам строит свою танатологию

на трагическом парадоксе — необоримой власти земли над морем — водой:

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрём,—
Где царствуешь не ты, а Прозерпина.

Афина-Минерва побеждает в споре владыку морей Посейдона, но не владычицу мёртвых Персефону-Прозерпину. «Тритон Петрополя», пустившись в великое плавание, осуждён гнить в земле. Это тем более ужасно, что городу передано свойство воды (стекла) — прозрачность, ведущая за собой проглядываемость насквозь, сплошную видимость, уже граничащую с призрачностью. Илья в, на мой взгляд, не прописанном замысле о граде Петровом — «Санкт...» — ухитряется своим обычным приёмом перифразировать и сделать позитивной проблему оставленности Петербурга. Бог оставляет не город, но отражения в воде фонарей, как монеты, которые бросают в залог возвращения.

Буквально через несколько дней после «Сельского кладбища» Илья разовьёт образ вулкана в стихотворении «Предпоследний день Помпеи». «Предпоследний» — именно потому, что в этот день Везувий ещё спит.

В «Медном всаднике» «вулкан» просыпается не от внутренней, а от внешней причины: его пробуждает вода, стихия, которую многие признают превосходящей огонь по силе. Впрочем, причина пробуждения здесь менее важна, чем следствие — образная взаимосвязь поэтов разных эпох. Вулкан если и действует в «Предпоследнем дне...», то как этакая вагинально-тавтологическая метафора именно что дня: он родится «в глубине овальной чаши», кратера. Таким образом, геологическое образование так же несёт родовые материнские черты, как вода и земля в «Сельском кладбище»: там вулканизм напрямую связан с клаустрофобией, тоже сопровождающей рождение. Бродский пыля на зеркалах сравнил с золой соседа Помпей по подножию Везувия — Геркуланума («Полдень в комнате»). Вода Неаполитанского залива не могла залить лавы дурным каламбуром. Кажется, только Стабии — третьего погибшего города — поэзия не заметила под застывшими вулканическими породами.

Свойство поэтического образа, «грёзы», как любил повторять Башляр, в том числе, если не в первую очередь, состоит в способности проявлять не поверяемое разумом бессознательное. Размышляя о смерти, поэт описывает роды. В «Руслане и Людмиле» восход тоже сопровожждён глаголом рождения, но прямо соединён с водной стихией:

Волна сребрилась в потоке,
Сомнительный рождался день
На отуманенном востоке.

Культ римского бога Вулкана первоначально был антропофагическим—связанным с человеческими жертвоприношениями. На празднестве вулканилий «народ бросал живых рыб и других животных в огонь, принося их в жертву вместо человеческих душ». Так говорит БСЭ. С Вулканом мифологическим связана ошибка в стихах юного Пушкина:

А что такое Гименей?
Он сын Вулкана молчаливый...
(«Амур и Гименей»)

Поэты «золотого века» отождествляли Вулкана с греческим Гефестом. Но греко-римский бог брака был сыном Аполлона и ни с Вулканом, ни с лемносским протагонистом Гефестом в прямом родстве не состоял. У Вулкана был сын, но не окутанный цветочными гирляндами Гименей, а огнедышащий людоед Какус, проживавший в пещере, окружённой костями пожранных им. Что и характерно для нашей темы.

Восприятие стихотворного текста подразумевает совокупность совпадений (рифм) между воспринимающим и посылающим сигнал (автором), на мою долю, помимо близости замысла («перевёрнутого города»), остаётся клаустрофобия. Это не так уж мало. Пережил автор приступ ужаса, аналогичный пережитому мной в двух поездках, или вообразил его, или смоделировал из множества образных возможностей замысла, не имеет никакого значения. Илья никогда не спекулировал замыслом, исчерпывая его образный ряд, как, например, сплошь и рядом делала Цветаева и другие весьма крупные поэты. Он исповедовал то, что Гастон Башляр, к которому Илья заставил меня апеллировать чаще, чем хотелось бы, называл *динамической поэзией*, или *поэтической Химией*, «которая верит в возможность изучения образов путём определения атомного веса обращённой внутрь грёзы глубинной материи, соответствующей каждому образу». Непосредственное переживание чаще выливается в творческий акт у художников поверхностного, журналистского типа. Художники суггестивного, самовнушаемого, самозаводящегося типа вообще мало нуждаются во внешних впечатлениях—только в импульсах и порождаемых ими видениях. Видение «перевёрнутого города» с «незримыми домами-антиподами», выпирающими наружу в виде символов памяти или забвения, тщеславия живых или безволия мёртвых, бесконечно далеко от созерцательного резонёрства Грея. Нельзя признать общим и сам интерес к миру мёртвых: в тридцать четыре года он закономерен, в шестнадцать— феноменален с точки зрения бескорыстия, бесцельности предмета описания. Кладбищенская тема в исполнении шестнадцатилетнего поэта явно не может носить компенсационный или сублимационный характер. Место последнего упокоения и стоящая за ним

Смерть, казалось бы, только и работают на тот первоимпульс, из которого рождаются чистый образ-видение либо опосредованная, многослойная метафора. Так у Ильи происходило во многих стихах:

...и в смерти
По самый рот бредущие...
(«Четыре сюжета для прозы»)

Александр Пушкин, особенно если судить по стихам раннего периода, кажется, проводил на кладбищах всё свободное время. Но сначала по-смотрим, какие отношения он имел с вулканами. В десятой главе «*Онегина*» вулканом (Пушкин употреблял форму «волкан») аллегорически зовётся революция:

Тряслися грозно Пиренеи—
Волкан Неаполя пылал.

Извержение Везувия упоминается в отрывке 1834 года:

Везувий зев открыл—дым хлынул клубом—пламя
Широко развилось, как боевое знамя.

Метафора действующего вулкана и мифологема римского божества огня и металлургии преследовала темпераментного «потомка негров» как при жизни, так и за её земным порогом. В романе Тютчева «Пушкин» Сергей Львович ощущает себя в собственном доме «как на вулкане» (Надежда Яковлевна Мандельштам, описывая во «Второй книге» первые месяцы жизни с Осипом Эмилевичем, нарастила эту нехитрую аллегорю до глобального символа: «Все мы жили и живём на вулкане»). Забавно, что из имён этой бездетной пары складывается имя и отчество Надежды Осиповны Ганнибал-Пушкиной). В самоощущении Пушкина-старшего не последнюю роль играет вечное противостояние старшего сына и не любящей его матери. Когда-то мне доводилось писать на эту тему в статье «Пушкин как сирота и однолюб»: отношения—вернее, их отсутствие,—с матерью глубоко повлияли на личность и поэзию бывшего домашнего изгоя «Сашки». Вполне вероятно, что на уровне бессознательного вода заполнила в творчестве поэта материнскую нишу. <...>

<...> Итак, Пушкин на кладбище. Картина Верещагина. В стихотворении «*Безверие*», снисходительно замалчиваемом «железными пушкиноведами» или относимом, как и «*Гавриилиада*», к заблуждениям «юности мятежной», восемнадцатилетний поэт ломится в открытые двери: «Мы все на страшный гроб, родясь, осуждены». Но это лишь в школьных учебниках да в пенитенциарных отчётах творчество делится на «этапы». На самом деле оно—нерасчленимый монолит: «еже писах, писах». И только представляя цельный

массив созданного, можно говорить о поэте беспристрастно, а не с пропагандистской или профанной установкой. «Элегию» Пушкин написал за год до «Безверия»:

Я видел смерть; она в молчанье села
У мирного порогу моего;
Я видел гроб; открылась дверь его... <...>

<...> Потом нам объяснят с оскорбительной доходчивостью, что строки, подобные процитированным, были продиктованы готически-романтической модой. И этого добра у раннего Пушкина в избытке:

Смерть откроет гроб ужасный,
Потемнеют взоры ясны...
(«Опытность», 1814)

Но в основном, конечно: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и «Я жить люблю, я жить хочу».

Поэтическая диалектика состоит, однако, в том, что есть и то, и то. И без первого не было бы второго. И если так называемые «ранние» стихи Пушкина и не отмечены печатью такой зрелости, как у Лермонтова, Рембо или Ильи Тюрин, так Александру Сергеевичу, благодарение Богу, и веку было отведено больше, чем им. Было куда взростеть. И если по отношению к юному Пушкину справедливы его собственные стихи:

Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена,—

то к Рембо или Тюрину их применить сложно, не прибегая к подтасовкам. По признаку достаточного пространства жизни и Бродскому можно извинить стихотворение 1962 года «Холмы» — несравнимо более слабое, чем «Сельское кладбище» Тюрин, которому в его шестнадцать лет оставалось три года быть на земле. Но без этих «Холмов» невозможно понять, почему Илья есть, без сомнения, законный обитатель мира, завещанного Иосифом Бродским, а не его эпигон — имя же им легион:

Смерть, как вода, над ними,
в желудках у них вода...
Смерть — это наши силы,
это наш труд и пот...

Ряд перечислений, как всегда, чрезмерно многословен, но и приведённого достаточно, чтобы понять, о чём идёт поэтическая речь.

Всё в том же 1834 году, когда Пушкин непрерывно думает не только о смерти, но и о месте последнего упокоения, за два года до цитированного «Когда за городом, задумчив, я брожу...», он пишет стихотворение, точнее, набросок, отрывок:



Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская телега
По ней рабочая телега
..... изредка стучит.
Одна равнина справа, слева.
Ни речки, ни холма, ни древа.
Кой-где чуть видятся кусты.
Немые камни и могилы
И деревянные кресты
Однообразны и унылы.

Не желавший быть захороненным «в болоте» и, судя по всему, боявшийся этого, Пушкин не мыслит русского погоста без присутствия воды: «речка», «холм» и «древцо» являются для него тремя символами вечного покоя, тремя условиями, при соблюдении которых поэт надеется обрести этот желанный покой. В то же время сия триада суть непререкаемый пейзаж именно «сельского кладбища» с атрибутами традиционного рельефа, характерного для возвышенно-равнинных районов.

Возвращаясь к стихотворению Ильи, восстанавливаем его ландшафт: «луг, оврагом вспоротый» знаменует, как ни странно, всё тот же образ воды, ибо луга, как правило, возникают на месте осушенных болот и озёр, а овраги, если верить БСЭ, не что иное, как «глубокие крутосклонные размыты, образованные временными водотоками. Возникают на возвышенных равнинах или холмах (курсив мой. — М. К.), сложенных рыхлыми, легко размываемыми породами, а также на склонах балок и лощин». Остаётся «древцо» — но над какою же могилой в вышеописанном рельефе оно не произрастает? Причём Россия здесь отнюдь не является «родиной холмов». Если напоследок обратиться к первоисточнику — элегии Томаса Грея, переведённой Василием Жуковским, — то и получаем искомое: четвервёрную рифму, двухвекное созвучие:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою
(неточно переведённый «холм». — М. К.);
Шумливые стада толпятся над рекой...

Стада на европейской территории, как правило, пасутся на лугу. Поэты по ним, как правило, гуляют. Совпадения нагуливают.

Чего искал в Пушкине Илья Тюрин, возможно, последний из русских поэтов, сознательно выбравший «наше всё» эстетическим ориентиром, узнававший Пушкина «в мыслях неба, в курчавой его голове» («Гром»)? Поэт конца двадцатого столетия, он, по идее, должен был искать того,

чего неизбежно был лишён силою времени, — пресловутой гармонии, равновесия чувств, мыслей и образов. Но разве не Илья в стихотворении «*Выйди хотя бы к окнам...*» самолично развенчал эту идею?

Из ведомых граней творца (вспоминай стаканы)
Гармония — некуда легче...

И если он чего и искал, а не просто любил его, всеми давно разлюбленного, даже теми, кто им кормится, то как раз «нев едомых граней», тайны не гармонической, а, напротив, дисгармонической.

Была ли такая у Пушкина? Безусловно, была. И не просто была, но совпадала с личной тайной Ильи Тюрин — гипертрофированным ощущением смерти как реальности, действующей и управляющей наравне с жизнью, а по силе превосходящей жизнь. Осип Манделштам писал про это:

Мы в каждом вздохе смертный воздух пьём,
И каждый час нам смертная година.
(«*В Петрополе прозрачном мы умрём...*»)

Второе совпадение, которое позволяет спокойно сравнивать этих столь несравнимых поэтов, состоит в преобладании в их дарованиях того, что Башляр определял как *материальное воображение*. Это способность вызывать образы из субстанций, а не из умозрений. И главной из таких субстанций для обоих была вода. Башляр утверждал, что «...для материального воображения всякая жидкость — своего рода вода» (сравните у Цветаевой: «И слёзы ей — вода, и кровь — вода»).

<...> Вообще, во всякой монотемной работе рано или поздно наступает некая шизофреническая стадия, когда подтверждение своим основным посылам находишь везде и всюду. Как ни крути, написал же Пушкин: «...строк печальных не смываю» (курсив мой. — М. К.). Мог бы, между прочим, поставить «не стираю». Идентифицировал он себя в тот момент с волной, как Ленского во второй главе романа («волна и камень»), или волна *послушалась* (курсив мой. — М. К.) его, как князя Гвидона? Манделштам, выбравший камень, назвал его «солдатом морской пучины» («*Исполню дымчатый обряд...*»).

Почему пронительнейший Вяземский шлёт из Ревеля в Михайловское именно стихотворение «*Море*», ничуть не обвиняя тем, что может вызвать в ссыльном друге элементарную тоску? Стихотворение князя, помимо прочего, невольно отвечает на целый перечень вопросов, связанных с соотношением в Пушкине земной и водной стихий. Так Вяземский, например, обращается к волнам:

Людей и времени раба,
Земля состарелась в неволе;
Шутя, её играют долей
Сыны, столетья и судьба!
Но вы всё те ж, что в первый день,
Как солнце первое в вас пало,
О вы, незыблемых небес
Ненарушимое зеркало!

Почему сам Пушкин из трёх цитируемых в его рецензии стихотворений Сент-Бева, изданных под вымышленным именем Жозефа Делорма, — специфично для нашего повествования, что французскую модификацию имени Пушкин транскрибирует как *Иосиф* («*Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма*»), — выбирает одно, подробно описывающее самоубийство через утопление?

Для того, кто хочет утопиться, место хорошо выбрано.
В любой день стоит только пойти сюда,
Спрятать одежду под этой берёзой
И, словно для купанья, погрузиться в воду:
Не в неистовстве, стремглав,
Но присесть, поглядеть вокруг; следить
За длинным отблеском солнечного луча на листе и на воде;
Затем, когда почувствуешь, что дух исчерпал себя до конца,
И озябнешь, тогда, не затягивая праздника,
Нырнуть головой, чтобы больше её не поднимать.
Вот моя заветная мечта, когда я задумываю умереть.

В классическом психоанализе вода является абсолютно материнским, женским символом. Материнство неразрывно связано с архетипом детства. Два этих символа с поразительной пронизательностью соединил в стихотворении, посвящённом памяти Ильи, Юрий Влодов:

Дева с младенчиком
Идёт по реке...

Илья был мечен печатью раннего взросления: «К двадцати Алкивиад постарел» («*Пророк*»). С учеником и возлюбленным Сократа, большим афинским военачальником и шалопаем Алкивиадом Пушкин в «*Аране Петра Великого*» сравнивал герцога Ришелье, а Бродский — некоего обнажённого, сидящего «в предбаннике Золотого Века» («*После нас, разумеется, не потоп...*»). Илья читал о вечном беженце Алкивиаде почти наверняка у Плутарха. Двадцатилетие было для прирожденного эсхатолога Ильи Тюрин неким рубежом, водами Рубикона, который он боялся перейти — и не перешёл:

..к двадцати ты уж пророк,
Что очень скоро сделает тебя
Слепым...
(«*Трубка*»)

Но в стихотворении «*Идиот*» он, тем не менее, признался:

И только река...

<...>

Будет детству и жизни сродни

Истекать...

С другой стороны, по Башляру, «вода—это приглашение к смерти; к особенной смерти, после которой мы вновь обретаем пристанище в материальной стихии». Поэты либо воспринимают смерть субстанционально, глубоко естественно, несмотря на трагизм, либо, при всей глубине восприятия, постоянно борются с ней—разумеется, посредством системы образов. Илья относится к первому типу: «Смерть—защитная реакция организма, такая же, как образование тромбов, кашель...» («*Записные книжки*»). Пушкин—неосомненно, ко второму. Эволюция его отношения к смерти требует специального исследования—от юношеской «*Элегии*» («Я видел смерть...») до признания «И смерть меня страшит» в «*Страннике*», от сетований Клавдио в «*Анжело*»:

...умереть,

Идти неведомо куда, во гробе тлеть

В холодной тесноте (отметим снова

эту «неведомость» маршрута.—М. К.)...—

до мучительного смирения в «*Брежу ли я вдоль улиц шумных*...»:

И пусть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать...

Однако убеждение в «равнодушии» природы остаётся равным убеждению в «забвении», ожидающем за порогом жизни...

<...> Прозрачное стекло воды и стоячая вода окна. Окна, «будто на часах», стоит шестнадцатилетний мальчик, осознавший себя русским поэтом. Его зовут Илья Тюрин. Он любит Пушкина и Бродского, не боясь преклоняться перед общепринятым. Оба поэта приняты им не «по мнению», а по живому чувству, страданию, которое приносит вычленение из множества:

Я лёгкости хочу; пускай я брежу,

Что Пушкина мне прояснит она...

Сидение у окна (стояние у застывшей воды) зачастую служило Пушкину метафорой ожидания. Стихотворение, посвящённое няне, не исключение:

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах...

«Пейзаж в окне и время на часах...»—двойная контаминация Ильи («*Мой чёрный стол*...») восходит одновременно к двум его учителям—и Пушкину, и Бродскому (вспомним «*Пейзаж с наводнением*»). Так чувствовал и Пушкин в шестнадцать лет, когда написал стихотворение «*Окно*»:

Я видел—дева у окна

Одна задумчиво сидела,

Дышала в тайном страхе грудь,

Она с волнением глядела

На тёмный под холмами путь.

Та же диспозиция и в «*Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях*»:

Под окно за пряжу села

Ждать хозяев...

Через окно получают в результате ожидания и Благою Весть:

...вдруг мохнатый, белокрылый

В её окно влетает голубь милый...

(«*Гавриилиада*»),—

и совсем не благоую—в «*Руслане и Людмиле*» колдунья Наина оповещает об опасности злогобого «карлу»:

Как вдруг, откуда ни возьмись,

В окно влетает змий крылатый...

Ожидание нерасторжимо связано с архетипом воды—где ждут напряжённое, чем на берегу,—с тревогой, порождаемой ненадёжностью этой стихии, её зовущей смертоносностью. Открывание окна—словно приближение объекта ожидания, будь то смятение Татьяны от первого прилива страсти:

«Не спится, няня: здесь так душно!

Открой окно да сядь ко мне».

(«*Евгений Онегин*», глава 3),—

или государственные страсти Петра Великого, связанные с водой отнюдь не только символически:

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно...

(«*Евгений Онегин*», глава 1)

Даже «деревенский старожил» из второй главы романа «в окно смотрел» далеко не так праздно, как кажется,—чего-то ждал, безотчётно и рассеянно. В конце концов, между черезоконным созерцанием обывателя и князя Юсупова, адресата стихотворения «*К вельможе*», разница лишь в системности подхода:

Ты, не участвуя в волнениях мирских,

Порой насмешливо в окно глядишь на них

И видишь оборот во всём кругообразный.

Так смотрел в окно на революцию желчный Шопенгауэр.

Двусторонность окна отражает двусторонность, как писал Илья—«двухконечность», воды. То же самое можно было сказать, например, о двери, но только о прозрачной—то есть стеклянной. По ту сторону окна существует мир, который

рвётся оказаться по эту сторону. Или который мы сами зовём войти, выйти на наш берег, пере-сечь прозрачную границу. Мать, грозящая в окно «дворовому мальчику» в пятой главе «*Онегина*», всевидяща, как вода, и только наивный думает, что от её ярого ока можно скрыться, выйдя из поля зрения, ограниченного окном—или акваторией.

Окна Пушкина, обитателя малоэтажного девятнадцатого столетия, находятся низко, близко к земле. В них с *другой стороны, с другого берега* можно стучаться, уповая, как в Новом Завете, что отворят. Стучатся, бьются, рвутся внутрь не только люди. «Путником запоздалым» может оказаться буря («*Как быстро в поле, вкруг открытом...*») или дождь: «Сердито бился дождь в окно...» («*Медный всадник*»); «Дождь в окно / Стучал печально» («*Езерский*»). Бедный Евгений мечтает, «чтобы дождь в окно стучал / не так сердито». «Кто-то там в окно стучит» («*Утопленник*») — эта форма тревоги, казалось, снятая многоэтажностью, продолжилась в сновиденно-водной текучей стихии кинематографа, где в окно «стучат» на любом этаже:

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав...

У Ильи, смотревшего на свой водный мир с восьмого этажа, как прекрасная Лорелей с вершины в Рейн, «путник запоздалый» превратился в «постояльца»:

Будто бы бьёт в стекло
Постоялец—и видит еду, ночлег.
(«*Екклезиаст*»)

Разумеется, созерцание, *смотрение* остаётся главным назначением окна-воды: «Взгляд застревает в окне, точно лист—в ограде»,—писал Бродский («*К Урании*»). И смотреть тоже можно в обе стороны—иногда сразу в обе:

Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном,
Клюёт, и бросает, и смотрит в окно...
(«*Узник*»)

Оконная вода Ильи была возвратна, как волна:

В споре с окном лицо попадает в сеть
Собственных взглядов, брошенных раньше на милоу
Вглубь.
(«*Дождь ночью*»)

Но дожди русской поэзии не идут круглый год. «...Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною» (*Нав. 3:16*). Льдом. Стеклом. Окном. У Пушкина много зимы. «Гнездо зимы» — сказано в «*Карелии, или Заточении Марфы Иоанновны Романовой*». У Бродского и Тюринина — едва ли не больше. Илья, кажется, вообще жил и писал, «душу отдав зиме» («*Хор*»). Он воспроизвёл, кроме прочего,

и пушкинское гнездо—со своей многоэтажной колокольни:

И, баловням, лишённым сна и слуха,
Нам кажется пейзажем из окна
Его любовь гнезда—к яйцу и пуху.
(«*Этажи*»)

Зима—время сплошного стекла. <...> Татьяна в третьей главе «*Онегина*» выводила «заветный вензель», «на стёкла хладные дыша». В пятой главе снова, хотя и через силу, наступает зима, и Татьяна снова стоит на прежнем месте:

В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стёклах лёгкие узоры,
Дерева в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром...

<...> «Зима в Москве—скандал и Боже мой»,—с неожиданной экзальтацией пишет Илья Тюрин, мальчик закрытый, явно малодоступный для пылающего на морозе поцелуя («*Четыре сюжета для прозы*»). Ковёр был для него тоже водной стихией, а половина комнаты—берегом. Бутусов поёт: «Берег—это пленный океан». В такие игры играют очень одинокие дети, пленники четырёх стен. Если стекло похоже на лёд, то зима—время стеклянной воды, когда жителю «северов» остаётся, как у Ильи, «глядеться извне / в ниспадающий двор...» («*Моему имени*»). Пушкинские великолепие и блистательность становятся у Тюринина просто белизной—исчерпывающим симптомом зимы и бумаги. Зимы-бумаги сквозь окно-воду:

Но единственная белизна
За окном—это цвет моего окна...

<...> Близорукий Илья Тюрин переживал окно как некий всевидящий глаз. Так масоны изображают Бога, в которого не верят: «Окно—Око (пропущенная буква)» («*Записные книжки*»). В окне стоит немигающий зрак луны. В нём—им—видишь себя, если живёшь ночью, когда тихо и никто не шлёпает по коридору в туалет: «Нам ли узнать обо всём, если включим свет?» («*Петли скрипят...*») Поэту необходимо, чтобы никто не шлёпал, поэтому он живёт ночью,—говорю это с завистью страдающего от избытка звуков жаворонка:

Я вижу в два свои окна,
Как ночь стремится быть вольна...
(«*Крыльцо*»)

Что ещё—кроме себя—внешним, третьим, собственным глазом—видишь ты, мальчик, «переходя,

передвигая тень / от света ламп к оконному проёму...»?

И в сотне окон, видимых в одно
Из них, зрачок угадывает звёзды.
(«Новости»)

Угадывание—синоним поэтического зрения. Или его паллиатив?

«Скитался весь день по своим восьмидесяти метрам...»—редкостно откровенная запись Ильи, крик ожидания ночи. Луна в сизигии полнолуния похожа на нуль. Вблизи двух её фаз—

сизигий—происходят затмения и приливы. При сложении с нулём никакое число не меняется, поэтому «нуль» и переводится—«никакой»:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами—себя.
(«Евгений Онегин», глава 2)

Стоячая вода окна «сквозь сумрак лунный» окружена океаном воздуха.

Илья писал: «Окно—декольте (тело—воздух)». Океан—река, нагруженная воображением, «вода без правил». Читай: поэзия. <...>

Переделкино, май—октябрь 2002

ДиН стихи

Максим Лаврентьев Бабочка-книга



Я ненавидал прежде всё плохое.
Да так, что чуть от злости не подох.
Теперь живу, как цербер на покое,
и всех люблю—подонков и пройдох.
Ах, боже ж мой, какие же вы душки!
Без вас мне скуку не прогнать ничем.
Я вас люблю практически как Пушкин,
в душе моей угасший не совсем.
Да будет свет на ваших кислых рожах!
Ведь одиноко солнцу без планет.
Я, может быть, любил бы лишь хороших—
но их-то нет.

Бабочка-книга

Словно первая бабочка мая,
принесённая к людям в жильё,
на ладони твоей оживая,
встрепенётся вдруг сердце моё.
И, ещё не поняв, что такое,
пробуждаясь от смертного сна,
я увижу лицо молодое,
я почувствую: в мире весна!
Не навеки душа, а на время
покидает земные края,
чтобы в пору эпох обновленья
возвратиться на круги своя.
Эту жизнь до последнего мига,
эту повесть любви и скорбей
знак бессмертия, бабочка-книга,
распахнёт на ладони твоей.



К труду готовый и к обороне,
подозревая повсюду мерзость,
я рос на Пышкином Огороде—
когда-то так называлась местность.
Довольно средне учился в школе,
и повзрослеть ожидал приказа,
и постепенно, не вдруг, не вскоре,
пришёл я к мысли, что жизнь прекрасна.
С тех пор блаженствую философски,
не нарушаю законов кармы,
хотя не кормят меня из соски
и в огород мой бросают камни.



Не слишком-то напорист,
вперёд я не пролез.
Я оплатил проезд,
но опоздал на поезд.
И можно сдать билет
и новый взять—доплата
невелика, да плана
уехать больше нет.
Что дальше? Бег в нелепом
пространстве городском,
повстанца гороскоп,
тоска зимой и летом,
дворов кошачий сон,
прогулки по бульварам
и над Бутырским Валом
казённый небосклон.

Виталий Молчанов

Табынская

1.

До кровавого заката рвали небо пики гор.
Ветер, как шайтан из ада, разметал хвостом костёр.
Ни согреться, ни укрыться—ледяная пала мгла.
Кляч уставших вереница за кордон, в Китай, ползла.

Эх, прижать бы к сердцу паву, в степь рвануть на воронкё.
Давят кряжи Алатау, кожи мокнут в казанке.
Отравили красным ядом до печёнок злую рвань.
Посолонь спуститься надо и уйти в тмутааркань.

Сквозь порубленные вёрсты, бросив кости куреней,
Множа холмики погостов бедной родины своей,
Получая пули в спину от недремлющих врагов,
Прорывалось на чужбину войско белых казаков.

«Знаю, братцы, вам не любо холостить упрямый нрав.
Коммуняк-то нынче—шуба, нас—один худой рукав.
Изничтожат в бранной сече, изведут казачий род.
Знай, крещённый человеке, мы вернёмся через год.

С нами Бог,—промолвил Дутов, оренбургский атаман,
И воздел над кругом чудо—не подделку, не обман,
А Табынскую икону.—Божья Матерь, помоги
Казакам пройти препоны—всеу адовы круги».

2.

Неземная скрыта святость в древнем таинстве письма—
Богом явленная благодать для души и для ума.
Как последнее спасенье, светоч гаснущих надежд,
Ты дарила исцеленье, серебром горя одежд.

Наклонила Приснодева ко Христу печальный лик,
Шесть слезинок—справа, слева—по щекам тугим текли.
Губы строгие поджаты: отрок близок и далёк.
Молвит взором виновато: «Муку вынесешь, сынок».

Не младенец, а Спаситель стоя крестит Божий мир,
Отступает искуситель—слабых душ людских кумир,
Вместе с ним уходят беды: немощь, злоба, мор, война.
Божьи правятся заветы, счастьем дышат времена.

От Казани до Тобола нет родней для казака—
Пережившая монгола и лечившая века,
Ненасытных вражых сабель испытывавшая клыки,
Реки слёз—горючих капель—утирала без руки,

О Великая Икона честной вольницы степей,
Да с тобой—в огонь иль в омут, на пустынный суховея,
В глубь болот, с горы, в стремнину, на закланье и на пир!
Тут шепнул урядник сыну: «Войсковой бы нам потир...»

3.

«В Оренбурге,— писарь óкал,— в девятьсот шестом году
 Бунтовщик ватагой топал по Гапонову следу́.
 Потрясатели дрекольев с красной ветошью знамён
 Возглашали: «Будем вольны, коль царя с престола пнём».

Мы, мол, ратуем за стачку, за бурление Руси.
 Демонстрация, горячка. Святы́й Господи, спаси!
 Агитаторы сновали, кто в тужурке, кто в пенсне,
 И листовки раздавали, сделав рожи попостней.

А навстречу— вот так диво! кто б задумал наперёд!—
 Шёл с Табынской горделиво православный крестный ход.
 День-то праздничный, не будний; нёс по граду ветерок
 Песнопения, хоругви, сладкий ладанный дымок.

У Соборной повстречались две толпы лицом к лицу.
 Отшатнулись, снова встали, пахло битвой на плацу.
 Причт с Иконой двинул к храму— бил звонарь в колокола,
 Мимо паствы, мимо хамов Богородица плыла.

Люди пали на колени— и смешались две толпы,
 В общей радости моления перекрещивались лбы:
 «Потеснись-ка, места мало перед образом святым».
 Агитаторов не стало— видно, не по вере им.

4.

В год семнадцатый— иначе: помахав рукой царю,
 Тот, кто сызмальства батрачил, штык приладил к винтарю.
 Брат на брата, сват на кума, не жалей— коли́ родню!
 Против Божьего задума сокол сдался воронью.

Этим— пашни, тем— заводы, нам— свинцовые дожди...»
 Но казак белобородый перебил его: «Пожди,
 Писарчук, не ты ль кликушей записался в наш отряд?
 Стычки сплачивают души, крепят волю у солдат.

Богородицы рожденье, помнишь, справили гурьбой?
 Хора ангельское пенье было прервано стрельбой.
 Голопузы-супостаты разорить хотели кош—
 Задымили чадно хаты, шёл по Нежинке грабёж.

Пальцы хищные с Иконы ризу сдёрнули в момент—
 В серебре её обновы и в камнях позумент,
 А голубушку швырнули непокрытую в кусты.
 Ох, тогда мы красным вдули— гнали нечисть три версты...»

..Круглоликое светило— азиатская луна,
 Что с небес глядишь слезливо? Чем земным удручена?
 Скорбь в глазах застыла узких— изливается дождём.
 Понимаешь не по-русски смысл казачьего «пождём».

5.

Сладок дым победы ратной, горек пораженья дым.
 Морок воли перекатной с молоком едим грудным.
 Опылилась чёртом завязь, народился гадкий плод:
 Режьте, ешьте, нынче зависть—Красной армии оплот.

«Дам по сабле и нагану, добывайте свой калач.
 Ваш сосед, Петро с Иваном, первый на селе богат.
 Что с того, мол, сам ишачит, не жалеючи хребта?
 Куркуля мы раскулачим, жрать попросит у Христа!

Вы ж теперь красноармейцы—на картузах по звезде!»—
 Хрустнет комиссар коленцем, не приученным к езде,
 Сядет с томом «Капитала» дурь жевать бородача,
 Если шашки нашей мало—сгинет в лапах палача.

Дезертиры, бузотёры, саботажники, враги,
 Проглядели вас филёры—полицейские шпики.
 Нам бы власть иметь пожёстче и царя бы посмейей—
 Убежал бы красный кочет без башки за сто морей.

Скачет ветер над ущельем—бьёт копытами луну.
 «С голодухи, как с похмелья, в мыслях грешных я тону,
 Стал пушинкой тополиной,—писарь ветру крикнул вдруг:—
 Не трясина напрасно гривой, а снеси-ка в Оренбург...

6.

...класьть поклоны в Кафедральном, доживая скорбный век,
 За казачий люд опальный, за убитых и калек,
 За сирот, за мать Расею, источающую кровь...
 Но покинуть не посмею я Икону—здесь мой кров!

По преданьям монастырским—лет минувшим несть числа—
 Меж солёных вод табынских над тропой легла скала.
 Мимо дьякон шёл Амвросий и услышал глас ли, крик,
 Будто с неба кто-то просит: «Мя приять во храм, старик».

Не поддался наважденью—рукавом протёр глаза,
 Огляделся со смиреньем по бокам, вперёд, назад:
 «Никого... На сенокосе, видно, темя напекло».
 В келью потрусил Амвросий, не сумлящийся зело.

Через пару дней, как прежде, шёл обратно—тот же глас:
 «Не смыкай, диакон, вежды—мя приять во храм сейчас!»
 И вознёс он кверху очи, и увидел: на скале
 Образ в лаке солнцеточит—дар божественный земле.

Мать с Младенцем—тёмны ликом, но душе от них светлей.
 О явлении великом всяк прознал: возлив елей,
 Закадили, с песнопеньем водрузили на киот...
 А наутро—вот знаменье!—сняли с венчика ворот!»

7.

Есаул глядит: на ране закровянились бинты.
 «Вашебродье, врач не встанет,— ныл денщик из темноты.—
 Мы почти что все подранки— надорвался коновал».
 Эскулап нашёл портянки, сапоги надел и встал.
 «Закулюкаешься с вами»,— еле тащит саквояж.
 «Ноет, гадина, ночами— приложил родной братьяш.
 Посмотри-ка: может, смазать? Шевельнуть нельзя плечом...»
 «Эх, её карболкой сразу б,— и раствор потёк ручьём,—
 Чистой корпией покрою и повязку наложу».
 «Нас в отряде братьев трое— с фронта рядышком служу,
 А четвёртый жил при бате под Сакмарским городком,
 Но навоза не лопатил, с книжкой дружбу вёл гишком.
 Книжка книжке— рознь, конечно,— подытожил есаул,—
 С красной бандой как-то местной в город парень сиганул.
 Разошлись пути-дороги— вновь в Актюбинске сошлись,
 Младший братка, бык безрогий, взять мою решил жизнь.
 Налетел в бою на брата и рубил, колол, щенок.
 Порешить я мог бы гада, но Господь отвёл клинок.
 Нашей силы, греховодник, да умишком— не в отца...»
 Снял денщик седло и потник, вмиг стреножил жеребца.

8.

«В сей Иконе скрыта сила, неподвластная уму:
 Только скроется светило— вон из храма, и к утру
 На воротах монастырских появляется опять.
 И чудес таких Табынской нам вовек не сосчитать.
 Человеческие боли утоляла без числа—
 Сквозь тернистые юдоли к ней толпа калек текла.
 Даже нехристей убогих принимала к сердцу плач:
 Не встававшие на ноги сами шли, и слеп стал зряч.
 Про последний случай, помню, мне поведал протопоп.
 Учинялись часто войны, был пожар, потом потоп,
 И родимая исчезла, чтобы пару лет спустя
 Объявиться в том же месте неприветливым гостям.
 У источников в Табынске иноверцы скот пасли
 И, найдя её, по-свински всю изгваздали в пыли,
 Били, матерно ругались, в древо ткнули тесаком.
 Силы высшие сквитались люто с каждым дураком.
 Свет померк в глазах бесстыжих— за слепым стоят слепцы.
 Крик ужасный уши выжег... Монастырские отцы
 К сердцу приняли находку— лишь один пастух сумел
 Умолить, срывая глотку, о прощенье и— прозрел!

9.

С той поры, став православным, за Иконой шёл вослед...
 В Оренбург когда-то странный въехал всадник— конь был блед:
 Эпидемия холеры по домам прошла косою.
 Ни последних и ни первых: дряхлый дед, внучок босой,

Зрелый муж, младая дева— повалились, как снопы.
 Исправлять лихое дело были призваны попы.
 Трижды с матушкой-Иконой обошли весь град вокруг:
 Прекратились смерти, стоны, вытер слёзы Оренбург»,—

Писарь вымолвил устало, смяв чепрак под головой.
 Кровь углей заря впитала, затуманившись золой.
 Наступило на вершины утро светлым сапогом—
 По вершочку, по аршину подошло, шурша песком,

И застыло, упираясь в перевал Кара-Сарык¹.
 «Ярка чёрная, дурная! Надевай, сынок, башлык
 Да в кулак сграбастай повод— поведём по льду коней»,—
 Хоть урядник и не молод, но ухватистых кровей.

10.

Скарб навьючен, страх задушен, бездны каменный котёл
 Горный див, предвидя ужин, вьюжным веником подмёл.
 Меж клыками смерти правый от неправых отступал:
 Переходы, переправы, перестрелки, перевал.

Поскользнёшься— и погибель, зазеваешься— конец.
 «Лучше быть Ионой в рыбе, чем на спинах у овец»,—
 Уцепился писарь ловко за свисающий карниз.
 Атамана на верёвках казаки спустили вниз.

Даль безбрежна, бездорожна, крупка сыплется с небес,
 Шприцем изморозь подкожно вводит невидимка-бес.
 Дутов бредит: «К бою, ротный, пулемёты— на обрыв!
 Нам бы не в поход голодный, а в Брусиловский прорыв.

Помню, рвалось небо с треском— госпитальная пора,
 А в Неплюевском кадетском славном корпусе— жара:
 К царскосельскому параду муштровали день-деньской.
 Фронт— в тылу, противник рядом... Я защитник, не изгой,

Бит осколками, контужен, «Анны» две и «Станислав»,
 Начинать служить хорунжим— генералом в сорок стал.
 Русский крест казачий тяжёлый, лишь героям по плечу.
 Где Икона? Кто на страже? Прикоснуться к ней хочу».

.....

1. Чёрная овца (*тур.*).

11.

Камыши сгибает ветер, пишет рябью по волне:
 «Кто казаченок приветит в азиатской стороне?
 Сорный злак вцепился в пашни, запустенье, мор и пал.
 Не вернуть нам день вчерашний, светлый батюшка-Урал.

Проложи к востоку русло, измени движенье вод,
 Оренбургской жизни тусклой дай иной, свободный ход.
 Смой заброшенную церковь прочь с поруганной земли,
 И кладбище с прахом предков, и степные ковыли,

Не забудь колки и кручи, изб саманных скарб и хлам,
 Пусть на спинах волн текучих устремятся по следам
 За отчаянным народом... Разбушуйся, дай мне знак!
 Будет пить родную воду, жить в родной степи казак».

Водяной язык по гальке зашуршал, слагая речь:
 «Казаков мне, ветер, жалко, надо семя их сберечь.
 Отступили, не вернуться, но взойдут в полях ростки—
 Внуки век спустя вольются в атамановы полки.

Вот потомки есаула, вот и писаря родня,
 Глянь—урядниковы скулы: два румянца, два огня.
 Будут вместе строить храмы, отливать колокола,
 И Табынской, лучшей самой, вознесётся вновь хвала!

12.

Даже списки мироточат с Дива дивного в миру.
 Мы пождём, а красный кочет сам помрёт в своём жару,
 Поколеньям в назиданье—как наказ на все года:
 Русский русскому страданье не приносит никогда!»

Так Урал ответил ветру и понёс волну быстреей.
 Дети ладят нитки к веткам, ловят в ямах пескаррей.

В городке Красноусольске у купален—толчея:
 Гость из области Свердловской, оренбургская семья,

Из Челябинска соседи, из Актюбинска друзья.
 Каждый с хворью личной едет—излечить её нельзя

Без целебных вод солёных, без Господних добрых рук.
 Жаль, в Китай ушла Икона, исцелявшая от мук.

На попутках автостопом, на автобусах гурьбой,
 Кто пешком сюда притопал, а кого везут с собой.
 Мальчуган десятилетний—оренбургский казачок—
 Подошёл к скале заветной, бросил наземь рюкзачок—

Отдохнуть с дороги надо. Вдруг раздался чудный глас:
 «Не смыкай-ка вежды, чадо, мя приять во храм сейчас!»
 Вознесёт он кверху очи и увидит: на скале
 Образ в лаке солнцеточит—дар божественный земле.

Арсений Замостьянов

За что боролись?

Легче всего обойтись стереотипами и рефлексами. *Западный империализм теснит Россию, лишает общего будущего народы распавшегося Союза... Бандеровские банды завоёвывают Украину...* Отчасти так оно и есть, но не будем упиваться положением обиженного. Куда важнее проанализировать стратегические ошибки двух братских народов — русского и украинского. Янукович окончательно потерял уважение даже украинских друзей России и, по-видимому, утратил влияние на армию и спецслужбы. Расколота партия регионов — ещё недавно она задавала тон в Верховной Раде. Ветер дует в паруса радикалов — тех, кто разрушает памятники Ленину и молится на портреты Бандеры. Их голос слышен даже на Востоке. А за что они борются — парни из «Правого сектора», рядом с которыми притулились и утончённые киевлянки, и деловитые болельщики Евросоюза, и обиженные безработицей горемыки?.. Цель мятежа — смутная, скорее — блажь, чем рациональная задача. Призрак свободы, дух потасовки, тут главное — дать жару. Каждый видит в призраке свободы своё. Одни — чистоту европейских мостовых и социальные гарантии, другие — посрамление «олигархов», третьи — героическую казацкую вольницу, четвёртые — торжество украинской нации, нашлись и сторонники парламентской республики... Никто не выиграет, но шуму они наделали. Самый явный символ ненависти — Ленин, вождь советского государства, который немало сделал для того, чтобы современная Украина стала страной обширной и многонаселённой. Ненавидят не только вождя мирового пролетариата, но и все семьдесят лет советской истории. По-видимому, им кажется, что Украина в те годы потеряла шанс на некое «европейское развитие» в стиле Австрии или Дании. Идеология, государственный миф независимой Украины строится на отказе от общего с Россией наследия. Некоторые — самые буйные — ненавидят Ленина более сознательно, как коммуниста — исконного противника нацистов.

Москва никогда не препятствовала официальной украинской советофобии, да и прямую русофобию старалась не замечать. С конца 1980-х украинцев и русских срамливали — разумеется, не только извне. Достаточно разбередить раны, расковырять противоречия — и остаётся мечтать

только о «худом мире», а узы дружества, воспетые Тарасом Бульбой, позабыты. Не будем утешаться иллюзиями: наиболее пассионарными в эти революционные дни оказались антироссийские силы. И не только Запад их вскормил, тут и нашенькие рубрики работали против России. Вестимо, интересы некоторых влиятельных чиновников и бизнесменов «у нас порой» не совпадают с потребностями народов России и Украины. Договора, транши, верительные грамоты, шуршание ассигнаций — а в итоге нет в семье лада, да и общей семьи нет. Ненависть, иллюзии и кровь на мостовой.

Уходящее руководство Украины не показало себя самостоятельным. И у Запада, и у России были рычаги экономического влияния на этих состоятельных господ — и весь мир наблюдал, как они дёргаются, когда Нью-Йорк, Брюссель или Москва тянут за финансовую ниточку. И это урок для России: невозможно проводить независимую политику, когда у тебя кошелек в Лондоне...

У собственного народа администрация Януковича заработала репутацию вороватого и неповоротливого. Хотя... Ещё неделю назад вполне популярным на Украине было такое умозаклучение: раньше за Януковича голосовали со скрипом, а теперь за него проголосуют искренне — из страха перед «бандеровцами». Но когда Янукович предал беркутовцев — его акции рухнули.

Что касается недавнего дружеского понижения цены на газ и многомиллиардных инвестиций в украинские евробонды — не придётся ли в ближайшее время терять лицо и брать назад «царское слово»? Ведь, несмотря на пантагрюэлевский размах затрат, российская дипломатия не выстроила на Украине прочных построек. В политике недостаточно позвенеть серебром и гаркнуть: «Нет — так не надо, другую найдём!» Побеждают те, кто умеет последовательно и терпеливо гнуть свою линию.

А ведь есть ещё и Содружество Независимых Государств... Как раз в 2014 году наступила очередь Виктора Януковича исполнять роль Председателя Совета глав государств СНГ. Кто-нибудь в последние месяцы слышал голос Содружества? Под эгидой этой международной организации сотни сановников, дипломатов, учёных едят свой ржаной и пшеничный хлеб. А украинский кризис пытаются разрешить совсем другие политики...

От России в очередном спектакле принимал участие Владимир Лукин. А потом на весь мир прозвучала информация о найденном компромиссе—по сути, о победе Майдана. Улыбался польский дипломат, давал интервью немецкий. И промелькнуло: «Владимир Лукин отказался подписать проект соглашения оппозиции с Виктором Януковичем».

Бесповоротного выбора Украина не сделала. Слишком многим в элите выгодна ситуация неопределённости. Тут уж как в старом анекдоте про потомственного адвоката, который радостно сообщил отцу: «Я выиграл дело Иванова!»—и получил в ответ: «Ну и дурак. Дело Иванова нас тридцать лет кормило!» Хмель бунта не выветрится после очередных соглашений. К тому же и в Европе, и в бывших советских республиках многие серьёзные господа хотели бы превратить Украину в дикое поле. Когда горят крыши—легче и веселее идёт обналочка. При этом жизнь в стране надолго станет невыносимой: в условиях экономической качки ни Европа, ни Россия при любом режиме не смогут оказать Украине действительную помощь. Почему же тысячи активных украинцев ринулись в отчаянную драку? Неужели им нечего терять? Только не надо всерьёз говорить о высоких идеалах свободы—они во все времена были и будут прикрытием корыстных интересов. Да и не нужна Майдану демократия. Ему нужны победы. Разве согласятся активисты противостояния с результатами новых выборов, если на них победит Янукович или Азаров?

Идея великой державы от Владивостока до Карпат не овладела умами граждан Украины—даже русские в этом смысле настроены скептически. А уж природные малороссы и вовсе подпали во власть мелочной национальной спеси и не хотят видеть, что беды последних двадцати пяти лет связаны не с коварством Москвы, а с распадом общей страны.

К сожалению, в условиях информационного общества политика превращается в шоу, в котором

провокаторы и лицедеи теснят тех, кто мог бы профессионально управлять индустриальной державой. В результате элита приобретает европейский лоск, а в промышленной глубинке наступает варваризация. Погромы онлайн, баррикадные бои в прямом эфире—возможность таких зрелищ изменяет сознание. Не дай Бог оказаться актёром в уличном погорелом театре! И смотреть на это из России как с другой планеты невозможно. Тут достаточно одного довода: противостояние сказывается на судьбах миллионов русских, проживающих на Украине.

А вот и самый грустный для нас вывод: современная Россия, не смотря на финансовое благополучие последнего десятилетия, малопривлекательна для соседей. Их гипнотизируют огни Европы. Всё, что связано с Россией, с общим прошлым, кажется чем-то устаревшим, отжившим своё—как грузовик ЗИЛ-130. Такова репутация нашей страны и её истории в глазах соседей и недавних соотечественников. Украинцам сегодня несвойственна ностальгия по СССР, а тем более—по Российской империи. Да при том же Януковиче их ежедневно настраивали против общего прошлого—по всем телеканалам.

У России—узкое пространство для дипломатического манёвра на Украине. Остаётся найти в братской стране политическую партию, которая отстаивает интересы русских на Украине и с почтением относится к государству Российскому. Найти и поддерживать её на ближайших парламентских и президентских выборах, которые не должны превратиться в «пир победителей» с Майдана. Задача вроде бы арифметическая, но до сих пор такие приёмы России не удавались. Самое глупое—заявлять, что нам никакого дела нет до украинских дел, а потом обижаться, что нас не любят, а потом судорожно покупать любовь, а потом снова обижаться... Научимся рационально выстраивать кривую—может быть, и воссоединим народы, которые порознь всё-таки не найдут счастья.

Людмила Шарга

Ночной сюжет новостей



Эта книга
ещё не дочитана,
но я знаю,
чем всё закончится:
от спокойствия
нарочитого —
не от боли —
придётся корчиться.
Здесь прозрачны
сюжет и фабула,
здесь герои
с юными лицами...
чья-то жизнь,
что ещё
вчера была,
стала
вырванными страницами.
Эта книга не нами начата,
и не нам писать окончание,
только в списках погибших значатся
наше завтра
и наши чайня.

Отпускают детей
родители...
не пленённые и не пленные,
побеждённые...
победители...
убиенные...

душам отданы кущи райские,
кровь пробьётся
гроздью калиновой,
горькой
сукровицей
февральскою,
алой ягодой —
журавлиною¹.



«Приезжай,— говорит сестра,—
отпою настоем из трав,
заварю душицу, чабрец,
хмель с малиной.
Чтоб тревогу и боль унять,
чтобы тяжесть и морок снять,
чтоб душа посветлела и
не кровила.
Отдохнёшь,— говорит сестра,—
посидим с тобой у костра,
коль надумаешь —насовсем,
нет — так в гости.

(..кто-то пришлый в памяти стёр
древний смысл слова «костёр»...
не дрова пылали в кострах,
а кости...)

Приезжай...
по весне сойдёт
и растает тяжёлый лёд,
и распустится сон-трава в перелеске».
Рвусь на зов,
на тепло огня,
только он и греет меня,
поделиться бы да всплакнуть,
да не с кем...
«Приезжай,— говорит сестра,—
здесь поют синицы с утра,
станет легче, как бы душа
ни кровила...»
Станет легче,
но есть земля,
я давно без неё — не я,
безутешная боль моя,
Украина.

1. Журавлина — одно из названий клюквы на Руси.
В современном украинском языке — клюква.



Ирине, сестре

...ночной сюжет новостей
привычен и предсказуем
один за другим падают памятники
люди воюют с камнем
это предельно просто
свалить с пьедестала вчерашнего идола
куда проще
чем убирать обломки на площади
куда проще
чем воевать
с идолами в себе
здесь мы заведомо обречены
на поражение

Божья Мельница

В марте всё непредсказуемо,
всё спонтанно,
наобум,
поминаем Бога всеуе мы
да клянём свою судьбу.
А она — судьба треклятая —
ни плоха, ни хороша,
на лету ученье схватывай,
не ропща да не спеша.
Можно мартовскими идами
все несчастья объяснить,
иссушить себя обидами:
мол, прядёт Недоля нить, —
подгонять невзгоды вздохами,
уповая на авось,
это времечко Евдохой
испокон веков звалось.
Только что теперь печалиться —
слава Богу, что жива,
знаю, медленно возвращаются
эти Божьи жернова.
И чужим глазам не верится,
и проплаканы свои —
вижу только крест да мельницу
в чистом поле на крови...
Не уйти от этой мельницы
ни панам, ни мужикам,
перемены перемелются —
выйдет знатная мука,
чтобы по миру развеяться,
чтобы кровь прикрыть да стыд...
Всё осилит Божья мельница,
перемелет и простит...



в Старом городе —
здесь говорят:
Старе місто —
есть одна улица
если пройти по ней
то можно услышать
как где-то
под мостовой
молчат колокола церкви Святой Ирины
их молчание оглушительно
вот и
лёгкая женская тень
вздрагивает
наверное один из колоколов —
полиелейный —
молчит слишком громко
не так давно
здесь стоял последний Ирининский столп
но люди всегда воевали с памятниками
тень Ингигерды — великой княгини киевской
(в крещении — Ирина
в схиме — Анна) —
прилетает слушать
как молчат колокола
Ирининской церкви

тихо-тихо
идём мимо
мне почему-то хочется
назвать тебя
Ингигердой
я знаю
ты отзовёшься
и не удивишься
ну разве что самую малость



Скорый поезд далеко стучит,
море дышит глубоко...
Абрикосовые косточки
мы кололи вечером.

На песке валялись рядышком,
в черепаховых очках,
абрикосовые ядрышки
зажимая в кулачках.

Были сплошь исповедальными
наши взгляды и слова,
и от запаха миндального
чуть кружилась голова.

Невзначай сползала кофточка
с обгоревшего плеча...
Абрикосовые косточки,
как положено, горчат.

И летели, плыли, ехали—
абрикосовые дни,
но поспевшими орехами
нас сентябрь соблазнил.

И глядят глаза раскосые
из окон чужой судьбы...
Было лето абрикосово,
были дали голубы.

Скорый поезд далеко стучит,
кролик спит в своей норе,
абрикосовые косточки
дети колют во дворе...



*Не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.*
Ис. 2:4

Не говори мне о свободе.
Мы все стоим на переходе—
нам нужно площадь перейти,
иного нет у нас пути.

Мы вспоминали вкус свободы...
и становились кровью воды,
и пеплом стал крещенский снег...
Свобода на устах у всех.
Забыв пророчество Исаяи,
её, как кость, рабам бросают,
за эту кость голодный раб
служить рабу другому рад.

Не говори мне о свободе.
Там люди площадь переходят,
и может статься—перейдут.
Горит земля и там—и тут.
Кругом разверстая геенна,
шакалы воют, и гиены
из подворотен скалят пасть...

Не дай нам, Господи, пропасть
на этом страшном переходе,
где мы судачим о свободе.
И упаси нас от свобод,
что обещает переход.
Оборони от мук, от боли...
И дай нам волю.

Сергей Брель

Метроном

Коммунизм

Он стал утопией суровой,
и проклинаете его,
но Маркса каменное слово
столетье к солнцу повело.

Его провозгласил в трущобах
головоломный «Капитал»
и насаждал товарищ Коба,
да так, что знали млад и стар,
и Ленин, словно бы в экстазе,
громил плехановскую ложь—
но свет рождался не во фразе
головорезов и святош,

а самый Промысел внезапно
его значенье разгадал,
когда привёл от динозавров
нас в царство мысли и труда.

Но мы малы, скупы и хлипки
для справедливости земной,
и вновь фальшивят наши скрипки,
а разум источает гной.

Мы молимся богам джакузи,
а мавзолеи нас смешат,
и вместо школ, театров, кузниц
народ стекается в «Ашан»,

и девочки идут в модели,
а мальчики играют в чоп
в амфетаминовом веселье,
порвав с картавым Ильичом.

И знайте, братья: право, мало
и лжи, и крови, и потерь—
нас не спасут уже ни Мао,
ни скорбный дедушка Фидель;

вернётся демон революций
и в колесе крошечных зим
в животных—ангелы проснутся,
благословляя коммунизм.

Накануне

Алине

И прервётся однажды творенья нить—
просто ангел промолвит: «Йок!»—
будет правда одна Тегеран бомбить,
и другая—взрывать Нью-Йорк;

остановятся службы по всей земле,
и уйдут, отложив дела,
в темноту—пожилой приходской кюре
и забывший Коран мулла.

Мир узнает неслыханный прежде гнёт,
обращая в огонь и прах
всё, что бережно так, словно бортник—мёд,
собирали Шекспир и Бах;

и пошлёт поднебесью последний стон
новый день в затяжном бреду,
и опять позолоту сорвут с икон,
а Версаль—обратят в реду.

Речь умолкнет, на помощь призвав картечь,
и вино потеряет вкус;
но пускай эти игры не стоят свеч,
я грядущего не боюсь,

потому что пока есть моё плечо,
лньёт твоя голова к нему,
и поэтому, милая, брать в расчёт
ужас будущий ни к чему!

Пахнет ветром и хлебом вечерний час,
и сквозит под дождём сирень,
и, конечно, любимая, есть у нас
чай и Пушкин на чёрный день,

смотрят с полка «Онегин» и «Дон Кихот»,
да горит на окне герань...
Так бесстрашно встречаем за годом год,
пусть столетье досталось—дрянь.



Над Сирией—звёздные войны,
магистра встречает Дамаск.
Британия, словно покойник,
уходит в крошечный намаз.

На смену холерному бунту
чумные кордоны грядут,
и небо пылает, как будто
последний свершается суд,

как будто Египет скрывает
хрустящая тьма саранчи,
и волчи голодные стаи
всё воют и воют в ночи,

отары покорные блеют,
понуро верблюды бредут,
и завтра накроют Корею
всё те же огонь и мазут...

Мы в страшной петле Оклахомы,
пятне слепоты нефтяном.
Простимся. Линкор атакован.
По темени бьёт метроном.

Военное

Когда эмоции зашкалят
в Одессе, Харькове и Туле,
да будет облик наш кристален,
не доверявший пуле-дуре.

Да будет чуток полк дозорный,
Мамай унынья не нагрянет,
и флаг предательства позорный
покинет город наш, древляне!

Боян споёт о хлебе славы
заслуженной, а не продажной;
да минет чаши тлен отравы
и луч горит на такелаже!

За белым яром¹ бури смолкнут,
и крылья чайки свод разрежут.
Мы расставались ненадолго
и возвращались неизбежно.

ДиН пародия

Евгений Минин

Не объедайтесь беленой!

Воскрешение

*Мы умерли сто лет тому вперёд.
В гробу перевернулись и воскресли.*
Михаил Дынкин

Мы умерли на днях—и сразу в гроб,
как если б в лодку—и поплыли в Лету.
Я песни пел, а мой товарищ грёб,
а местных там и не было, и нету.
Лишь бегали, спустившись с высоты,
антрепренёры и антрекоты.

К вам едут ревизоры,—кто-то вдрут
свой голос подал с неба—там кружили
горящие круги, за кругом круг!
Чтоб я так жил! И чтобы вы так жили!
Повсюду в белом бегали врачи,
и я покрепче сжал свои харчи.

Вчера по три, а завтра будет пять!
Тут мне по котелку ударил кто-то,
и понял: рановато умирать,
поскольку ждёт любимая работа.
А хочешь долго жить, как старец Ной,—
не надо объедаться беленой!

Наобум

*они пришли по снегу натошак
наевшись алычи и авокадо
нашли меня им подсказал ишак
но мне таких застенчивых не надо*
Алексей Цветков

хотя меня там не было тогда
там жил мой кот любимый рыжей масти
его любили кошки без стыда
в любви ночной катаясь сыром в масле

их как всегда погода подвела
у компаса не так крутилась стрелка
и привела туда где два кола
где жить нельзя а плавать было мелко

а там они застыли на века
подобием скульптуры в волгограде
мне рядом с ними не стоять пока
поскольку я живу не строчек ради

.....
1. Севастополь основан в Ахтиарской бухте, названной по татарской деревне Ахтияр, или Акъяр (от «ак» — «белый», и «яр» — «крутой берег, обрыв у моря»).

Николай Ерёмин

В виртуальной круговерти



Мечты о жизни в сердце берегу...
 А где-то в виртуальной круговерти
 Вдруг возникают так, что не могу
 Молчать,—тревога и мечты о смерти...

Смотрю на одинокий листопад...
 На снегопад... И воскресает память...
 Ты тоже где-то там сейчас, одна ведь...
 И я тоскую, сам себе не рад.

В душе—обычный русский депрессанс,
 И нужен мне—не джинн из поллитровки,
 Врач говорит, а нужен мне сейчас
 Сеанс аутогенной тренировки...

Снег тает и стекает по плечам...
 Над лесом поднимаются туманы...
 Теперь я верю им, а не врачам,
 Врачи теперь—рвачи и шарлатаны...

А помню, были хвори нипочём,
 Когда с тобой мы повстречались в Польше,
 И стала мне ты другом и врачом,
 А может быть, я думаю, и больше...

Но что прошло—того уж больше нет...
 И чтоб меня не мучить новой болью,
 Ты даже не выходишь в Интернет
 С былою виртуальной любовью...

А я мечты о жизни берегу
 И прочь—опять—гоню мечты о смерти...
 И, засыпая, вижу сквозь пургу
 Тебя... А дальше—ангелы и черти...

Эпитафия

Нужда
 Поэта вынуждала
 Грешить—
 Не много и не мало...

Перед собою
 И людьми,
 Перед женою
 И детьми...

Но перед Небом,
 Видит Бог,
 Он, бедный, согрешить не смог.



Невидимка
 Радиоактивность
 Вдруг по краю рюмки засветилась...

Ты заметил это,
 Выпив виски,—
 И ушёл из клуба по-английски,

Унося озноб осенней дрожи
 И следы полония
 На коже...

Краткая биография

Биография была
 Очень краткой.

Пил, курил
 И для девчат песни пел...

И всегда ходил
 Со школьной тетрадкой,
 И записывал стихи между дел...

И хвалился
 На хмельном вираже:
 — У меня—сто тетрадок уже!

А когда
 Расстаться с жизнью пришлось,

Из тетрадок
 Ни одной
 Не нашлось.



— Опять куда-то
 Вороны летят...

— Куда летят?
 — Летят куда хотят...

А помню,
 Над просторами земли
 За горизонт летели журавли...

— Не может быть! Серьёзно?
 — В самом деле...

А вслед за ними
 Лебеди летели...

Безумие

Безумие
 Охватывает всех,
 Кто сочетает славу и успех.
 Кто не боится на большой эстраде,
 Танцуя, петь,
 Безумных денег ради...
 Чтоб умереть
 От передозировки
 На фоне равнодушной подтанцовки...
 Где громыкает,
 Новым жертвам рада,
 Большая разноцветная эстрада...

Ода Интернету

Жизнь
 Переместилась в Интернет,
 И ему
 Альтернативы нет!
 Каждый—
 И мудрец, и идиот—
 Здесь
 Своё бессмертье обретёт!



Мы все
 Кричали в пустоту
 О наших бедах и обидах...
 И все искали красоту—
 Кто в мельпоменах,
 Кто в кипридах...
 Желали славы и успеха—
 А отзывалось
 Только эхо...

Нынче

1.
 Где вы нынче—
 Ялта и Алушта?
 Словно не видал вас никогда...
 Никуда не еду, потому что
 Некуда...
 Такая вот беда.
 2.
 А помнишь,
 В Коктебеле—трали-вали—
 С тобой мы пили, пели, танцевали...
 Купались в Чёрном море по утрам...
 Кто там сейчас царит на фестивале?
 Как там сейчас—
 Без нас?
 Тарам-там-там...

Соловьи поют

Соловьи—невинно и невидно—
 Про любовь поют и про уют...
 Я бы так же пел—мне так завидно!—
 Да грехи, как видно, не дают...



Жизнь прошла—
 Открытая, как «Нате!».
 Все на свете
 Знают о поэте:
 Детство пролетело
 В интернате...
 Старость
 Пролетает в Интернете...

Максим Замшев

Теперь придётся жить, как ты хотела...



Теперь придётся жить, как ты хотела,
Хоть ты всего лишь след на панораме,
Затерянный средь прочих экспонатов
Такого лета, что другие: «Ах!» —
И то не скажут. Нынче вне предела
Моих терзаний по оконной раме
Ползёт слеза; во сне шепчу: «Не надо», —
Но просыпаюсь утром весь в слезах.

Не свечи загораются, а книги
Пылают вместе с сердцем. Где расплата
За буквы, что бежали без оглядки,
Пока не врезались в кирпичный дом?
А в доме старомодные интриги
Остались вместо серебра и злата,
И впору мне сразиться с ними в прятки,
Но некому настаивать на том.

Представь, что всё закончилось, и ветки
Дрожат многообразно и ранимо,
В своём сиротстве — первые от века,
В своей тоске — последние для нас.
В углу пылятся старые баретки,
А время в комнатах проходит мимо
Того, что не содержит ни ответа,
Ни восклицанья, ни прощальных фраз.

Теперь придётся жить. Назло, на счастье,
Знать, что потери — это суть движенья,
Считать шаги и вечно путать числа,
В пустых карманах мелочью звеня.
Ничто не отразится на брусчатке,
Но ты моё увидишь отраженье,
Когда твои глаза начнут учиться
Смотреть на мир, в котором нет меня.



Чем ближе весна, тем проще
Себя убеждать: мы пара.
Взгляни на Трубную площадь
От Сретенского бульвара.
И что разглядишь с холма ты?
Что светлые встретят очи?
Карнизов тугих шпагаты
И разные всюду точки,
Верхушки деревьев, крыши,
Хрустящего полдня кожу,
И счастье, что ты расслышишь
Наверно, немного позже.
Москву не зальёшь слезами,
Водичку здесь льют из лейки.
Нас улицы разрезают,
Чтоб заново вместе склеить.
Глотаем мы капли влаги,
Чтоб выдохнуть в поцелуях.
Висят облака, как флаги,
Тряпьем отражаясь в лужах.
Пройдёмся давай до Чистых,
Судьбу разгребём руками.
Весна наступает быстро
И в спину меня толкает.
Любовь наступает громко,
Терзая и оглушая,
По мартовской тонкой кромке
Пройдём до конца до края.
Столица вернула стаи,
Поклоном чужому дому.
А лёд непрестанно тает,
Царапая по живому.

Наталья Скакун

Сладкая жизнь

Река

Как только Андрей Сивачёв купил выстрадавший джип, так сразу его потянуло совершить на джипе какой-нибудь подвиг. Влезть на Эверест, махнуть прямо по льдинам на Северный полюс. Сильная машина дрожала от нетерпения в городской пробке, рвалась к преодолению препятствий. Как в рекламе: пески, горы, бурелом— всё нипочём. Колёса перемальвают километры, что стальные челюсти. И водитель-победитель устало закуривает, привалившись к капоту. Сивачёв закрыл глаза— перед ним сразу потекла большая река. На изнанке его век она текла постоянно. Андрей засмеялся от вдруг принятого, такого лёгкого решения. К реке он и поедет. Куда только самолётом можно долететь. Да, самолётом— «кукурузником», а позже чехословацкой «чебурашкой» он туда и летал в своём детстве. Там, на большой сердитой Реке, жила его бабушка. И он там жил четыре года, пока мама с новым отцом не забрали его. Подсчитал и удивился: он не был на Реке ровно тридцать лет! И раз так всё удачно округлилось, надо ехать. Там у него живёт (да живёт— куда она денется?) тётка— материна сводная сестра. Старше матери, но вот пыхтит ещё на своей Реке. А мать умерла. Ей то одно вырезали, то другое, сокращали бедную женщину как дробь.

Прямо из пробки Андрей позвонил своей даме. Она называла себя Лилией, а в паспорт Сивачёв ей не смотрел. Лиля сидела у маникюрши, реставрировала ноготь на среднем. Сивачёв удивился: «Он, что ли, памятник, чтоб его реставрировать?» Потом вспомнил: она вчера сломала ноготь, подобра, обдула, завернула отскочившую красную скорлупку в платочек. Он ещё засмеялся: похоронить, что ли, хочет? А вот оказалось: реставри-ру-ет. Надо же, не только машины бывают битыми-клееными, но и ногти. Он сообщил Лиле, что уезжает на Реку. Пояснил, что дорога дальняя, а Река холодная, потому с собой он её не зовёт. А про себя подумал: «И нечего лапать своими клееными ногтями моё хорошее, единственное детство».

Сивачёв мигом собрался. Взял лопату, топор (всё ж серьёзно: тайга, река), канистры. Навалил всякой еды, водки разной взял двадцать бутылок на случай тёплой его, Сивачёва, встречи. Купил карту. Дороги в тех местах были. Правда,

какие-то пунктирные, но на такой машине это не страшно. Смущала его только переправа. Она тоже была пунктирная. На все сто километров. Какая-то неуверенность, нечёткость сквозила на северном куске карты. Но Сивачёва успокаивали прошедшие тридцать лет. «Уж за такое время,— соображал он,— там всё изменилось. Цивилизация неизбежна».

Андрей Сивачёв хлопнул дверкой джипа и поехал к Реке через одну тысячу триста километров. Первые четыреста километров свистели и пели. А потом среди стройного рыжего бора дорога пропала, захрустела и заподбрасывала щебёнка. Скорость пришлось убавить, окна задраить. «Отличная дорога,— подбадривал себя и джип Андрей,— для таких-то мест». Дорога шла всё бором и бором. К полудню появились лесовозы. Лесовозы поднимали с дороги летучие тучи глинистой пыли и шли с таким интервалом, чтоб пыли было не присесть. А только стоять стеной над дорогой. Джип пилил в пыли, как подводная лодка в серых глубинах, только, жаль, без перископа.

Андрей гнал машину без остановок, гнал и гнал на север. И вот, как серебряная награда, блеснула его большая Река. Сивачёв съехал с дороги на высокий берег. Здесь была ровная, накатанная площадка в бутылках и обёрточной шелухе. Река дышала мощью, слепила гладью. Неслась бешено, но с достоинством. Не река— стихия. Сивачёв восторженно вдохнул и проглотил пригоршню маковой мошкары. Мошкара обволокла его суетящимся облаком. С этим облаком Андрей проследовал в кусты и вышел, нарастив облачность втрое. «Да что же это?!— изумился он.— Откуда они? Да столько! Аномалия какая-то».

Ругая изменившуюся экологию, Сивачёв порулил дальше. В его детстве мошкары не было. Он бы тогда просто не выжил. Через шестнадцать часов после выезда Андрей вкатил в административный центр этой глухомани и остановился возле приплюснутого магазинчика с женским именем во лбу. Там он затребовал минералки и местных примет:

— Деревня Сивачёво, на том берегу, знаете? Я отсюда родом, сам Сивачёв.

— Это далеко,— насторожилась продавщица.

— Ничего, мой вездеход везде пройдёт,— Андрей небрежно мотнул головой в сторону джипа.

— На берег надо ехать. Там переправят. На берег, в Нижнюю Перевалиху.

— Паром ходит?— уточнил Андрей.

Продавщица пунктирно кивнула.

— Бензина с собой возьмите,— пожалела Андрея,— вечером бы не ездили, дорога плохая.

Андрей проехал по плохой дороге без малого тысячу километров. До переправы оставалось, если верить карте, всего шестьдесят км. Неужто он отступит? Городок он перемахнул в считанные минуты. Отличная дорога понесла в лес; через семь километров, после указателя «Аэропорт», асфальт уступил дальнейшее расстояние просёлочной коллеге. Сивачёв смотрел зорко, чтобы не пропустить через тридцать километров сворот налево. Сворот оказался не через тридцать, а через сорок пять километров. Но это точно был он. Раньше сворачивать было некуда. Разве что в болото, в котором до половины утонули телеграфные столбы—перекладки их были вровень с дорогой. Указателя у поворота не было. В повороте виднелась глубоко нарезанная лесовозная колея и располагавшаяся по-хозяйски ночь, тогда как на просёлке догуливали сумерки. Решив у кого-нибудь спросить, туда ли он едет, Сивачёв свернул. То, что раньше он ругал плохой дорогой, сразу оказалось дорогой хорошей, ибо здесь была сама непроходимость, переходящая местами в непролазность. Джип виновато пополз на брюхе. Вдруг ему навстречу замотал фарами хозяин здешних дорог—лесовоз.

— Доеду до Нижней Перевалихи?!— закричал Андрей вверх, в лесовозную кабину.

— Доедешь!— ответили ему со смехом.— Только к пленным не сверни.

Через четверть часа Сивачёв добрался до развилки: две дороги расходились кривыми ножками. Где Перевалиха? Что за пленные? На карте такой подлости не было. Была одна пунктирная ветвь. Сивачёв свернул налево и скоро въехал в деревенскую, очень жидкую улицу. Обрадовавшись, что так скоро нашёл Перевалиху, Сивачёв поехал по уличной колее, выглядывая местных. Первый же встречный местный отказался именовать поселение Перевалихой, упёрся, что это Индей. Двое следующих местных подтвердили его слова: Индей, никакой Перевалихи. Более того, о Перевалихе они даже не слышали.

— Вы же местные!— изумился Андрей и полез к ним с картой.

Они оказались не местные, а сезонные. Местных тут вообще не было. И Нижней Перевалихи тоже. Наступающая ночь сгущала краски. Сивачёв порулил обратно к развилке—у него оставалась в запасе правая ветка. У правой ветки в темноте стоял человек в светлой куртке и со светлой

головой, будто ждал Сивачёва. Он одной рукой курил, другою двигал мерно, как дворником.

— Доеду до Перевалихи?— напал на него Сивачёв.

— Довезёте до сворота?— попросил в ответ светлый человек.

Андрей осмотрел его: не опасен ли? С виду человек был мелкий, но кто его знает...

— Я вас провожу,— подластился пассажир.

Они поехали. Провожатый, рассмотренный водителем, оказался сед, хоть и не стар. На его смуглом, опалённом лице вылинявшие голубые глаза казались почти белыми, какими-то варёными—как у рыбы из ухи. Попутчик показал улыбкой несколько дыр во рту, а рукой, вынырнувшей из просторного рукава,—наколку. Рукой он то и дело махал во все стороны, указывая ненужные им свороты.

— Пленные, пленные, это всё пленные,— пояснял белоголовый.

— Ээки, что ли?— догадался Сивачёв.

В его детстве тоже были ээки. Но «пленными» их не звали; видно, позже стали.

— Я сам из них. Убийца,— учтиво представился проводник.

Сивачёв промолчал, хоть кожа на нём подобралась в мурашки и от её съёживания приоткрылся рот. Попутчик со вздохом признался:

— Я прямо как Каин—брата убил. Только брат мой не Авель, а просто нарик был—наркоман. Мать измучил. Она его любила, жалела, отдавала до последнего. Он пенсию за неделю вытаскает, она—по соседкам. Ей уже никто не давал. Гнали, ругали её. А он ждёт, ломает его—концерт, не то слово. Тогда она ко мне пришла, как-то так особенно заплакала. Я пошёл к ней домой и убил его топором. Прокляла меня. За все шесть лет—ни одного письма. Я-то пишу, здоровья ей желаю—всё как положено. А обратно жить не поеду.

— Семья есть?— спросил Сивачёв.

— Там не было, здесь завёл. Не семья пока ещё, одна только женщина. Тоже долгая история...

— Не надо,— попросил Сивачёв.

— Стой!—скомандовал Каин.

Ослеплённый светом фар, перед машиной замер крупный заяц. Глаза его пусто отражали свет, а тело безвольно застыло, обвисли даже усы. Пассажир вышел из машины, засмеялся над зайцем, заступил свет фар, и заяц, ожив, прыснул прочь, аж кусты вздрогнули, как от сохатого.

— Как побежал, а?! Видел? Здесь их много, хоть в мешок собирай. Зимой тропы вытаптывают, что слоны. Всем тут зона, а им—воля.

Убийца ещё долго смеялся над зайцем, над его глупым «лицом», над кучей, которую заяц будто бы навалил с перепуга. Не меньше медвежьей.

— Думает, наверное: «Как я от них сиганул!—не догнали. Вот я чёрт какой бегучий!»

Сивачёв тоже засмеялся. Так смешно этот Каин передразнивал зайца.

За смехом Андрей потерял бдительность, затормозил резко, заметив крест, торчавший прямо из дороги.

— Мост,— успокоил Каин,— дыра там, надо осторожно.

Он вышел из машины, пошёл по мосту к кресту. Таких мостов Сивачёв ещё не встречал, хоть проехал их за день семь-восемь. Через реку были настланы брёвна, под ними кувыркалась дикая, как все эти таёжные реки, вода. Справа в мосту был пролом, обозначенный деревянным крестом. Возле креста встал, растопырив руки, Каин. Он согнул шею, показывая направление, и в этом виде оказался страшно похож на распятого Спасителя. Перил у моста не было. Сивачёв проехал по чему-то очень ненадёжному, опасному.

— Ограждение на костры пустили,— пояснил влезший убийца.— Вот тут на горочке и жгут, когда лесовозы караулят. Сейчас меня высади, а там уж прямо и прямо— больше никаких своротов не будет. Километров десять— и Перевалиха.

Они молча вползли в неудобную горку. Сивачёву жаль было расставаться с попутчиком. Парень он был весёлый, да и дорогу знал хорошо.

— Счастливо добратся и переправиться!— пожелал Каин, выходя, и вдруг спросил:— Ты меня не осуждаешь?

— За что?— удивился Андрей.

— Я ведь брата убил,— напомнил попутчик.— Чего машешь? Не осуждаешь? Вот всегда так: никто не осуждает, кроме суда Российской Федерации, да и тот не от души— за деньги. А брат всё равно не отстаёт. Он ведь приходит ко мне, брат! Вот как тебя вижу. И всегда скажет: «Зря ты. По-другому надо было». А как по-другому? Не знаешь? Никто не знает. Я и у самого брата спрашивал: как надо было? Нет, голову воротит и своё бубнит: «По-другому, по-другому». Ну, поезжай с Богом!

Светлая спина повернула в сторону. Убийца... А с виду такой простой, хороший. Ночь развела и размазала всю свою чёрную и синюю тушь. Фары испуганно шарили по колее, лес прижимался к дороге, уж слишком близко, подозрительно близко прижимался, как карманник в автобусе. В джиповых ходовых суставах что-то определённо похрустывало. «Разбил машину!»— охнул Сивачёв. Стало ещё страшнее, непрогляднее, безнадежнее. «И куда я еду? Есть ли здесь кто? Может, он меня запутал? Сейчас выскочат «пленные», выпьют водку, сожрут еду, а меня порубят моим же топором». Шёл третий час ночи. На карту и смотреть не хотелось. Изовралась карта, подвела. Перебежал дорогу заяц— этот в фары не глядел, опытный. Сивачёв обрадовался ему как знакомому. На панели джипа горели циферки, на небе— старейшая навигационная система. Куда-то вела косорылая колея, и надо было ползти по ней дальше. «Когда же кончатся эти десять километров?!»— чуть не заревел Андрей.

И тут они кончились. Показалась рукодельная изгородь, заблестели несколько низких огоньков— самые прекрасные звёзды— звёзды человеческого жилья. Андрей остановил машину, снял руки с руля— они дрожали. В приоткрытое окно полетели гнус и звуки недалёкого девичьего смеха. Сивачёв быстро нашёл очаг этого смеха: на лавочке возле спящего дома сидело несколько подростков.

— Нижняя Перевалиха?— спросил, волнуясь, Андрей.

— Верхняя!— засмеялись на лавочке.

— А где Нижняя? Где пристань?

— Ниже,— ответили ему.

От скамейки отошёл самый смелый отрок, помачал рукой вниз и направо. На лавочке продолжали смеяться, так их рассмешило появление джипа из тайги и ночи.

Андрей покатился вниз. Цепь домов разорвалась ненадолго, а потом, под горкой, опять сомкнулась. Присмотревшись, Андрей понял, что нижние дома нежилые. В них не было стёкол. Из них вышло и развеялось всё нажитое в них тепло. Это, видно, и была Нижняя Перевалиха. Андрей выкатился к Реке. Здесь надо было искать пристань. Пристанью могли быть лишь два вросших в берег, нависших над водой бревна. На пристань же указывала густая замусоренность прилегающего пространства: в лунном свете блестили тельца стеклянных и пластиковых бутылок, во сне пошевеливалась-лунатила смятая упаковка. Андрей вышел, ступил на брёвна. Река и ночью продолжала свою вечную работу движения. От Реки и луны было светло, пусто и одиноко, как на краю земли. Вдруг под брёвнами кто-то мокро ворочнулся. Андрей увидел в светлой воде недвольную ондатру. Невозможно было представить, чтоб к этим брёвнам, к этой ворчливой ондатре причаливал паром.

Сивачёв решил вернуться в Верхнюю Перевалиху, к живым людям, и всё там хорошенько расспросить. Молодых уже не было. Но возле зелёной будки под жёлтой лампочкой курил мужик в очках. Это был сторож, он охранял магазин— будку. Он-то и пояснил Андрею, что никакого парома здесь нет и не было, а людей и их машины переправляют катера— «каэски». Можно и лодку нанять, но тогда без машины. Вот только машину сторож не советовал оставлять: народ не дай Бог.— Мне в Сивачёво надо, у меня родня там,— признался Сивачёв.

— Из Сивачёва тоже катера ходят,— утешил сторож.— Сходи к радисту, он родню призовет. А те уж знают, наверное, кто у них поплывёт.

— Так поздно,— устыдился Сивачёв.

— Какое поздно? Утро. Встают уже. А радист на работе. Ему деньги платят.

Сторож показал, как проехать к радисту. Сивачёв поехал без воодушевления. У радиста точно

горел свет. Собака восторженно залаяла. Выполнила, наконец, свой долг. Радист с готовностью вышел, с готовностью вызвался помочь. Вид у него был свежий, утренний, умытый. Сивачёв сел на вмятый диван, боясь уснуть от тепла и покоя, а радист начал настойчиво ворковать: — Сивачёва, Галя... Галя... ответь Перевалихе. Сивачёва... Галя... Галка... это я, Перевалиха.

Калитка брякнула, собака счастливо взвизгнула на своего. В дом вошёл высокий подросток с поникшей головой. Тут же из глубины дома в него полетел бодрый женский голос:

— А! Нашлялся! Чего пришёл? Там бы и спал! Как жрать да спать, так к маме-папе, а как шляться... — Тихо! — прикрикнул радист. — Я работаю. У меня задание. Галка? Ты доила, что ли? Тут человек к вам добирается. Сивачёв. Откуда я знаю, каких Сивачёвых? Мужчина, кто у вас там родственники? — Тётя Тоня, — еле ответил Андрей. Так хотел спать. — Звать её? — тормозил радист. — Когда катер идёт, спросите, — совсем сомлел Сивачёв.

— Галка, он спрашивает, будет ли с той стороны катер? Кто-нибудь идёт, знаешь? А... Ну... передам. Нет, сейчас не ходи. Так передай потом, что родственник приехал. Чтоб готовились.

— Часам к одиннадцати подойдёт, не раньше, — объявил радист, — Василь Петрович подойдёт. На берегу ожидайте. Василь Петрович Закомлев. В тельняшке ходит.

Андрею так не хотелось покидать диван, но он встал, поблагодарил радиста за его нелёгкий труд, спросил, сколько должен.

— Что вы?! — ужаснулся радист. — Я на работе, мне платят.

Во второй раз свалился Сивачёв из Верхней Перевалихи в Нижнюю. Встал прямо на брёвна. Светало, но это не мешало глазам слипаться. Подняло Андреевы веки явление — спускавшийся с горки ревучий механизм-мутант. На раму «Беларуса» была наставлена кабина «Запорожца» с трубой. Колёса вращались под разными углами. Самоходка, колдыбаясь, подъехала, выпустила из себя мужика в резиновых броднях и детской бейсболке с Губкой Бобом. Мужик забухал прямо к Андреевой машине. Заранее распахнул в улыбку беззубый рот. — Что? — спросил Андрей, приспустив стекло.

— О, а мы думали, ты пьяный, — удивился беззубый, опалив лицо едким перегаром. — Дай соляры завестись.

Сивачёв отказал. Абориген разочарованно повернулся и залез назад в чрево мутанта. Тот, подёргавшись, завёлся, уполз раскорякой с берега. Андрей уснул.

Утро так полыхнуло солнцем — Андрей взмок и очнулся от проливного пота. По реке неслись плоты, рядом с джипом стояла машина из породы старых скорых.

— На тот берег? — спросил у курившего водителя Андрей.

Водитель не шелохнулся. Взгляд его цепко держал подходивший катер, будто присваивая его.

— Я — в Сивачёво! — предупредил Сивачёв.

Водитель не отцепился от катера. На катере уже можно было разглядеть толстого, да ещё и в расширившей его тельняшке, мужика. За катером плыл ржавый противень.

— Здравствуйте! — закричал причаливавшему катеру Андрей, норовя обойти водителя скорой. — Это я хотел плыть в Сивачёво. Вы Василь Петрович?!

Капитан повёл головой, но не повёл и ухом. Из катера выскочил худой, гнутый, как шахматный конь, юнец. Вместе с водителем скорой они взялись за дело: перекинули с берега на катер поблизости валявшиеся доски и по ним потащили из скорой в катер всякую дрянь: коробки, мешки.

— Василь Петрович! — отчаянно позвал Сивачёв. — Десять тысяч рейс, — откликнулся, наконец, капитан в тельняшке.

Андрею показалось, что водитель скорой недоверчиво улыбается.

— Хорошо, — твёрдо и громко крикнул Сивачёв. — Освобождайте катер!

Капитан опять не повёл ухом — погрузка продолжалась в густом атакующем гнусе. Андреево терпение раздулось, как воздушный шар на свадьбе, и он с закипавшей головой ждал, когда шар лопнет и можно будет въехать в морду хоть водиле, хоть капитану этому Врунгелю. Тут нагруженный до пупа катер стал склячивать к берегу свой противень.

— Заезжай, — велел капитан.

— А арбузы?! — в первый раз подал голос водила. Бабий визгливый голос.

— Войдут, — пообещал ему катерист. — Чего уснул? Заезжай! Некогда!

Андрей понял, что заезжать надо ему. На противень. Его почти новому хорошему джипу. И потом по пунктирной сто километров. По воде. А на самом деле ему туда совсем не надо. Тётка чужая ему, бабушка умерла. Десять тысяч — дорого. Он бы на эти деньги в Турцию улетел. И вообще, он хочет жить, а не тонуть за десять тысяч вместе с машиной за миллион.

— Твою мать! — подбодрил его капитан.

Андрей двинул машину и посадил её на противень, как пирожок. Юнга-конь прицепил джип кривой железякой. Водила скорой стал закатывать на свободные места желтозадые арбузы. Ради компактности он попинывал их, норовя забить под сивачёвский джип. Снова пронеслись плоты, с которых поприветствовали Василь Петровича кудрявым матерным словом. Водила с юнцом, взяв по дырине, упёрлись ими в противень. Катер потянул корыто с другой стороны. Под Сивачёвым

заколебалась вода. Юнга с брёвен прыгнул в катер. И они поплыли. Казалось, джип поехал по воде. По огромной и зыбкой воде.

Сивачёв представлял, что там под ним. Толстая ледяная глубина. А на дне—машины, арбузы, разбухшие люди. Всё внутри Андрея стянулось к сердцу, которое от такой осады начало биться недовольнее. Машины, мешки, коробки, брёвна, надутые резиновые утопленники. Равнодушные рыбы. Хорошо, что он уснул. И проснулся только от свежих матерков катериста, норвящего ловчее пристать к сивачёвскому берегу.

Коробки и мешки теперь потащили в обратном порядке—из катера в скорую. Сивачёв так и болтался на противне, окружённый со всех сторон арбузными головами. Дошли руки и до арбузов. Круглый приёмщик товара возмущался: арбузы были колотые, с открытыми черепно-мозговыми травмами. Василь Петрович отмахивался: разберут и такие. В драку. Круглый упирал своё брюхо в брюхо капитана—клетчатое в полосатое, напирал. Капитан отталкивал круглого назад. На кого-то этот круглый был похож. Сивачёв узнал: это был его одноклассник Петя Тиликов по прозвищу Титька. Окликачь Титьку Сивачёв не стал. Отложил. Да и Титькина машина отъехала раньше, чем Сивачёву дали отмашку освобождать поддон.

—Десять тысяч!—напомнил капитан.

—Хер тебе на рыло!—раздался сбоку здоровыслящий голос.

Незаметно, но как раз вовремя подошла тётя Тоня—похожая на мать-покойницу женщина. Только морщины на ней оказались рубленые, а на матери, Андрей помнил, были мягкие, мятые. —Пять,—обрубила тётка, не глядя ещё на племянника.

—Так я ж в оба конца,—завилял капитан,—ему ж ещё назад плыть. Здесь же не останется.

—Не твоё дело. Не один ты ходишь,—тётка держалась как железная Маргарет Тэтчер.

—Здравствуй, тётя Тоня!—отжал из себя всю родственную радость племянник.—Не ждали такого сюрприза?

—От сюрпризов толку нет,—не смягчилась тётка,—сказал бы заранее, я б тебе заказы сделала. Куры начисто вынеслись, выродились. Одно-два яйца в неделю—куда это? А жрут. Так бы свежих цыпущек купил хоть с десяток. Аппарат лечебный заказала бы. Тут у нас докторов нет, а все больные. У тебя с собой нет?

—Чего?—растерялся Андрей.

—Аппарата. На магните работает. Все болезни снимает. По телевизору передают про него.

—Нету,—признался Сивачёв.—Я водки хорошей привёз.

—Водка теперь вся вредная стала, палёная,—авторитетно пояснила тётя Тоня.—Я своим мужикам

и нюхать не беру. Отравятся ещё. Пусть самогонку пьют. Свою, домашнюю.

Андрей еле уговорил тётку ехать на машине—она норовила добежать. И добежала бы. Тётка была крепка, как лиственничное бревно.

—Давно у вас мошкара развелась?—спросил Сивачёв.

—Отроду,—удивилась тётка и посмотрела на племянника искоса: всё ли с ним в порядке?

Пока ехали, Андреево сердце разнылось от радости узнавания: берег, будки для моторов неподобие нужников, туши сохнувших лодок, натянутые сети, горка, с которой зимой пацанами не слазили. Сивачёво, как и Перевалиха, делилось на верх и низ. И так же, как в Перевалихе, внизу жизнь прекратилась. Ожидая затопления, оставшиеся жители вползли на гору. Тёти-Тонин дом, как знал, стоял на горе. Вышли встречать люди: тёти-Тонин муж дядя Коля, незнакомый мужик и бабка.

—Приехал!—заблажил дядя Коля, как будто ждал—дождаться не мог Андрея.—На мать похож!—огласил результат генетической экспертизы, немедленно им проведённой.

Все, даже тётя Тоня, заулыбались. Зубов ни у кого не было. Дядя Коля с мужиком изъявили желание осмотреть Андрееву машину, а тётя Тоня с бабкой пошли накрывать.

—Ты не помнишь его, что ли?—кивнул дядя Коля на мужика.—Это же наша родня дальняя, он тебе будет...—тут дядя Коля задумался.—Родня, короче. Дядя Миша. С бабушкиной стороны.

Позвали к столу. Стояла рыба малосольная и солёная с душиком, рыба сушёная и подвяленная, рыба жареная и рыба варёная. Картошка тоже была в шести-семи ипостасях. Андрей вцепился в свою опасную водку, опасаясь полезной самогонки. Выпил и закусил малосольной рыбкой. Родня ждала рассказов, и Андрей, не скупясь, начал.

—...Кругом одни свороты, ночь, никто ничего не знает—какой-то Индей-Мандей; если бы не этот «пленный»—не доехал бы,—старался Андрей.

—Батюшка наш Иисус Христос,—умильно и сразу рясно заплакала старушка,—ходит он, хо-о-одит, жалеет нас, грешных.

—Крёстная моя, баба Маня,—представил бабку дядя Коля.—Из ума выжила, держим её вместо Райкина. Телевизора не надо. Какой тебе Христос?!—повернулся крестник к бабке.—Совсем одурела?! Тебе говорят, мать убил и брата. Где ты тут Христа нашла?

Андрей удивился: мать-то тут при чём? Брата ж только, наркомана. Но поправлять не стал.

—А он проверяет,—упёрлась старуха,—нас испытывает. Понарошку скажет: убил, а сам посмотрит.—Чё тут смотреть?—оборвал дядя Коля.—Убил—в тюрьму. А лучше расстрелять. Дешевле.

Андрей начал рассказывать про хорошего радиста.

— Максим?!— захохотал дядя Коля.— Так он тоже тут сидел.

— Убил кого-то?— растерялся Сивачёв.

— А то. И не одного—двух или трёх. Такому это запросто. Что два пальца...

Андрей помолчал, как рыба, которую он ел.

— Одноклассника своего видел, Тиликова,—осторожно завёл новый разговор, боясь услышать, что Тиликов—серийный маньяк похлеще радиста.

— А, жадормота этого...—многозначительно хмыкнул дядя.

И это оказалась лучшая на сегодняшний день характеристика.

— А про Сашку Кузнецова что-нибудь слышно? Он ведь подводник вроде?—вспомнил ещё одного забытого друга детства Сивачёв.

— Утонул на «Курске»,—мрачно сообщил дядька.

— Так разве Сашка...—усомнилась было тётя Тоня.

— На «Курске»,—повторил дядя Коля сурово,—по всем каналам передавали.

Сама собой повисла необъявленная минута скорбного молчания.

— Надо к матери его сходить,—промямлил Сивачёв.

— Нечего делать!—пресёк порыв дядя.—Его дело такое—тонуть. Ему за это деньги платили.

— Упокой, Господи, душу,—сладко забормотала баба Маня, как все старухи, оживающая от чужой смерти.

— Ты ешь, Миша, ешь,—обратилась тётя Тоня к дальнему и молчаливому родственнику.—Совсем ничего не съел.

— Это я только червя накормил. Сейчас для себя есть буду,—заверил дядя Миша.

— От рыбы,—пояснил племяннику дядя Коля,—черви от рыбы заводятся. Рыба вся кругом разная. Если недоварил или недосолил—червяк готов. А травить его—целая наука. Медицина тут бессильна.

— Я вот как травил!—оживлённо перебил дядя Миша.—Я сначала мужского папоротника запарил, его принял, а потом—постного масла стакан, чтоб кишки смазать. Ему ухватиться не за что, вот и вышел. Спиртом ещё травят, керосином. Но без масла толку не будет, как ни трави. Смазка нужна.—Яйцо надо тухлое выпить,—подсказала баба Маня.—Болтуна из-под парушки.

Сивачёв смотрел на малосольную рыбу, которую он только что с аппетитом кушал. В животе его, показалось, кто-то уже заворочался.

— Бабушкин дом ещё стоит?—с надеждой спросил он.

— Что ему будет?—махнул рукой дядя Коля (в руке блеснул свежепосоленный рыбий хвост).—Картошку там садим. Фазенда!

— Надо съездить,—встал из-за стола Андрей.

— Завтра на кладбище сходим, блинов напеку,—пообещала тётя Тоня.—Бабушка наверну лежит,

на горочке, как в перине. А деда твой внизу. Там ищи. Не обессудь, что оградка не крашена. Без здоровья живём. Что с нас взять, с пенсионеров? На краску нету, хватило бы на соль.

Андрей поехал к бабушке. Машина его привлекала внимание. Незнакомый дед бросился наперерез.

— Рыбу будешь брать? Ягodu? Картошка молодая?—зачастил он, как только Андрей спустил стекло.

Дедов язык сочно прищёпывал. Зубов, как тут повелось, не было.

— У него дорого! У меня бери!

— У меня!!! Крупная!!!

Со всех сторон бросались на джип, как под танк, сивачёвцы...

Андрей удивился: бабушкин дом стал вдвое меньше. Время, получается, съедает пространство. Час, как червь, точит сантиметры-метры. У Андрея был ключ от старого замка с отверстием, похожим на значок женской уборной. Он торопился отпереть дом, ожидая, что под замком-то уж точно что-то сохранилось. В доме было низко, пыльно, серо. Пахло дешёвым куревом и рыбой. Под потолком висели окуны, нанизанные на проволоку. Один окунь упал, его уже почти доели мыши. Андрей прошёл за печь: на полке стояла бутылка с мутной самогонной жидкостью, в тряпочке, Андрей заглянул, лежало копчёное сало. Ни бабушкиного духу, ни тем более его собственного, детского, не было.

На кладбище, продираясь сквозь сухую, в пояс, траву, Андрей долго искал дедову могилу. Мать его и тётя Тоня были от разных отцов. Хотя обе Сивачёвы. И Андрею досталась эта фамилия—фамилии отцов, настоящего и двух других, к нему не прилипли. Здесь, на кладбище, наверняка лежала куча Сивачёвых, но который был его дед, Андрей не разобрал. Остановился у пирамидки со звездой и бельмом вместо фотографии. Показалось, что эту звезду он помнит. Большая, крупней остальных. Дед был председателем сивачёвского сельсовета. Не мог он лежать под мелкой звездой. Да и оградка, как предупреждала тётка, была давным-давно некрашенная. Живого деда Андрей не застал—попал на Реку, когда над дедом уже взошла жестяная звезда. Тут Сивачёв сообразил, что дедов вечный покой не такой уж и вечный. гэс уже достраивают, низы зальёт вода, недаром же все отселились на горки, значит, и дед поплывёт. Андрей посмотрел кругом: все они поплывут. «Выкопать и перенести вверх, к бабушке!»—осенило Андрея. И сразу у его глупой поездки, заключавшейся в хвастовстве новой машиной, появилась хорошая и даже отчасти святая цель.

Сивачёв покати́л обратно в гору. В нём было так много грусти и жалости (чуть пьяной, конечно), что он решил заехать к родителям Сашки

Кузнецова — утонувшего подводника. Сашкину мать он не узнал, переспросил: она ли? Женщина подтвердила, буравя Андрея заострившимися от тревоги глазами. В лице её уже была врождённая готовность к любому горю, хоть даже к войне: сжатые брови, опущенный рот, беспросветные глаза. Чуть не бежал из огорода дед — видно, Сашкин отец. Сдерживали его хлопающие калоши. На ходу он раскатывал рукава байковой рубахи. — Только сегодня узнал, что с Сашкой случилось, — растерялся Андрей. — Я Сивачёв...

Женщина закричала, замахала руками. Мужик бросился к ней, бормоча:

— Мать, мать, мать. Чего ты раньше времени? Сядь, мать.

— Давай бумагу! Чтоб печать синяя была! — заорал дед на Сивачёва, держа обмякшую бабку свою в крепкой охапке. — Синюю давай, круглую!!!

— Я — Андрей Сивачёв, Сашин одноклассник, бабы-Нюрин внук. Я сегодня приехал. Мне дядя Коля сказал, что Сашка на «Курске» служил. Я думал... — В манду твоего дядю с «Курском»? Сашка в Индийском океане, на «Курчатове». В автономке. Не знаешь, так губами не шлёпай. Мать... издит он! Не знает он Сашку.

Дед уволок стонущую бабку во двор и в дом. Захлопали двери, а Сивачёв хлопал чуть не лопнувшими от стыда глазами.

Провокатора дяди Коли дома не было. Вместе с червивым дядей Мишей уплыл он проверять сети. А тётка управлялась — кормила скотину, желая ей лопнуть, треснуть, провалиться к чертям собачьим. Скотина хрюкала, визжала, гоготала, мыкала — несла песнь торжествующего животноводства. На крыльчке сидела баба Маня с подсолнухом в руках, в нимбе из мошканы. Впрочем, мошкара суетилась над ней без особого аппетита.

— Как там моя дочь в Перевалихе живёт? — спросила баба Маня у подсевшего к ней Андрея.

— Не знаю, — удивился он, — я ж её не видел, — и добавил: — Ночь была.

— А зятя видел? — пристала бабка. — Зять машины собирает, а люди нет бы денег дать — поят. Споели уже, наверное. Зимой, как Река встанет, к дочери поеду. Если зять не выгонит.

— Зятя видел! — догадался Сивачёв. — Если он машины собирает, то видел. Беззубый?

— Лысый он, — уточнила бабка. — Пьяный был?

Сивачёв утешил старушку:

— Не, не пьяный. С перепоя.

Баба Маня принялась раскачиваться из стороны в сторону, что должно было означать осуждение зятя. Андрей разглядывал черёмуху: листья её кое-где полимонели, издали казалось — на черёмухе растут лимоны.

— Бегу, бегу! — выскочил из-за угла дома раньше своей хозяйки радостный голос. — Где там мой одноклассник?!

Андрей встал и грудью встретил бросившуюся на него низкорослую женщину. Руки её жали Андрею спину, шарили по ней и егзили. По груди Сивачёва каталось лицо, моча слезами орла на футболке. Оно, лицо это, ещё и тушь размазало от крыла до крыла. Оторвавшись, гостья допрыгнула до Андреева подбородка и чмокнула в него — так собаки лижут любимого хозяина.

— Не забыл Ленку Дудину! — радостно провозгласила коротышка.

— Не забыл, — смог подтвердить Сивачёв.

Память завертелась в голове, заглядывала там во все двери, выдвигала ящики и сметала хлам с полок, но Ленки Дудиной не находила.

— Садись, — пригласила Ленка и села.

Сразу высоко оголились её сосисчатые ноги в сиреневых носках и пластмассовых шлёпанцах в тон. Под розовой кофтой прошлась туда-сюда, вверх-вниз ничем не стеснённая грудь. Бабка Маня подвинулась, но не ушла.

— Как живёшь? Женат? — приступила Ленка.

Передние зубы у неё были, что выгодно отличало женщину от прочих сивачёвцев. Андрей пожал плечами. Можно было понять: так себе живу, так себе женат. Незнакомка Дудина огладила свои ноги. Над левой коленкой блеснула рыбка, в рубль, чешуина. Сивачёв уставился на неё, гадая: отвалится, нет? Вдруг Ленка Дудина — русалка, небрежно почистившая свой хвост? Он представил: вот она вылезает на берег, берёт нож и чистит с хвоста чешую, словно обыкновенная женщина, бреющая ноги. Потом размыкает свой хвост на двое, прячет плавники в сиреневые шлёпанцы и идёт завлекать мужиков.

— Одна-а-а... — распевала Ленка Дудина о своей судьбе.

Бабка Маня раскачивалась — осуждала теперь уже Ленку. Сивачёв хотел пройти в дом, но не мог — засада сидела крепко.

— Пойдём ко мне, — предложила Дудина, — чаю попьём, — и она опять огладила свой разделённый на две ноги хвост.

— Я спать хочу, — признался Андрей, — я с дороги. Всю ночь не спал.

— Так у меня и поспишь, — повела ногами Дудина.

Баба Маня изобразила лицом: «А я ничего не слышала, никому ничего не скажу». Сразу стало ясно: скажет, ещё как и сколько!

— Тётка обидится, — юльнул Сивачёв.

— Чего ей обижаться? Мы ж одноклассники, наше дело молодое! — захотела Ленка.

— Устал, — отбивался Андрей от русалки-Ленки.

— Ладно, проводи меня, — встала она тяжело, вздыхая не легче. — Твоя машина? — показала на джип.

Сивачёв кивнул. Ленка тоже кивнула, убедившись в сивачёвской кредитоспособности.

— У меня двое пацанов. Старшего надо в училище собирать. В город поедет. Займи пять тысяч.

— Не могу,—отказал Сивачёв,—я деда приехал выкапывать. Расходы. Людям заплатить. Новый гроб там или ящик какой, памятник, ограда.
— На хрен тебе сдался этот дед?! От него уже и червей не осталось!—ахнула Дудина.— Ты о детях подумай.

Ленка удалилась, цепляя на ходу ногой ногу—хвост срстался. Сивачёв о Ленкиных детях думать не хотел. Он пошёл спать. Сон закачал его, как ржавый противень. «Плашкоут!»—вызвалось из памяти слово. Ночью, часа в два, завизжал дяди-Колин мотоцикл. Тётка с дядькой взялись потрошить и солить пойманную рыбу. Хоть и без всякого здоровья.

— Не знаете каких-нибудь бичей—нанять деда выкопать?—спросил Сивачёв за обедом.

— Чего?!—взвыл дядя Коля.— Какого ещё деда?!
— Своего, не чужого. А надо бы всех. Затопит же их. Не стыдно будет с берега на гробы дедовские смотреть?—поддел Андрей, злой на дядьку ещё за вчерашний «Курск».

— Так ты их выкопать предлагаешь?!—дядя Коля тоже сердился.

— Предлагаю,—заявил племянник.— Взять лопаты и выкопать всех нижних.

— Как картошку?! Покойников наших?!

— Грех-то какой! Грех! Грех вам!—запричитала баба Маня.— Вечный покой им. Вечный покой.

— Земля пухом,—вставила тётка Тоня.

Дядя Коля усталился на Сивачёва с немym вопросом: «Ну?!»

— А по воде костям плавать не грех?! Это так вы вечный покой понимаете?!—Андрей встал.— А я у попа спрошу, грех или не грех,—вдруг пригрозил он.

— Иди спроси! Попов тут нету!—ткнулись ему в спину дядькины крики.

Андрей завёл джип, хоть и поклялся беречь соляру, поехал, выглядывая магазин с Петькой Тиликовым. Магазин был один, нашёлся скоро. Называлось заведение «Доминика». В магазине точно был Титька, мигом сообразивший, что торговле на сегодня конец. Поехали к Титьке домой.— Магазин у тебя интересно называется...—удивился Сивачёв.

— В честь дочери, ничего интересного,—отмахнулся Титька.

— У тебя дочь—Доминика?—не поверил Андрей.— Где это вы выкопали такое имя?

— Жена называла. А выкопала в телевизоре. Где ещё? Сериалы там всякие,—Тиликов вздохнул.

Возле Петькиного дома на убитой земле прыгала та самая Доминика—рыжеватая, веснушчатая девчонка с ободранными коленками. Она играла в классики, стараясь не задеть воображённые ею линии. На машину она глянула мельком, одним взмахом раскосых глаз быстрого речного цвета.

— Одна дочка у тебя?—спросил Петьку Сивачёв, вынимая из дорожных запасов три бутылки на встречу.

— Две,—помрачнел Тиликов.— Старшая замуж вышла, уехала.

Титькиной жены дома не было—уплыла на острова за ягодой. Петька сам накрывал на стол, приговаривая:

— Сырокопчёнка. Подсохла немного, но так даже лучше. Дозрела, букет раскрылся. Шпроты. И за чем я только их завёз? Ни одна зараза не купила. А просили: привези, Петя! Списать пришлось. Но они хорошие, не бойся, никто ещё не умер. Сыр на хлеб мазать. Дочка любит. А эти не жрут. Не понимают вкуса. Тоже вот списал две из шести. Арбуз. От сладости лопнул, ешь прямо ложкой, хлебай, как я.

От арбуза несло откровенной бражкой. Сивачёв хлебать отказался. Титька вздохнул:

— А я ем. Куда-то надо ж это девать. Не выбрасывать же. Моя уже варить разучилась. Куда тут варить, когда просрочку доедать надо? Она ещё и пилит: не смог продать—жри. Всё правильно, бизнес есть бизнес. Ты колбасу-то ешь, она сейчас в самом соку.

Сивачёв куснул твёрдый жирный ломтик. Вкус был кисловатый. А Титька смело хлебал арбуз, чавкал даже. С едой к нему в голову поступила мысль:— Это не ты мне все арбузы своим джипом передал? Твоя машина на «каэске» была?

Андрей рассказал о погрузке, о тощем водиле, пинавшем арбузы.

— Наёмный человек, пролетарий,—отмахнулся Тиликов.— Но ты-то куда смотрел?!

— Я ж не знал, что это твои арбузы,—оправдывался Андрей.

— В салон надо было взять,—гундел безутешный бизнесмен Титька.— На сиденье положить.

— У тебя на нижнем кладбище кто-нибудь похоронен?—перебил Тиликова Андрей.

Тиликов зажевал быстрее—так он думал.

— Бабка по отцу, её брат дед Кузьма...

— Так вот все они утонут!—перебил Сивачёв.— Выкапывать надо, переносить на гору! Не понимаю, чего вы тут сидите, кого ждёте?!

Петька трогательно, синё глянул на Андрея и повторил, как сговорившись с бабой Маней:

— Грех ведь...

Тут Сивачёв лопнул от злости. И про гробы плавающие кричал, и про черепа, на берег выброшенные, и про кости, перемолотые турбинами гэс. И всё это из-за Петьки, дяди Коли и подобных им потомочков!

Петька Тиликов виновато мычал. Сивачёв потребовал проводить его к местному радисту, чтоб дозвониться до какого-нибудь попа. Провожать пришлось недолго—радистка Галка жила в доме напротив.

— Попа? Где ж я вам возьму попа?—закапризничала она.—Если бы больница, телеграф или какое-нибудь учреждение...—взялась она перечислять.

— Поп тоже учреждение,—перебил Сивачёв,—духовное учреждение. А не знаете, так и скажите. Свяжите меня с Максимом из Перевалихи.

Радистка связала. Раздался спокойный, внимательный голос Максима (и не скажешь, что из «пленных»). Как тут всё перепуталось! «Пленные»—как люди, а люди—как... Титька). Сивачёв, заплетаясь в мыслях и словах, изложил свою просьбу: найти какого-нибудь попа и получить от него разрешение выкопать всех нижних покойников или, «если эти черти не захотят», хотя бы одного сивачёвского деда.

— Черти—это кто?—осторожно уточнил Максим.—Нижние покойники?

— Родственники их долбаные!—закричал Сивачёв.—Тиликовы всякие!

— А я чё? Я чё, против, что ли?—струсил Петька, топыривший рядом уши.

Максим проговорил-повторил задание:

— Найти попа, чтоб разрешил родственникам перезахоронить покойников с нижнего сивачёвского кладбища. Так? Или отдельно деда Сивачёва. Так? И узнать мнение попа насчёт греха. Так?

Сивачёв порадовался единственному нормальному человеку. Единственному на двух берегах. Пошли с Петькой назад.

— Кто такая Ленка Дудина?—вспомнил вчерашнюю русалку Сивачёв.

— Блядь,—просто пояснил Тиликов.

— А говорит, одноклассница наша.

— Не, на год моложе,—авторитетно заявил Тиликов.—Твой дядя Коля сегодня в магазине рассказывал: у Ленки от тебя ребёнок. Старший который. Что она с тебя вчера алименты требовала за шестнадцать лет.

— Ребёнок?! Мне ж двенадцать лет было, когда меня мать забрала!—заорал на Петьку Сивачёв.

— Да понятно, понятно,—осенило Петьку,—в двенадцать лет ты не мог. Технически!

Снова сели к просроченному столу. Сивачёв уже пил и ел без страха и упрёка, жаловался на дядю Колю. То у него Сашка утонул, то Ленка родила, то «пленный» брата с матерью убил.

— А мать живая! Письма шесть лет пишет!—горячился Сивачёв.

— Это он прибавляет,—разъяснял Титька дяди-Колину философию,—ему так интереснее. Но жизнь всё равно знает. Одного брата убить бывает и мало. Обычно это с матерью делается. Подводники—они тоже... они тонут, не сегодня, так завтра. А Ленка, может, потом от тебя родила. Позже.

— Да я не был здесь тридцать лет!—ахнул Сивачёв.

— Тридцать лет?—уцепился за спасательный круг круглой дагы Титька.—Надо за это выпить!

Выпили и закусили арбузом. И ещё. Потом приплыла Петькина жена—тощая, с золотыми зубами и ведром неразборчивой ягоды. Жена ядовито оглядела застолье. И только тогда еда окончательно испортилась.

— Пелевалиха вызывает!—закричала Доминика.

— Удалось связаться с отцом Сергием, настоятелем Успенского храма в Петропавловске. Отец Сергей говорит, что греха в перезахоронении нет. Смысла тоже нет. Он недавно выпивал во славу Божью красненького с главой районной администрации, так тот ему по секрету сказал, что уровень водохранилища ожидается выше запланированного. Слышите меня? Выше. Затопит не только нижнюю часть, но и верхнюю. Сивачёво наверху тоже затопит. И Верхнюю Перевалиху нашу. Батюшка просил его не выдавать. Не поднимать панику среди населения.

— ...издец!—выругался Сивачёв.

— Точно,—подтвердил Максим.—Только батюшку не выдавайте. Всё равно что на исповеди узнал.

Сивачёв отмахнулся от Титьки, приглашавшего продолжить застолье, пошёл к машине, волоча ногами, как раненый.

— Стой!—скомандовал Петька.—Ещё о делах не поговорили. А дела нехорошие. Я деверю должен шестьдесят тысяч—он мне на открытие давал. Он сам из лесных. Они здесь хозяйничают.

— Отвали,—велел Сивачёв, норovia оглоушить Петьку дверцей.

— Займи!—очень жалобно и трезво попросил Петька.—А то меня убьют.

— Вот это правильно, а то дядя Коля скучает,—захохотал Сивачёв.—И одного тебя мало убить. С мамашей интереснее.

Дядя Коля во дворе чинил тротуар, менял прогнившую доску на свежую. Свежая доска была шире. Дядя Коля её бережно подстругивал.

— Дядя Колечка,—восхитился племянник,—строгает досочку! Ножками—топ-топ. А водичка—буль-буль. И всех затопит! И нижних, и верхних. Поп сказал: аминь! А ему—глава района по пьянке. Всех затопит. Ну и хрен с вами!

Сивачёв захохотал, глядя на онемевшую родню (у бабы Мани изо рта высыпалась чёрная подсолнечная шелуха, которую старуха мусолила дёснами за неимением зубов). Вернулся в машину и поехал ночевать в бабушкин дом.

— Нажрался!—пояснил дядя Коля жене и крёстной.—К своей подался!

Сивачёв в другой раз отпер старый дом. Ничего не изменилось, дом был всё тот же—отталкивающее убогий, пропахший дядей Колей. Сивачёв содрал с проволоки сухого, как лист, окуня, расцарапав руку плавником. Отшвырнул рыбёшку, а потом ещё и запнул её под разложившийся от ветхости комкастый диван. Кроме дивана, спать было не на чем. Сивачёв вернулся в машину. Он

оставился через стекло на дом, но, кроме этой развалюхи, ничего у глаз не вставало. Не оживала бабушка, не оживал он сам. Те двое выгорели, как фотографии на кладбищенских памятниках. Остались одни бельма. И, если зажмуриться, Река на изнанке глаз.

Всё-таки он улётся на диване. Диван давил его и мял. Спать было неудобно. Да ещё бабушка жарко натопила печь—стряпала, наверное. Вот она вышла из-за печки. Андрей замер, помня, что бабушка его—покойница. Покойница сама смущалась. Отворачивала лицо, прятала его под козырьком белого платка. Андрей боялся, что она ненароком покажет лицо, но чувствовал, что и бабушка этого не хочет. Словно они оба знают о какой-то жути, произошедшей с лицом, и договорились её скрывать. Бабушка распахнула дверь, встала на пороге в беловатом свете. Сивачёв видел её спину в задранной на поясе кофте—кофту утянули вверх сутулые плечи.

«Тип-тип-тип-тип»,—еле слышно запищала бабушка Нюра.

Больше она не пошевелилась, только пищала, как комар: пи-ти-ти-пи-тип. Андрея потянуло вон, прочь, на улицу. В избушке вдруг закончился воздух. Надо было миновать вставшую в дверях бабушку, её спрятанное платком лицо. Андрей нацелился проскочить боком, но замер у бабушки за спиной. Перед домом летела сильная чёрная вода. Бабушка крошила в воду зёрна или крошки—не разобрать. Кормила Реку, как своих цыплят. И всё попискивала: ти-ти, пи-пи...

«Ти-ти-пи-пи, ти-ти-пи-пи»,—пикала негромкая, но всё-таки разбудившая Андрея птица.

Он очнулся в машине: дома не было, ничего не было. Один кипящий туман. Показалось, Река захватнически вышла из берегов и оккупировала Сивачёво—Верхнее и Нижнее, а на том берегу—Верхнюю и Нижнюю Перевалиху. Напала на сонных на слабом раннем рассвете.

Андрей хотел было уехать, но не посмел тронуться с места, не посмел потревожить серое утреннее дыхание тёплой летней земли. Андрей думал, что значит его сон. И додумался: он здесь чужой, ему надо проваливать, не беспокоя ни живых, ни мёртвых. Река кормила бабушку, и бабушка должна накормить собой Реку. Вспомнил он утонувшего бабушкиного племянника Сёму. Сёма был говорун и хохотун, выпал из лодки в ватнике, в сапогах—утянула, утопила его одежда. Бабушка только и сказала: «Что ж, на Реке живём, от Реки и помирать должны». Никто не плакал над Сёмой, даже мать.

Сивачёв решил узнать у Тиликова про катер. Своим ничего пока не сказал. И они молчали, уважая человека в загуле. Петькин магазин был заперт, возле него галдели две тётки.

— Не откроет!—кричала одна.— Убили его!

— А жена?!—не соглашалась другая.— Жена осталась, откроет. Ей сейчас прибыль надо на похороны.

Андрей хотел спросить тёток, о чём это они спорят, но решил не вступать в интересную жизненную историю. В Титькином доме на Сивачёва набросилась зубастая жена, имени которой он так вчера и не узнал. Жена стучала металлом во рту:— Дождался?! Радуйся!!! Из-за тебя, козла, Петьку забрали!!!

Всё-таки Сивачёв вляпался в эту историю. Ночью к Петьке Тиликову явился деверь со своими лесными братьями и забрал Петьку на дальнюю лесопилку. Титькиной жене было велено до обеда собрать долг с процентами—сто тысяч, иначе «Титька не жилец».

— Я-то тут при чём?!—оторопел Сивачёв.— Почему я-то козёл?!

— Занять трудно было?!—орала на Андрея Петькина жена.— Он же просил! Ради дочери! Ради всего святого! Сам вон на машине, а Петьку убили. Чтоб тебя с твоей машиной пополам разорвало!

Выяснилось: Титькины кредиторы решили трясти Титьку, потому что у него «крутые друзья на крутых тачках, у которых полно бабок». Ну так пусть займут Титьке, а им «ждать надоело».

— Он говорил, что брату твоему должен!—вспомнил Сивачёв.— Не будет же твой брат родню убивать?

— Деньги не родятся,—отмахнулась жена.— Всех убивают, а он что, особенный?

— Так в милицию иди,—наставил на путь Сивачёв.

Петькина жена засмеялась припадочным смехом, зашлась им и, наконец, подавилась. Денег у неё тоже не было. И товар до обеда она успеет только раздать, но никак не продать. Да и товару там тысяч на тридцать.

Сивачёв вернулся за машиной, расспросил у дяди Коли, как добраться до дальней лесопилки, и поехал туда с неясной целью и планом. По пути ему показалось, что его нагло разводят. Что всё подстроено самим Петькой. Тем не менее, Сивачёв всё дальше углублялся в лес и в эту наитупейшую историю. Лесопилка была на месте старой зоны. В зоне сидел пленный Петька—никто Сивачёву. Полное никто. Четыре года в одном классе на разных рядах, не то что партах. Сивачёв проехал под поднятым шлагбаумом. Этот оказался первым. Второй, чуть дальше, был опущен. Поодаль стоял вагончик на сваях: глухая обшитая коробочка и маленькое окошко с прицельным выражением. Сивачёв посигналил: пи-пи-пи-ти! По трапу, сотрясая его, сошёл крупный парняга с голыми мощными руками. На его широком торсе еле сидел кургузый жилет. Карманы штанов топырились во все стороны, заставляя задуматься об их содержимом.

— Тиликова давай!—приказал парняге Сивачёв.

— А то чё? — уточнил парняга, улыбаясь без верхнего резца слева.

Сивачёв медленно достал трубку — заурядный мобильник, но Андрей понадеялся на дикость собеседника.

— У меня спутниковый телефон, — покачал трубкой Сивачёв, — в телефоне — номер начальника гувд края. Он мой друг. (У Сивачёва действительно был сотовый номер гувэдэшника, случайно подцепленный на какой-то косвенной пьянке. Было это давно, позвонить так и не пришлось.) Если вы сейчас не отпустите Тиликова, я наберу Шурика, то есть Александра Петровича. Он вышлет вертолёт с омоноводами, и от вашей лесопилки останутся одни опилки. Если вдруг не дозвонюсь, — Сивачёв боднул паренька взглядом, — дозвонится Максим. Номер я оставил.

Паренёк сплюнул (раз в десятый уже) и повернул восвояси. Из вагончика навстречу ему спустились ещё двое: круглый в кожаной куртке и длинный в джинсовой. Троица на бис прослушала повтор Андреева выступления, по очереди и хором сплёвывая. Так они метили территорию, по обычаю современных самцов. Не сказав ни слова, хозяйева лесопилки удалились за вагончик, откуда погода с грохотом выполз настоящий БТР. Боевая машина, калеча кусты, объехала шлагбаум, Андреев джип и удалилась в грохоте и треске. Сивачёв расценил этот манёвр как капитуляцию. Оставалось найти Титьку или его труп. Сивачёв ещё раз посигналили: ти-ти-пи-пи! ти-ти-пи-пи! Дверь вагончика неуверенно разожмурилась, показался Петька Тиликов. Озираясь и чуть ли не приседая, он бросился к сивачёвской машине. Под шлагбаумом Петька постыдно прополз на карачках.

— Деньги привёз? Отдал им? — накинулся Титька на Сивачёва.

— С какой такой радости? Сам отдашь!

— Что ты наделал! — застонал Петька.

Сивачёв разворачивался. Петька стонал и бился головой о мягкий подголовник. Проклинал он почему-то не деверя, а опять-таки Сивачёва. Андрею хотелось вмазать Петьке в рыло, до сих пор отчего-то целое. Он, Сивачёв, спас говнюка Титьку, а тот ещё и в претензиях. Со злости Андрей газанул и резво погнал прочь. А зря. Шлагбаум, что прежде был гостеприимен, теперь загораживал путь. Помогал ему всем своим телом БТР.

— Приехали! — взвыл Петька. — Что теперь делать?! Ты, умный!

— Иди к ним, скажи, что выплатишь постепенно. — А я не говорил, да?! Не говорил?! — завизжал Титька.

— Заткнись, — посоветовал Сивачёв, — а то из машины выкину. Я им сказал, что начальник гувд — мой друг, я позвоню — он вышлет сюда вертолёт с омоном. Они теперь не сунутся. Поятся и уедут. — Так звони! Чё ты сидишь?! Давай вертолёт!

— В рыло бы тебе дать, — признался в своих намерениях Сивачёв.

— Сказал «вертолёт» — давай. За базар отвечать надо, — поучал Петька.

БТР стоял смиренно, без признаков жизни и агрессии. Сивачёв соображал, как его объехать. Место было неудобное: с одного боку — заросший откос, с другого — гора. Только вертолёт можно облететь. — Генка Сивачёв у них пилу сломал, — тихо и печально заговорил Петька, — новую пилу, японскую какую-то. Привязали за ноги к тракторам и дёрнули.

— А я был в Японии, — перебил его Андрей, чтоб сменить тему. — Что меня там добило — унитаза с пультом. Садись на унитаз, берёшь пульт и выбираешь температуру воды, аромат, напор. Всё, что хочешь, ради твоей задницы.

— Тоже мне счастье — жопу вылизывать, — надулся Титька и закрыл глаза.

То ли не хотел разговаривать, то ли просто не выспался. Увезли же его ночью.

«Уехать, уехать отсюда, — молило и ныло внутри Сивачёва, — скорее, скорее уехать, уехать. Господи, если Ты есть, придумай что-нибудь, ну хоть какой-нибудь вертолёт! Не стоять же здесь!» Сивачёв стал представлять Господа, к которому так настойчиво обращался. В ответ ему всплывало лицо Каина: смуглое, белоглазое, с дырявым улыбочивым ртом. Или тот же Каин у креста на мосту, его белая склонённая голова. «Ходит он, хо-о-одит!» — пела где-то сбоку баба Маня.

— Есть какие-нибудь дороги отсюда? — толкнул Сивачёв Титьку.

— А? Нет, — мякнул Петька, — вертолёт вызывай. Пока светло. Им ещё лететь... — Петька сонно запыхтел.

Сивачёв достал бутылку, отхлебнул. Светлая жидкость ничего не прояснила — ни в голове, ни в этой невразумительной жизни. «Господи! — Сивачёв уже прямо обращался к убийце Каину. — Давай разрули как-нибудь! Ты же тут все ходы-выходы знаешь, каждого зайца в лицо!» Внутри себя Сивачёв кричал и выл, внутри себя — жильё без соседей, делай что хочешь. А снаружи стояла, не шевелясь, тишина, сама оглохшая от собственной неподвижности. В БТР что-то лязгнуло, как взвизгнуло. Это тишина переступила с ноги на ногу. Сивачёв закрыл глаза. Он тоже плохо спал этой ночью. Сначала ему приснился шум вертолёта, а потом хрип БТР. Сивачёв и Петька враз очнулись: вертолёт точно тарахтел, БТР уходил в синих клубах чада.

— Прилетели, что ли? — ворчливо уточнил Титька, недовольный опозданием вертолёта.

Андрей повёл джип, боясь на каждом повороте врезаться в подкарауливающий их БТР. Но дорога была пуста. Только наверху, над тайгой, ходил кругами неопознанный вертолёт, вороша макушки.

— «Пленные» из зоны сбежали! — догадался Петька. — Это просто «пленные» сбежали!

Сивачёв объявил тёте Тоне, что уезжает. Тётя Тоня с удовольствием покивала.

— На рыбалку, что ли, не съездим? — обиделся дядя Коля.

С Титькой Сивачёв решил не прощаться. Но Титька сам явился к нему.

— Завтра катер пойдёт, — порадовал он. — Деверь условия поставил: магазин теперь его, называется «Татьяна», а я зачисляюсь продавцом. Процент от выручки и списание тоже моё. Товар уже в Перевалихе. Завтра в девять, если тумана не будет. Ты там за погрузкой проследи.

— Татьяна — его дочка? — уточнил Сивачёв.

— Нет, баба его. У нас здесь живёт. А жена в Перевалихе. У него ещё в Петропавловске есть. Здешней бабе надо под запись давать, без денег. Он так сказал.

— Поздравляю! — порадовался за Титьку Сивачёв.

— Доминика плачет, — признался Титька, — над ней ребятишки смеются. Раньше на магазине «Доминика» висела, а сегодня уже «Татьяна».

— Привыкнет, — пообещал Сивачёв.

Дядя Коля вручил Сивачёву гостинец на дорожку — трёхлитровую банку икры. Икра была мутноватая, но вкусная — с зеленью, с чесноком. Он у них такую пробовал. О перекопке нижних покойников оба помалкивали. Тётя Тоня попросила взять на ту сторону бабу Маню со знакомым дедушкой. Старички заскучали по деткам.

— Пассажиров с вещами загрузил! — доложил утром дядя Коля.

Андрей только проснулся, но точно помнил, что ключей от машины дяде Коле не давал. Ворвалась на провода Ленка Дудина. Опять катала головой по орлу, но слезами уже не мочила. Отозвав в сторону, ещё раз спросила, даст ли Сивачёв денег на ребёнка. Сивачёв подтвердил: не даст. Припомнил, что Ленка — не его одноклассница, а на год младше. — А я, дура, тебя ждала! — упрекнула верная Дудина.

Пришло ещё трое незнакомых провожающих. Все с ведрами. Сивачёв наотрез отказался покупать их ягоду и рыбу.

— Специально готовили, — возроптали они. — Всё свежее, недорого.

— Бери, — советовала тётя Тоня, — в Петропавловске продашь. В драку разберут. У них там дороже. Я тебе в тройной целлофан пересыплю. Не потечёт.

Сивачёв обречённо взял ведро черники — Лиле в подарок. Брусника и свежая сорога бросились к дедам, умоляя их купить гостинцы детям. Старики, поторговавшись, купили. Тётка пересыпала-перекладывала продукцию в пакеты, «как к Христу за пазуху». Покупки составили в багажник джипа, где уже громоздилось не меньше пяти сумок и банка с солёными груздями.

— Хотя на импортной машине перед смертью покатаемся! — проблеял дедушка с жёлтым крючком единственного зуба.

— Зять у меня сам машины собирает, — напомнила баба Маня.

Старички предались семейному хвастовству, перетёкшему в обиды и жалобы. Полосатый Василь Петрович взял с Сивачёва три тысячи, а с дедов — по пятисотке. Деда возроптали, долго путались в деньгах, норovia отдать самые мятые и мелкие. — Так ты там проследи за погрузкой, — пристал к Сивачёву запыхавшийся Титька — явился всё-таки, — и посмотри: он себе не крысит? А то не хвастает, бывает. Прошлый раз двух банок сгущёнки не было. А водки у тебя не осталось? В магазине продам, тебе-то она не нужна.

— Пошёл ты... — попрощался с Петькой Сивачёв.

Сивачёвский берег оттолкнулся и начал медленно отползать назад.

— У меня мочевого слабый, — признался за спиной Сивачёва дед. — Ничего, я бутылку взял с широким горлом.

— В дороге всякое бывает, — ободряла его баба Маня.

Сивачёв попробовал спать — не получалось.

— Старший-то его, говорят, — распевала баба Маня, — а младший — Тиликова. У Титьки ж одни девки, он пацана хотел. А тоже не помогает. Ей никто не помогает. Всё одна. На ягоде живут. Как позаниматься — все тут как тут, а помогать — нет их. На лесопилку её вдвоём возили, чуть не побивали друг друга. В магазине рассказывали.

— Магазин-то забрали у него! — перебил дед. — Миллион лесным задолжал. За зятя платил, чтоб не посадили. Зять его по пьянке соседа застрелил. Самооборону ему сделали.

— Чё творится?! — восхищалась баба Маня. — А слышал ты, что затопят до верхов? Поп по рации передавал.

— Отвернись, — попросил дед, — мне тут надо.

В Перевалихе Сивачёв открыл багажник. В него натёк рассол с ягодным соком, из дырявой бабы-Маниной сумки просыпалась земля.

— Что тут у вас?! — вытаращился Андрей.

— Деда мой, — призналась баба Маня, — Миша выкопать помог. Деда мой ужас воды боялся. Не дай Бог, говорил, потонуть. От живота помер. Нас с ним где-нибудь на горочке. И гроба второго не надо. Подвинемся как-нибудь в одном.

Сивачёв взял бабы-Маниного деда и понёс к дочкиному дому. Ему было тяжело.

В полдень Сивачёв выехал из Верхней Перевалихи, радуясь, что дорога выпала на день. На выезде его догнал раскоряченный мутант бабы-Маниного зятя. Из кабины выскочил радист Максим. — Хорошо, что догнал вас. Я связался с комиссией по затоплению. Могу дать их телефон. Они мне ответственно заявили: все кладбища перенесут!

За государственный счёт. Всех родственников письменно известят. Всё будет хорошо.

Максимова лицо так радовалось, так сияло, как будто все сивачёвские покойники были его собственной родней.

— Ты убивал кого-нибудь? — невпопад спросил радиста Сивачёв.

Максимова радость тут же потухла, лицо разобиделось до слёз.

— Разве я вас чем-то огорчил? Я хотел помочь, — поник он.

— Спасибо тебе, — пожал Сивачёв Максиму руку, — ты мне очень помог. Ты самый лучший радист.

— Никого никогда не убивал, — жалобно заверил Максим.

— Я понял, — кивнул Сивачёв. — Прощай!

Сивачёв ковлял лесом, полз по разобранному мосту, болтался на щебёнке, слеп в глиняной пыли. Остановился он только на асфальте у первой заправки. Достал банку икры и принялся жадно есть грязной пластмассовой ложкой, завалявшейся под сиденьем. Из соседней машины его несколько раз сфотографировали. Он слышал молодой смех и комментарий:

— Смотри-смотри: жизнь удалась. В натуре!

Сладкая жизнь

— Скажите, что вы ответили на первый вопрос? Мы подаём уже в третий раз. И всё время отказывают. Как правильно ответить, почему вы выбрали эту страну?

Все присутствующие уши, крадучись, вытянулись в нашу сторону.

— Мы прочитали о ней в Интернете, — честно, по-братски поделилась я. — Вот так и ответили.

Уши схлопнулись. Тихий вздох печальным ангелом облетел тесное приёмное помещение консульства.

Иные международные аэропорты выглядят куда лучше стран, к ним прилегающих. Страны, те — да, всё ещё сильно отличаются, но международные аэропорты одинаково хороши. Мы с Дорогим перелетели из одного супер-пуперского аэропорта в другой. Страна прилёта встретила нас Геной. В курточке в горошек и волстретых кедах он выглядел европейски. Наши сорокалетние мужчины так не ходят (разве только совсем некоторые). Гена победно улыбался. Оно и понятно: сами видели толпу отказников в тесном приёмном помещении. А мы вот, благодаря Гене, гладко катим багаж.

— Едем на нашу квартиру? — поинтересовался Дорогой у Гены по дороге.

— Какую такую «вашу квартиру»? — уточнил Гена.

— За которую мы заплатили, — строго напомнил Дорогой.

— Вы заплатили за прописку, а жить будете в другом месте. В хорошем, — пообещал наш патрон.

Гена привёз нас в самое сердце столицы, уютное, как игольница, башнями костёлов. От парковки по пешей головоломке мы шли от позднего барокко к раннему или наоборот. Каждая щепоть штукатурки в этих домах была на вес золота. Мы вошли в один из таких исторически бесценных домов и уткнулись в мусорные контейнеры. На крайнем стояли новые ботинки с лейблом-конём — «мустанги». «Вот это уровень жизни!» — переглянулись мы с Дорогим. Гена схватил ботинки («Я б тоже взял», — мигнул Дорогой) и погнал со всех ног вверх. Мы запутались с непривычки в винтовой лестнице, нас тормозили сумки — к началу Гениной операции мы опоздали. На третьем этаже в распахнутой на нас квартире Гена лупил ботинком по спине-голове лохматого парня. Бил и приговаривал:

— Совсем обнаглели?! Уроды! А?! А?! Совсем?!

Гена швырял ботинки во все стороны, а они возвращались, как бумеранги. Казалось, «мустангов» скачет не меньше десятка. Наконец Гена запустил финальным ботинком в стол, снеся одним ударом всё, что там было: бутылки, стаканы, чайник, спящую морду.

— Проходите, — любезно пригласил он нас.

Мы прошли в следующую комнату. В клетках двухъярусных кроватей жались лохматые и лысые парни, среди комнаты стоял длинный стол, заваленный новой одеждой, — от стола пахло дорогим магазином, от парней — дешёвым перепоём.

— Уроды. Совсем обнаглели, — ещё раз представил обитателей Гена.

Комнаты были проходные, как матрёшки. И в последней, самой маленькой, кишело рукавостое тряпье. К тряпкам присосались противоугонные магниты. На кровати у окна поздно спал молодой человек.

— Хотите оставить? — спросил Гена, кивнув на спящего. — Комната стоит двенадцать в месяц. Живёте втроём — платите по четыре, живёте вдвоём — по шесть.

Дорогой смотрел на двухэтажную кровать, где ему предстояло спать сверху. И только так. Конечно, в позиции «далеко сверху» молодой человек помешать не мог. И четыре лишние тысячи тоже. — Пусть спит, — разрешил Дорогой, — всё равно это временно. Мы будем искать новое жильё.

Молодой человек насторожил от подушки голову.

— Как зовут? — строго спросил его Гена. — Саша? В комнате уберись. Люди будут жить.

Приказав нам никому не давать в долг, Гена удалился.

— Ужас, — сказала я тогда.

— Валить отсюда надо, — согласился Дорогой.

— Пойдём поедим, — предложила я.

— Давай по очереди, вещи украдут, — забоялся Дорогой.

Я с завистью оглядела помещение и решила, что вещей у них и без наших хватает. И каких вещей! Нам на такие вовек не заработать. Все модные дома валялись здесь без почтения и разбора.

На улице была весна, ветер, голуби, в парке возили в колясках детей, как мороженое в стаканчиках—сливочное, клубничное, фисташковое. Деревья думали распускаться. Река летела мимо, посверкивая искристой шкуркой. Смеялись, в крайнем случае—улыбались встречные люди. Было ощущение праздника, не влезающего в грудь,—казалось, меня распирал надувавшийся внутри воздушный шар.

Вечером наше жилище навестила женщина очень среднего возраста. Но действия с вычитанием лет ей определённо удавались. Даже имя у неё было Надежда. Она взяла деньги за комнату, подчеркнув, что для центра это дёшево, и наши паспорта для заполнения документов в полицию. —Зачем ты отдала паспорта?—зашипел Дорогой.— Не видишь, куда мы по твоей милости попали?!

Ночью я спала без задних ног и передних рук, а Дорогой знакомился с местными ребятами. В долг он им не давал, но ящик пива купил, благо было дёшево. К утру Дорогой всё понял, а отославшись, объяснил и мне. Ребята были белорусами, не согласными с линией вождя их отечества, за это им здесь дали азил—политическое убежище. Теперь политические белорусы работали на русского Гену—фактически сменили одного диктатора на другого. Они крали в бутиках тряпки, эти тряпки Гена продавал по своим точкам. Белорусы показали Дорогому инструменты: контейнеры из фольги для выноса тряпок через пыщалки, клещи для свинчивания магнитов, объяснили, как нужно обезвреживать капсулы с краской. Выходит, они были уверены: и Дорогой присоединится к их промыслу...

— Но мы ведь не будем?..—заикнулась я.

— Поздравляю, ты нашла замечательную фирму с последующим трудоустройством!—похвалил Дорогой.—Иди забирай паспорта. Удивлюсь, если отдадут. Лучше сразу звони нашему консулу. Телефон-то хоть есть?

Я пошла к Надежде—коменданту этого бардака и, как потом выяснилось, бывшей художественной гимнастке. В её приличной квартире с коллекцией ангелов всевозможных пород (был там даже ангел-буддист) тоже лежали ворованные тряпки.

— Купи, если хочешь, завтра в магазин сдаю,—предложила Надя щедро.

— Паспорта,—не поддалась я.

— Сами в полицию пойдёте?—удивилась Надя.— Тогда за оформление бланков—тысяча. Всё равно мне в понедельник некогда. Тряпки бегать рассовывать. Скажи Витальке, чтоб спустился,—у него долг за комнату.

Приглашение спуститься Виталька встретил крчнёным матом. Все остальные жеребёчки заржали. Саша предложил Дорогому за тысячу постоять за нас очередь в полицию. Дорогой сурово отказался.

В пять утра мы по карте нашли нужно здание и очередь, как лишай, его опоясывающую. Стояли здесь вьетнамцы и монголы, казахи и молдаване, украинцы и русские, китайцы и негры. От очереди поднимались табачные дымки и матерки с зевками. Перед нами пожухлая украинка дремала, навалившись на спину мужа.

— Третий раз не можем попасть,—шептал в наш бок брат-славянин,—талонов не хватает. Сейчас придут бригадиры, и опять не хватит,—вздыхнул он слабо, чтоб не качнуть жену.—С работы отпрашиваемся. Хозяин сердится. А кому это понравится?

— Сегодня точно не попадём,—сказал голос за спиной.

— Ну и идите, освободите место,—посоветовали голосу глубоко сзади.

— Уроды, совсем обнаглели,—ругался Дорогой.

К восьми часам подъехали ребята-крепьши с портфелями и в шейных цепях. В очередь не встали, курили поодаль. В восемь начали запускать: вышли полицейские, принялись отсчитывать десятки. В первый же десяток уверено вошли мальчиши-крепьши с портфелями. Талоны закончились за тридцать метров до нас.

— Пошли они...—заявил Дорогой и пошёл решительно прочь, давая своим телом чьи-то надежды.—Талонов нет!—кричал он во все стороны.—Валите отсюда! Домой валите! В Караганду!

— Если мы не встанем на учёт, штраф дадут,—догнала я Дорогого.

— Ну у тебя же есть фирма, которая решит все наши проблемы! Фирма!—кричал он.—И мы её члены. Ха-ха. Чего проще?! Ты ведь всё предусмотрела! Проверила в реестре!

Я пошла к Наде и отдала ей деньги за регистрацию.

— Всё равно завтра собиралась в полицию,—взяла мои деньги Надя.—Виталька дома? Скажи, чтоб зашёл, я ему квитанцию выпишу.

Дорогой раскручивал с белорусами магниты на тряпках. До капсул с краской его пока не допускали. Политические вздохнули рассказывали Дорогому, как на Рождество упёрли из супермаркета живого карпа. На карпе магнитов нет. Одна чешуя. Но он, зараза, бьётся.

— Вам какой цвет нравится?—галантно поинтересовался сосед Саша.

Я ответила: сиреневый. Саша порылся и вытащил из набрюшной фольги набор: трусы с бюстгальтером цвета и, показалось, запаха сирени. Дорогой посмотрел на меня страшным мельком. Саша менял трусы на сигареты: сигареты

не украдёшь, не то что коллекционное вино. Вино как раз открыли на кухне и ругались, что кислое: — Кто вообще принёс?! Руки оторвать от жопы! — Я не мальчик, чтоб по магазинам красть, — заявил Дорогой Гене при скорой встрече.

— Красть не надейтесь, без азила не получится. Депортнут и назад не впустят. Этим можно — они борцы с режимом, им на родину нельзя, их там в тюрьму посадят. Вам могу предложить стройку. Кладку умеете? Нет? Тогда на бетон. Или... продавать умеете?

После упоминания бетона Дорогой вспомнил, что он умеет продавать. Продавал в ларьке сигареты. Это понравилось Гене. Договорились назавтра идти посмотреть торговую точку. Микрорайон с нашей будущей точкой тоже считался центром, но не явным, а относительно приблизительным. На стене, вдоль которой мы шли, были фаллические граффити и потёки мочи, извилисто перетекающие в тротуар. Дальше сохла клякса из съеденной, но вырвавшейся назад капусты. Из подвала змеило нездоровым питанием. У двери голубого двухэтажного домика курили отлитые из какао-массы девицы в белых одеждах. Встряхнули воронными кудрями на Дорогого и Гему. Пасти их были набиты рекламными зубами.

— Итальянки?! — изумился Дорогой.

— Шлюшки цыганские. Двести раз подумай, а потом откажись, — посоветовал Гена.

Мы пришли в соседний дом. Дверь и окон-витрина в улицу. В витрине на розовой рогожке были рассыпаны горсти знакомых до зубной боли русско-украинских конфет от «Буревестника» до «Рачков». Половину пространства мелкой лавочки занимал продавец. Толстый и розово-лысый, как чупа-чупс, соотечественник. Нам передавали дело. На следующих условиях: мы платим «леденцу» отступные за товар и оборудование (полки, весы), а Гене — аренду. Можем продавать всё дозволенное плюс Генины сигареты нелегально. Жить будем в задней части магазина, которая оказалась значительно больше передней. Стояли там стол, диван и деревянно сколоченные полки. Сбоку была кладовка, набитая обёрточной бумагой. Туалет работал. Чего ещё желать? Мы сделали влажную уборку, накупили в супермаркете от пуза и отметили это дело на топчане. Пили за здоровье моей покойной бабушки (я продала её дом) и Гены, который, как ни крути, деловой.

Первым в уже наши двери вошёл старичок. Он уверенно указал на халву и попросил сто грамм. Денег не отдал. Мы плохо знали язык, но поняли, что деньги потом — это на любом языке понятно. Ладно, старичку не жалко. Далее явились те две девицы в белом. Они взяли дешёвых карамелек и рассчитались. После них пропала упаковка жвачки. Может, и раньше пропала — мы решили быть бдительнее. Юный псевдоитальянец в рэперовских

одеждах попросил сигарет, и я продала ему сигареты Дорогого — наши ещё, домашние. Гена должен был подвезти товар, мы ждали с минуты на минуту. Продав за два дня этому красавцу все запасы Дорогого, мы остались с одними конфетами и без покупателей.

— Всем нужны сигареты, — ответил по телефону Гена. — Ждите.

Народ ходил по-маленькому, покупал просто жалкий лепет. Дед — любитель халвы — на халяву норовил сверх того попользоваться нашим туалетом. У него была большая простата. Девчонки-проститутки покупали самую едкую, кислую карамель. Заедать работу. Студентка ела только горький шоколад, думая, что от него не толстеют. Ела, морщась, ненавидела его, косясь на молочный. Забегал полутрезвый работяга-облицовщик. Он тоже ждал дешёвых сигарет, а пока глодал морские камушки. Он нам был почти земляк — калымил полтора года в Казахстане на стройке и умел выговаривать по-русски «проходи, мальчик» и «поехали-поехали». В казахских степях он оставил любимую женщину. Ходила пара пенсионеров-молодожёнов. Поженились, овдовев. Они покупали конфеты как средство «для улучшения мозга». Дети их «разменяли» в этот район, а они согласились — с мозгами там точно был непорядок. Захаживал за ментоловыми конфетками толстый глянцевого цыган — сутенёр наших соседок. Ежедневно являлся великовозрастный дебил с бельмом на глазу. Тот покупал молочную карамель, твёрдую, как кость. Его монетка была раскалена в кулаке — так он переживал об успехе покупки, каждый день одинаковой. Монетку ему выдавала мама. Он у мамы ходил чисто.

По два-три раза в день мы подвергались налётам цыганят. Кишащие дети кружились по магазину, как чёртово колесо. У тех, кого мы ловили и обыскивали, конфет чудесным образом не было. Мы находились в гетто — цыганском микрорайоне, аренда коммерческих объектов была здесь смешная. Верхний этаж нашего дома снимала у Гены русская фирма, сроду здесь не появлявшаяся. От тоски на верхнем этаже выли пустые трубы.

Из жилого отсека нашей точки дверь вела в обкроманный дворик, общий с голубым борделем. Голуби наделали с козырька навозную грядку — это была линия огня, её надо было проскакивать, а не курить в задумчивости на рубеже, как это делал Дорогой. Во дворе, прислонённый к стене, стоял Йежишек — местный Иисус Христос. Йежишков тут расставляют густо, чаще всего в парках, в спальных кварталах. Оттуда его, видно, и свинтили, судя по штырю. Иначе как бы он оказался у стенки во дворе борделя в цыганской четверти, напротив Дорогого? «Уроды, совсем обнаглели», — догадался Дорогой.

Однажды кончился килограмм конфет, и мы не знали, где взять второй.

— Кончились «Рачки» — продавайте «Паучки», — посоветовал Гена.

Я подумала вслух:

— Он нас проверяет, а потом сунет какую-нибудь коноплю.

— Скорей бы! — вздохнул Дорогой. — Больше здесь делать нечего.

Дорогой курил под голубями, разглядывая окна бордельчика, где жили и трудились наши покупатели. Видимо, двести раз отмерял.

— Как выручка? Плохо? Совсем плохо... — поинтересовался и сам подытожил сутенёр. — Мои девочки зарабатывают по семь тысяч за ночь.

Семь тысяч была наша аренда за месяц. Мы ещё не вышли на этот рубеж.

— Надо иметь способности, — продолжал сутенёр, — это не дома с мужем. Бельё дорогое надо надевать. Стриптиз танцевать.

— Ни за что на свете, — ответила я на его вербовку.

— За деньги, — подсказал цыган. — Сам я мальчиков люблю, у меня есть. А тётка женить хочет, к девочкам привораживает. У меня от этого изжога. Тётка вырастила вместо матери. Всё-всё умеет. Понимаешь?

— И когда свадьба? — поверила я в тётку, не глядя.

Сутенёр, поморщившись, удалился шагом широкого покроя. У него была огромная задница в модных штанах.

— Я так и знал! — просиял Дорогой, узнав о цыгане новости. — Все они тут...

На другой день я подслушала разговор наших высокооплачиваемых соседок. Паулина убеждала Монику не покупать больше шоколадные конфеты, потому что у неё после этого «труссы не отстирались».

Посетила наш магазин и удивительная тётка сутенёра. Удивила она уже с порога, заявив, чтоб мы немедленно прекратили продавать наши поганые конфеты. Она нам открыла страшную тайну здешнего государства: правительство хочет кастрировать цыган. Вот как оно это делает: сует в еду и питьё добавки, отключающие несущие цыганские органы. А её несчастного племянника они сгубили прямо на корню — делали ему прививки, теперь тётка племянша лечит, чтоб всё-таки женить. Что ещё вытворяют эти «гаджи» (не цыгане): делают цыганкам кесарево сечение, а пока миленькая бледненькая цыганка под наркозом, перевязывают ей верёвками трубы. Выходит бедняжка из роддома и не может забеременеть своим пятым-шестым честным образом. Горе семье! Мы заверили тётку в нашей непричастности к геноциду. Наши конфеты происходили из других стран. Из самых дружественных стран цыганского лагеря. Тётка забрала две конфетины на анализ.

Вечерами мы с Дорогим наблюдали представления у пивнухи, что была от нас наискосок. Она никак не называлась (нашу точку мы назвали «Сладкая жизнь»). В пивнухе собирались плодовые отцы семейств, героически противостоящие государственной политике. Отцы обеззараживались пивом. Это была проверенная марка без вредных добавок. На закате к пивнухе подходили жёны с присосавшимися грудничками и подростками старшими дочерьми.

— Скажи своему отцу, чтобы шёл домой! — командовали матроны.

— Мама зовёт! Иди домой! — кричали в двери девочки с молочными пробелами во ртах.

Из пивной доносились нестройные пожелания жёнам и дочерям провалиться в одну задницу.

— Скажи своему отцу... — командовали мамыши.

— Передай своей матери! — летело из пивнухи.

Дочери старались, перебивая, отгалкивая и перекрикивая друг друга. Вдруг неужённо начинал вопить какой-нибудь грудничок, которого немедленно поддерживали ровесники. Тогда только матери семейств закруглялись. Многие из них были обесцвечены: будто головешку помакали в извёстку. Дочери оставались у пивной играть с уличным сором, делая из него наш магазин с конфетами. Маленькая продавщица, изображая меня, коверкала язык:

— Какой вам конфет любите-рады?

Отцы, выходя, целовали своих крошек, иные даже давали мелочь — купить у нас желатиновую змею или лягушку. В отсутствии чадолюбия население нашего микрорайона нельзя было упрекнуть.

Скоро и бизнес наш, и сцены у пивной Дорогому прискучили, он стал пропадать у политических. Сначала ходил посмотреть, что эти козлы делают. Потом переночевал у козлов. На Дорогом появились сверхновые и сверхмодные вещи. Их ему «подарили друзья». Однажды друзья подарили ему сканер, который был Дорогому не нужен: он просил у них ноутбук, но они притащили сканер. По размеру он был такой же. Они привыкли красть по размерам.

— Опять не ночевал? — грозно спросила меня сутенёрова тётка. — Я тебе так сделаю, что он есть-пить без тебя не сможет, шагу без тебя не ступит. Давай сейчас тысячу!

Я отказалась: зачем мне лежачий больной? Тётка расплакалась о своём: дорогой её племянник Лукашик собрался ехать в Англию за своим миленьким, которого родителям вздумалось («нет, вы подумайте!»)... учить. А есть ли в этой Англии порядочные ромы? Я утешала тётку: конечно, есть, как без них? Они везде.

Я просила Дорогого напоминать Гене о сигаретах, просила ему передать: если не будет сигарет, не будет и арендной платы. На одних конфетках не заработаешь. Дорогой солидно принёс ответ:

сигареты будут в середине месяца, очень много, очень выгодно. У Дорогого была сумка, а в ней трусы и лифчики всевозможных расцветок и фасонов для Паулилки и Моники. Соседки выбрали себе по паре комплектов, профессионально повизгивая. У Дорогого был успешно-предприимчивый вид. Я сходила в интернет-кафе и там оставила объявление: «Такой-то облицовщик из такой-то европейской страны в таком-то году в городе N полюбил женщину по имени Мария Сарагаева и теперь ищет её, потому что не может забыть». Монитор плавал в моих слезах, сердце моё расплылось, как сахар в чае. Я не могла продать облицовщику дешёвых сигарет, но я могла сделать для него много больше—вернуть утраченную любовь. С тёткой мы гадали на облицовщика.

— Любовь и горячая постель,—заклучила тётка.

Постель у нее также бывала холодная, разлучная, неверная, обманная и с последствиями.

Июль начался дождями. Шпили костёлов распарывали отвисшие животы туч. Но тучи, раздобревшие над Атлантикой, шли, не сворачивая. Студентка покупала шоколад в удвоенном количестве—сдавала сессию. Старика-молодожёна увезли на скорой с инсультом. Ему конфеты не помогли. Его новая жена не хотела ходить за новым парализованным мужем, она любила прежнего—покойного, благо он уже не требовал большого ухода: купить свечку на могилку да посадить весной нехитрые цветы. В нашем маленьком дворике мок Йежишек. Он так жалобно держал голову, будто его мучили дождевые струи: секли, жалили, сверлили. Мне стало стыдно: я не только не молилась Йежишку—я позволила ему стоять у стенки, мокнуть и шарить о голубей.

На интернет-призыв облицовщика откликнулись сорок восемь женщин, половина из них назвала себя Сарагаевой Марией. Я попросила претенденток прислать фотографии, чтобы облицовщик мог выбрать свою, единственную Марию, если она там вообще была.

Гена, пунктуальный, как все деловые люди, привёз сигареты в обещанный срок. Это были уже не жалкие блоки, это были четыре огромных коробки! Гена и Дорогой разгружали эти четыре коробки так долго и шумно, что провели заодно рекламную акцию. Сигареты у нас раскупили за два дня. Никогда раньше я не видела столько солидных покупателей. Брала десятками пачек. Пузатые отцы семейств отпихивали пузами друг друга. Эти наши сигареты стоили на треть дешевле их местного курева. Дорогой собрал арендную плату и срочно её повёз отдавать.

В интернет-кафе я просмотрела фотографии претенденток на любовь облицовщика из европейской страны. Это были шикарные девахы! Они бы сделали честь принцу мелких европейских кровей, не то что облицовщику. Но на Марию Сарагаеву

похожими, на мой взгляд, оказались всего две особы. Одна—смачно полная, раскосая, в бирюльках и висюльках восточных одежд; другая—просто паспортная фотография чёрно-белой давности: носатая женщина с резкими бигудюшными кудрями. Я попросила администратора распечатать эти два портрета, чем страшно его напугала. Не мог вставить бумагу в принтер—тряслись руки. У меня тряслась душа: ну как ни одна не Сарагаева?!

Возле «Сладкой жизни» ходил цыган-дебильный. Он всегда ходит—собирает выброшенные фантики. А цыган-сутенёр Лукашик нетерпеливо вращался вокруг воображаемой оси, как кабан на вертеле; в руках он держал два блока сигарет. Он ещё почернел лицом и казался в белом свитере негром.

— Я сожгу твой магазин!—закричал мне сутенёр.— Мой Томаш отравился вашими сигаретами! Верни мне деньги, или я сожгу твой магазин!

Лукашик швырнул мне початые блоки. Его Томашик отравился нашими сигаретами и теперь блюёт без остановки, сам Лукашик отравился тоже, но толщина его спасла от яда. Под глазами у Лукашика было черным-серо. Белки глаз его желто протухли.

— Это не сигареты, это говно! Это сделали гаджо, чтобы отравить ромов! Это трава с помойки! Это не сигареты! Верни мне мои деньги!

Я вернула Лукашику деньги и изо всех сил извинилась. Я не делала эти сигареты, мне их привёз оптом поставщик. Вслед за Лукашиком хлынули все мои почтенные покупатели. Все швыряли в меня блоками и пачками сигарет, требовали вернуть деньги и утраченное здоровье. Все ругали сигареты и меня, благо я многого не понимала. Дорогого не было со мной в эту постыдную минуту. Я отдала покупателям все конфетные деньги и много-много своих. Последним пришёл облицовщик. Он был просто пьян и ничего мне не возвращал. Он нёс не сигареты, а букет цветов. Это был его фирменный секрет: с букетом его не хватала полиция, чтоб везти в вытрезвитель. Вытрезвитель—очень дорогое удовольствие: доктора, ночлег и питание оплачивает не государство, а сам принудительно обслуженный клиент. За истекшие полгода облицовщика хватили дважды—в январе и феврале. В марте он случайно прошёлся с букетом к бывшей жене и понял, что так безопаснее. Полицейские имеют нежные чувства. Пьяный с букетом уже не нарушитель общественного порядка, а кавалер. Минута настала: я вытащила фотографию. Облицовщик задрожал (сладко и нежно) и замычал на чёрно-белое фото. Он заплакал, и я заплакала, и мы обнялись. Пропади пропадом эта «Сладкая жизнь» и фальшивые сигареты, когда в жизни есть настоящая любовь! Облицовщик принялся взахлёб рассказывать, как его поймал казахский КГБ вместе с нелегалами-украинцами:

«Поехали-поехали», — и только один казах-полицейский смог разглядеть в нём просвещённого европейца. Его отпустили на пороге тюрьмы: «Проходи, мальчик». Украинцев больше никто на стройке не видел. О Марии Сарагаевой не было сказано ни слова. Настоящие мужчины не треплются на такие темы.

Назавтра я позвонила Дорогому, велела передать Гене, чтоб он забирал свои паршивые сигареты, фальшивку, говно своё, из-за которого я натерпелась столько позора и убытков.

— Ты отдала этим пи...сам деньги?! Да они сами тебе подсунули фальшивку! Тебя развели, понимаешь?! Да тебе лечиться надо! — посоветовал Дорогой.

Больше телефон Дорогого со мной не разговаривал. Передо мной стоял дебилый цыган, сжимая от волнения раскалённую монетку. Он схватил молочные карамельки и заулыбался: получилось. И отправился на своё обычное место у витрины — мусолить карамельки (фантики он никогда не выбрасывает!), а дождь разбивался и плющился о его гладко выбритую черепушку без лба и затылка.

— Мальчик, — позвала я его, подумав, — помоги мне.

Вдвоём с этим двадцатилетним, а может, и тридцатилетним мальчиком мы перетащили Йежишка в кладовку, из которой Дорогой так и не сделал мне душ. Я насухо вытерла Йежишка, заперла «Сладкую жизнь» и пошла доделывать самое главное, настоящее дело. Интернет-кафе, где я обычно сидела, было закрыто, пришлось перейти на другую улицу и проехать две трамвайные остановки до следующего. В трамвае катались от дождя знакомые цыганята: Изабелла, Габриела, Анжелика, Гонзик. Они замахали мне и закричали набитыми ртами приветствия. Они ели наши конфеты и бросали на пол фантики. Я не помнила, чтоб из них кто-то что-то покупал. Я написала Марии Сарагаевой письмо о вечной любви и верности. Описала ей облицовщика с букетом (вытрезвив его, конечно), который ходит от тоски под дождём и плачет, потому что под дождём эту мужскую слабость заметить нельзя. Мне, женщине, слабость была простительна — я плакала. Монитор покачался и утонул. Возле «Сладкой жизни» в этот раз стояла Лукашикова тётка.

— Все вы хотите отравить цыган. Всем вам мешают цыгане. Зачем ты это сделала? Лукашик совсем больной. Столько денег потратили на лекарства. Теперь я должна подать на тебя в суд. Одна наша цыганка подала в суд на докторов, которые ей перевязали трубы. Она показала этим говнюкам. Они развязали ей трубы обратно и ещё выплатили пятьдесят тысяч евро.

— Я не травила цыган, мне продали плохие сигареты, — призналась я (пятидесяти тысяч евро у меня не было).

— Цыгане заболели. Хотят подавать на тебя в суд, — пригрозила тётка.

— У тебя есть карты, погадай и узнаешь, хотела ли я отравить цыган. Их хотел отравить крестовый король Геннадий Самойлов.

Такой оборот мысли сбил тётку с толку, она спокойно дождалась, пока я отопру «Сладкую жизнь», и купила последнюю горсть трижды просроченных конфет «Белочка». Так закончился третий килограмм конфет. А где взять новых, я не знала. Не у Гены же... Гена с Дорогим приехали вечером, стремительно скидали в коробки возразительные покупатели сигареты. Я с ними не разговаривала, они со мной тоже. Они отъехали от «Сладкой жизни» к соседнему борделю, и мой Дорогой побежал туда с сумкой. Я прошла мимо машины с ожидающим Геной. У меня были дела важнее и человечнее. В почте ожидало письмо от Марии Сарагаевой. Мария Сарагаева писала, что она тоже любит и помнит облицовщика. Дальше следовал грамотный порядок оформления вызова за границу, расписание авиарейсов, стоимость билетов и всей поездки в целом. Я задумалась: не поехать ли с облицовщиком в аэропорт? Вдруг им будет нужен переводчик? Всё произойдёт как в старом сентиментальном кино. Он, волнуясь, стоит с букетом, а она растерянно выходит с потоком пассажиров, миновав пограничный и таможенный контроль. Ночью мне приснился чудесный сон: по магазину ходил мужчина из чистого золота, заглядывал в мой стол и шарился на полках с конфетами. Это был Йежишек — он обсох и ожил.

«Сладкую жизнь» я с утра не открывала — поехала на вьетнамский рынок за тапками-жабками. И там, в третьем ряду справа от входа, наткнулась на палатку с «Белочкой», «Рачками» и тем самым «чупа-чупсом», от которого мы приняли «Сладкую жизнь». Я купила у Андрея Васильевича конфет и договорилась о будущем сотрудничестве. И не надо никакого Гены. Тапки я тоже купила. Все эти чудеса я отнесла на счёт Йежишка — не зря мы с дебилом перетащили его в сухое место.

На нашей улице муниципалитет поставил новую автобусную остановку. Маленькие цыганята играли там в домик. На скамьях для пассажиров разложили младших братишек и сестрёнок — своих живых кукол, укрыли их тряпками, тряпки же постелили коврами на пол. Габриела, Изабелла и Анжелика с надрывом волокли от мусорных баков распотрошённое зелёное кресло.

— Что вы делаете, глупые девчонки?! — кричала на них взрослая цыганка — повариха из пивной. — Надорвётесь, и никогда не забеременеете, и никого не родите, глупые девчонки! Как вы будете жить?

Девятилетняя Изабелла успокоила женщину, заявив, что она уже беременная и собирается рожать в октябре.

— Почему у тебя нет детей? — всё время пристава-
ла ко мне Лукашикова тётка. — На что ты будешь
жить?

Два дня я ждала облицовщика. Чтобы сча-
стье его не остыло, я подогревала его всем своим
сердцем. Облицовщик пришёл без букета, почти
трезвый, захотел на двадцатку морских камеш-
ков. Я попросила его сесть на стул, попросила
не волноваться (кто бы меня успокоил?). И вы-
ложила:

— Мария Сарагаева нашлась, она помнит вас,
любит и готова прилететь, как только вы сделаете
ей вызов.

И дальше расписание рейсов со стоимостью
билетов...

— Я так рада за вас!

Я заплакала. Я поклялась себе, что вечером
позвоню Дорогому. Потому что всё это ерунда.
И конфеты, и сигареты, и Гена, ведь мы здесь
только вдвоём.

— Я вас не понимаю, — сказал облицовщик, — я не
всё понимаю, что вы говорите, плохо вас понимаю.
— Прилетает Мария Сарагаева! — я бросилась за
портретом.

— Ваша родственница? Мама? К вам в гости? — об-
лицовщик смотрел на фото, на меня, не моргая ни
одним глазом. — Счастливого уикенда, — пожелал
он и ушёл, насыпав полный рот камней.

Я заперлась и легла на диван лежать мёртвым
грузом. Несколько раз вставала в туалет и попла-
кать в обнимку с Ёжишжом. Выходить мне было
больше некуда и не для чего. На еду у меня был
целый магазин конфет — килограммов двадцать
семь. С учётом калорийности шоколада — хва-
тит надолго. Мучили часы на башне (Дорогой
тоже жаловался, что часы бьют ему по нервам).
И то: к чему этот средневековый б́ухающий и
брякающий пережиток? Куда лучше современное
время — тихонько семенит ножками-палочками в
электронных клеточках и никому не мешает. А эти
часы на башне — как мамыны каблукки на лестнице.
Полшестого, мама вернулась с работы, а у меня
посуда немытая. Бум-бум-бум: как твои дела? Что
нового в школе? Я просыпалась и опять спала, ела
конфеты и пила воду от конфетной изжоги, ходила
в туалет и ждала (честно признаюсь): сейчас по-
золотенный Ёжишек зашевелится и чем-нибудь
меня приятно удивит. В дверь магазина иногда
стучали. А мне не было жаль даже дебила с мо-
неткой. Я знала: он долго не уйдёт. Будет стоять
у витрины, пока кто-нибудь не пошлёт его домой
к маме. Голуби урчали и урчали, будто на крыше
работал моторчик. У котов тоже есть урчащие
моторы. Они вырабатывают сон...

Ночью я проснулась от шума из торгового
помещения. Шум был совершенно бесстыдный,
будто меня здесь нет. Если там и ходил Ёжишек,
то уж точно не один, а с плохой компанией. Я бы

убежала через заднюю дверь во двор, а потом — к
проституткам под защиту, если бы голоса не были
детскими. Я нашла в телефоне номер полиции и
так, с пальцем на кнопке вызова, вышла в магазин.
«Сладкую жизнь» грабили Изабелла, Габриела,
Анжелика, Мартин и Гонзик. Дети стребали кон-
феты в мои же пакеты, ссорясь, кому какой сорт
достанется. В магазин они проникли через дыру
под витриной. Выставили один фанерный квадрат.
Место преступления освещал уличный фонарь.
Я включила свет.

— Мы думали, тебя нет, — заявила Изабелла, от-
катив языком карамельку.

— Я взрослый человек, ты не смеешь мне тыкать! —
рассердилась я.

Дети побросали конфеты и через дыру один
за другим повылазили вон. В кассе, конечно, не
было ни монетки. Дыру я заделывать не стала.
В полицию тоже не позвонила. Я сидела на стуле,
поджав ноги, чтоб на них не дуло из дыры, и на-
блюдала, как в нашу неширокую улицу протекает
из какой-то верхней щели рассвет. В пять утра из
пивной вышли порядочные ромы. Они дошли
до «Сладкой жизни», заметили дыру, впервые
прочитали вывеску и припали к стеклу. Большие
тёмные лица расплющились, как африканские
маски. Я им помахала.

— Открыто?! — закричали они. — Сколько берёшь
за час?

В шесть утра в булочную привезли выпечку.
Из дыры дохнуло свежим хлебом. Если бы мои
конфеты пахли так, на всю улицу... В половине
девятого пришла Лукашикова тётка, сделала офи-
циальное заявление:

— Наши ромы не подают на тебя в суд за отрав-
ление, а ты прощаешь наших детей. Тем более
они ничего не взяли. Их всех выпорют их отцы.

— Это правильно, — согласилась я.

Через два часа пришёл отец Изабеллы.

— У нас в семье горе, — объявил он, — наша дочь —
воровка. Я не куплю ей роликовые коньки. Целую
неделю она не подойдёт к компьютеру и телеви-
зору. Сейчас она придёт и будет просить у тебя
прощения. Она больше не будет.

— Я больше не буду, — выскочила из-за двери без-
заботная Изабелла.

Отец ей купил карамелек, наложив страшное
заклятье: чтоб ты подавилась этими конфетами,
если ещё раз украдёшь. Она не подавилась. Габ-
риэла с Анжеликой были сёстрами, их привели
мать с отцом. Отца я попросила заколотить дыру.
Мать тем временем рассказывала мне, что такое
дети, — ведь у меня их не было. Габриэла с Анже-
ликой стояли с фальшивым ужасом в прекрасных,
как подлинные драгоценности, глазах.

— К вам опять залезут, — пообещал мне отец се-
мейства после ремонта. — Делать нечего. Пнул
ногой — и залезай. Надо выложить кирпичами...

Я им пообещала закрыть «Сладкую жизнь» в самое ближайшее время. Так будет надёжнее.

Приходили за покупками мама Мартика и старшая сестра Гонзика. Обе ругали Изабеллу — испорченную девчонку: это она всё придумала. Вообще, в этот день хорошо покупали. Почти как сигареты. Я им всем обещала прикрыть «Сладкую жизнь», а они вздыхали и жаловались, что их дети «ничего не видят». А вот что видела я: в восемь вечера от новой автобусной остановки прошли к борделю разодетые, как туристы, Саша, Виталька и ещё один политический. Дорогого не было. Но звонить я ему всё равно не стала. Я отдам ключи от «Сладкой жизни» Наде. Я собиралась сделать это на другой день, а потом переселиться к студентке.

— Лукашика убили! — заорала мне в дверь то ли Анжелика, то ли Габриэла, как электрический ток, ударившая вниз по улице.

— Лукашика убили!!! И-и-и... — визжало и выло вдоль улицы.

Паулинка в белых штанах рухнула коленями в грязь тротуара и пообещала перерезаться трамваем. Понятное отчаяние человека, потерявшего работу.

Я не поехала к Наде, я осталась посмотреть, как будут хоронить бедного Лукашика, убитого злодейски в Лондоне. Это он поднял бучу из-за сигарет, он первый бросил в меня пачку. Он прельщал меня в моей бедности гнусным заработком. Как было не повидать его в гробу? А тётка его Англии боялась не зря. Не было там приличных ромов! От полудня до закрытия «Сладкой жизни» покупатели рассказали мне шесть версий гибели Лукаша. Первая: убил новый любовник Томаша. Вторая: убили конкуренты, забрав Лукашиковых девочек, привезённых на гастроли. Третья: убили сами девчонки, польстившиеся на английские ценности. Четвёртая: убил новый мальчик, с которым бедный Лукашик познакомился. Пятая: Лукашика убили на органы, потому что Лукашик был большой и красивый — у них таких нет. И шестая: убил Лукашика сам Томаш, потому что Томашику Лукашик надоел. В конце рабочего дня к борделю подъехал синий микроавтобус, куда новый работодатель скидал Паулинку с Моникой и их пожитки с цветущим алым цветком. Моника вдруг выскочила и бросилась к «Сладкой жизни».

— Два кило! — приказала она. — Чтоб не бегать.

Мы с ней обнялись, как сестрёнки.

— У нас во дворе стоял Йежишек, а теперь его нет, — зашептала мне Моника доверчиво. — Сначала убили Лукашика, а сегодня — нас. Увидишь! Запомни мои слова!

В десять ночи — как раз отзвонило на башне — в стекло забрякала Лукашикова тётка. Горя у неё не было ни в одном глазу.

— Карты говорят: Лукашик живой, денег у него нет на телефоне, — остановила она мои сострадающие причитания. — Зверушку зелёную! Кило! Кофе пить хочу.

«Зелёной зверушкой» тётка называла «Белочку» в зелёном фантике. Утром я поехала к Андрею Васильевичу пополнять запас конфет. Он меня похвалил: хорошо торгую. Предложил мне встать как он, только на другом рынке. Я отказалась. Вчера облицовщик пообещал мне устроить и облицевать душ. Возвращаясь домой, я издалека увидела перед «Сладкой жизнью» толстое светло-зелёное пятно в клетчатых штанах.

— Привет! — крикнул мне Лукашик в зелёной футболке, помолодевший от юного, свежего цвета.

— Как в Англии? — растерялась я.

— Плохо! — плюнул он. — Что несёшь? Сигареты?

— Конфеты.

— Конфет не хочу. Вчера наелся. Чао!

Лукашик отправился к своему предприятию. Бордель был заперт. Лукашик долго пинал дверь и выбил её наконец. Студентка, пока он пинал, покупала у меня конфеты в подарок родителям — сдала сессию. После каникул она планировала съехать с нашей улицы. Дешёвое жильё больше не было для неё решающим фактором. Потом пришёл мальчик-дебил. Я ему кивнула:

— Пошли!

Вместе мы вытащили Йежишка и поставили назад во двор. Хороший у меня был помощник. Старательный, аж пыхтящий. Приятно неразговорчивый. В половине шестого по нашей улице, волоча за собой грохочущие по брусчатке дорожные сумки, прошли, все в белом, как две невесты, Паулинка и Моника. Лукашик шёл позади, нёс в руках их алый цветущий цветок.

— Йежишек опять во дворе! Лукаш вернулся из Англии! — ворвалась с новостями Моника.

Она была в экстазе, как святая Тереза Лоренцо Бернини.

Я всё это спокойно записала, потому что прошло уже много времени — месяцев восемь. «Сладкая жизнь» до сих пор открыта (из-за вывески её, бывает, путают с соседним учреждением). Скоро придёт Рождество. И, я надеюсь, будут хорошо покупать. Гена убавил мне аренду, но сказал, что это до тех пор, пока он не найдёт нормального арендатора. Но какой нормальный арендатор сюда пойдёт?

У меня есть душ. Очень красивый кафель. Облицовщик постарался. Наш общий дворик, как выяснилось, принадлежит Лукашу. Я хочу там построить баню. Тётка погадала на картах и сказала, что дело моё сбудется. Йежишку баня во дворе, думаю, тоже не помешает. Дорогой купил машину. С Гёной Самойловым они лучшие друзья и партнёры.

Слепой

Сделай мелодией будильника хоть «Аве Мария», звонок всё равно будет адским. В пять утра единственный приятный звук—собственный храп. В пять утра сила притяжения к постели достигает максимума. Попробуй-ка, мой добросовестный мозг, стащи это тело с кровати. Разве что в туалет—хорошо, пойдём. В ванной пол с подогревом. Если не пустить струю на макушку, мозг снова уснёт, уронит тушку на мягкий коврик возле тёплых рёбрышек сушилки. Прохладная вода летит из крана, колотит по черепу струями, фен назойливой мухой лезет в ухо. Кофе не бодрит, в него только носом клевать. Всё тёплое, домашнее—это сон. Надо идти вон. Руки не хотят попадать в рукава, хитро заплетаются за спиной, путаются друг у друга под ногами. Лифт, там тепло, можно присесть и три минуты подремать. Механический голос сообщает, что кабина едет вниз. Полезное устройство: в этом лифте никогда не понять, куда он поехал, особенно с закрытыми глазами. Пятнадцать шагов по фойе—и я на улице. Там какое-то время года, там погода—ни присесть уже, ни упасть. Дом длинный, он защищает от ветра с пустыря. Это ещё ничего. А потом будет пустырь, бетонная дорожка, конвой фонарей. Ветер налетает с быстрым-быстрым шмоном. Надо скорее проскочить эту дорожку. Там соседние дома, они прикроют. Под горку ноги несут сами, но в сердце сосёт от голода—не насытилось сном. И я опять опаздываю: сердце опирается, ноги несут с горы.

Вот вокзал: кучье навесы, необъятные урны. Слепой Ондра, задрав локатором лохматую голову, ловит звук подъезжающего автобуса. Я успеваю. У меня всё рассчитано. Автобус красный. Значит, это Штефан. Ондра не видит, какого цвета автобус, но склабится. Он все четыре автобуса этой компании распознаёт по звуку. Узнал и Штефана. Стычки, значит, не избежать. Ондра каждый день ездит в Прагу попрошайничать в унылом и пассивном сопровождении Эни—собаки-поводыря. Уткнула мне нос в колени. Дрожит утренней дрожью недосыпа, как я. Водители не любят Ондру. Он неопрятный, дерзкий. Плюсю собака. Она не умеет вытирать лапы и всю дорогу скулит, пускает слюни—Эни укачивает. Ондра воинственно вращает головой, его немые, словно отварные глаза отпугивают чужие взгляды.

В автобус первыми лезут студенты. Штефан мрачно выбивает им билеты—не любит льготников. Кивает мне на моё место за его спиной. Я потом всю дорогу говорю со Штефановым затылком и серыми его глазами в зеркале обзора. Значит, выпасться не удастся. Эни скачет следом за мной, натягивает поводок. Ондра ступает белой тростью. —Пьяных и с похмелья не беру!—объявляет Штефан.—Есть правила! Запрещено!

Ондра крепко держит трость, не давая закрыть дверь. Одновременно жмёт кнопку в своём телефоне. Вызывает центр поддержки слепых в экстренных ситуациях. Старая песня. Исполняет её сладкий и размеренный женский голос: та-та-та слушает, где вы находитесь?.. та-та-та? Ондра делает рывок и почти точно суёт мобильник в руку шофёру.

—Да! Добрый день!—злобно рывкает Штефан.

Ласково тататакает голос.

—Он попрошайничать ездит! Да, и пропивает! Как хотите... как пани желяет. Мне всё равно. Девяносто «качек»,—это он Ондра.

—Говорит, мы приветствуем любые формы социализации,—это он мне, поясняя отбитый слепому билет.—Может попрошайничать, пить, воровать и насиловать. Тоже социализация. Эй, будешь насиловать? Баба у тебя есть? Или та трещалка вас по телефону ублажает?

Ондра уже уселся впереди, вытянув ноги в расколошмаченных и грязных кроссовках. Он будто видит свои ноги, такая гордость у него на лице.

—Кофе с сахаром,—командует слепой.

—Не разносим!—рычит Штефан.

Ондра прекрасно знает, что здесь не разносят. В автобусы, где разносят, Ондру уже не пускают. Там бессилён и сам центр. Эни перестала скулить у меня в ногах, согрелась.

—Государство кормит бездельников и алкоголиков! Мне шестьдесят восемь лет, а всё ежду.

Штефана теперь не удержать. Он раскачивается за рулём от злости. Седые поредевшие кудри его свободно пляшут на голове. А когда-то, наверное, стояли стеной, и пальцы в них вязли. Автобус выскальзывает рыбкой на скоростное шоссе: водит Штефан так же уверенно, как ходит на собственных ногах. Поспать бы теперь.

—Как там в Праге? Рассказывай!—командует Штефан.—Не спи. Я встаю в три, а смотри, я бодрый и свежий.

А я бы лучше поспала, я ложусь в полночь, встаю в пять. В автобусе тепло и покойно.

Город начинается ангарами, промзонами, котлованами, вырытыми под грибницы новых микрорайонов; поток машин густеет, медленно втекая в горло города. Небо уходит вверх, далеко вверх, светится там лоскутками: глубина города, её каменное давление всё увеличивается. Автобус медленно ползёт между берегами улицы по дну-брусчатке. Вспыхивает красный свет—сигнал выскакивать заранее приоткрытую Штефаном дверь. Автобус тёплый, мягкий, ехать бы и ехать. Ну, мигом! Ещё успеть помахать. Штефан тоже мне машет, отлепив руку от руля, квадратную и увесистую, как он сам. Такой лапой рыбу глушить. Ондра не смотрит в окно, у него нет понятия окна и нет взгляда. Он слепой и едет на вокзал попрошайничать. Вечером я, может, увижу их снова.

Пройти два отеля (почему в швейцары берут толстяков?), цветочную лавку, завернуть за казино. В ведёрке цветочницы — оттанцевавшие праздник тюльпаны с раскрахмаленными юбками. Я сгребаю. Хоть что-то живое будет на столе. День начинается с усталости.

— Не подскажите, где костёл святой Людмилы? — спрашивает молодая ещё старуха в жалобной шапчонке.

Это её первый ход. Дальше она цепляется за дезориентированного прохожего и вытрясает мелочь, кто на какую способен. Она промывает в этом квартале. Пора бы ей меня выучить. Протягиваю ей лицо. Смотрит, узнаёт, с досадой машет рукой. Бывает — замоталась.

Чем хороша работа, так это тем, что сжирает время, не прожёвывая, сколько ей ни дай. Через девять часов усталости стало больше, её надо взвалить и нести опять на вокзал. Теперь в гору. Тюльпаны стоят в одних чёрных трусиках — юбки свалились. Завтра будут новые постояльцы на денёк.

На улице темнеет. Иду утром — светлеет, вечером — темнеет. Мы с солнцем не встречаемся. Под вокзалом — осьминог метро. В шупальце-переходе, выводящем на платформы, стоит, как обычно, Рихард, продаёт журнал «Новый простор». Норма его — один журнал в день. Выполнил норму — можешь ночевать в ночлежке для бездомных. Перевыполнил — всё твоё, когда и на сигареты хватит. Но Рихард не спит в ночлежке. У него палатка, спальный мешок, он знает места в городе, где встать на стоянку. Говорят, он полицейский стукач. Ему в пору быть швейцаром. Он толст, и борода окладистая.

— Опять ваш слепой был, — гнило-сладко улыбается Рихард, будто это мой личный слепой. — Уехал уже, в три уехал. Рано сегодня. Слепым много подаю, как думаете?

— Он не мой, — отвечаю тоже без приветствия, на бегу.

Автобус подгоняет толстый Пепа, в жёлтой фирменной майке, громоздящийся за рулём, как солнце. Вот теперь я точно выплусь: Пепа неразговорчив, он озабочен пищеварением, спокойная, умеренная езда помогает его желудку и кишечнику делать основную работу Пепиной жизни. Ондры действительно нет на остановке. Вдруг и завтра не поедет? Бывают у него и холостые дни. Эни отдохнёт. На людях Ондра с ней сюсюкает, но кто знает, как там у них на самом деле? Не зря же она так жмётся к ногам и заглядывает в глаза. Да, в глаза. Ондре в глаза не заглянешь. А им, собакам, может, этого только и надо. Пепа протягивает булку. На остановках он ест. Я не хочу булку. Спать! Сейчас проедем мост — и будет длинный забор, весь в плюще. Тут я обычно вязну в сне, а просыпаюсь на свороте в свой маленький городок.

Выходить из автобуса приходится в темноту и слякоть. Меж облаков, как в дверную щель, выглядывает одна звезда, дрожащая на сквозняке. Через двадцать три минуты, если всё ещё идти скорым шагом, не сбавляя темпа на подъёме, я буду дома. Фонари уже вылупили свои желтки, ветер привычно отхлёстывает по правой щеке. Ещё один день без солнца. И это только вторник. «Ты уже вернулась?» — приходит смс-ка. Трудно сказать. Смотря куда и к кому. Неясно направление движения, как в кабине нашего лифта, если выключить голос и закрыть глаза. Плёнка перематывается назад: дорожка, подъезд, пятнадцать шагов, лифт, дверь, туалет, ванная, кофе. Домашние тапочки умиляют: вот бы ходить в них от дивана к холодильнику, сбросив у дивана, читать под лампой. За окном ночь и тихонько посвистывающая колёсами дорога на Вену. Бусины огней катятся к тоннелю и исчезают в нём. Сколько ещё не спящих людей на свете! Холодильник голодно урчит — он пустой, у набитого холодильника совсем другой звук. Фонари плятятся в пустырь, я — на фонари. Глаз всегда тянется к свету. Видят ли слепые сны? Спать как хочется... «Спокойной ночи, целую», — подсказывает смс-ка.

Был дождь. Или снег. Всё равно один результат — лужи. Дворник подметает вокзал. Его лимонный жилет светится в серой взвеси утра. Шлёпают Ондра с Эни, собака тут же натягивает поводок в мою сторону. Вползает, боясь испачкаться, се-ребристый автобус. И его Ондра распознал, сразу ощерился. Зубы жёлтые, кривые. Кто бы их ровнял слепому. Слепой может себе позволить не выглядеть. Мало шансов у тебя, дружок. Едет Милан. Его автобус — ровесник остальных, но выглядит на десяток лет моложе. Была бы воля Милана, он бы вовсе не пускал пассажиров в салон. От них одна грязь, крошки и мятая упаковка в карманах сидений. Его автобус благоухает духами, на входе — стерильный коврик. Страшно об него вытирать ноги, но Милан, уставившись в пол, придирчиво следит за процессом очищения подошв от пешеходной скверны. Лишь потом выбивает билет. И после каждого пассажира ровняет коврик. Ондра всё-таки пробует прорваться. Милан его душит дверью. «Та-та-та», — строчит из телефона женский голос. Милан дожимает дверь, автобус трогается. Слепой кликушечьим криком желает нам разбиться и плюёт, промазав, в автобус. Эни гавкает от отчаяния, что нас с ней разлучили. С Миланом разговаривать не надо. Он еле-еле терпит мою остановку у метро. Но тормозит, как все. Ведь я — подруга Штефана.

Об Ондре переживать нечего, приедет на следующем. Он встаёт на вокзале у главного входа. Широкая камуфляжная куртка подчёркивает его худобу, голая тощая шея — беспомощность. Слепой непрерывно вертит головой, будто улавливая

тонкий, но очень важный для него звук из высших сфер. Шелест крыльев ангела, например. Лицо его на глазах юродивеет. Эни понуро сидит у его расшлёпанных кроссовок, служит службу. Деньги следует бросать в жестянку, подвешенную на шее слепого. Подавать слепому удобно: он не видит, кто и сколько подаёт, он даже не благодарит. Его голова отвёрнута вбок, словно до жестянки ему нет дела—она тяготит его, а дзыньканье вспугивает высоко парящие звуки блаженства. Слепой стоит на вокзале как автомат для отпущения грехов или снискания благосклонности высших сил, чьё содействие требуется во всевозможных делах и делишках человеческих. Людям иногда нужны такие услуги. Слепой вращает лохматой головой, слушает небо. И не слышит, дурак, как Эни просится пописать. Что делать собаке? Отходит в сторонку, сколько позволяет поводок, и виновато приседает возле урны. Эни стыдно. Я останавливаюсь поодаль, Эни дёргается ко мне. Ондра соображает, что и им пора на автобус. В его белую трость вмонтирован приёмник, наводящий на метро и остановки транспорта, где установлены радиомаячки. Слепой уверенно разворачивается и шпартит на пятнадцатую платформу, работая тростью.

А там стоит Тонда. Тонда весельчак, он подрабатывает на туристических маршрутах, потому всегда загорелый. Даже зимой. Возит лыжников в Альпы. УТонды тоже есть подружка. Её-то мы и дожидаемся в тренированном европейской культурой спокойствии уже добрую четверть часа. Тонда копается в багажнике, якобы тот не хочет закрываться. Ондра уже развалился с удобством и пивом, Эни ползёт под креслами в мою сторону. Вот и подружка. Плотная, битком набитая жизненным опытом и достоинствами надушенная дама. Волосы её до хруста выкрашены в кукольно-белый цвет. На шее—пёстрый молодящийся платок, в руках—бутерброды. Из-за них-то она, видать, и задержалась. Сейчас будет по-хозяйски кормить Тонду из заботливых женских рук. Кажется, Эни голодная, слышно, как сглатывает под моим креслом. Мне нечего ей дать. Только старая карамелька, неотделимая от фантика. Трогаемся. Радио обещает многокилометровую пробку. Тондина дама радуется, что захватила бутерброды. Хочется спать, спать, спать. «На Д1 пробка, счастливо доехать»,—приходит смс-ка. Через сорок минут и мы встаём в строй. Впереди перевернулась фура с колой. Тонда волнуется: выпускать или не выпускать пассажиров? Молодёжь рвётся вон. Ондра, не понимая, что произошло, топырит ухо.—Фура с пивом перевернулась! Все побежали! Догоняй!—орёт слепому, как глухому, Тонда.

И хохочет. Он ведь весельчак. Если бы в пробке было можно спать! А вот не спится же. Сон приходит только во время езды. Движение усыпляет.

Трогаемся. На обочине красно от бутылок колы, участок оцеплен полицией. Дорога вытягивает из меня последние силы. Эни, похоже, тоже устаёт. А Ондра выглядит отдохнувшим. Может, у него нагрузка меньше? Не видит всё это... Зрение нам поставляет девяносто процентов информации.

На остановке стоит знакомая фигура, поспешно выбросившая окурочок. Убеждает, что меня, такую полуживую, надо непременно отвезти домой. В машине валяется неконкретная мягкая игрушка, повсюду теперь одни генномодификации.

— Это осёл? — спрашиваю.

— Да,—кивает,—это я—старый осёл. Дарю.

Незаметно заталкиваю дарёного осла под сиденье: зачем мне старые ослы? Из почтового ящика валят валом пёстрые рекламные проспекты; подбираю, подбираю, они скользят на гладком полу, догоняю, подбираю. Руки ловят и выпускают снова. А он стоит за толстым стеклом захлопнувшейся двери и внимательно наблюдает, как я собираю листовки. Думала, он ушёл. Пусть валяются, нет сил уже. Что же ты не уходишь?!

Ночью не могла уснуть, хотела, тужилась изо всех сил и не могла. Не проваливалась, не пролезала в сонную дыру, как неправильно расположенный плод. Луна была в эту ночь с круглым лицом и ямочками—бабушка, добрая не ко мне. Я встала и топталась босыми ногами по лунному свету—уминала его, бродила в его потоке, бороздила пальцами. Пила холодную воду. Думала, согреется во мне вода, и я усну. В пять взорвался будильник, принёс избавление от повинности спать. На вокзал шла с закрытыми глазами, пыталась представить, каково быть слепым. У центрального входа застыл деревенский автобус, в нём горел свет. Это было ненормально: у входа и свет. Одновременно и тихо подкатили скорая и Штефан. Скорые здесь не орут, если путь свободен. Я была единственной пассажиркой, но Штефан не трогался—мы смотрели на освещённый автобус.

— Готов,—сказал Штефан.—У меня такого ни разу не было. У меня ещё никто.

Из пустого автобуса вынесли на носилках укрытое тело, которое тоже выглядело пустым.

— Приехал,—Штефан не трогался.

— Где он сейчас, как думаешь? — спросила я.

— Стоит, смотрит, куда теперь денут его багаж и кепку,—сразу понял меня Штефан.—Я бы тоже так стоял, как телёнок.

Моё сердце раздулось аварийной подушкой. Я спросила, есть ли в автобусе аптечка.

— Всё есть: бинты, жгуты,—успокоил Штефан.

Мы поехали рывком. Слепого не было. Штефан пятнадцать километров молчал, потом попросил мою руку. Положил себе на грудь.

— Чувствуешь? Ну надави, надави. Проволоку чувствуешь? У меня была операция на сердце. На открытом сердце. Вот отсюда влезли (он показал

на ключицу). Сердце остановилось, а я был в сознании. Никому не говори. Нашим не говори. Донесут, и меня выгонят с работы.

Пассажиры начинали дремать. И я, кажется, тоже. «Никому не говори,—звенело в голове,—выгонят с работы, мне шестьдесят восемь лет, а я всё ежду».

«Это я—старый осёл. Хочешь жвачку мятную?» Когда и кто это спросил?..

Только я выскочила, двинулся частым неводом мокрый снег, попытался поволочь за собой. Цветов, понятно, не было. Моя кофейная чашка недавно разбилась, руки её сами отпустили полетать. Теперь новая, белого больничного цвета, в ней и кофе невкусный. С нею я стою у окна. Окна выходят во дворик, столь ничтожный, что люди его, захлавив, забросили, зато используют голуби, бесконечно плодятся и гуркая. Окна смотрят в стены, как в изнанку век, они, получается, слепые, как глаза Ондры. Наверху запел профессиональный женский голос, пропел фразу—и повторил, и повторил, и повторил. Косой снег сменил отвесный дождь, он быстрее доходит до людей. Женский голос захлебнулся фиоритурой. Вот и фиалка засохла. Она была уценённая. На исходе сил, не подарила мне ни одного нового цветочка. Если напечатанную букву рассмотреть в сильный микроскоп, то можно увидеть меня—ссутулившуюся «г», «б», «в», наживающую «г», «б», «в».

Выйти за дверь—как войти в воду, другая плотность среды. Она набита людьми. На светофоре стоит толпа в количестве среднего митинга. Зонтики цепляются друг за друга. Одни норовят задрать зонтик вверх, другие прижимают к голове, как грибы. У меня нет зонтика, поэтому я так спешу, но замечаю: квартальная бабуля что-то трогательно объясняет туристу. А он, не понимая, кивает и улыбается в макушку её шапочки. Дорогой отель. Знает где промышлять.

— К вашему слепому полиция подходила,—любезно сообщает Рихард, едва меня выносит эскалатор. — Что с собакой?—перебиваю я.

— Отпустили их. Сегодня отпустили,—лыбится Рихард.

— А за что их задерживать?

— Нарушение общественного порядка,—мягко поясняет компетентный бездомный.

Ондра выглядит, как обычно, вызывающе. Эни суёт нос мне в колени, я её глажу:

— Ты устала, милая, ты боишься.

Я сказала это вслух.

— Она не устала и ничего не боится,—мигом парировал Ондра.

— Вы знаете эту собаку?—поинтересовалась сочувственно пассажирка.

Все смотрят на Эни, все жалеют Эни. Ондра крутит головой, как будто отмахивается от мошкары или бредит от жары, как тот распятый на кресте.

Началась посадка. Пепа, пыхтя, вышел открыть багажник. Буркнул:

— Привет.

Пепа не в духе. Не успел, что ли, пообедать? — У меня есть тема для статьи,—значительно объявил Пепа, когда мы тронулись.—Они заставляют людей голодать. Говорят, что уволят всех, у кого лишний вес.

Я прикидываю: значит, уволят Пепу. Штефан тоже не тополёк, но в пределах возрастной нормы. А «они»—это шеф, бывший лётчик чехословацких вооружённых сил Карел. Он готов отдать жизнь за здоровый образ жизни, его ненависть к людям измеряется их килограммами лишнего веса. Бывший лётчик не смотрит на людей, он их взвешивает взглядом. Пепа водит лучше всех. Даже лучше Штефана. Он ведёт автобус, как мать качает колыбель. Но на его вес уходит дополнительное топливо.

— Я пишу по-русски,—напоминаю я.

— Там,—Пепа задирает глаза к потолку,—читают всё. Обязаны.

И я смотрю вверх. Ну да, если взять повыше, то может быть, и читают. На всех языках, включая древний шумерский.

— Что ты решил?

Смотрю: у Пепы нет даже обычной булки. Он утирает панический пот носовым платочком.

— Я буду худеть!—заявляет Пепа.

В голосе его дрожит не слеза, а желудочный сок. — Кофе с сахаром и молоком!—неожиданно резко выкрикивает слепой.—Нет, двойной шоколад!

И хохочет над своей, как он думает, шуткой.

В дверях спотыкаюсь о дорожную сумку и запах жареного. И не предупредил. Вернулся через полгода как через три дня. Конечно, я очень рада. Я просто устала и промокла. Я рассказываю новости, застревая почему-то на Пепе, которому велено срочно похудеть. Он перебивает и говорит, что нам надо переехать в Прагу, ведь я устала так ездить, это меня убивает. Мы купим квартиру, и больше никаких Пеп и слепых собак. Я слабо спую: слепая не собака, а Ондра. Это, должно быть, очень радостная новость: мы покупаем квартиру. «Отдохни, любимая»,—приходит смс-ка.

Я проспала, потому бежала, задыхаясь. Внутри меня скакало, как мячик пинг-понга, сердце, такое же пустое и лёгкое, билось о рёбра, отскакивало. Я неслась в грязных кроссовках, с немойтой головой. Впору вставать рядом с Ондрой. Он как раз задержал автобус Милана. Эни взвизгнула от радости. Милан, хмурясь, читал бумагу. Ондра крутил головой, обнажив зубы. Милан боится законов и инструкций; видать, Ондра ему притащил не меньше чем Декларацию прав человека. Что-то очень пугающее содержится в этой бумажке, Милан топырит губы, читая. Потом мертвенным голосом объявляет:

— Вытирайте ноги.

От злости он стал белым и одеревенел. Ондра поднимается и, миновав коврик, начинает чистить свои подошвы возле Миланова кресла. Кажется, он недавно наступил в собачьи экскременты. С ним это, по известной причине, часто случается. Не все хозяева убирают за псами. Эни идёт как есть вся мокрая.

— Если вы ещё раз попытаетесь плюнуть в мой автобус, я вызову полицию, у меня много свидетелей,— мрачно обещает Милан.— Все будут свидетелями,— он угрожающе оборачивается в салон.

Ондра вытягивает шею и блаженно склабится: кажется, он уловил желанный звук в горных сферах. Он так и застыл в проходе со счастьем на лице. Милан дёргает автобус, слепой едва не падает на меня. Перегаром от него не разит. Милан включает радио. Тут же нам объявляют, что на Д1 пробка по причине групповой аварии. Ондра достаёт из рюкзака книгу и принимается гонять пальцы по странице. Голова его скучно ёрзает по спинке сиденья. Над нами проносится санитарный вертолёт. Значит, там всё серьёзно. Я думаю о Штефане. У него прооперировано сердце, однажды оно остановится— в аптечке одни жгуты и бинты, а автобус так и будет ехать, как «летучий голландец», потом врежется. Но Штефану надо платить ипотеку сына, и он не уйдёт сам. Никто не знает, что у Штефана внутри проволока, ведущая к сердцу. Что мы вообще знаем друг о друге? Милан, может, биоробот. Похож. Ондра нажимает свою волшебную кнопку, и любезный голос громко и весело докладывает ему, что на Д1 пробка часа так на полтора. Ондра интересуется, нет ли в районе пробки какого-нибудь заведения быстрого питания. И ему отвечают, что есть два: «Макдоналдс» в шестистах метрах и мотель «Зайчик» в двухстах восьмидесяти. Я была уверена, что он затребует меню, но он отключился, хмыкнув. Студентка зато распаковала длинный бутерброд-крокодил и принялась его тщательно, чередуя концы, съедать. Милан уловил звуки жевания и шорох упаковки и часто-часто задышал— выпускал пар или дым сгоревших нервных клеток. Хватил он сегодня лиха: слепой, пробка и ещё этот бутерброд. Поди, ещё руки о сиденье вытрет, прямо о белый чехол. Мы поползли и проползли мимо обеих точек питания. «Зайчик», скорее, выглядел как придорожный бордель. А там кормят, оказывается. Неужели мы купим квартиру в Праге? Я перестану мучиться. Или начну. Не знаю ещё. Милан не затормозил у метро. Я его не виню— столько потрясений на его голову. Ондра с Эни остались попрошайничать. В переходе Рихард что-то объяснял паре полицейских. Девушка показалась мне симпатичной: блондинка с умным настроженным лицом. А парень— просто громила. Видимо, защищает

интеллектуальную собственность отдела. Рихард был серьёзный и докладывал убедительно. Может, он тоже полицейский, поставленный тут в образе бездомного продавца душеспасительного журнала? Ведь все эти стаканчики из-под колы, которыми забита мусорница, куплены в автомате и выпиты Рихардом. Никаких журналов не хватит их оплатить. Он как раз бросил на меня меткий взгляд с кратким, но ёмким содержанием: вали отсюда! Да мне-то что? Я валю.

— А вас ждал гитарист!— докладывает администраторша.— Пел тут у нас в холле. Очень красиво. Про китов. Я ему сказала, что вы, наверное, в пробке.

Китов сочинила я. Вот перееду— и запишем альбом. Будем ходить на выставки, концерты, на митинги и демонстрации, фестивали, в музеи, в обсерваторию даже. В столице всегда есть куда пойти. Не то что наш городишко в три фонтана и в одну площадь. Я должна всё объяснить, написать. Сказать я не сумею, собьюсь, запутаюсь. Писать по телефону удобно. Знаешь, сколько стоит одна смс-ка, две, три, четыре. Стоимость слов подсчитана и вычтена. Слова приобретают конкретную ценность. Однажды я купила у Рихарда журнал. Там пишут о судьбах бездомных людей, которые находят в себе силы начать жизнь заново— встают в переходах метро, в торговых центрах, на вокзалах с этим вот журналом и продают его, не зная стыда и усталости. В людных местах их усердие бросается в глаза, и кто-то им предлагает настоящую работу. В конце номера был рассказ о бездомной женщине, которая нашла свою любовь и готовится к свадьбе. На фото она выглядела как ссохшаяся алкоголичка, хотелось верить— бывшая. А вот Рихард не выглядит алкоголиком. Даже бывшим. Он хвалился, что живёт в палатке. Так ли это?.. «Утебя всё в порядке? Ты вчера вечером не ответила»,— спрашивает телефон. Я отвечаю: «Всё прекрасно, я просто уснула». Лживые слова имеют ту же стоимость, что и правдивые.

В половине третьего я встала с намерением уехать раньше. Вышла через запасной выход. Да просто сбежала. Над улицей было небольшое солнце, а в ведре цветочницы— обмякшие розы за ноль денег. Так и написано было: «Цена— ноль». Слово «бесплатно» шокировало бы. От цены нельзя отступать. Я сгребла все. Бутик раздавал лишние плечики. Тоже бы неплохо, но уже не унести. Навстречу шли люди, почти все в чёрных очках и с наушниками плееров в ушах, чтоб ни взгляд, ни голос человеческий не проникали к ним. Слепые и глухие люди большого равнодушного города. А Рихард оживился, меня заметив:

— Вы сегодня рано. Есть пара минут? Хотите написать интересную статью о жизни бездомных? — Я даже готова провести ночь в вашей палатке для полноты эксперимента. Или она одноместная?

Рихард растерялся. Мне показалось, что он меня нарочно задерживает. Бросив его, я полетела вверх. Было поздно. Ондра сидел у стенки, закрыв голову руками, один цыган как раз выбрасывал в урну его опорожнённую жестянку, а другой дотпывал телефон слепого. Эни стояла совершенно спокойно. Полиции поблизости не было.

— Эни! — крикнула я.

Собака свободно подбежала, поводок волочился за ней. Цыгане бросились в разные стороны. Ондра держал голову руками, чтобы она не вертелась. Его, похоже, не били. Я принялась собирать рассыпавшийся телефон, отложив розы, но он был совершенно разбит, просыпался, как песок сквозь пальцы.

— Придётся покупать новый телефон, — сказала я. — Вставай. Мы опаздываем. Мы опоздаем, шевелись, вставай давай!

— Сим-карта, — протянул руку слепой. Голова его не вертелась.

Подала ему кусочек картона, и мы пошли. Я вела Эни. Розы остались лежать на полу, как на месте трагедии. Хорошо ещё, что не взяла плечики.

— У меня нет денег на билет, — остановился Ондра. — Мы остаёмся, мы приедем на восьмичасовом.

Обещав заплатить, я потащила его, упирающегося тростью, к автобусу.

— Не задирай мне руку! — дёргался он. — Я так ничего не вижу!

Ну да, ему ж надо было шарить тростью.

Пепа с укором выбил мне два билета. «На кого тратишь?! — говорил его взгляд. — Ничего лучше не придумала?!» На самого Пепу было жалко смотреть. Щёки его опали, но пузо ещё больше выперло. Будто жир со щёк стёк в живот.

— Не пообедал сегодня! — заявил он.

Я не поняла, жалуется он или хвастает. Пожалуй, жалуется.

— Надо есть малыми порциями, но часто, — посоветовала я.

— Часто? — оживился Пепа.

С Пепой дорога всегда короче. Он превышает скорость, едет, кажется, медленнее всех, а приезжает раньше: ему надо перекусить или в туалет. Темнеть ещё не начинало. Мне стало стыдно, что я не спросила у Ондры, как он себя чувствует, не пострадал ли.

— Ты в порядке?! — крикнула в его уходящую спину.

Он остановился. Оборачиваться не имело смысла. Он сказал прямо перед собой:

— Слепой король Иоанн Люксембург погиб в бою. Его поразила стрела, пущенная в спину. Никто не осмелился приблизиться к слепому королю спереди. Он сказал перед боем: «Только поставьте меня перед противником на расстояние меча». Своего лекаря он велел зашить в мешок и сбросить в реку.

Эни натягивала поводок в сторону от вокзала. Она, голодная, спешила домой и утащила Ондру. Я пошла медленно, ведь у меня было много времени, на целых два часа больше. Их можно проспять. Или потратить на поиск квартиры. В тихом месте, где хорошо спится. Я буду спать долго, на три часа дольше. Поднимаюсь в гору. Одна сторона улицы — новая, из новых домов, а другая — старая: дома с облупившейся штукатуркой — материки и острова, и рамы ещё деревянные, с гвоздём. Зато какие деревья растут на старой стороне улицы... А новая вся заставлена новыми машинами. Старые деревья — на старой стороне, новые машины — на новой. В деревьях созревает молодое зелёное вино. Скоро оно ударит им в кроны, зашумит. Старые деревья переживут всех. «Возьми в дорогу перекусить и воду, на Ді пробка», — приходит сообщение. Эта пробка уже не для меня. Ондра совсем не испугался, хоть и стал жертвой социализации. Завтра опять пойдёт. И деньги мне, понятно, не отдаст. Не Рихард ли на него натравил эту парочку? Уж кому надо худеть, так это Рихарду. Я купила у него журнал только из любопытства. Ни о каком сострадании не было и речи. Существовал ли когда-нибудь слепой король? Ночью, усевшись искать квартиру, я набрала в поиске: «Иоанн Люксембург». Такой король был и погиб так, как описал Ондра.

На следующий день я проспала первый рейс, я совсем проспала! Тело не проснулось, мозг не шелохнулся. Я шла на вокзал в людное время суток, было светло, как будто я из подземелья наконец выбралась на свет или сбежала из тюрьмы. Штефан на втором утреннем опешил при виде меня. Но тут же выложил новость — горячая новость, как блин, мечи скорей на стол:

— Тондина жена застучала его с подружкой!

— На слепого вчера напали цыгане! — парировала я.

— Давно пора было, — кивнул Штефан.

Кого это касалось, слепого или Тонды с подружкой, я не поняла. В такое время суток пробок почти не бывает, мы выехали со спокойной душой, как на прогулку.

— Больше не поедет? — вернулся Штефан, окружив мыслями, к слепому.

— Уехал уже, наверное...

— Ничему жизнь людей не учит! — завёлся Штефан. — Государство кормит бездельников, мне шестьдесят восемь лет, а я всё езжу.

— А ты не ездил...

— «Не ездил!» Вчера был техник. Перенести ванную на первый этаж, заменить котёл — двести тысяч! А ты говоришь: «Не ездил».

— Зачем тебе ванная на первом этаже?

— У Хелены больные ноги, ей тяжело ходить по лестнице. Кто ей ванную переделает, когда я умру? Это ты не знаешь, когда ты умрёшь, а я знаю, — пресёк он мои возможные возражения.

— В Прагу переезжаем, — впервые вслух произнесла я.

— Ты это серьёзно?! — возмутился Штефан. — А кто же будет с нами ездить? Мы ждём, место держим, высаживаем где скажешь.

— Люди будут ездить.

— Я не жду людей по пятнадцать минут, когда люди проспали. При чём здесь люди?!

— По пятнадцать минут ты меня никогда не ждал.

— Да я первые рейсы только из-за тебя и брал... охота бы мне было в такую рань вставать, сама подумай? У меня сердце.

Нам под колёса едва не попал мелкий, завихлявшийся вдруг задом «Фиат».

— Дают же права таким дебилам! — искренне огорчился Штефан.

Можно было спать, но спать сегодня как раз и не хотелось. Я выпалась. Дорога стала отчётливей, и даже рекламные щиты, всегда мелькавшие пятнами, стали читаться. «Пенсионеры радуются — не нарадуются новому крематорию», — гласила белая простыня.

— Ты видел?! — изумилась я.

— Что? Это? Да, я тоже радуюсь, скоро сам вылечу в трубу, — Штефан махнул рукой вверх, отсалютовал серому, но чистому небу.

Небо как асфальт сегодня. Асфальт — как небо. Мы словно летим в пустой серой трубе, и нам нечего друг другу сказать. Возле метро нас выходило уже пятеро. Пассажиры привыкли, что здесь образовалась остановка. Штефан никуда не спешил, так и стоял на светофоре, пока все не вышли. Горел зелёный. Я ему махнула: езжай! А он мне махнул: иди. А потом снова повторил свой жест: фьють — и в трубу! Салют. В бесплатном ведре торчали хризантемы, много листьев на стеблях, будто волосатые ноги. Я их не взяла. В день, когда я проспала, всё было иначе. Я знаю только этот кусок города — от офиса до вокзала. У меня будет больше города, когда мы переедем. Город растянется в разные стороны.

— Пробка? — поприветствовала меня сотрудница.

Я проспала, но ничего не случилось. Разве что кофе уже так лениво у окошка не выпить. Свежая голова удивлённо вертелась по сторонам. Как многого я не замечала даже на рабочем столе! Вот это письмо от кого, например? Журналы... линейка нашлась. И эта мягкая зверушка. Я никогда их не покупаю. Откуда же они берутся? От соседей, как когда-то заводились тараканы? Наверху — безжизненный этаж, забитый мебелью и нераспроданными тиражами. Выше — какой-то пансион, туда привозят бельё из прачечной, туда же на лифте поднимают огромные колёсные чемоданы маленькие японцы. Ещё выше поют. И всегда не до конца. «У тебя всё в порядке?» — спросила смс-ка. «Я выпалась», — пишу. Два честных слова. Я хочу видеть из окна своего будущего дома улицу

или дорогу, чтобы перед глазами всегда был самый простой выход или исход.

Через два месяца мы переехали в квартиру, окна которой выходят в тупик. Очень тихо. Скорее расслышишь самолёт, ползущий над городом, чем автомобиль. Ещё через пару месяцев я решила в последний раз навестить мой бывший маленький город.

В переходе метро стоял втрое похудевший Рихард — я его не узнала, а узнав, опешила. Взгляд его метнул мне: «Вали-вали», — но он был явно польщён моим остолбенением. Развернул на груди «Простор». Стаканчиков из-под колы не было. Ну да, она калорийная. У главного входа вместо Ондры торчала незнакомая слепая девушка, держащая за поводок Эни. Эни неуверенно приподнялась мне навстречу, но тут же равнодушно села. Девушка была плохо причёсана — да просто растрёпана — и похожа на слепого, как сестра. Даже головой вращала, как Ондра. И улыбалась внутрь, а не наружу. На голой шее её туго висел высоко подвешенный крест, как пломба или этикетка. Творение Божье — товарный знак. Я села на скамейку ждать автобуса и хоть каких-то объяснений. Почему-то была уверена, что подъедет Штефан, а подъехал весельчак Тонда. Заметив меня, он ополз лицом.

— Что со Штефаном?! — испугалась я.

— А что с ним будет? — захохотал Тонда, опомнившись. — Ездит. Первые рейсы совсем не берёт, но ездит. Хозяйство развёл, кроликов. Всё ему мало. Для кого только копит? — и Тонда мне понимающе подмигнул.

За моей спиной раздалось характерное разведывательное постукивание. Шла слепая, шаря палочкой.

— Невеста его! — кивнул головой Тонда, не убавляя голоса; для него что слепой, что глухой — одно и то же. — Красавица какая, гляди. По очереди ездят. Мало им пенсии! Они на море копят. Сам говорил. — А что Пепа? Похудел?

— Да разве он похудеет? Жрёт как жрал, ещё толще стал. А заменить нечем. Я у нас самый молодой, а мне пятьдесят девять. Ха-ха! Милану дали штраф — пассажира потерял. По дороге расскажу.

Тонда захохотал, демонстрируя зубы двадцатипятилетнего. Не свои, наверное. Слепая шарила в кармане, брякая мелочью, — собирала на билет. Эни принялась скулить и наконец сунула мне нос в коленки.

— Ну, как обычно? — вскочил на своё место Тонда и выбил билет.

— Нет, я только хотела спросить. И... передавай привет всем нашим.

Я отвернулась и быстро пошла с вокзала, как слепая, только без Эни и палочки. «А здесь холодно. Как приедешь, растопим камин», — пришла сквозь слёзы смс-ка.

Евсей Цейтлин

Другие глаза

Из книги «Послевкусие сна. Дневник этих лет»

Пыль

Она пробовала учить дочку моих родственников музыке, но потом — недели через две — отказалась. Промолвила презрительно: — Я не привыкла получать деньги даром, а здесь нет и намёка на способности.

Всё это не имеет теперь никакого значения. Девочка, которую мрачная сила родительского упрямства всё же заставила выучиться играть на фортепьяно, давно стала взрослой и — Пантофель была права — выбрала другую профессию. Наконец, позади уже остались долгие, похожие друг на друга годы: они ломали, старили, они вроде бы незаметно, но всегда жестоко испытывали нас.

Мы жили в одном подъезде: наша семья — на пятом, она — на первом этаже. Почему однажды я напросился к ней в гости, а потом стал бывать у неё — нечасто, но регулярно? По возрасту годился ей в сыновья. Общих интересов у нас не было. К тому же она встретила меня скорее неприветливо, чем радушно.

Сначала мне казалось: я прихожу к Пантофель из-за острого её языка, не щадящего никого и ничто. Однако вернее другое: в самой интонации её речи, в её жестах, в воздухе её маленькой квартирки я неосознанно, но очевидно различал тяжёлое дыхание судьбы.

— Слушаю... Ах, это вы...

Пантофель недовольно бурчала в трубку и — неизменно приглашала в гости.

Только теперь начинаю понимать ту сумятицу чувств, что туманом окутывали её. Она была рада мне, хотя и потом, при встрече, говорила с той же усмешкой, чуть цедя слова. Разумеется, рада: наконец-то могла прямо, безжалостно высказать свои утаённые мысли — те, делиться которыми с русскими знакомыми ей не позволяло достоинство. — Евреи — это пыль, — с вызовом повторяла Пантофель.

Она ничуть не сомневалась, что её утверждениям не нужны доказательства, но всё же порой развивала своё сравнение:

—...Вы не задумывались, почему *их* всюду ненавидят? А ведь всё так просто! Народ, как и любой

человек, имеет срок жизни и должен умирать вовремя, а не путаться под ногами у молодых. Евреи же... *Они* давным-давно отжили своё и теперь мешают всем: хитрят, подлаживаются, втираются куда только можно... Ну как же надоела *их* извечная скорбь, *их* претензия на всезнание, предвидение: всё уже было, было, было... А человек до всего должен доходить собственным умом! Мы не зря не любим тех стариков, что только предостерегают, наставляют. Вы-то, разумеется, знаете: у японцев это старичье раньше просто отводили в горы, на кладбище: подошёл срок — пусть умирают там. И правильно!

Она энергично прерывала свой монолог; бывало, лишь махнёт рукой: и так, мол, всё ясно — «пыль, только пыль»...

Сидела передо мной прямо, как старая балерина, по привычке не позволяющая себе расслабиться в кресле. Поза Пантофель точно отражала суть её странного существования. Иногда я думал: как и зачем она живёт, если из всего, что когда-то беспокоило и терзало её, осталась одна ненависть — чем-то ещё согревающая её ненависть к собственному народу.

Правда, помню, однажды Пантофель недоумённо спросила меня и — должно быть, в который раз, — себя:

— Пыль... А что, собственно, такое пыль? Почему она возникает, и прежде всего — там, где живёт человек? Не замечали: в комнате, из которой все выехали, пыли почти не бывает?

Об этих скрытых, а потому особенно сильных, будто сжатых пружиной молчания, чувствах Клары Пантофель никто не подозревал. Конечно, в музыкальной школе, где она до самой пенсии заведовала учебной частью, подметили: к ученикам и преподавателям — евреям Пантофель особенно строга: не выискивает специально недостатки, однако никогда их не прощает. Думали, это обычная у евреев болезненная предусмотрительность: вдруг упрекнул в солидарности со «своими»?

Но я не сомневался: Клара Пантофель давно уже ничего не боялась.

Вспоминая о ней, вдруг замечаю, что невольно избегаю описаний. Например, описания её однокомнатной квартиры, где всё походило на районную поликлинику—было чисто, но безлико; или описания её одежды, также лишённой индивидуальности; или того, как она неизменно угощала меня зелёным чаем: «Это полезно!»

Думаю сейчас о другом. Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так уж таинствен, непонятен, как порой кажется. Это противоестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного судьбой человека. Однажды он начинает ненавидеть соплеменников, которые якобы виноваты в его неудачах и несчастьях, а иногда—странно абстрагируясь—не может уже выносить самого себя.

Конечно, в основе антисемитизма Клары Пантофель тоже было отчаяние—сгустившееся в душе одного человека отчаяние нескольких поколений.

Она никогда ни на что не жаловалась. Только из многих наших разговоров (в сущности, случайно) я узнал о судьбе её родных. Деда до революции распоттали погромщики в Кишинёве. Отца и мать забрали в тридцать седьмом как врагов народа (Клара в это время уже работала после окончания консерватории в Сибири).

Почему она не вышла замуж? Разумеется, никогда её об этом не спрашивал, хотя ещё на моей памяти она была довольно хороша собой. Но невозможно было представить кого-то рядом с Пантофель: всё её существо излучало отталкивающую, испепеляющую любого нормального человека энергию.

Таким образом, её вовсе не оригинальная теория вызревала медленно, в одиноких раздумьях. В мире всё справедливо, рассуждала она; если уж сама жизнь выталкивает евреев, значит, они должны уйти.

Кто же у неё всё-таки был?

Я знал, что иногда её навещала бывшая ученица—всегда меланхоличная старая дева; та считала своим долгом «оказывать помощь», а Пантофель язвительно высмеивала её печали.

Однажды летом я познакомился с сестрой Клары Михайловны, тоже уцелевшей в тридцать седьмом и в войну. Она вернулась из эвакуации в Минск, выучилась на инженера, имела сына и пьяницу-мужа, но радость жизни находила во всевозможных экскурсиях.

Клара Пантофель на всю жизнь осталась хрупким подростком. А сестра её оказалась породистой шатенкой: она рассказывала мне о своих поездках, играя блестящими глазами, достав блокнот, где были аккуратно переписаны все её маршруты. Так говорят о любви, не замечая банальности ситуации.

Через год любительница путешествий умерла от скоротечного рака. Сообщив об этом, Пантофель не плакала. Все её мысли теперь занимал племянник. Тому исполнилось двадцать шесть; не помню, где он работал, но, помню, учился заочно в институте и собирался жениться.

—Только бы не взял в жёны еврейку,—тоскливо заклинала Пантофель.—Наши внуки должны быть счастливы.

После смерти её сестры мы встречались гораздо реже. Я подумал: наверное, эта смерть окончательно убедила Клару Михайловну в правоте её жизненной философии.

—Простите, я занята,—и в телефонной трубке раздавался щелчок.

Как-то, придя к ней, сразу заметил перемену: она вся вдруг как бы подсохла, сморщилась. При этом судьба по-прежнему смеялась над Пантофель: теперь она походила на еврейку всё больше и больше. Всегда сжатые тонкие губы обрамляли глубокие морщины—следы неизменной усмешки. Резко выделялись на лице глаза, форму которых принято сравнивать с миндалём.

Во время нашего разговора она—видимо, по привычке,—страдальчески взглянула в зеркало. Я понял: она пугалась отражения. Она презирала собственное лицо.

И, наверное, потому почти перестала выходить на улицу.

Пантофель похоронили торопливо, как хоронят всех одиноких людей.

Когда мы возвращались с кладбища, её племянника уже ждали представители домоуправления: надо быстрее освободить квартиру, туда должна заселиться мать-одиночка с двумя детьми, а вещи... их ведь можно пока перенести в пустующий, через несколько кварталов, сарай? Вряд ли это была только забота о несчастной женщине, скорее—опасение: как бы приезжий еврей не начал «химичить», не попытался сам занять жилплощадь.

Через день я случайно увидел, как дворник и некий дюжий парень (видимо, друг новой жилицы) перетаскивали скарб Пантофель. Они решили составить всё у подъезда, чтобы потом разом погрузить вещи в машину.

Разворачиваясь, грузовик переехал кресло, в котором так любила сидеть покойная. Кресло разлетелось на несколько частей, пружины резко распрямились и вытолкнули из тёмного чрева охапки скатавшейся пыли.

Версия

Они притягивали меня своей загадкой ещё тогда, раньше, когда его официальная биография была совсем уж скупа. Обычные еврейские глаза за большими стёклами очков.

Потом, после перестройки, стали появляться странные подробности— в основном в жёлтой прессе, в газетах русских «патриотов». Но, впрочем, и в солидных изданиях. Дескать, фамилия его матери—Флекенштейн; рано умерший отец, кажется, тоже был евреем.

Серьёзные люди в это не верили. Ну скажите: как, каким образом еврей мог оказаться во главе КГБ, а потом стать руководителем государства? И это— в эпоху строжайшей проверки анкет. Да и доводы очень шатки. Вот мать: известно ведь— её просто удочерила еврейская семья.

Однако я поверил в это сразу. Не в том дело, что знал: еврейские семьи до революции не могли усыновить или удочерить ребёнка, если тот не приходился им родственником. (Такова была традиция, объяснять которую сейчас— не к месту.)

Меня убедили другие детали, одиноко и жёстко торчащие из благостных воспоминаний о нём.

Как тщательно заметал он любые следы, ведущие в его детство, юность, молодость...

Направленный на работу в Петрозаводск и мечтающий о большой карьере, решительно и навсегда оставил в Ярославле первую семью. Хотя совсем недавно, своей рукой, вывел на обороте супружеского фотоснимка признание, похожее на стихи: *«Если Вам когда-нибудь будет скучно, если Вы хоть*

на минуту почувствуете себя несчастными, то взгляните на эту фотографию и вспомните, что в мире существуют два счастливых существа. Счастье—заразительно. Оно вместе с воздухом проникает к нам в душу и в одно мгновение может сделать то, что не в состоянии сделать годы».

Что потом проникло в его душу? В чём нашёл счастье? Никогда больше не видел жену. С сыном и дочерью встретился только в старости, да и то не по своей инициативе.

Директор детдома, где он рос и где им так гордились, однажды передаст ему привет— на провинциальной партконференции, через его же, командированного туда, сотрудника. Тот имел глупость донести тёплые слова до адресата. И на несколько лет был удалён от шефа.

...Я думаю сейчас не о той известной его жестокости, которая была даже предопределена должностью. Я думаю о его жестокости по отношению к себе. О бессонных ночах. О том, как с оглядкой на разоблачение просчитывал каждый шаг. О том, как сам с подозрением вглядывался в собственные фотографии.

Хотел ли он когда-нибудь сделать пластическую операцию? Допытывался ли у врачей, в какой степени специальные контактные линзы могут изменить выражение глаз?

ДиН стихи

Константин Миллер

Вдыхающий жабрами весну

Какие-то буквы, а после— слова
Пишу я в квадратах блокнота.
Нет мыслей, гудит котелком голова,
Как будто в ней варится что-то.

Четвёртые сутки затишьё мозгов
Такое, что скомкало парус.
Нас было немного— чердачных бойцов,
Теперь нас почти не осталось.

Я лично дышу через жабры водой,
Свинцом, демоническим газом,
И эта зараза, что ест нас с тобой,
Мне больше совсем не опасна.

Я знаю, что душит меня по ночам,—
Метан, накопившийся в клетках.
Нет сил бесконечно бродить по врачам,
Сижу целый день на таблетках.

Таблеточки горькие, как полынь!
Как трава по имени Трынь!
Как прополис— пчелиный помёт!
Как дёгтем испорченный мёд!

И снова: то буквы, то даже слова
Пишу я в квадратах блокнота.
И вот уже мыслей полна голова,
И вот уже видится что-то.

Виденья туманны пока, не ясны,
Синь неба и светлые пятна.
А в окна несёт ожиданьем весны,
Весною всё станет понятно.

Надежда Осипова

Непутёвая весна

Рассказ-быль

Пасха в прошлом году была ранней, по народным приметам и весна тоже должна была подоспеть рано. Так оно и вышло, чему я шибко обрадовалась: мне нужно было попасть к июню в Москву—я заканчивала Литературный институт. Но, как говорится, учёба учёбой, а огород посадить я должна была уже перед отъездом: зима придёт и спросит, что весной делала.

Ну что ж, деваться некуда, и землю копать в огороде под картошку я начала в самом начале мая—и это при нашем северном-то климате. Соседи с разинутыми ртами с заборов свешивались, смотрели, что я делаю, а потом между собой судачили: не рехнулась ли я после своего зимнего одиночества? Снег пробрасывает, дождь холодный изредка меня поливает, а я в грязи лопатой ворочаю, докуда воткнуть её, сердешную, смогу—земля ещё не везде оттаяла, снег недели две как сошёл. И выхода нет никакого: если посажу огород, то что-нибудь да уродится, а если не стану, так и совсем ждать нечего будет, погибель тогда уж точно придёт.

Вожусь себе в огороде, жилы рву, но с самого начала понимаю, что всё вокруг меня совсем не так, как обычно: живности привычной огородной рядом никакой не видать, ни комаров, ни лягушек, даже скворцы не залетали ко мне за даровой кормёжкой—видать, холодно ещё совсем было. Но долго раздумывать да осматриваться не могла: чуть остановишься, и сразу начинало в грязь засасывать, еле ноги выдёргивала. Уже через день-два всё тело от такой работы стало похожим на столб телеграфный, деревенело и гудело к ночи. Но я не сдавалась, хотя с утра и постанывать приходилось. К обеду, когда разработаюсь, легчало и на душе теплело, а вечером домой уже как на ходулях возвращалась. В перерывах учила эстетику, мне по ней надо было государственный экзамен сдавать. Литературу хорошо знала, стилистику и философию тоже, а на эстетике мозги мои тормозили. Как год назад, тоже весной, господин Дубовицкий меня с лекции за сопли выпер, так сразу и начались мои эстетические проблемы. Мне даже сны эстетического содержания снились—к примеру, о дегуманизации искусства: что днём непосильным

трудом выучить успевала, то ночью настырно в гости ко мне и приходило.

Так, между огородом и эстетикой, я и жила. Про нищету родимую забыла пару слов прибавить, но это дело привычное. Хотя в то время всё же сложнее было: воду перед моим домом прорвало на центральной магистрали, ну и принудили меня шантажом за ремонт водопровода заплатить, грозились воду отрезать. С деньгами тогда отношения совсем напряжённые были, они разлетались от меня, как соколы, в разные стороны. Нужды много было, и деньги я всеми силами удерживать старалась, под замок запирала—копила с пенсии на проезд в Москву; шутка сказать: за все шесть лет учёбы стоимость билета в один конец равнялась каким-то чудным и непостижимым образом размеру моей пенсии. Вот я четыре пенсии в год и тратила только на билеты, а про остальные надобности и вспоминать даже неохота. Желаящих содрать с меня денежку очередь не оскудевала, как, к примеру, в этом случае с водой. Я в войну вступать не стала, деньги отдала, пенсию почти всю целиком втюрила, а военные действия перенесла на осень. Не то чтобы я конфликтов опасалась, это далеко не так, мне повоевать порой и самой по нраву—кровь в организме разогнать за счёт стрессов и прочих сильных ощущений; но в этом случае я подготовиться толком не смогла бы к экзаменам, так что решила потерпеть, хоть и сподобили меня жилищно-коммунальные господа на неминуемый голод и прочие неприятности.

К середине мая на моей усадьбе стали происходить совсем странные дела. За моей спиной, за огородом, между стайкой и уличным туалетом, коты пришлые начали каждый день собираться. Разных мастей откуда-то прибывали, как на митинг, прости Господи, в советское время. Они молча, степенно и важно рассаживались на дощатом выступе сарая, некоторые на забор запрыгивали, другие места себе на крыше туалета облюбовывали, лестница возле стены сарая тоже не пустовала, до самого верха на ней коты громоздились. Голов по сорок их порой к вечеру накапливалось. Сидят чинно, молча, только иногда лапами от холода перебирают. Я такой страсти не видывала никогда,

меня иногда даже жуть до самых костей пробирала. Но внешне страху старалась не выказывать, да и некогда было, моя посадочная работа продвигалась по-прежнему медленно, а когда надеяться не на кого, то и сам, под стать обстоятельствам, таким же оголтелым стаёшь.

Ещё, правды ради, надо добавить, что к животному миру я нахожусь ближе, чем к людям. Птицы и прочая живность меня тоже своей считают. Летом в огороде я часто с лягушками разговариваю, с ними очень интересно общаться, они внимательные, любопытные и доброжелательные; я приметила, что у лягушек плохого настроения никогда не бывает. Прошедшей зимой на меня часто опускались стаи голубей. Первый раз я перетрухнула, когда днём во тьме очутилась, голубей много было, они свет мне разом застили. На спину стали садиться, на голову, за плечи и руки лапами и крыльями цеплялись, кругом в воздухе висели. Но я как-то сразу поняла, что опасаться мне нечего: голодные голуби так внимания к себе требуют, и они откуда-то доподлинно знают, что я их накормлю. И нет на свете прекраснее занятия, чем кормить голубей. Они очень доверчивые, как малые дети, с рук пшено клюют, и думаю, что нет такого человека, у кого в душе ответное тёплое чувство не ворохнулось бы. В это время нежность в сердце рождается, а всё другое, неприятное, отодвигается либо совсем исчезает, и жизнь милее становится.

Того же самого, однако, не могу сказать про кошек, люди предпочитают даже в тяжёлые минуты с одной кошачьей особью дело иметь, кошачьи сборища их настораживают. Я познала это на собственном опыте: против сходок кошачьих соседи роптать стали, они удумали, что это якобы моя гуляющая кошка котов к себе приманивает. И теперь уже целые делегации людей приходили ко мне в дом и требовали, чтобы я всех кошек разогнала, иначе, как утверждали соседи, придёт скорый конец их будущему всеобщему урожаю: кошачьи женихи, дескать, все огороды вокруг вытопчут. И мне волей-неволей приходилось отрываться от работы и объяснять соседям, что своей домашней кошки у меня нет и в помине не было, что гонять я никого не собираюсь, других, более важных дел скопилось невпроворот.

От тяжёлой потной работы и от ежедневных нервных разборок я стала сильно уставать, и мне порой становилось даже не до эстетики. Не знаю, смогла ли бы я досадить огород и достойно подготовиться к экзаменам, если бы однажды утром всё разом не прояснилось. Перед рассветом меня разбудил рёв. Я не поленилась, встала и пошла с фонариком во двор. С некоторым содроганием прошла мимо кошек к туалету—рёв доносился именно из него, открыла дверь и осветила внутрь. С самого низа, из дыры, мне показалось—во много крат сильнее света моего фонарика, горели зелёные

глаза. Там сидел кот. Среднего возраста, странной бурой масти, с обмёрзшими ушками, головастый, очень худой и порядком одичалый. Попасть в туалет он мог полтора месяца назад, когда делали напротив дома воду и рабочие посещали с моего разрешения это строение. Пробраться туда в другое время кот не мог, ни снизу, ни сверху даже щёлки не было, а жилистый мосластый кот всё-таки имел внушительные размеры. У меня все удобства находятся в доме, и я предпочитаю в моём преклонном возрасте ходить только в тёплые места в случаях житейских надобностей, так что кота в облюбованном им убежище никто не тревожил. В твёрдой уверенности, что незванный квартирант сразу же покинет мой туалет, если оставлю дверь открытой, я отправилась мимо молчаливых кошек домой досыпать.

Но я ошиблась, кот не уходил. Стоумовая соседка, бдительно созерцавшая все происходящие на моей территории процессы, опять начала приставать ко мне:

— Михаловна, это он ведь к тебе жить просится... потому и не уходит... котикша бездомный, взяла бы его к себе, что ли... ради веселья...

Меня аж затрясло. Это же надо до такого додуматься: дикого кота, который в дерьме просидел полтора месяца, в дом к себе взять... И какое веселье он может мне принести, спрашивается? Сама-то соседка не особо развеселилась от своей собаки: по всему дню учит старого кобеля, который уже по второму разу собачью жизнь проживает, как лаять надо. Конечно, я признаю, что одиночество—вещь страшная, и воздух от тишины, бывало, звенит, это имеется, спору нет. Но домой... Да если бы я всех желающих, кто интерес ко мне проявлял, к себе в дом собирала по доброте сердешной, там повернуться от перенаселения уже нельзя было бы. Ну удружила соседка милая, нечего сказать... Нас с ней мир с самого начала не брал, как она рядом поселилась, хоть и человек работающий, как трактор, прости Господи, и вдова тоже, и два высших образования имеет, и лет ей уже за семьдесят... вот всю весну ко мне приставала, сообщала каждый день, что лужа около её дома замёрзла, льдом покрылась, не тает: дескать, зря стараешься—огород посадишь, а всё равно всё вымерзнет, потому что слишком рано копать начала... Я бросила ведро с семенной картошкой на грядку, взяла лопату и пошла кота прогонять. Он рёв поднял, уходить не хочет, спину дугой выгнул, того и гляди на меня бросится. Я сразу увидела, что мне его не победить, и лопата тут совсем не поможет, и уговоры никакие не подействуют, коли парень решил за мой туалет насмерть стоять.

Когда по тропинке мимо кошек проходила, в сердцах само собой с языка сорвалось: — Передайте своему товарищу... пусть уходит, мне его кормить нечем, я для него капиталов

не припасла, себя прокормить не могу... и сами уходите, не доводите до греха... нечего меня перед всей округой позорить, не заслужила я...

А сама досаживать картошку вернулась. Но не то понервничала, не то уж вконец надсадилась, а только в груди у меня болеть сильно стало. Лопату с великим трудом в землю ещё могла воткнуть, а наверх её вывернуть уже сил не хватало, и где солнечное сплетение, там болью пронзало. А тут ещё кукушка привязалась, рослая, головка седая, сама бесстыжая, просто под лопату сдуру бросается. Я ругать её стала самыми страшными словами, ненавижу кукушек, они перед смертью моего мужа на крыше дома с месяц куковали, беду кликали... Пока ругалась, то и не заметила, как досадила, вроде и болеть в груди даже меньше стало...

Утро встретило меня радостной вестью: ушли коты с моего двора и придурка бурого с собой прихватили. Я на радостях как весенний ветерок по огороду летала, последнюю мелочь досаживала. Морковку и петрушку посеяла спокойно, они холодов не боятся, а кабачки поглубже в грязь воткнула и перекрестила для верности — авось выживут. А вот над огурчишками всплакнула, жалко мне их стало, как представила, что им ногами пережить придётся по весне нашей северной. Когда парник укрывным материалом оббивала, уже улыбалась: семена огурцов мне в магазине продали со знакомым названием «Подмосковные вечера», даже самой интересно стало, что из этого опыта получится, когда московские семена в сибирские условия насильно втискивают. Ну а лук уже невозмутимо садила: чего над ним душу рвать, всё равно весь в стрелку от холода уйдёт, и переживать нечего. Базилик и салаты разные я уже по стародавней привычке в грядку воткнула, пусть тоже сибирского весеннего морозца понюхают, ежели силёнок хватит через грязь на свет белый выкарабкаться. Когда отсадилась, снег пошёл, но реденький, слабосильный. С домашними делами скоренько управилась и в Москву поехала оставшиеся подвиги совершать.

Студенткой я все годы учёбы была бесхвостой, дисциплинированной. Как училась, так институт и закончила, государственные экзамены все на пятёрки сдала. Среди экзаменационной суматохи

краем уха слышала, что в наших сибирских краях страшная засуха образовалась, но особо тогда не расстроилась, потому что у моих огородных посадок шансов выжить с самого начала никаких не имелось. И когда домой с дипломом возвращалась, из окна вагона, а потом и автобуса видела, что у людей не везде даже и картошка взошла — среди огородов проплешины пустотой всю дорогу меня печалили мыслями: вот проездила, вроде и победила, а зимой неминуемо и расчёт придёт — голодать, видно, мне придётся. Домой приехала глубокой ночью, усталая, всё же самый трудный учебный рубеж преодолела, да и долгая дорога сказывалась — почти четверо суток добиралась; едва помывшись, кулём на постель сразу свалилась. А утром обомлела, как на улицу вышла: лук в огороде стоял как камыш, картошка красовалась мощными рядами, огурцы из-под укрывного материала выпирали, кабачки плетями на забор примерялись забраться, и морковка своими весёлыми косичками уже начала поигрывать.

И остальные дела дальше тоже хорошо пошли, после той весны я больше ни разу не голодала. Жилищно-коммунальные господа поздней осенью деньги мне возвратили, домой привезли, в акте передачи было записано: «вернуть как ошибочно взятые», но извиняться передо мной они не нашли нужным — наверное, посчитали, что я и своим деньгам должна была без ума обрадоваться. Что с них взять, с бессовестных, привыкли бесчинствовать...

А зимой, в самые лютые пятидесятиградусные морозы, на крыльце пропечатывались сквозь изморозь на полу кошачьи следы; но ничем другим кот себя не проявлял. Потом я заболела, слегла. И где-то примерно на восьмой-девятый день болезни, когда в доме закончился запас дров, а я лежала в холодной кухне на диване, в болезненной дремоте понимая, что сил подняться у меня уже нет, услышала стук. Я долго не могла разобрать, что за штукавина барабанит по стеклу. Рывком вскочила, сама толком не осознавая, как оторвалось от дивана моё больное тело, прильнула к окну и увидела, как бурый кот спускается вниз от окна со снежного наста... И тут до меня дошло, что в суете хозяйственных дел я лишила себя друга... Настоящего друга...

Игорь Герман Премьера

Устроившись в номерах гостиницы, актёры прибывшего на гастроли синегорского драматического театра первым делом отправились по магазинам. Андрей Колпаков, молодой артист, только окончивший театральное училище, столкнулся в гостиничном коридоре со своим более опытным коллегой Александром Херсоновым.

— Куда собрался, старик? — поинтересовался Херсонов.

— Так, пройду по городу, — ответил Колпаков.

— Этот курятник и городом-то назвать стыдно.

— Да в магазин зайду, возьму чего-нибудь на ужин.

— Вот это другой разговор, — оживился Херсонов. — Это правильная постановка вопроса... Кстати, ты чем затариваться думаешь?

— В смысле?

— Ну-у, старик... Обижает.

— Обижать не хочу, — виновато улыбнулся Колпаков. — Просто я не понял, о чём вы говорите.

— Ладно. Не понял — объясним... Извини, я забыл, как тебя зовут...

— Андрей.

— Отлично. Так вот, Андрюша, скажи-ка ты мне как есть на духу: какой у нас сегодня день?

— Вторник.

— Молодец. Правильно. Но я бы хотел, старик, услышать от тебя соображения профессионального характера... Давай, шевели мозгами.

Колпаков растерялся. От него что-то требовалось, но он не мог сообразить, что именно. Нарочито серьёзный взгляд Херсонова отдавал едва заметной чертовщинкой, значение которой для молодого артиста пока оставалось загадкой.

— Ты недели две у нас в театре?

— Почему? С конца августа. Уже месяц.

— Ну!.. Это стаж. Курс молодого бойца почти пройден. Осталось мягко и безболезненно влиться в коллектив. Итак, вопрос для тех, кто в танке: какой сегодня день?

— Не знаю, — покраснел вконец растерявшийся Колпаков.

— Тяжеловата нынче молодёжь, — укоризненно вздохнул Херсонов. — Подсказываю: сегодня — твой день... Вечером у тебя первый спектакль, так?

Колпаков кивнул.

— Это твои первые гастроли. Согласен?

Колпаков согласился.

— И, наконец, это твоя первая вводная роль. Принимаешь?

Колпаков принял это как факт.

— Так что ты, старик, сегодня раскручиваешься на полный комплект: три в одном. Коллектив ждёт твоего ответного хода.

— Какого?

— Есть на театре старая добрая традиция: когда у тебя всё это впервые, ты накрываешь для товарищей полянку.

— Но сейчас осень...

— Поляна — это фигуральное выражение благодарности коллегам за творческое соучастие... — он внимательно взглянул в девственно-чистые глаза молодого артиста и, потеряв терпение, выдал уже открытым текстом: — Короче, старик, с тебя вечером водочка и закусон... Положено. Традиция. Извини.

— А-а... — наконец-то дошло до Колпакова. — Понятно.

— Рад за тебя! — хлопнул его по плечу Херсонов. — Ну так как?

— Так... это... — Колпаков стушевался и не знал, что сказать.

— Коллектив в ожидании. Кто-то верит, что молодёжь поддержит театральные традиции, кто-то сомневается...

— Нет, нет, я всё сделаю.

— Ну вот и отлично. После спектакля здесь, в гостинице, у тебя в номере. Идёт?

— Идёт.

— Приглашаешь?

— Приглашаю.

— Молодец. Свой парень, — Херсонов с достоинством понёс себя дальше по коридору, но через несколько шагов остановился. — Да... тут ещё это... Андрюша... дамы водку не будут. Им винца. Добро?

Колпаков кивнул.

— Но водки больше.

Колпаков кивнул ещё раз.

— Гостиница — мать родная, — подмигнул Херсонов и неторопливо продолжил свой путь.

Колпаков походил по магазинам, определился с покупками и, нагруженный, вернулся в гостиницу. Полученное через Херсонова предложение несколько нарушило финансовые планы начинающего артиста, но он смирился: ничего

не поделаешь — традиция. К тому же здесь он сумел увидеть и положительный момент. Колпаков предполагал, что за разговором старшие товарищи сделают ему грамотные, профессиональные замечания, помогут и подскажут. Первая роль, первые ошибки, первая критика...

На спектакле он, конечно, перенервничал, немножечко переврал текст, но в общем и целом выдержал заданный рисунок мизансцен и правдоподобно передал несложную гамму чувствований своего персонажа. К концу спектакля творческая интуиция дебютанта подсказывала ему, что свой первый экзамен он благополучно сдал.

Коллеги поздравляли и целовали его. Настроение было лёгкое и приподнятое. Переодеваясь в общей гримёрке и стеснительно прячась за ширмой от равнодушных глаз, Колпаков вдруг услышал за спиной громкий, чуть надтреснутый голос Херсонова:

— Мне кажется, что наш молодой друг хочет обратиться к коллективу с программным предложением.

Взъерошенный Колпаков только сейчас вспомнил о доброй театральной традиции и о своей обязанности следовать ей.

— Да, — сказал он. — Я приглашаю сегодня всех к себе в номер. Там будет... — он изобразил руками не очень внятную пантомиму.

— Маленькая дружеская попойка! — сформулировал его мысль Херсонов под дружный смех умиротворённого коллектива.

— Номер-то какой? — поинтересовался кто-то.

— Триста двадцать семь.

— Вам помочь, юноша, накрыть стол? — спросила Ева Свалова, актриса с увядающей, но всё ещё яркой внешностью. — Женские руки требуются?

— Можно, — благодарно откликнулся Колпаков. — А то я один долго буду возиться.

— Ладно, будем возиться вдвоём, — иронично улыбнулась Свалова.

— Эй!.. Эй!.. Ты говорила только про руки!.. — предупредил мужской голос.

Свалова ответила на реплику удачным каламбуром, чем дополнительно повеселила товарищей.

Колпакова эта актриса немного настораживала. В ней была какая-то вульгарность, сначала не очень заметная, но потом малейшими нюансами проскальзывающая в манере разговора, походке, взгляде. Колпаков избегал таких женщин, рядом с ними он чувствовал себя не очень уверенно.

К двадцати двум часам в триста двадцать седьмой комнате собралась большая часть гастрольного братства. К этому времени стол был аппетитно сервирован сообразно кулинарным фантазиям актрисы Евы Сваловой.

Первый тост по традиции был за дебютанта, второй, опять же по традиции, за родителей дебютанта, и, наконец, третий — за любовь, уже без

упоминания какой-либо конкретной личности. Этот третий тост каждый адресовал по своему усмотрению, после чего праздник совершенно утратил свою изначальную целенаправленность.

Колпаков всё ожидал конструктивной товарищеской критики по поводу своей актёрской работы, но, кроме покровительственных замечаний типа: «Нормально, старик!» — так больше ничего и не дождался.

Выпив и поговорив, коллеги постепенно начали расходиться, и ближе к полуночи в триста двадцать седьмой комнате остались только самые стойкие бойцы, эмоционально беседовавшие на околотеатральные темы.

— Ну что, юноша?.. — неопределённо обратилась к Колпакову Ева Свалова, уже изрядно захмелевшая.

Вырез её откровенно растёгнутой кофточки позволял наблюдать чуть перезрелые, но всё ещё соблазнительные округлости, упруго выпирающие из ажурной розовой ткани бюстгальтера. Взгляд Колпакова постоянно косил в этом направлении и, натываясь на понимающие, затуманенные женские глаза, начинал стыдливо бегать по опустошённому столу.

— Что, юноша?.. — так же неопределённо повторила нетрезвая актриса, направив на Колпакова роковой взгляд своих подведённых чёрных глаз.

— Что? — пьяно и глупо улыбнулся Колпаков.

— Сегодня сцена лишила вас вашей творческой невинности. Сегодня вы стали артистом.

— За это надо выпить, — предложил огромный, стотридцатикилограммовый актёр по фамилии Шудрин, доставая из промасленного бумажного пакета большой дряблый пирожок.

— За это уже пили, — заметил Масленников, невысокий щуплый артист средних лет.

— За это, господа, можно пить бесконечно, — философски подвёл Херсонов, точными движениями отмеряя равное количество живительной влаги в стаканы товарищей.

— Я больше не буду, — сказал Колпаков, стараясь придать своему голосу убеждённость и твёрдость.

— Почему? — удивился Херсонов.

— Я не пью.

— Ничего. В театре многие сначала не пьют, а потом, старик, постепенно становятся людьми.

— Не надо, — мотнул головой Колпаков. — Я вообще не пью.

— Ты больной, что ли? — участливо спросила Ева Свалова.

— Наоборот, здоровый.

Херсонов хлопнул его по плечу:

— Старик, ты ещё и остроумен!

Колпаков осоловелыми глазами наблюдал, как в его стакан размеренными толчками булькает кристально-прозрачная жидкость, и смиренно молчал. Он уже не понимал, за что именно выпили, потому что сменилась тема, а вместе с ней и повод.

Закусили безвкусными остывшими пирожками. Херсонов внимательно изучил начинку пирожка и брезгливо положил его на стол.

— За такие пирожки убивать надо. Лично я за смертную казнь.

Масленников задумчиво тарабанил пальцами по столу.

— Толя, хватит долдонить! — оборвала его Свалова. — Действуешь на нервы...

Масленников тоскливо измерил взглядом уровень жидкости в бутылке.

— Хотел завтра пораньше встать. Тут рыбалочка хорошая... Ага — с вами встанешь.

Шудрин откинулся на спинку стула, расслабив своё могучее тело.

— Водка осталась? — спросил он и, закрыв глаза, добавил: — Мне не предлагать.

— Что так? — усмехнулась Свалова. — Сломался?

— Боюсь границу перейти.

— Ну и что? Ты завтра только в вечернем спектакле. За день отлежишься.

— Нет, у меня деньги. Жена дала. На покупки. Могу не выдержать. Потом не разгребусь.

— Отдай на сохранение, — посоветовала Свалова.

— Бесполезно. Заберу.

— Отдай тому, кто не вернёт, пока ты синячишь.

— Такой ещё не родился.

— Ну, мне отдай.

— Тебе я уже отдавал. Хватит.

— Ну, попроси Галку.

— Какую Галку?

— Ожегову.

— Да ну!.. Эту козявку?..

— У этой козявки железный характер. Авдей ведь так и не уложил её. А уж если не лечь под Авдеева!.. Сам понимаешь, это показатель. Он любую за рукав задёргает.

— Спокойно!.. — предупреждая поднял вверх палец Масленников. — Среди нас молодые и неиспорченные.

— Это кто здесь неиспорченный? — пьяно ухмыльнулась Свалова, посмотрев на Колпакова. — Этот неиспорченный знает ещё больше меня.

— Ну, больше тебя в таком вопросе знать проблематично, — вполголоса сказал Херсонов, четвертуя пирожок и складывая кусочки в ряд.

Масленников вдруг спохватился:

— А, кстати, где Авдей?..

— Ну что, не знаешь, где может быть Авдей? — повела выразительными глазами Свалова. — Ищет свежатины.

Херсонов, наконец, растерзал пирожок.

— Морду бы кто-нибудь набил, что ли... — задумчиво произнёс он. — Хотя какое-то разнообразие.

— Ключ от комнаты у меня?.. — Масленников проверил карманы своих брюк. — У меня... Он сказал, что подойдёт сюда... Заблукал где-то по этажам. — Заблудовал, — поправила Свалова.

— Не жизнь, а танец, — сказал Херсонов, прожевав кусочек пирожка. — Почему меня не привлекают сексуальные оргии?.. Ведь это, наверное, так интересно: то-сё, туда-сюда... Не понимаю сам себя.

Колпаков захмелел окончательно. Он со стороны смотрел какое-то скучное кино, в котором люди пьют, едят, разговаривают. Он потерял способность испытывать эмоции и совершенно отстранённо воспринимал текущую информацию, даже если она время от времени касалась его самого. Слова пробивались в уши словно через вату, не затрагивая помутившегося разума и задремавшей души. Он не мог понять, зачем всё это происходит, для чего всё это говорится, откуда пришли эти люди и что им от него надо. Случайно оторвав от пола рассеянный взгляд, Колпаков вдруг обнаружил стоявшего посреди комнаты высокого красивого актёра, фамилию которого сейчас даже и не попытался вспомнить. — О!.. Авдей нарисовался! — заплетающимся языком проговорил Масленников. — Ты за ключом, душа моя?

— Сиди спокойно и пьянствуй дальше, — ответил Авдеев.

— Водочку будешь?

— Что за глупые вопросы?

Нетвёрдо удерживая бутылку, Масленников попал тоненькой струйкой в стакан и экономно нацедил коллеге бесовского напитка.

— Как украл, — сказал Авдеев.

— Рука устала...

— Наливай всем, раз взялся.

Шудрин не услышал последней фразы Авдеева или просто позабыл о своём решении. Масленников продолжил бегать в водочным ручейком по разрозненно стоявшей таре на столе.

— За что пьём? — спросил Авдеев.

— У молодого сегодня полный дебют, — подсказал Шудрин.

— У меня дебют, — пьяненько подтвердил Колпаков.

— Ну что же, за полный дебют! — Авдеев взял стакан. — Но прежде чем выпить, юноша, я хотел бы вам напомнить известную истину: есть две главные вещи в жизни интеллигентного человека — звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас... Комментарии нужны?

— Нет, — решительно ответил Колпаков.

— Красиво сказал, бродяга... — Масленников после недолгих колебаний тоже взял свой стакан. — Сам додумался?

— Просто повторил, — ответил Авдеев. — За умным человеком. Но повторил талантливо. Ну... за звёздное небо и нравственный закон!..

Колпаков тоже хотел выпить, но, клацнув зубами о гранёное стекло, передумал и поставил стакан на место. Ему было нехорошо. Закусили остатками салатов, киснувших на тарелках.

— Ну, рассказывай... — громко обратилась Ева Свалова к вновь присоединившемуся товарищу. — Нашёл гараж для своего самоката?

Авдеев посмотрел на неё и промолчал.

— Или опять понадобится дежурная женщина?..

— Не беспокойся.

— А чего мне беспокоиться? У меня не зудит.

Шудрин прощупал оценивающим взглядом пустые бутылки.

— Водка осталась?.. Мне не предлагать!

— Мне тоже, — отказался Масленников. — У меня утром рыбалка: ёршики, ельчики.

Авдеев насмешливо посмотрел на него.

— Ты бы хоть раз поймал что-то стоящее!

— Например?.. — не понял Масленников.

— Например, что-нибудь венерическое. Вот это мужской улов. А то все ельчики да ёршики — стыдно слушать.

— Нет... мне на природе... с удочкой... отвлечься от всего... Чудо.

— Можно у вас позаимствовать кусочек?.. — Шудрин протянул руку к конфигурации, сложенной Херсоновым из расчленённого пирожка. — Интересно, распределение ролей в театре уже повесили или нет?

— Нам какое дело? — поджала губы Свалова. — Коекому из нас ждать всё равно нечего.

— Сама виновата, — Авдеев собрал вилкой остатки салата по краям тарелки. — Болтаешь много.

Актриса вонзила в него вспыхнувший возмущённый взгляд.

— А мне нужно было молчать?!..

— Это никогда не помешает. И даже сейчас.

— Профессиональную актрису заменяют в спектакле парикмахершей только потому, что она переспала с главным режиссёром! Это нормально?!..

— Ева, не шуми, — лениво попросил Шудрин.

— Меня так ещё никогда не оскорбляли!.. Отняли роль без всяких оснований, чтобы отдать этой шлёндре, которой, видите ли, захотелось стать артисткой!.. Она даже причёски делать не умеет!.. Артистка задолбанная!

— Ева...

— И коллектив — ни слова!.. Теперь он каждого из вас будет опускать настолько, насколько захочет, и вы все заткнётесь и будете так же молчать!

— Ева, хватит орать, — скривился Авдеев.

— Я ещё не начинала! — рявкнула на него Свалова. — Правду слушать всегда неприятно, я понимаю... — она помолчала, набирая обороты. — Но как он оборзел в последнее время!.. Он и раньше-то особой порядочностью не отличался, а теперь и совсем превратился в свинью!

— Ева, здесь мальчик, не забывай, — мягко попытался остановить её Масленников.

— И хорошо, что мальчик!.. Очень хорошо!.. Пусть и мальчик знает, что наш главный режиссёр — свинья!

— Поехали, поехали за спелыми орехами... — дурчился кусочками пирожка Херсонов.

— Да! — не унималась Свалова. — Самая настоящая свинья!.. И надо быть в курсе этого, чтобы сразу же знать, как выстраивать с ним свои отношения. Понятно, молодой человек?.. Конечно, вы не женщина, и вам не надо зарабатывать у него свой кусок традиционным для девочек способом... хотя — кто его знает?.. Вдруг откроется у него новая чакра... потянет ещё и на мальчиков... Я не удивлюсь!

— Ева, ты злая, — закрыв глаза, довольно произнёс Шудрин.

— Это — театр!

— Это плохой театр.

— Я очень не уверена, что существует театр хороший!.. Вы, юноша, сюда случайно не за искусством заглянули?.. — обратилась Ева к рассеянному улыбавшемуся Колпакову. — В таком случае вы дурак! Это я вам сразу, чтобы не было никаких иллюзий. Театр — грязь!.. Посмотрите на нас... Посмотрите, посмотрите... Мы тоже когда-то мечтали о большом и чистом, и только после того, как нас натыкали мордой, — и не один раз, заметьте! — только тогда мы начали понимать, чего стоит всё это искусство!..

Херсонов с силой ударил кулаком по столу. Все замолкли и с удивлением посмотрели на него.

— Свободу сексуальному большинству!.. — продекламировал Херсонов и наигранно смутился. — Извините, накипело.

— Шут гороховый... — шепнула Свалова.

Колпакову только казалось, что он пьян и ничего не понимает. На самом деле он прекрасно понимал всё. Происходящее неприятно поражало его. Он удивлялся тому, что в таком состоянии ещё способен чему-то удивляться. Оглушённое сознание, заблудившееся во мраке алкоголя, из последних сил противилось тому, что в этот вечер ему пришлось услышать. Было невыносимо больно наблюдать, как наотмашь хлестали по щекам хрупкий и беззащитный театр его юношеских фантазий. И как жестоко категоричен был в своей правоте какой-то другой, чужой театр, который сидел сейчас в этой комнате, дымил сигаретами, бесстыдно срывая свои и чужие одежды.

Колпакову хотелось погасить последние проблески сознания. Он закрыл глаза и вскоре почувствовал, как его укачивают набегающие волны тяжёлого забытья.

Только один раз Колпакова вернул в пьяную круговерть действительности резкий голос Евы Сваловой, возмущённо кричавшей:

— Здесь есть комната, где можно принять душ!..

И следом, издали, ёрничающий козлетон Херсонова:

— А здесь есть комната, где можно повеситься?..

Потом некие силы переместили Колпакова в другой мир, долго кружили его в пустоте, бросали

вверх и вниз, бесконечное количество раз повторяли какую-то дурацкую фразу, заставили вспомнить давно забытую мелодию, и она, эта мелодия, до того заездила Колпакова, что его стало тошнить от неё. Эта тошнота подступала всё ближе и ближе; Колпаков пытался зацепиться за вращающееся пространство, но его пальцы никак не могли найти точку опоры; кругом были чьи-то лица, какие-то предметы, сменяющие друг друга обрывки нелепых диалогов и ситуаций...

Наконец, резкий внутренний толчок разбудил его. Какое-то время Колпаков не мог понять, где находится. Начинающийся рассвет помог ему сориентироваться. Он поднялся, сел на кровати и осмотрелся вокруг. Было около семи утра. На второй кровати крепко спал одетый сосед по комнате. Больше никого не было. Когда разошлись гости, Колпаков не имел ни малейшего представления. Неубранный стол источал зловоние ночного банкета. Комната была наполнена адской смесью запахов алкогольного перегара и жжёного табака.

Сидевшему Колпакову стало совсем скверно. Мутная волна клокотала уже у самого выхода. Он в изнеможении упал на подушку, надеясь, что тошнота отступит. На какое-то время ему стало чуть лучше, но затем тело пробила горячая испарина и рот начала стремительно переполнять слюна. Он едва успел соскочить с кровати, добежать до ванной и обнять унитаз.

Больше часа несчастный Колпаков просидел в темноте на кафельном полу. За это время его вывернуло три раза. В какой-то момент он был уверен, что его организм не выдержит адской перегрузки и забастовавшее сердце прекратит работу. Ему казалось, что душа сейчас держится в его теле на тонкой трепещущей ниточке, которая вот-вот оборвётся. Он проклинал себя за то, что впервые в жизни напился как собака, клял товарищей, всеми силами способствовавших этому, и ненавидел театр за его дикие алкогольные традиции...

Его понемногу отпускало. Мотор перестал надрывно стучать, а тело обливаться то горячим, то холодным потом. Колпаков поднялся, дрожа от слабости, и включил свет. Долго умывался, полоскал рот и чистил зубы. Хотел принять душ, но не было горячей воды. Вернулся в комнату, лег на кровать и лежал без движения ещё какое-то время. Приблизиться к столу у него не было ни сил, ни желания.

Вдруг в дверь бесцеремонно постучали. Колпаков недовольно простонал и бережно поставил себя на ноги. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь видел его сейчас в таком состоянии. Было неприятно и стыдно.

Открыв дверь, которая, собственно, и не была заперта, он нос к носу столкнулся с помятым, пасмурным Херсоновым. Одетый в кожаную куртку, тот молча буровил Колпакова насмешливым взглядом.

— Здорово, пьяница! — криво усмехнулся Херсонов.

— Александр Павлович?.. — удивился Колпаков. — Для тебя просто Саша. Это во-первых. Во-вторых... — во взгляде Херсонова запрыгала знакомая чертовщинка. — Старик... Ты меня вчера укатал вусмерть. Я сейчас никакой... Соображаешь?.. Давай реабилитируйся.

— Не понял...

Колпаков действительно был не в силах даже пошевелить опухшими ноющими извилинами.

— Давай опохмеляй, — сказал Херсонов. — Сам-то как себя чувствуешь?

— Нормально, — соврал Колпаков.

— Вижу.

— Заходите... — Колпаков посторонился. — Там, наверное, ещё осталось в бутылках.

— Мальчик, — назидательно произнёс Херсонов, — неужели ты в самом деле думаешь, что мы бы там что-то оставили?.. Это ты о нас такого мнения? Тогда мне за себя стыдно.

— А что делать? — растерялся Колпаков.

— Значит, так... Тут неподалёку есть одна мерзкая забегаловка. Мне сто пятьдесят — и я человек. Ты угощаешь. Деньги есть?

— Ну... — помялся Колпаков. — Немного.

— Одевайся быстрее, а то я загнусь. Будешь хоронить за свой счёт. А это дороже. Всё, жду на улице.

И Херсонов зашагал по коридору к лестнице...

Кафе «Минутка» находилось рядом с гостиницей и начинало свою работу с девяти утра. Несмотря на то, что сейчас было всего пять минут десятого, в кафе уже были посетители. Они сосредоточенно ели и пили.

— Минуткой, конечно, мы здесь не обойдёмся, — говорил Херсонов, усаживаясь за столик. — Нам нужно на поправку здоровья как минимум полчаса.

Колпаков принял поданное официантом меню.

— Информацию о граммах я тебе довёл, закусон значения не имеет, — подсказал Херсонов.

— Я не буду.

— А тебе никто и не предлагает... Сказка в двенадцать?

— В двенадцать.

— Играть сможешь?

— Постараюсь.

— Молодец.

Херсонов помолчал и в этой паузе тяжело и безнадежно вздохнул.

— Как всё мерзко, — сказал он. — Как всё мерзко...

Официант принёс заказ и поставил перед Херсоновым графинчик водки, рюмку и какое-то крошево на тарелке. Херсонов вилкой потыкал закуску:

— Что за дифиллоботриоз?..

— Салат, — Колпакова передёрнуло от одного вида алкоголя и пищи. — Название не помню.

— Ладно. Быстрее сдохну.

Херсонов наполнил рюмку, драматично нахмурился, сказал: «Какая гадость!» — выпил и закусил.

Скептически оценив немногочисленных посетителей, сгорбившихся над своими тарелками, он, дожёвывая, бросил:

— Ну, мы-то понятно чего тут торчим. А эти?..

Локти Колпакова оперлись о стол, и ладони мягко приняли тяжёлую большую голову.

— Хреново?

Колпаков вместо ответа согласно моргнул припухшими веками.

— Это хорошо. Впредь будешь понимать товарищей. Собственный опыт, старик, незаменимая вещь.

Херсонов налил вторую рюмку. Опрокинув её уже без вздыханий и приговариваний, он активно заработал вилкой.

— Я вот всё хочу у тебя спросить... — Херсонов вытер рот салфеткой. — Какого... извините... Зачем ты пришёл в театр?.. Только честно.

Колпаков поднял на него удивлённые глаза. Он хотел рассказать этому человеку, как его настигло сладкое волнующее желание стать артистом, как он по настоящему болел этой всепоглощающей идеей, как у него приятно замирало в груди, когда он слышал слово «актёр», но потом отчётливо вспомнил вчерашний вечер, вчерашние лица, вчерашние разговоры и ответил очень коротко:

— Не знаю.

— Вот то-то и оно... — Херсонов без труда прочитал в глазах начинающего артиста весь тайный невысказанный текст, всё до последнего слова. — То-то и оно, старик... Я ведь тоже мечтал с юности о сцене... — он помолчал, и его взгляд, всегда такой брезгливый и холодный, вдруг необыкновенно потеплел. — Однажды, очень давно, я смотрел фильм про Красную Шапочку. Ну, смотрел и смотрел — все дети смотрят... Так нет же, какая-то злобная бестия ткнула меня пальцем в бок и сказала: «Ты, Сашенька, — мой, потому что ты захочешь стать артистом. Ты попал, Сашенька». И Сашенька действительно попал... Я захотел так же, как и эта девочка, сниматься в кино, захотел известности, славы, денег... ну, денег не, конечно, захотел уже позже... А тогда я просто и бесповоротно решил стать несчастным человеком... Ненавижу.

— Кого? — спросил насторожённо слушающий Колпаков

— Красную Шапочку... Старик, ты не представляешь, как унижительно быть хорошим артистом, не имея ни славы, ни денег; ездить по таким заповедям, жить в таких гостиницах, ждать у моря погоды, зная, что синоптик никогда не выдаст тебе твоего прогноза. Никогда!.. — Херсонов обречённо покачал головой. — Беги отсюда... Мой тебе совет. Беги в другой город, в другую страну,

в другую галактику. Беги, пока не поздно, пока тебя не измордовало это чудовище, называемое театром, и не превратило в одного из нас, — он налил третью рюмку. — Третий тост — за любовь... За любовь к Родине не буду — пафосно; за любовь к искусству тем более — я слишком хорошо знаю, что такое искусство; за любовь к женщине... Как считаешь?.. К женщине?.. А?..

— Святое дело, — брякнул Колпаков, потому что из вежливости ему надо было что-то брякнуть.

— Святое дело?.. — лицо Херсонова скривила злая усмешка. — Старик, мне почти сорок лет. Святого в этом деле я так ничего и не нашёл. На сегодняшний день я любую женщину на беляш променяю... Хочешь стихотворение?.. — он вдруг неожиданно сменил тему.

Придавленный и притихший Колпаков пожал плечами. Херсонов в одно движение опрокинул рюмку и налил из графинчика остатки. Затем прищурил глаза, ненадолго погрузившись в творческое раздумье.

— Очень правильное стихотворение... Сам сочинил... Про себя... Кто ещё про меня напишет?.. Слушай.

Колпаков с готовностью заморгал глазами.

— Посвящается Александру Херсонову!..

Жизнь чушкина,
Работа какашкина,
Вот она — судьба Сашкина!..

Ну как?

— Нормально, — кивнул Колпаков.

— Хочешь, я и про тебя сочиню?

Не дожидаясь согласия собеседника, которому было утомительно кивать большой головой, Херсонов выдал тут же, не задумываясь:

— Посвящается Андрею Колпакову!..

Работа какашкина,
Жизнь чушкина,
Вот она — судьба Андрюшкина!..

Что скажешь?

Колпаков промолчал.

— Правильно. Сейчас не скажешь ничего. Скажешь лет через двадцать. Только потом уже будет поздно, старик. Окажешься у разбитого корыта. Ни карьеры, ни денег, ни жилья, ни семьи... одна только Ева Свалова... Кстати, как она тебе?

— В каком смысле?

— В мужском.

— Ну... не знаю.

— А куда ты денешься.

Херсонов выпил последнюю рюмку, тщательно подобрал остатки салата.

— Да-а... — мрачно выдохнул он. — Один из моих однокурсников живёт в Москве, снимается в кино, его рожа уже примелькалась на экране. Второй — где-то в Питере, в хорошем театре. А я?..

Я?.. Ладно, я благодарен им хотя бы за то, что у меня есть кого ненавидеть...

Словно поздний майский заморозок прошёлся по белому цветущему саду. Молодого артиста Колпакова мелко трясло — то ли со вчерашнего перепоя, то ли от сегодняшней болезненной инъекции, немилосердно введённой ему старшим товарищем по ремеслу.

Херсонов взглянул на часы и, понимая, что нужно идти, завершил свою философию бессильным мучительным стоном.

— Почему же я не стал маньяком?!.. Ходил бы сейчас ночами по городу со струной от контрабаса, душил бы курящих, пьяных женщин. Общество было бы мне благодарно за это. Хоть какую-то пользу приносил бы людям. Обо мне писали бы в газетах, говорили по телевизору. Я прославил бы себя и свой город... Потом бы написал книгу воспоминаний... Получил бы за неё литературную премию... А за каким хреном я припёрся в эту ужасную профессию? Зачем же я захлебнулся в этом смрадном болоте под названием «театр»?!

Он звонко бросил вилку в пустую тарелку, поднялся и пошёл к выходу. Расплатившись, Колпаков поплёлся следом. У самых дверей гостиницы он, наконец, догнал товарища.

— Сказка в двенадцать? — ещё раз спросил Херсонов.

— В двенадцать, — ещё раз подтвердил Колпаков.

— Лицо разбуди.

— Постараюсь.

— Как думаешь, можно состояться в творчестве с фамилией Херсонов?

Колпаков посмотрел на него тусклыми глазами и промолчал.

— Я тоже так считаю...

Они разошлись по своим комнатам.

Колпаков прибрал на столе, вскипятил кружку воды, сделал крепкий кофе и жадно выглотал его. Подумав, решил походить по улицам города, чтобы свежим воздухом прочистить больной, загаженный организм. Находиться в комнате не было никакой возможности: Колпакова тошнило от фантомно присутствующего здесь алкогольного запаха. Был начало одиннадцатого. Одетый сосед по комнате спал всё в той же мертвецки застывшей позе.

Больше часа бродил Колпаков по осенним, серым, одинаково невыразительным улицам маленького городка. У него было полное ощущение, что он столкнулся с чем-то непробиваемым и тяжёлым, которое когда-нибудь, при других обстоятельствах, непременно раздавит и его так же, как раздавило многих его товарищей. Колпакову казалось, что он, как в ночном пьяном сне, продолжает кружить в пустом равнодушном пространстве, где не за что зацепиться и где невозможно найти для себя никакой опоры.

Он напряжённо думал, но не мог придти ни к какому выводу; ему нужна была помощь, но он не знал, к кому обратиться за ней и в чём, собственно, эта помощь должна была заключаться. Ему хотелось бросить всё, прижаться к матери и спрятаться в её тёплых спасительных объятиях.

Быть может, Андрею Колпакову, совсем ещё молодому человеку, сейчас впервые в жизни довелось испытать на себе до боли пронзительное состояние безнадежности и тоски.

Совершенно подавленный, он пришёл в Дом культуры, где через сорок пять минут должен был начаться утренний спектакль для детей.

В гримёрной комнате перед зеркалом сидел Виталий Тяврнин, актёр лет сорока, уже одетый в театральный костюм. Колпаков вспомнил, что не видел этого человека на вчерашнем вечернем фуршете.

— Доброе утро, — вежливо поздоровался молодой артист.

— А оно для тебя доброе?

— Нет... не очень, — честно ответил Колпаков.

— Сильно наклюкался вчера?

— Сильно.

— Зачем?

— Не знаю.

— Рановато начинаешь.

— Да я не хотел, — признался Колпаков. — Но ведь традиция...

— Какая традиция?.. — Тяврнин открыл коробочку с гримом и привычными движениями пальцев начал наносить тон на лицо.

— Ну... ставить.

— Что ставить?

— Ну... угощать товарищей.

— За что угощать товарищей?

— Ну... не знаю.

— А если не знаешь, зачем угощаешь?

— Традиция... — вконец запутался Колпаков, вернувшись к началу замкнутого круга.

— Это кто тебе насвистел про традицию?

— Александр Павлович.

— Херсонов?

— Ага...

— Да, он у нас ведущий специалист по традициям...

Вот объясни мне, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю... Артист ввёлся в спектакль на роль другого, выбывшего из этого спектакля артиста. Он сделал свою работу, так же как и остальные товарищи сделали свою. При чём здесь всеобщий праздник с водкой и закуской? Чем вызвано такое коллективное ликование, как ты думаешь?

— Я не знаю.

— Вот и я не знаю... Ты одевайся давай, у тебя уже не так много времени. Парик твой во второй гримёрке. Парикмахер тоже там.

Колпаков взял свой костюм. Ему было неловко оправдываться перед Тяврнинным, и от этого он

чувствовал себя ещё хуже. Старший товарищ, видимо, решил заклевать его окончательно:

— Как ты сейчас собираешься играть?

— Как-нибудь... — пытался отделаться от него Колпаков.

— То есть ты считаешь нормальным выйти на сцену к детям и сыграть как-нибудь?

Колпаков не знал, куда девать глаза, руки и ноги.

— Нет, конечно... Я понимаю...

— Понимаешь?... Андрей, да?... Я правильно назвал тебя — Андрей?..

— Да, Андрей.

— Так вот, Андрей, понимать — мало. Надо ещё находить в себе силы делать. Или не делать того, чего не нужно...

Колпаков виновато молчал. Он торопливо облачался в костюм, надеясь за суетливыми движениями спрятать своё смущение и свой стыд перед этим человеком.

— Теперь о традициях... — серьёзное лицо гримирующегося Тявринуна постепенно превращалось в озорную маску сказочного персонажа. — Запомни, Андрюша, раз и навсегда: в театре существует только одна традиция — хорошо работать. Всё остальное — повод для пьянки. Ты пока ещё не знаешь, сколько можно наскрести таких поводов для коллективных праздников. Есть традиция отмечать открытие и закрытие сезона, Новый год и старый Новый год, День театра, все премьеры, которых иногда набирается до десятка в сезон, начало гастролей и конец гастролей, вводы и выводы из спектакля, чьи-то юбилеи, круглые и полукруглые даты, бенефисы и творческие вечера. Есть ещё традиция выпить с радости и выпить с горя. Замечательная в своей простоте традиция просто поддержать компанию... И если ты будешь честно следовать всем этим традициям, то через десять лет работы в театре превратишься в законченного алкоголика. Праздников в искусстве очень много, только сохрани тебя Боже перепутать профессию с праздником. Это совершенно разные вещи, друг к другу не имеющие никакого отношения. Ты имеешь право ни разу в жизни не появиться на увеселительных мероприятиях, и никто тебя за это не осудит. Критерий в театре — твоё соответствие профессии и отношение к ней. Понимаешь?..

Колпаков внимательно слушал. То, что говорил этот человек, было совсем непохожим на то, что он слышал вчера вечером и сегодня утром. Эти слова доносились до него как будто из другого измерения. Колпакову было трудно определить, где больше настоящей правды о том мире, в который он теперь пришёл, но помочь ему в таком вопросе не мог никто. Это была самостоятельная работа его души.

Колпакову захотелось задать Тявринуна один вопрос. Этот вопрос нетерпеливо вертелся у него

на языке и, вероятно, был не совсем тактичным по отношению к малознакомому человеку, но Колпаков сейчас решил, что всё-таки имеет право на него.

— Виталий Дмитриевич... Скажите, вы жалеете о том, что стали актёром?

Кисточка едва заметно дрогнула в руке Тявринуна. Он аккуратно положил её на столик и повернулся к молодому артисту. На него в упор смотрели наивные, совсем ещё мальчишеские глаза Колпакова.

— Та-ак... — Тявринун грустно усмехнулся, увидев в этих глазах боль безжалостно посечённой души.

Они некоторое время молча смотрели друг на друга. Колпаков не отводил взгляда и упрямо ждал ответа.

— Знаешь, Андрюша... Это довольно трудно объяснить, но я попробую. А ты постарайся меня понять... Тот театр, который ты наблюдал вчера, он действительно существует. И, наверное, имеет право на существование. Но есть ещё и другой театр. В этом другом театре умеют переживать чужие удачи, хоть это на самом деле очень нелегко; не обвиняют и не проклинают искусство; не считают трагической ошибкой выбор своей профессии; не ищут денег, потому что в театре их найти невозможно; умеют ждать, когда тебя годами обходят роли, не позволяя себе при этом спиться или возненавидеть весь мир. Вот такому театру, Андрюша, я решил служить много лет назад и насколько не жалею о своём выборе сегодня. Такой театр находится и в тебе. Поищи его. Театр — это то, во что каждый из нас превращает свой Божий дар. Конечно, очень трудно противостоять тому театру, с которым ты столкнулся вчера. Трудно, но можно. Старайся меньше слушать и следовать советам людей, заражённых бациллой скепсиса и цинизма. Если человек ошибся профессией или просто разочаровался в ней, профессия здесь ни при чём, это только беда этого человека. Ты имеешь полное право не разделять его мнения... Скажу тебе правду: меня очень трудно сбить со своих позиций, но и я, наслушавшись подобных разговоров, потом долго не могу прийти в себя. Мне нужно какое-то время, чтобы восстановить силы и зарубцевать язвы, которые разъел в моей душе чужой чёрный скептицизм. Творческая душа очень ранима. Оберегай её от влияния разочарованных людей. Помочь им ты уже ничем не сможешь: творчество — это плавание в одиночку... постарайся помочь хотя бы самому себе, — Тявринун помолчал, подумал и опять взялся за кисточку. — Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что очень скоро никому не буду нужен. В этом же театре меня забудут на следующий же день после того, как я уйду... Ну и что? Так в любой профессии. Ты востребован до тех пор, пока с тебя есть что взять. А потом — уступи место. Это закон

жизни. Человек должен служить какому-то делу. Я выбрал своё и не жду за это от судьбы наград и благодарностей. Напротив, я сам благодарен судьбе за то, что имею счастливую возможность служить своему делу... Подумай. Разберись в себе. Может быть, это и твой путь,— он посмотрел на часы.— Ты ещё не загримировался?.. Почему?

— Вас слушал.

— Меньше слушай кого бы то ни было, больше думай своей головой... Давай рисуй боевую раскраску— и бегом на сцену!

Колпаков открыл волшебную коробочку с гримом.

— Вчера, Андрюша, был только вечерний спектакль. Сегодня, я так понимаю, у тебя премьера сказки?

— Премьера,— подтвердил Колпаков.

— Ну, брат, в таком случае с тебя самовар и закуска.

Колпаков растерянно замер. Тяврнин долго и внимательно смотрел в перепуганные глаза молодого актера, потом не выдержал и улыбнулся:

— Я пошутил...

Оставшееся время до спектакля Колпаков старательно повторял текст. Молодой артист торопился: сейчас прозвонит третий звонок. А ведь это не просто начало. Это— приглашение в мир искусства...

ДиН пародия

Евгений Минин

Каша из классики

Буридановское

*Когда чувствуешь Бога в мечети ногами—
Благодать принимая, вступаешь в колхоз.*

Иван Волков

Я в колхозной мечети, где сила святая,
Как вошёл— сразу пятками к полу прирос,
Сразу понял, душой благодать принимая,
Что вступить непременно обязан в колхоз.
В деревенской мечети я думал о Боге,
И мерещилось мне, что поможет Аллах...
А потом я в колхозной присел синагоге,
Там и понял, друзья, что нет правды в ногах.

Иглотерапевтное

*Иглой пера бумагу исколов,
нащупываю: где ты, vita nova?
И не хватает воздуха и слов.*

Георгий Чернобровкин

Мне не хватает воздуха и слов,
поскольку нет другого алфавита.
В печали, что стихов убог улов,
нащупываю: где ты, aqua vitae?
Где способ самому себе помочь?
Иглой пера пронзая до отказа,
пытаю я бумагу день и ночь,
и всё равно— не колетса, зараза!

Лукоуморное

*Опять насочинял какой-то гой,
орудуя пером, как дамской шпилькой:
Улукоморья дуб не в зуб ногой,
Русалка на ветвях пропахла килькой!*

*Но что-то лепо бяшет Черномор!
И Змей Горыныч ботает по фене!*

Алексей Остудин

Насочинял муру какой-то гой,
Что даже сказка обернулась пылью,
Но я— не гой, но я— совсем другой,
Единственный борец с любой дебилюю.

Достаточно кормить всех лабудой,
Пером я на бумаге строчки вышью,
Что дуб у лукоморья под балдой,
Русалка пахнет вся гефилтой фишью,

А кот— люля-кебабою ягой!
Из классики сварю на зависть кашу!
Читатель, если ты ни в дуб ногой,
То лепо и не то тебе набяшу!

Иса Айтукаев

Искра

Мама

Мама моя была глубоко верующим человеком. И всё у неё в жизни делилось на два понятия житейских устоев: то, что угодно Богу, и то, что ведомо дьяволом. Иногда было очень тяжело что-то ей объяснить или убедить в чём-то. И всё то, до чего она не могла прийти своим умом, она категорически отрицала и относила к проискам нечистой силы.

Помню, в детстве я довольно часто мучил её вопросами о происхождении вещей. У неё на всё был один ответ: это создал Бог. И я, уяснив, что от травинки, растущей из земли, до солнца на небе, всё — божественного происхождения, задал маме вопрос, который меня волновал мучительнее всего:

— Мама, а кто создал Бога?

— Астапураллах! (Прости, Господи!) — воскликнула мама испуганно. — Бога никто не создал. Он всех создал. Только тебя вот создал шайтан.

После этого всякий раз, когда я ей что-то рассказывал о достижениях науки и техники, она старалась отослать меня от себя и твердила:

— Отстань от меня со своими шайтанскими проделками.

Но, на удивление, когда у нас в селе в начале семидесятых годов появилось телевидение, мама очень увлеклась им. Часто вечерами она ходила к дяде, который одним из первых среди наших родственников приобрёл телевизор. Этот шайтан-ящик, как она его называла, так её захватил, что она во что бы то ни стало решила его купить. Конечно, это было ей не по силам, вернее — не по средствам: целый двор — детей орава. Денег еле-еле хватало на еду и одежду, а телевизор стоил очень дорого. Но через пару лет мама где то, как-то выкроила нужную сумму, и наконец в нашем доме засветился голубой экран.

До смешного удивила меня мама в тот же вечер. Оказывается, она до сих пор не верила, что по телевизору говорят и выступают настоящие, живые люди.

— Это всё шайтаны. Как человек может поместиться в такой маленький ящик?

Я, конечно, как всегда, подшутил над ней:

— Мама. А как ты так не боишься смотреть на шайтанов каждый день?

— Смотрю и читаю молитвы, отгоняющие нечистую силу, — твёрдо ответила она.

— Ох, мама, будь осторожнее со своими молитвами. Как бы от них эти шайтаны не убежали и телевизор не перестал показывать, — посмеялся я.

Через месяц в село приехала группа республиканского телевидения для съёмок сюжета о школьном отряде «Зелёный патруль» — лучшем в нашей республике по охране флоры и фауны. Командиром отряда был я. Целый день мы ездили с телевизионщиками по окрестностям села, где они снимали нас в процессе деятельности, и, объяснив, что доснимать необходимо в студии и нам завтра нужно приехать в Махачкалу, вечером уехали.

Я обо всём этом рассказал маме, но она не поверила ни одному моему слову.

— Сказки мне тут заливаешь. Сказал бы честно, что с друзьями на море собрались, — отмахнулась она.

В некоторой степени мама была права. Я с ребятами, «телегероями», действительно сговорился обязательно сходить на море. И когда приехали в Махачкалу, мы очень обрадовались, увидев, что телестудия находится чуть ли не в двух шагах от моря.

В студии нас усадили за полукруглый стол, и в течение двадцати минут мы рассказывали о себе и о своей работе. А после съёмок, так как у нас до отъезда оставалась уйма времени, ринулись на пляж и, накупавшись вдоволь, отправились в обратный путь.

Когда я вошёл в дом, мама сидела у телевизора и не обратила на меня внимания. Я с ней заговорил — она удивилась.

— Ты же обещал, что тебя будут показывать по телевизору, — с обидой сказала она.

— Завтра, мама. Завтра вечером покажут, — начал я успокаивать её, поняв, что она целый день провела у экрана, боясь пропустить передачу с нашим участием.

— Опять ты всё сочиняешь. Опять твои шайтанские штучки, — расстроилась она. — Как они завтра покажут тебя, если ты будешь здесь?

— Завтра увидишь как, — засмеялся я.

На следующий вечер в оговоренное время я заметил, что мама возится на кухне и не собирается

зайти в комнату, где стоял телевизор. Когда все расселись у телевизора и началась передача, а братья и сёстры закричали от радости, увидев меня на экране, мама осторожно заглянула в комнату. — Мама, мама, скорее, смотри, наши ребята, — в голос позвали они.

Мама села возле меня и осторожно взяла за руку. Я снова хотел подшутить над ней, но, заметив, как она волнуется, передумал и нежно обнял её. — Не понимаю, как ты туда залез, — вздохнула мама после передачи и пошла на кухню.

Поздно вечером, когда я пришёл домой от приятеля, мама одиноко сидела на кухне, о чём-то задумавшись.

— Что-то случилось, мам? — поинтересовался я.

— А нельзя повторить эту передачу с тобой по телевизору? — серьёзно спросила она.

— Нет, мама. Вряд ли, — удивился я. — А зачем? Ты же вчера всё посмотрела.

— Ведь повторяют же фильмы... И эту бы передачу повторили, — умоляюще посмотрела на меня мама.

— Нет, мам, передачи не повторяют, это не кино...

— Жаль, — вздохнула она тяжело. — Как мне доказать своим подругам, что по телевизору показывают настоящих людей, что там не шайтаны?..

— Эх, мама, мама...

Землетрясение

Землетрясение на Кавказе не редкость, люди давно привыкли к этому явлению и относятся к нему более спокойно и обыденно, чем в Красноярске, где и тряска в два балла воспринимается как что-то неординарное. И я, ни разу не ощутивший этих лёгких толчков, относился к этому в Сибири с хладнокровной усмешкой, вспоминая, какие происходили землетрясения в детстве — в Чечне и Дагестане. Бывало, мы по нескольку суток спали на улице, чтобы уберечься и не оказаться ночью погребёнными под стенами домов. Если честно, в нашем равнинном селе значительных разрушений и не бывало, но, как говорится, бережёного Бог бережёт, и матери укладывали детей на ночлег на широких деревянных топчанах под открытым небом. Конечно, нам и самим было страшно спать в домах, и мы с удовольствием засыпали, считая звёзды, которые на южном небе так ярки и близки — только руку протяни. Но с годами страх притупился, и в памяти остались смутные воспоминания тревоги и опасности.

Обычно на родину я летаю в октябре, как бы продлевая себе бархатный сезон. В это время в Сибири холодно, а на Кавказе днём бывает и за тридцать градусов тепла. А пару лет назад загорелось мне поехать в родные края в начале июня. Более двух десятков лет не ел черешню прямо с ветки, а в последние годы часто снилось, как в детстве взбирался на самое большое дерево в родительском саду с горячим, свежееиспечённым

лавашем и досыта натрескивался чёрных, с солнечным отливом, крупных ягод.

До села я доехал к полудню. После радостной встречи и бурных приветствий я только заикнулся про свою многолетнюю мечту, как племянники сбегали за дом, где у брата Ильмана росло громадное дерево. Они нарвали мне небольшое ведрышко черешни, чему я не очень-то был и рад, так как поневоле оказался лишён «момента истины». Но я не стал показывать своё неудовольствие и, поблагодарив за услугу, сел за столик под густой кроной грецкого ореха. Он растёт у нас прямо посреди двора больше шестидесяти лет. И только я потянулся за сочной ягодкой, как во двор вошли мой старший брат Исраил и кузен из Волгограда, которого я не видел с юных лет.

По предложению Исраила встречу решили отметить в каком-нибудь кафе. А кузен вспомнил, что на окраине Хасавюрта есть отличное местечко с интересным названием «Вдали от жён», где любое блюдо — пальчики оближешь. Кафе действительно оказалось очень уютное и красивое. Почти в лесу, среди массивных деревьев, стояли маленькие домики-кабинки, напоминающие лесные избушки.

Напитки и шашлык принесли, как только мы, помыв руки, расположились за столом. Рюмок хоть и было четыре, но Исраил, распечатав ещё в холодильнике инее бутылку водки, налил только в одну, себе. Кузен был за рулём и, по его словам, вообще не употреблял алкогольные напитки, а мы с Ильманом — младшие и, по чеченским обычаям, не имеем права пить при старших родственниках.

После второй рюмки брату стало скучно и неинтересно пить одному, и он, плеснув во вторую рюмку, предложил мне составить ему компанию. — Я не пью водку, — смущённо отказался я.

Он, опустошив третью рюмку, аппетитно закурил шашлыком и участливо поинтересовался, почему мы ничего не едим. Я объяснил, что мы сядем за стол и поедим, когда принесут заказанный чеченский хинкал.

Блюдо подали через несколько минут, и Исраил, наполнив свою рюмку, опять посмотрел на меня: — Давай, я разрешаю! Одну рюмку для аппетита! — Не, брат, серьёзно, я не пью водку! Спасибо! — начал объяснять я. — Я пью только коньяк.

Тут вмешался и кузен:

— Рюмку хоть выпей для поддержания компании.

Я с неохотой поднял рюмку — давненько не пил ничего, кроме коньяка, — и, выпив стоя, закурил той самой черешней из ведрышка, привезённого с собой.

Буквально сразу же я почувствовал сильное жжение в пустом желудке, а через несколько секунд ощутил, что меня буквально подкосило; какая-то дрожь в коленях, и вокруг всё будто бы стало шататься и уплывать из-под ног. Я ухватился

одной рукой за спинку стула, но и он начал трястись и перемещаться.

«Вот это позор! — промелькнуло в голове. — От одной рюмки вот так опьянеть и падать с ног перед старшим братом!» Чувствуя, что вот-вот упаду, я шагнул к выходу и чуть не грохнулся с крыльца домика. Мыслей в голове — миллион, и все со скоростью света! Как оправдаться перед братьями? Я, спокойно выпивающий бутылку коньяку — и, как говорят, ни в одном глазу, а тут двадцать граммов водки — валяюсь с ног?!

Прислонившись к стоящему у кафе дереву, я потерянными взглядом посмотрел на соседние домики, откуда выскакивали люди, и на братьев, следом за мной вылетевших — как пили — на улицу, и услышал какие-то крики.

— Что? Что случилось? — спросил я у братьев.

— Землетрясение, землетрясение... — я с трудом разобрал, что они кричат.

— Как землетрясение?! — воскликнул я. — Вот это класс!

— Чего классного-то? — спросил меня парень лет тридцати с испуганными глазами, удивившись моей радости.

— Да понимаешь, — расхохотался я, — только выпил со старшим братом рюмочку водки — и начал валиться с ног. Я-то подумал, это алкоголь так подействовал! А это всего лишь зем-ле-тря-сение...

Искра

Кому первому пришло в голову подбить солдатские сапоги железными набойками, вырезанными из дисков танковых фрикционов, я не помню. Но идея мне, старшине роты, понравилась. Во-первых, долговечнее, чем обычные тонкие железные подковки. А во вторую очередь — шаг твёрже и чётче.

В ближайшие выходные сапоги нескольких десятков солдат моей роты были подбиты не подтачиваемыми стальными набойками.

Воинская часть наша — мотострелковая дивизия — находилась на окраине дальневосточного города. За забором начинался многоэтажный микрорайон, и из окон верхних этажей наша часть видна как на ладони. Трёх- и четырёхэтажные казармы располагались с двух сторон огромного армейского плаца, в конце которого находилась длинная столовая для всей дивизии. В столовую шли строем, каждый полк отдельно: побатальонно, поротно. И в первый же вечер так получилось, что моя рота шла первой. И только мы вступили на плац, как все полки непроизвольно засмотрелись на нас, так как шаги солдат были звонкими и твёрдыми. Возгордившемуся общим вниманием такой массы людей, мне вдруг пришла в голову шальная мысль, и я подал команду: — Рота! Искру!

И моя рота разом, как будто этого и ждала, изменив строевой шаг, перешла на удары каблуками,

и из-под сапог полетели по тёмному асфальту искры, как от бенгальских огней. Под дружное улюлюканье и восхищённые возгласы мы, гордые, вошли в столовую.

Но уже на следующий день все остальные батальоны нашего танкового полка шли на ужин, высекая искры на плацу под команды своих старшин.

А через несколько дней вся дивизия подходила к столовой с криками: «Искру!»

Однако не прошло и двух недель, как командир дивизии, наш грозный генерал, чем-то напоминающий своей суровостью маршала Жукова, построил всю дивизию и своим громогласным голосом, от которого жители в микрорайоне за забором говорили, что у них люстры в квартирах дрожат, начал отчитывать командиров полков. Солдаты приуныли, что придётся скоро расстаться со своей забавой. Но оказалось, что расставаться с набойками придётся не скоро, а уже. И когда комдив, шагая вдоль строя, остановился напротив нашей роты и прорычал:

— Кто это придумал и первым набил каблуки?

Мне ничего не оставалось, как выйти и доложить, что затея была моя. Генерал вывел нашу роту на середину плаца. Мы стояли, опустив головы, перед той самой многотысячной толпой, перед которой ещё несколько дней назад ходили героями, задрав головы и носы.

Комдив приказал командирам принести все инструменты, какие есть в части, от отвёрток до штык-ножей, и когда сержанты и старшины всё это принесли, развернул дивизию кругом и дал двадцать минут, чтобы набойки у всех были удалены.

Пока все солдаты занимались своими сапогами, мы стояли посреди плаца и гадали, что же будет с нами. Исходя из его речи, ожидалось нам неслабо. И за царапины на полах в казармах, и за метины на асфальте, и за порчу запасных частей боевой техники. И вдобавок его обещание, что если такое повторится, то все офицеры из своих звёздочек с погон будут искры высекать на плацу.

Когда все командиры полков доложили о выполнении приказа и устранении несоответствия уставу, генерал повернулся к нам и очень жёстко приказал:

— Рота, равняйся!

Мы вытянулись, как натянутая гитарная струна. Ничего себе, целый генерал командует нашей ротой!

— Смирно!

«Ну, — думаю, — сейчас будет! Ладно, я заслужил наказание, а всю роту-то за что наказывать?»

— Нале-ево! Шаго-ом марш!

«Точно, наверное, всех на гауптвахту! Может, набраться дерзости, попросить, чтобы наказали одного только меня?»

Но вдруг... Я ушам своим не поверил!

— Рота, искру!

Мои солдаты чуть не опешили, замешкались, слегка сбивая шаг. Но когда генерал рявкнул: — Искру — команда была! — рота вздрогнула, как от холодного душа, и под удивлёнными взглядами всей дивизии, с открытыми ртами наблюдавшей за происходящим, выдала среди белого дня такие искры, что все ахнули: так красиво не выходило даже в тёмное время суток.

Жора и Интернет

Обычно на Кавказе мужчина, когда становится дедом или после пятидесяти лет, перестаёт выпивать и курить. Не принято в таком возрасте человеку иметь вредные привычки, ведь он переходит в ранг старейшин, и подрастающее поколение вряд ли обратится к нему за советом, если он сам «с душком». Но Жора, брат мой, уже перешагнувший юбилейный возраст и дважды дедушка, никак не хотел расставаться со своим пристрастием. Пяницей, конечно, его не назовёшь, но каждый день «слегка» употребить он не отказывался.

Несколько лет назад, заехав к нему в гости, я увидел, как он мучается со своим дряхлым «жигулёнком» первой модели. К машине страшно было подходить, не говоря уже про езду на ней, и я обещал, что если он бросит пить, в следующий свой приезд куплю ему мало-мальски приличную машину. Он ухватился за эту идею и чуть ли не клятвенно заверил, что пить он не будет, чему, конечно, я абсолютно не поверил, зная его легкомысленный характер. И особо надеяться тоже был не намерен, так как был уверен, что как только я уеду в Красноярск, он продолжит свой весёлый образ жизни.

Приехав домой, я два-три месяца позванивал братьям и племянникам и как бы между прочим интересовался, как обстоят дела у Жоры с алко-голем. Меня, естественно, заверяли, что он не пьёт и соблюдает условия договора. Чему опять-таки я верил с трудом, и даже больше того — был убеждён, что он ни дня не пропустил, не приняв

«на грудь». А как-то, лазая по Интернету, открыл спутниковую карту Дагестана и нашёл своё родное село. Потыкав мышкой по усадьбам братьев, я под влиянием нахлынувших воспоминаний решил позвонить кому-нибудь.

Первым в справочнике сотового телефона был номер Жоры. Набрал его. Гудки были длинные, но он не отвечал. Набрал другого брата, что живёт по соседству с Жорой, и, поболтав несколько минут, спросил о Жоре:

— Как он там? Что-то на звонки не отвечает.

— Да вон во дворе пиво с другом пьёт и в двигателе машины ковыряется, — сказал брат, который не был в курсе нашего с Жорой уговора.

Через несколько минут я снова набрал номер Жоры. На этот раз он ответил сразу.

— Ну, что, брат, — недовольным голосом упрекнул я, — так и балуешься водочкой?

— Иди ты! Какая водка?! — деловито возмутился он. — Я уже давно забыл запах спиртного.

— Кого ты хочешь обмануть?! Я же вижу, как вы с другом у машины с открытым капотом стоите и пьёте, — сердито оборвал его я.

— Как? — удивился Жора. — Ты приехал? Где ты?

— Нет, — отвечаю, — я ещё в Красноярске, но ты забыл, что у меня есть Интернет и что я в любой момент могу через спутник увидеть твой двор и посмотреть, чем ты там занимаешься.

— Да это пиво, — начал оправдываться он, — и к тому же я не пью, а пьёт друг.

— Да? — сделал я вид, что ему поверил. — Ну смотри... У меня Интернет круглосуточный. Спутник тоже. В любое время увижу, чем ты занят.

В селе Интернета тогда ещё не было, и Жора понаслышке знал, что это такое, что там можно всё найти, и, конечно, поверил в мои возможности. Но привычка — вторая натура, и от неё избавиться очень тяжело, и Жора, купив бутылочку, прятал её за пазуху и, не заходя в свой двор, шёл к другу и долго возмущался, что из-за этого Интернета дома даже пива не попить.

Александр Пшеничный

Окно во спасение

Прощаясь, я осторожно похлопал больного друга по плечу:

— Поправляйся! Нам ещё столько зорек нужно с удочками встретить!

Товарищ натужно улыбнулся и некрепко пожал руку. После сложной операции Володя боролся за жизнь, понемногу выбивая костлявую из захваченных плацдармов.

— Мы сделали всё возможное, — на лету в коридоре провинциальной больницы выпалил лечащий врач. — Теперь всё зависит от воли пациента и его ангела-хранителя.

Цветущие липы у ворот стационара пахнули ароматом мёда и необъяснимого оптимизма. Нечто внутри шептало, что день завершится какой-то приятной неожиданностью.

Шумные воробьи, истинные цыгане птичьего мира, с азартом хлюпались в пыльных лужах; настёрный ветер гнал похожую на корову тучу прямо на город. Близился дождь.

— Автобус на Харьков только что уехал, — кассирша равнодушно взглянула на меня поверх очковых линз. — Следующий через полтора часа.

Я вложил билет в карман рубашки и распахнул двери автостанции.

Глухие удары колокола, похожие на далёкие раскаты грома, созывали прихожан на вечернюю службу в церковь где-то неподалёку. Я уверенно шагнул в сторону благовеста.

В неярком свете храма пламя зажжённой свечи заиграло на окладе иконы целителя Пантелеимона. Мне показалось, что святой отрок улыбнулся в ответ на мою мольбу о милости к болящему Владимиру.

— Паки, паки миром Господу помолимся! — ангельские голоса певчих прорезал зычный баритон священника.

Я оглянулся на голос, показавшийся знакомым. Аккуратная бородка с редкими нитками седины, широкий лоб, рельефные скулы под живыми глазами рисовали портрет упорного и настойчивого человека.

Неужели он? Тот самый таксист и бывший валютчик? Как его имя? Дмитрий? Да, да. Мы его

в семье ещё Бородой называли. Правда, тот немного заикался, а этот читает молитву без запинки. У него ещё на виске небольшое родимое пятно. Неужели мечты сбываются?!

Рядом чихнула свеча, и память унесла меня на четыре года назад.

— Такси у вашего подъезда, счастливого пути... — приятный голос телефонного диспетчера назвал марку и номер автомобиля.

— На Лысую гору? — немного заикаясь, переспросил таксист с бородкой.

За рулём бородач усердно крестился на проезжаемые мимо храмы, шепча губами какую-то молитву.

Обычно водители нередко крестятся за рулём, через минуту матеря обгоняющие автомобили и сплёвывая окурки в опущенное стекло. Но мой таксист создавал впечатление человека, много лет работавшего личным водителем патриарха.

Мы познакомились, и через неделю я позвонил Диме уже на его мобильник. Обстоятельства требовали срочного присутствия у одного из моих родственников.

— Вы, наверное, религиозный человек, Дима? — не удержал любопытства я в момент, когда автомобиль проезжал у главного городского собора.

— Да. Я староста православного храма, — Дима повернул голову в мою сторону. — К сожалению и поэтому, в воскресные и праздничные дни обслужить вас не смогу.

— Староста?! — я с интересом всмотрелся в профиль таксиста. Обычное лицо молодого мужчины с небольшим родимым пятном на правом виске. — Слышал, что старост выбирают в основном из родственников иереев. Вы из семьи священнослужителей?

— Нет, что вы! Родители — обычные люди, — усмехнулся Дима. — В церковь меня привели другие обстоятельства.

Во мне ожил азарт писателя, и после нескольких подталкивающих вопросов Дима поведал удивительную историю его пути к вере.

В маленьком донбасском городке после закрытия шахты в девяностые найти работу невозможно. Даже на место технички в школе без блага или

взятки не устроиться. А как жить, если в двадцать два ты женат, а кормить семью нечем?

Кто-то посоветовал Харьков. С женой и годовалым ребёнком парень снял комнату в общежитии недавно обанкротившейся фабрики, а сам с утра и до ночи посменно вкалывал то реализатором, то грузчиком на центральном рынке. Тупая, изнуряющая работа не приносила ни удовлетворения, ни достатка. Денег катастрофически не хватало.

«Слушай, Дим!—как-то в подсобке к нему подсел напарник.—А что, если чейнджем заняться? Рискованно, конечно, но мешки таскать не нужно, а бабки те же. Если не больше».

Нужда—великий соблазнитель. Через неделю молодые люди уже стояли на известном всему городу пятачке менял у метро.

Ремесло кидал ребята освоили быстро, но ещё быстрее поняли, что работать лучше честно. Развод клиентов—дело опасное. Даже у зашуганного старичка мог оказаться сын с приличным сроком отсидки. Однажды скорая увезла их нового товарища с шилом в боку.

Дышать стало легче, но зелёные бумажки постоянно источали запахи риска и опасности. Риск ленив, но всегда голоден. Рано или поздно он выползает из берлоги, чтобы досыта наестся человеческих душ, а часто и тел.

В жаркий день июля возле Димы скрипнули тормоза ослепительно белого «мерседеса» с открытым люком на крыше. Из автомобиля вышли двое импозантных мужчин в дорогих костюмах. Узнав курс обмена, клиенты одобрительно кивнули и попросили Диму обменять украинские банкноты на двадцать тысяч долларов. Это стоимость семи однокомнатных квартир!

В обороте валютчика обычно крутилось не более пятисот долларов, а у Димы и того меньше. В таких случаях клиентов просили подождать или прийти немного позже, чтобы занять недостающую сумму у соседей. «Приезжайте через три часа, деньги будут»,—предвкушая солидный барыш, пожал руки клиентам Дима.

Через пятнадцать минут в бывшей будке автобусных диспетчеров рядом с входом в метро Дима и Боб, патрон здешних менял, принимали деньги от желающих поучаствовать в выгодном чейндже. Пришла даже группа кавказских обменщиков у другого выхода метро.

Клиенты приехали точно в срок. «Баксы готовы?»—спросил верзила с огромной печаткой на мясистом безымянном пальце и негромко кашлянул. Дима вынул из барсетки толстую пачку банкнот, стянутую резинкой.

В ту же минуту четыре крепкие руки схватили парня и ловко впихнули в автомобиль. «Мерс» лихо рванул с места.

«Вот и конец. Господи, увидеть бы ещё раз жену и Ксюшку»,—мелькнуло в голове пленника.

Дима обречённо посмотрел в пространство люка. Сидящие на позолоченном кресте собора голуби, напуганные криками и свистом десятков менял, вспорхнули ввысь.

«Птицы! Мой шанс!» Резким движением пальцев Дима сорвал резинку с пачки и, привстав, с силой швырнул деньги в окошко люка. Подхваченные ветром бумажки зелёным конфетти взмыли вверх и медленно опустились на асфальт к ногам менял.

В ту же секунду парень осел от мощного удара под ребро. Лоб уткнулся в подголовник переднего сиденья. От следующего тычка в затылок в глазах поплыли круги.

Парень очнулся от шлепков по щекам. За кружащимися мужскими лицами плыли стволы деревьев. Один, два, три... Целый лес.

«Как тебя зовут?»—вопрос водителя, видимо главаря, окончательно привёл парня в чувство. «Дима...»—«Лохов мы не мочим, Дима,—главарь зловеще скривил левую половину лица,—их свои потом за долги убирают. Но сегодня ты оставил нас без дербана. Такое я не прощаю. Правда, шанс у тебя есть. Тут одна капустанка обратно к нам залетела,—главарь поднял с переднего сиденья десятидолларовую купюру, плюнул в лицо именитого президента и прилепил бумажку ко лбу Димы.—Виталик сейчас покажет, как десятку с одного выстрела выбивать нужно. Промажет—твое счастье, нет—не каждому выпадает честь покоиться в лесу».

Здоровяк с печаткой вытолкнул Диму на лесную поляну. Автомобиль заурчал и развернулся боком к жертве. В опущенном стекле мелькнули чёрное дуло пистолета и жёлтый блик перстня.

Дима закрыл глаза. Эхо выстрела приглушило шум отъезжающей машины. Парень долго не открывал глаз, боясь снова увидеть жуткое отверстие смерти.

Уже стемнело, когда незадачливый меняла появился на обменном пятачке.

В диспетчерской Боб выложил на стол двести долларов: «Это твои деньги. Остальные раздал ребятам по списку. Сотню из двадцати тысяч так и не нашли. Я у крышевых ментов был. Назвал приметы, номер и марку автомобиля. Но искать они отказались. Радуйтесь, мол, что на вас глаза закрываем. Хотя за бабки, которые отваливаем, могли бы и пошевелиться. Ты, Димон, в рубашке родился. А может, там,—Боб поднял указательный палец,—решили, что на земле ты ещё для чего-то нужен. Иначе тебя бы порешили».

Дома заплаканная жена после разговора с родным дядей повесила трубку телефона: «Прошу тебя, не возвращайся к метро. Мне лучше «Мивиной» питаться, но каждый день встречать тебя живым».

— А вот и Лысая гора,—Дмитрий повернул баранку вправо.—Я её навсегда запомнил. Тот самый лес как раз за этим посёлком начинается.

— А что было потом?—я указал рукой на предстоящий поворот.

— Дядька занял немного денег. На первых порах таксовал на чужой машине, сейчас на своей. Комнату в общежитии выкупил, да и соседскую тоже. Жена работает, жизнь вроде наладилась.

— А...—я на секунду притих, ища обтекаемое слово,—твоё... заикание—от испуга?

— Да,—кивнул Дима.—Тот выстрел до сих пор меня за горло держит. Через месяц появились запинки речи, согласные тянуть начал. К каким только бабкам не ходил—всё бесполезно. Соседи посоветовали в церкви десять раз подряд причаститься. Стало лучше, но не до конца. Зато постепенно уверовал. Крест-то мне не случайно в люке показался. Он—моё окно во спасение. Мечта у меня есть. В нашем храме диакон служит. Он никогда не одет в лёгкие одежды. Даже в жару после службы он всегда в сорочке с застёгнутыми на все пуговицы воротником и рукавами. В молодые годы попал в тюрьму за хулиганство. По пьяни, конечно. Вышел на волю весь в татуировках. И сантиметра чистой кожи нет. В последний год заключения приобщился к чтению святых книг. Постепенно проникся верой. Так и пошло. И я диаконом хочу стать, но невроз меня крепко к баранке приковал. От заикания избавиться трудно. Да и деньги немалые нужны. А где их взять, когда детей учить нужно? Но—правду говорят: где жизнь, там и надежда. Недавно в храме кто-то негромко меня окликнул. Оглянулся—Лёша, тот самый парень, который меня в валютчики подбил. Заматерел. Лощёный такой, с приятелем стоит. Оказалось, это его телохранитель. Лёша теперь банкир. На работу приглашал в пункт обмена. У него их пять, а шестой на днях открывает. Но я отказался. Не моё это. Рассказал о проблемах. Лёша меня после службы к известному психологу отвёз и заплатил за лечение вперёд. Профессор предупредил, что полностью излечиться вряд ли

удастся, но результат может оказаться хорошим. Всё зависит от меня.

— И как успехи?

— Пока промолчу, но сдвиги есть. Если поможет—напишу прошение на имя епископа о рукоположении в диаконы. Потихоньку готовлюсь к ставленническому экзамену...

Звуки колокола вернули меня в храм. У амвона священник благословлял мирянку. Я подошёл ближе и обратился к батюшке, вкладывая фиолетовую купюру в его руку:

— Вы могли бы помолиться о здравии моего больного друга?

Иерей отступил на шаг:

— Пожертвуйте лучше эти деньги на ремонт храма. А за болящего помолюсь. Как его имя?

Он не узнал меня. Но это был Дима, теперь отец Димитрий. Сквозь серебро виска я успел рассмотреть родимое пятно.

Луч заходящего солнца преломился в луже за воротами храма, заиграв разводами на пластмассовом стаканчике нищенки.

— Как зовут вашего священника, мать? Давно он у вас?—брошенная мелочь звякнула о дно стаканчика.

— Отец Димитрий,—обрадованная возможностью поговорить, затараторила пожилая женщина.—Из Харькова приезжает. Народ его любил и толпами валит, хотя у нас он чуть больше года...

Через неделю Володе стало лучше, а в сентябре я уже рыбачил с ним на Северском Донце. Недавно Володя пришёл в церковь просить батюшку Димитрия о молитвенной помощи для его матери. Но другу сообщили, что отец Димитрий у них уже не служит. Уехал в какой-то городок на Донбассе возводить новый храм.

Александр Астраханцев

Критика критики нечистого разума

Реплика

1. О причине написания

«Критики критики...»

Взялся читать свежий номер журнала «День и ночь» (№1 за 2014 год) и на странице 171 наткнулся на любопытный материал: эссеобразный текст под несколько провоцирующим читателя названием: «Критика нечистого разума»; автор — Александр Силаев. И первая же глава этого текста, «Родина в головах», спровоцировала меня взяться за перо самому и написать заметки по поводу этой главы.

Сама по себе всякая литературная провокация — благо: заставляет читателя активной шевелить мозгами; но благо это — только до определённых пределов: пока ты не начинаешь понимать, что автор слишком уж явно злоупотребляет временем и усилиями редакторов, издателей, изготовителей бумаги, на которой издание напечатано, и прочим, не говоря уж о времени читателя, безнадежно потраченном не только на чтение, а ещё и на попытку обуздать собственное протестное чувство при чтении этого текста, и на желание бросить это пустое занятие.

Впрочем, схватившись за перо, я всё же подумал: а стоит ли терять время ещё и на писание заметок по поводу сего текста? Поэтому сначала заглянул в биографическую справку автора. Оказалось, что ему всего тридцать шесть лет (а может, и того меньше, тридцать пять?), так что, по нынешним временам, это в некотором роде ещё и не совсем пропащий возраст, поэтому решил: нет, стоит — авось, пользуясь преимуществом собственного возраста, чем-то ещё и помогу автору разобраться в его собственных писаниях.

Начнём с цитаты из упомянутой выше главы, «Родина в головах». Цитирую: «...никакой родины, разумеется, нет. Нет как натурального объекта (в том смысле, в котором нет, к примеру, общественных «классов»). Родина — объект политической рефлексии. Как решили, то и родина. Это *конструкт*, всегда *конструкт*. В мире вообще... очень много *конструктов* там, где оное видится... «Что такое родина?» — спросить можно. Точнее, однако, спросить, что считается «родиной» в той или иной рефлексии, не забывая, что это не столь описание «действительности», сколько конструирование сферы должного — императив, программирующий

поведение. То есть родина живёт только в головах... Если «родина» — не более чем псевдоним некой императивности, какого рода анонимы стоят как выгодополучатели? И почему бы им не назвать себя как они есть?...» На этом цитирование заканчиваю. Причём слово «конструкт» в цитате выделено мною (А. А.) специально, поскольку оно нам ещё пригодится.

Цитат, подобных этой, я мог бы привести много — чуть ли не всю главу: в ней столько ещёavorочено любопытного (которое, правда, больше рассказывает о самом авторе, нежели о теме авторских рассуждений)! Скажу только, что дальше — пуще! Оказывается, «родину» автор воспринимает как «советскую родину» и олицетворяет её со Сталиным, Хрущёвым, Брежневым и со всей их чиновной братией. Вот это пируэт! Приехали, как говорится. И этот пируэт надо обставлять столькими наукообразными терминами?..

Впрочем, злоупотреблять драгоценным временем моих читателей на чтение цитат больше не буду; кому охота ознакомиться с цитируемым текстом полнее — отсылаю к первоисточнику.

2. По поводу нежной любви

А. Силаева к термину «конструкт»

В средние века жил в Англии монах-богослов по имени Уильям Оккам, который сформулировал принцип, который учёные впоследствии назвали «бритвой Оккама». Звучит он примерно так: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего». Почему назвали именно «бритвой»? Да потому что бритва — это инструмент, гладко сбрывающий всё лишнее.

Если же принцип этот развернуть применительно к нынешнему времени, то он требует упрощать научные и философские термины, понятия, теории и объяснения каких-либо явлений и не загромождать науку и философию новыми без большой надобности.

Вплоть до двадцатого века этот принцип учёными и философами неукоснительно соблюдался. Но в двадцатом расплодившиеся до невероятных

количеств университетские профессора как с цепи сорвались: плюя на принципы и традиции, отбивая друг у друга хлеб, известность, славу или претендуя на оригинальность, они кинулись наперебой изобретать, плодить, громоздить без конца всё новые и новые толкования, термины, понятия, теории, большей частью повторяя, переиначивая и усложняя уже давно известные. Особенно пышно это явление цветёт в таких областях неконкретных, так называемых «когнитивных», знаний, как психология, социология, философия и прочие. Доходит до того, что нынешние философы и учёные в этой сфере знаний жалуются на то, что зачастую уже совершенно не понимают один другого.

Вероятно, в поисках тех же самых хлеба, оригинальности, славы так называемые образованные молодые люди кидаются изо всех сил подражать этим университетским профессорам, повторяя вслед за ними их термины и толкования.

Из того же ряда и слово «конструкт», которым щеголяет в своих текстах А. Силаев. По своему смыслу слово это обозначает то же самое, что и слово «понятие», но произнесёшь слово «конструкт», да ещё в обрамлении других учёных терминов, — и текст становится о-го-го каким внушительным! Да и само слово — такое звучное: прямо как орешек во рту хрустит!.. Хорошо представляю, как легко подобными терминами гипнотизировать внимание непосвящённых — точно так же как фокусник гипнотизирует простаков манипуляциями ярких шариков в руках...

Интересно, что великие философы прошлого — Платон, Аристотель, Лао-цзы, Кант, Декарт и иже с ними — умели объяснять самые сложные явления с помощью простого, чуть ли не бытового языка. Не потому ли их учения и живут не только веками — тысячелетиями, в то время как нынешние армии университетских профессоров пасутся и сытно кормятся вокруг этих учений?..

Но Бог с ними, манипуляциями — будем играть в те же слова, которые предлагает нам автор текста.

3. О «конструкте» по имени «родина»

Итак, перед нами конструкт по имени «родина», собственное понимание которого попытался объяснить нам в упомянутой выше главе А. Силаев.

Но мы-то (с высоты нашего возраста, что ли?) понимаем этот конструкт несколько иначе: ведь слово «родина» — одного корня со словами «род», «родить» и с этими словами, конечно же, тесно связано. Объясняем мысль подробнее, причём объяснить свой «конструкт» по имени «родина» придётся с самых азов, иначе, судя по приведённой выше цитате, понять меня адекватно автор приведённого выше текста, боюсь, не сможет.

Итак, появляется на свет младенец, и его жизнь на первых порах ограничена только колыбелью и объятиями мамы, которая кормит его своим

молоком, греет, ласкает и поёт ему колыбельные песенки. Вот малая родина этого младенца, вот с чего она начинается! При этом младенец ещё ничего не смыслит, а уже хорошо усваивает с помощью всех органов чувств, что эта его малая родина тепла, вкусна, уютна; он начинает любить её, уже никогда не забудет и пронесёт эту свою любовь через всю жизнь, а когда вырастет, то слово «родина» никогда не станет для него «конструктом», головной воображаемой идеей, то есть фикцией, фантомом, пустотой, — она останется для него густо насыщенной тактильными, звуковыми, ароматными воспоминаниями и ассоциациями.

Далее, младенец растёт; и когда он вырастет «приблизительно с полено» (по В. Маяковскому), его малая родина расширится до размеров его дома и окружения из папы (если только тот не успеет к тому времени сбежать), бабушки, дедушки, брата или сестры; он научится говорить, начнёт жадно слушать, впитывать в себя саму речь и понимать всё, о чём они говорят, почувствует со всеми ими близкую, родственную связь и поймёт (опять же, не разумом, а сердцем), что они его любят, и сам в ответ полюбит свой дом и всех его обитателей.

Став ещё старше, он выйдет на улицу, познакомится со сверстниками; и окажется, что и с ними тоже — хорошо, весело: они говорят на одном языке, прекрасно понимают друг друга, играют в общие игры, дружат...

Он попадает с родителями за город (если он горожанин), видит реку, лес, поле, которые с раннего детства входят в его постоянное окружение; он привыкает к этому окружению, легко узнаёт его, так что и это окружение тоже начинает входить для него в конструкт «родина», тем более что конструкт этот наполняется для ребёнка новыми красками, запахами, звуками, цветами лугов, лесов, рек, неба над головой. Правда, при одном условии: если только этот ребёнок имеет нормально работающие органы чувств и здоровый душевно-эмоциональный аппарат. А если такового нет, то, увы, как же можно воспринимать суждения человека, выросшего из этого ребёнка? Не иначе как неполноценными...

Став ещё старше, он едет в другой город, видит, как широко раздвинулось его окружение, как оно красиво и разнообразно: оказывается, и это тоже его родина!.. В других городах живут люди, которые оказываются его соплеменниками, которых он тоже прекрасно понимает; он усваивает для себя, что всё это огромное пространство между городами и сами эти города — тоже его родина! Так в его душе формируется чувство большой родины, Родины с большой буквы.

Далее, он начинает учиться в школе и потихоньку овладевает (если, опять же, он не имеет душевных и умственных отклонений) историей

культуры, накопленной множеством поколений его предков.

Он узнаёт в школе, что Родина его появилась не вместе с ним — оказывается, она имеет огромную историю с древнейших времён, а у него самого есть предки, которые совершили много деяний, в том числе и великих, и прекрасных — которыми можно гордиться.

Он изучает русскую литературу, и великие русские поэты и писатели прошлого учат его осознать художественный, литературный образ Родины и помогают научиться страстно любить этот образ.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой... —

воскликает Михаил Лермонтов в стихотворении, которое так и называется: «Родина», причём — заметьте! — рассудок поэта не в состоянии победить любви к отчизне: любовь эта сильнее рассудка!

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить, —

объясняется в своём чувстве к России другой поэт, Фёдор Тютчев, причём — заметьте снова! — у него уже другое чувство к ней: чувство веры в неё.

О, Русь моя! Жена моя!... —

воскликает Александр Блок, говоря о такой тесной собственной связи с Россией, которую можно сравнить только с теснейшей душевной и физической близостью с женой на супружеском ложе, с готовностью принимать на себя все семейные горести и заботы как свои собственные.

Это — только навскидку: всего три хрестоматийных, лежащих на поверхности примера, а таких примеров можно привести великое множество — от Н. Тоголя до В. Астафьева и от Г. Державина до А. Вознесенского («Мне больно когда — тебе больно, Россия...»).

Зрительные образы Родины растущему и зреющему россиянину подсказывают великие русские художники с их пейзажными и историческими полотнами, с неисчислимой портретной галереей великих россиян. Музыкальные образы её подсказывают ему народные песни и мелодии, оперы и другие музыкальные произведения русских композиторов. Архитектурный образ её помогают понять великие исторические памятники зодчества, разбросанные по городам и весям...

И всё это вместе взятое помогает взрослому человеку понять душу своего народа, почувствовать с ним неразделимую родственную связь, полюбить свой народ и свою Родину (неважно, хоть с большой буквы, хоть с маленькой) и стать её патриотом (то есть уметь её защитить и сохранить).

Это отнюдь не «выгодополучательство», как думает мой оппонент, — это, прежде всего, чувство (понятие, похоже, недоступное ему), однако чувство, налагающее на человека некоторые долги и обязанности, точно так же как любовь к женщине или ребёнку налагает на мужчину долг заботиться о них, защищать их и помогать им выжить в трудный час (не знаю, понятно ли это утверждение моему оппоненту).

Вот что такое Родина, что такое любовь к ней и что такое патриотизм. Ещё эти понятия иногда называют «ценностями» (имея под ними в виду «нравственные ценности»). И понятие во всём объёме, что они такое, доступно только зрелому человеку, овладевшему определённым уровнем развития, самосознания, общечеловеческой культуры вообще и культуры своего народа — в частности. А если нет этого уровня — так человеку и недоступно понимание «ценностей», если даже у него за плечами высшее образование и кандидатская или докторская диссертация, что мы зачастую и наблюдаем. Потому что перечисленные выше «ценности» не поддаются математическим расчётам и логическим манипуляциям.

Позвольте ещё немного рассуждений на эту тему.

Для крестьянина-бедняка, родившегося в нищей избёнке, в ней же готового окончить свои дни и никуда из своей деревни за всю жизнь не отлучавшегося, понятие «родина» — всего лишь его родная деревня, и ничего более.

Точно так же, видимо, чуждо понятие Родины и нынешнему малоимущему горожанину, насельнику стандартных квартирёнок в стандартных же панельных кварталах, с той лишь разницей, что ему это понятие наверняка пытались внушить в школе учителя, но он плохо его усвоил ввиду не подкреплённой никакими живыми примерами абстрактности. Или усвоил, но превратно.

А вот для справного да предприимчивого до-революционного мужика ли, торговца или мастерового, успевшего помотаться по российским городам и весям, понятие родины расширяется уже до целой России. Откройте книгу «Пословицы русского народа» В. И. Даля — и найдёте там целых несколько страниц убористого текста, перечисляющего русские пословицы, посвящённые этой теме. Приведу всего две, незатасканные: «И кости по родине плачут», «Велика старорусская земля, а везде солнышко», — причём обратите внимание, сколько любви к предмету высказывания в каждой из них!

Интересно, что чем выше был культурный и образовательный уровень россиян в старой России — тем чётче и горячее было чувство Родины. Во всяком случае, высказывания на эту тему русских писателей, поэтов, художников, философов и прочих деятелей культуры прошлого можно

приводить ворохами. Не буду перечислять здесь примеров, многие из них уже хрестоматийны, — хватит и нескольких строк из приведённых выше стихотворений.

Что же из всего этого вытекает? Выходит, что для разбираемого мною автора ближе всего позиция крестьянина-бедняка, ничего, кроме родной деревни, не видевшего, или малоимущего горожанина, нигде не бывавшего, кроме своего родного квартала? Ибо и для тех, и для других понятие Родины слишком абстрактно и никак ничем ни духовно, ни эмоционально не подкреплено...

Это же касается и обиженного судьбой человека, всю свою жизнь проведшего в кабинетах (да ещё наедине с компьютером), воспринимающего яркий, цветной, звучный, блистающий всеми красками земли мир вокруг себя только как цитату или комбинацию из нескольких наукообразных терминов, изобретённых кабинетными же университетскими профессорами, — этот несчастный человек слово «родина» воспринимает только как сумму политических деятелей, о которых он читал в газетах, да плюс к этому — ещё ораву чиновников, с которыми сталкивался в своей скудной событиями жизни.

4. Ещё несколько соображений по поводу «Критики...»

Это всё, что я хотел сказать по поводу главы «Родина в головах».

Так ведь что ни глава в опусе «Критика нечистого разума» — то при чтении каждой из них у меня непременно возникало желание высказать возражения. Но, ради Бога, увольте от этой работы — это будет слишком долго и утомительно и для меня, и для читателя. Выскажу по этому поводу лишь ещё несколько общих соображений.

В дальнейших главах текста то и дело мелькают новые «конструкты»: «Бог», «сыновний долг», «политические убеждения», «влюблённость» и много-много других, подобных им, — причём все они непременно закавычены (этим автор намекает, что уж он-то знает им подлинную цену) и подвержены нашим молодым автором весёлому, задорному осмеянию и полной «деструкции».

Далее, текст густо насыщен именами философов и мыслителей прошлого. Упоминаются они и поштучно, и целыми гроздьями; просто рябит в глазах от блеска имён, и в самом деле уважаемых. Только упоминает их автор с такой снисходительной небрежностью, даже запанибратством — будто хочет дать понять мне, профану: вот сколько он их знает, и со всеми — на дружеской ноге!

Слегка рябит в глазах и от цитат. Впрочем, многие цитаты и в самом деле умны и дельны — да вот незадача: собственные выводы из них нашего автора — весьма сомнительны, а порой и вовсе, как говорится, не лезут ни в какие ворота.

Ну а каков самый-то главный вывод из всех этих моих соображений?

А главный вывод — один: своей «лёгкостью необыкновенной в мыслях» разбираемый мною текст очень напоминает мне монологи главного персонажа бессмертной гоголевской комедии «Ревизор», разглагольствующего перед простодушными провинциалами, слушающими несусветный бред фанфарона с огромным почтением: как же-с, «с Пушкиным на дружеской ноге»!..

Между делом надо добавить ещё, что молодых (и не очень молодых) людей, подобных этому персонажу из гоголевского «Ревизора», развелось у нас в последнее время несусветное количество: разверните чуть ли не каждый журнал или газету — и обязательно наткнётесь на очередное якобы интеллектуальное, а на поверку — легкомысленное и поверхностное разглагольствование на тему «Взгляд и нечто» очередного Хлестакова...

Итак, мы сделали свои собственные выводы из чтения названного выше текста. Теперь хотелось бы напоследок сделать некоторые выводы и отослительно самого автора.

Я думаю, что сам по себе он мало виноват в том, что упомянутый его текст получился легкомысленным. Я, конечно, ставлю за этот текст единицу с минусом — но нет, не ему, а его родителям, воспитателям, школьным учителям и университетским преподавателям, его учившим: просто-напросто его плохо воспитали и ничему как следует не научили. Не получилось полноценного, взрослого разумом, ответственного за свои слова человека — получился всего лишь вечный школяр, только и умеющий, что играть в слова и буквы, да ещё воображающий себя мыслителем, поскольку научился ловко составлять фразы из выученных наизусть терминов.

Напоследок же всё-таки хотелось бы попросить у автора прощения за слишком, может быть, резкий отзыв о его работе. Но при этом позвольте тоже сослаться на авторитет: как говаривал в таких случаях один великий философ древности, «Платон мне друг, но истина ещё больший друг».

Причём, на мой взгляд, у меня есть ещё одно оправдание моего, может быть, излишне резкого тона. Знаю, что в старые времена в школах России, Германии, Англии было такое неукоснительное воспитательное правило: за проступки, за нерадивость и неуспеваемость школьников секли розгами. По нашим сведениям, в старой доброй Англии сие правило отменили лишь в начале двадцатого века, и то — с большим сопротивлением со стороны учителей: они-то хорошо знали, что розги — весьма радикальное средство добротного воспитания. В доказательство тому не полнитесь — возьмите в руки энциклопедию и посмотрите, сколько великих учёных, изобретателей, философов, прекрасных писателей

и поэтов выросло и трудилось в упомянутых странах в эти самые старые времена. Смею думать, что между двумя этими фактами есть определённая связь.

Да, розги — грубое средство воспитания; из гуманных соображений порку давно отменили. Но, ей-ей, не мешает порой и ныне, вспомнив старые добрые времена, публично посещать иногда нерадивых молодых людей, хотя бы в таком вот

переносном смысле — как для общественной, так и для их же собственной пользы: чтобы старательней учились, глубже думали и меньше несли глупого вздора.

И даже если разбираемый выше текст — не продукт искривлённого сознания, а всего лишь — весь, от начала до конца, — сплошная провокация, тогда, извините, всё равно каждый провокатор неизбежно должен получить по трудам его.

ДиН пародия

Евгений Минин

Аж страшно!

Божественная идея

*Поэтов мало, стихотворцев рать,
И это очень грустная примета.
Ведь только Бог способен выбирать
В своей Господней милости — Поэта.*
Владимир Скиф

Услышал как-то я Господний глас,
От перепуга чуть не стал зайкой:
Владимир, выбрать я способен вас
Для миссии почётной и великой.
Литинститут не нужен больше тут,
И уровень его стал ерундовский.
Возглавите вы новый институт,
Он будет называться — Скифосовский.

О зайцах

*Снят зайцы на тёплой опушке,
с утра замечательный клёв.
Расстреляны Лермонтов, Пушкин,
расстрелян вчера Гумилёв.*
Валерий Лобанов

Поэта не ценится слово,
поэты всегда на бобах.
Убили вчера Гумилёва,
поставили к стенке и — бах!
Всегда убивает поэта
бездарный тупой паразит.
Но сплю я спокойно — мне это,
поверьте, друзья, не грозит.
Живу, сочиняя, в избушке,
где тихо, тепло и уют,
про зайцев, что спят на опушке,
и рыб, что клюют да клюют!

Натюрмортное

*я замер, превратился в натюрморт
и чувствую, как жизнь во мне идёт...*
Алексей Клепиков

картина маслом: я — как натюрморт,
любуйся на меня, честной народ,
как жизнь во мне идёт — и я в процессе
пищеварительном и прибавляю в весе
который год.
а уж какой охватит всех мандраж,
когда я завтра превращусь в пейзаж.
и даже жизнь, бродившая без дела,
во мне сильнее моё полюбит тело,
что страшно аж!

Лесностишие

*Выйду в лес и в листья лягу —
Спину холодом возьмёт.
И лягушка под корягу,
Под корягу упадёт.*
Максим Сергеев

Хорошо в лесу, однако.
Выхожу на склоне дня —
Лает вдалеке собака,
Лает, но не на меня.
Не подумайте, что спятил:
Я стихи читаю тут...
Со ствола свалился дятел
Через несколько минут.
Вот упала белка с ветки
Наклонившейся ольхи...
До чего ж пишу я метко,
Метко я пишу стихи.

Евгений Мамонтов

Приключения Славки Щукина

33 рассказа про враньё

Мой друг Дракула

Когда я учился в третьем классе, я сказал своей однокласснице Светке Однолько, что у меня дома живёт ёж. Просто чтобы она согласилась прийти и посмотреть на него. И она согласилась. А ежа у меня дома никогда не было, и я всё шёл и думал, что я ей скажу. Светке. Когда придём.

На моё счастье, дома стояла тишина. Папа с мамой ещё не пришли с работы, и я долго звал ежа в этой тишине.

— Кузя, Кузя,— кричал я, заглядывая под диван и под шкаф.

Светка стояла, не выпуская портфеля, и лицо у неё становилось недоверчивым.

— Не понимаю, куда он делся,— развёл я руками.— Давай подождём, может быть, он сам выйдет.— Нет у тебя никакого ежа!— сказала Светка и ушла, хлопнув за собой дверью.

— Ну что, нашёл своего ежа? — насмешливо спросила Светка на другой день.

— Нет,— сказал я очень серьёзно.— Его родители выбросили.

— Как? — отшатнулась Светка.

— А так. Он умер. Когда я был в школе. Вот родители его и выбросили.

Два дня я носил траур по своему ежу и был лучшим другом Светки Однолько. Мы вместе стояли у окна на переменах, пока все вокруг бегали и орали. Светка говорила мне:

— Ничего, Слава...

А я печально кивал ей в ответ.

А на третий день мы с Мишкой Прохоровым кидались на перемене мокрой тряпкой, которой вытирают с доски. Света увидела, подошла ко мне и сказала:

— Я с тобой больше не общаюсь. Ты предал память своего ежа.

И больше не разговаривала со мной.

А летом, уезжая с родителями навсегда из нашего города, Светка пришла со мной попрощаться и протянула мне кулёк обёрточной бумаги. В нём копошился ёж.

— Вот, береги его,— сказала Светка и навсегда исчезла из моей жизни.

Родители сначала нахмурились, а потом обрадовались.

— Теперь ты не будешь просить собаку!— сказала мама.

«Проклятый ёж!— подумал я.— Ты разрушил мою жизнь!»

Ежа я назвал Дракулой. Он действительно вёл ночную жизнь, а днём где-то отсыпался. Зато ночью не давал никому покоя. Он шуршал и носился по квартире, как слон. Громко топал своими маленькими ногами. Папа не выдержал, вскочил и зажёл свет. Ёж затих под кроватью. Папа взял из ванны швабру и хотел шваброй достать ежа из-под кровати. Он лёг на пол и подтаскивал ежа, как лопаткой, всё ближе. Но, приближаясь к освещённому люстрой полу, ёж чувствовал неладное, перепрыгивал через деревяшку швабры и снова забивался в угол. Так повторялось раз десять подряд, и я просто катался по полу от смеха, а папа чуть не сломал в ярости швабру.

Постепенно мы привыкли к ежу. Привыкли недосыпать. А ёж вдруг исчез. Я уж подумал, не повторилась ли та история, которую я выдумал тогда для Светки. Я сидел и грустил по своему Дракуле. Всё-таки он был последним подарком Светки. Можно сказать, единственным её подарком. И вдруг я услышал, как мама закричала на кухне и уронила что-то на пол, судя по звуку— крышку от кастрюли. Я побежал на кухню, опрокинув по дороге стул.

Случилось невероятное. Я не поверил своим глазам.

Дело в том, что несколько дней назад мама варила холодец. Когда он застыл, кастрюлю вынули из холодильника, чтобы не занимала столько места, и поставили на пол. Ночью ёж, видимо, учуял холодец, приподнял носом крышку, пролез внутрь, крышка перевернулась над ним обратной стороной, ручкой вниз. Ёж выел в холодце яму размером со своё тело и уснул. Так, спящим в холодце, и обнаружила его мама.

— Пока не настала зима, ты должен отпустить его на волю,— стала говорить мне мама.— Он дикое животное. Ему там будет хорошо.

Я сомневался— успел привыкнуть к ежу.

Война машин

Папа у меня очень рассеянный. Особенно когда он работает. Когда сидит и пишет какую-нибудь статью. Он тогда на все мои вопросы отвечает не думая. А потом удивляется или сердится.

— Папа, мы скоро пойдём в парк? — спрашиваю я.

— Да, — говорит папа.

— А в кино пойдём?

— Да, — говорит папа.

— Папа, ты ведь в школе очень плохо учился?

— Да.

— Папа, а ты мне купишь квадроцикл?

— Да.

И тогда я понимаю, что ни в какое кино мы не пойдём, а если выйдем гулять, то не скоро.

Однажды я видел, как папа по рассеянности налил чай в подстаканник, в котором не было стакана. Я уже не говорю про то, что папа часто забывает сделать покупки, о которых его просит мама.

И вот однажды я решил сделать для папы компьютер, который бы ему напоминал про всё, что нужно. Я вырвал из школьной тетради в клеточку один листок, согнул его пополам. На нижней стороне листка я нарисовал клавиатуру с кнопками и цифрами, а на верхней экран. На экране я сделал надпись карандашом: «Купить маме цветы завтра!» Я показал свой компьютер папе. Папа посмотрел, прочитал, улыбнулся и спросил:

— Так ведь завтра не Восьмое марта и не мамин день рождения?

— Да, — сказал я, — завтра просто годовщина вашей свадьбы.

Папа испугался и всплеснул руками. Он сразу вспомнил, как он забыл в прошлом году поздравить маму с днём их бракосочетания.

— Видишь, папа? Работает! — сказал я.

— Да, ты молодец! — похвалил меня папа.

Теперь я каждый раз стирал старую надпись и делал другую. Только я всё время не знал, что же ещё написать, и спрашивал у всех подсказки — у мамы, у дедушки, даже у маминого брата дяди Пети. — Забрать вещи из химчистки, — сказала мама. — Привезти мне новый электросчётчик, — сказал дед.

— Поехать со мной на рыбалку, — сказал дядя Петя. Я всё это охотно записывал.

— Играть со мной в настольный хоккей по вечерам, — добавил я от себя.

Теперь мне приходилось писать напоминания мелкими буквами, чтобы они все уместились на экране моего бумажного компьютера напоминаний. Я заметил, что папа стал как-то тревожно следить за моими действиями.

— Это всё нужно, папа. Это ведь не я, это компьютер напоминаний тебе подсказывает, — сочувственно говорил я.

Папа вздыхал и подчинялся. Он всегда уважал технику.

И вот однажды я увидел у себя на столе другой компьютер напоминаний. Тоже из бумаги, но сделанный папой. Я узнал его почерк.

На экране была надпись: «Прибрать за ежом».

На другой день появилась надпись: «Исправить двойку по математике, прибрать на своём столе. И прибрать за ежом ХОРОШО».

Так и было написано крупными буквами.

И с тех пор началось. Мне стало казаться, что чем больше я стараюсь для папы, чтобы он ничего не забыл, чтобы всё успел, тем он нарочно больше заставляет меня делать и сильнее придирается.

Однажды я увидел экран своего компьютера почти полностью исписанным самым мелким и аккуратным папиным почерком. Я кинулся и схватил свой бумажный компьютер, чтобы разорвать его от злости на кусочки. Но в последний момент что-то как бы щёлкнуло у меня в голове. Ничего, конечно, не щёлкало, просто я слышал, что так принято говорить.

Я побежал в папину комнату и изорвал его бумажный компьютер на мелкие кусочки. А чтобы как-то объяснить, когда он придёт, оставил для него записку: «Атака вирусов».

Потом я сделал то же самое со своим компьютером. И даже нарисовал на бумажке злого вируса. Он вышел похожим на нашего ежа.

Вечером, осмотрев крохотные обрывочки и записку на своём столе, папа пришёл в мою комнату. Вирус, похожий на ежа, ему очень понравился. — Как же так?! — сокрушался папа. — Уничтожил оба наших компьютера! Что же теперь делать? Может быть, ты, Славка, починишь мой компьютер, а я твой?

— Нет, — сказал я. — Они не подлежат восстановлению.

— Понятно, — сказал папа и добавил: — Если что, среди взрослых это называется «социальный контракт».

— Нет, пап, это непонятно и не прикольно. Лучше пусть называется «война машин».

— Пусть, — сказал папа.

Синяя земляника

Летом я поехал в спортивный лагерь. Потому что меня записали в секцию гребли на байдарках и каноэ. У этой секции был лагерь за городом, на берегу моря. Возле спальных корпусов был ангар, в котором стояли жёлтые байдарки, и от них приятно пахло каким-то смолистым клеем. Тренер был весёлый дядька, говорил:

— Как перевернёшься, держись за байдарку и плыви к берегу.

Ещё там был один пацан — Дима Хорошилов. Он всё время хвастался. Рассказывал, где он побывал со своими родителями.

А спальня там была на пятнадцать человек. И после отбоя все начинали, кто во что горазд,

рассказывать. Про вампиров, полтергейстов, колдунов. Я пока был новенький, помалкивал. Я ведь ещё даже ни разу не перевернулся на байдарке, потому что меня сажали на четвёрку — самую большую байдарку — вместе с другими тремя пацанами. Четвёрку трудно перевернуть. А скользит она быстро, как будто летишь по воде. У меня в первый раз аж дух захватило, так это было здорово. Я теперь решил, что точно стану спортсменом.

И вот однажды вечером я расхрабрился и рассказал историю, как один мальчик поехал летом в гости к бабушке. В деревню. Это была такая маленькая совсем деревня, далеко от железной дороги. И добраться туда можно было только на автобусе, который ходил один раз в день. А рядом с этой глухой деревней была военная часть. Но теперь там стояли пустые казармы. Все солдаты и офицеры давно уехали. И в этот военный городок местные жители из деревни никогда не ходили. «А почему?» — спросил этот мальчик у бабушки. «Там нехорошо», — ответила бабушка. А он взял не послушался и пошёл один раз с другим пацаном из этой деревни.

— Они днём пошли или ночью? — спросил меня тот самый Дима Хорошилов.

— Днём, — сказал я.

— Днём ерунда, неинтересно, — сказал он.

— Не мешай, дай послушать, — крикнули ему другие пацаны со своих кроватей.

— Ну вот. Пришли они. Ничего особенного. Просто пустые дома стоят, казармы, и всё травой и кустарником заросло. Они там походили везде. Ничего интересного. Вдруг смотрят — земляника растёт за одним домом.

— Ой, как страшно! — засмеялся тот же Дима Хорошилов.

И все тоже заржали.

— Но земляника необычная. Синего цвета вся. Этот мальчик, который приехал, говорит другому: «Не трогай её, она, наверное, заражённая». А тот не послушался и взял несколько ягод. Попробовал, говорит: «Какая сладкая!» И они вернулись в деревню, а на следующий день тот пацан, который землянику ел, исчез. Нигде найти его не могли. А тот, первый, проболтался бабушке, что они ходили к военным. Бабушка как всплеснёт руками! Говорит, что ты, там военные опыты проводили с радиацией. И однажды все до одного исчезли. Только животные остались, которые у них на ферме жили, — куры. Ноги у этих кур вытянулись, и стали они ростом со страусов, а во рту острые загнутые зубы выросли, и стали они по лесу охотиться.

— На кого? — спросил кто-то.

— На волков, — ответил я, — и на людей. А потом тоже исчезли.

— Все у тебя исчезли! — сказал Дима.

— Нет. Когда этот мальчик уезжал, пошёл он на автобус садиться. А автобуса долго нет. Стало

смеркаться. Он уже хотел назад идти, смотрит — едет автобус. Ну, он обрадовался, хотел домой. Автобус пришёл, открыл двери, а из него выходит тот самый пацан, который тогда землянику съел и пропал, и говорит: «Садись, поехали». А автобус внутри совсем пустой. Только за рулём военный в форме сидит. Военный обернулся, а у него половина лица вся чёрная. Ну, этот пацан испугался и побежал назад к бабушке. Только на следующее утро уехал в город на нормальном автобусе. Приехал домой, смотрит — а у него руки синие, потому что он тоже землянику трогал. И с тех пор открылись у него сверхспособности. Стал он угадывать будущее и сквозь стены видеть. — Фигня, — сказал Дима Хорошилов и стал сам рассказывать про вампира, который жил в чёрном замке.

Потом кто-то рассказал ещё одну историю про ожившую мумию. Но я вроде такого уже много слышал, и меня клонило в сон. Помню, что занавесок у нас на окнах не было, я видел, как в небе взошла луна. И уснул.

А наутро оказалось, что сосед мой по койке — Дима Хорошилов — исчез. Какой тут начался переполох! Все бросились искать его. Тренер построил нас цепочкой, и мы прочёсывали окрестный лес и кричали:

— Дима! Дима!

Только я не кричал.

Знаете почему?

Потому что я и был тот самый мальчик со сверхспособностями.

Поверили? Правда, прикольно?..

А насчёт сверхспособностей — имейте в виду, что, может быть, я и не пошутил...

Соревнование

А в другой раз мы с пацанами спорили, у кого родители круче. Опять же больше всех выступал этот Дима Хорошилов. Типа, был он с родителями везде. В Таиланде, в Японии, в Малайзии, в Меланезии какой-то... Дальше я забыл. Он так долго рассказывал, что у него аж рот пересох, и он схватил стакан с водой и стал пить. А потом вдруг выплюнул всю эту воду фонтаном, мы еле успели отскочить, и то не все. А он кривится и говорит: — Там муха была!

Все засмеялись. А он плюнул на землю несколько раз и стал продолжать снова.

Потом другой мальчик, Вова Потапов, хвастался, какой крутой джип у его отца, почти что как «Хаммер», и старался показать его руками.

А я молчал, потому что я был только в Китае. А Китай у нас не считается. В Китае все были, потому что он близко и некоторые ездят туда просто на выходные или вообще пообедать с друзьями.

И про машину я тоже молчал, потому что лучше молчать, если твой папка ездит на старенькой «Тойоте Камри» с потресканным лобовым стеклом.

Я подумал, что вообще ничего не буду говорить. — А у моего папки пистолет есть настоящий, вот такой, — сам не знаю, как это вдруг у меня выскочило.

— Он чё у тебя, милиционер? — спросил, презрительно кривясь, Дима Хорошилов.

— Нет, — ответил я. Потому что не знал, что сказать.

— Значит, бандюган.

— Нет, он командир спецназа, десантник, — сказал я.

Я видел, что пацаны примолкли.

— И чё, он воевал? — спросил Вова Потапов.

— Конечно, — ответил я.

— А где?

Я чувствовал, что мне не стоит говорить, но, видя, что меня слушают, говорил и говорил. И чего только не понарасказал. И про захват террористов, и про освобождение заложников, и про ранения, и про то, что отец у меня мастер спорта по всем единоборствам и знает секретную борьбу, которой учат только в спецназе, и может выжить без еды в тайге двадцать дней, умеет стрелять в полной темноте на слух, разбивает ребром ладони три кирпича... — Ну-ну, — сказал Дима Хорошилов, — надо будет посмотреть на него, когда он за тобой придет.

И тут меня прямо в жар бросило, потому что я не подумал и только сейчас понял, что в эту субботу приезжают родители всех мальчиков смотреть наше показательное соревнование на байдарках. И я должен грести третьим номером на четвёрке. У меня пот выступил на лбу, и я кинулся с кулаками на Хорошилова. И вот тогда-то все пацаны точно поверили, что папка у меня действительно крутой мужик. Они решили, что я за него обиделся. А значит, это правда.

Я, по правде сказать, очень встревожился. Но потом вспомнил, что мой папа журналист, и у него всегда много дел, и никогда ни на что не хватает времени. Я вытащил телефон и позвонил маме. Спросил:

— Ты приедешь в субботу, мам?

— Как ты там питаешься? — спросила мама.

— Нормально. А ты в субботу...

— А самочувствие как?

— Нормально.

— Ты смотри там, не переохладжайся!

— Хорошо. Я хочу спросить. Мама, ты в субботу...

— Что тебе привезти?

— Да ничего не надо. Мама, ты в субботу приедешь?

— Нет, отец приедет, я не смогу...

Это была катастрофа...

Оставшиеся до приезда родителей три дня я ходил как во сне, отвечал невпопад, на тренировках грёб вразнойой с остальными.

— Может, ты заболел? — спросил тренер.

Я посмотрел на него с надеждой и сказал:

— Может быть...

Но в медпункте меня послушали, посмотрели горло, даже измеряли давление, и потом незлая полная тётка-доктор сказала, что я совсем здоров. А тренеру сказала:

— Бывает, дети по дому скучают, по маме с папой.

— Ничего, Славка! Завтра уже суббота, приедут твои папа с мамой, — ободрил меня тренер.

Я улыбнулся, изображая радость.

Папа у меня журналист и совсем не похож на военного. Он среднего роста, щуплый и в очках. «Ну почему же он такой?! — думал я в отчаянье все эти дни. — Почему он не занимался с детства спортом, как я, например? Почему не делает зарядку? Почему не ходит качаться в спортзал? Вот, полюбуйте, что теперь из этого всего вышло! Какие у меня теперь «грандиозные неприятности», как говорит иногда мой папа».

В ночь на субботу, после отбоя, я тихонько вышел и сел на деревянное крыльцо. Мне не спалось. Я смотрел на маленькую луну в светло-синем небе и слушал, как кругом без умолку и как будто волнами, поднимаясь и опадая, звенят цикады. Это такие жуки. Я в городе про них не знал. Было тепло, и я подумал: «Вот бы так всё время сидеть без всяких показательных соревнований, без всяких завтра... Вообще, зачем завтра? Если уже есть сегодня. Чтобы опять всё сначала: чистить зубы, умываться, если не лето, то — в школу каждый раз. Завтра нужно для того, чтобы стать взрослым, и тогда уже всё станет нормально насовсем». И я снова вспомнил про своё дурацкое завтра и даже зажмурился. И поклялся, что буду всегда говорить правду, а врать не буду, если завтра всё каким-то чудом сойдёт гладко.

И вот наступило чудо.

С утра пацаны больше обычного галдели в столовой. Все ждали соревнований. Тренер с полтенцем и секундомером на шее поторавливал нас. Так что в суматохе никто не заметил, что я ничего не ел. Потом вытаскивали байдарки из ангара, проверяли снаряжение. Я баковый гребец, то есть весло я держу слева. А наш загребной Толик Зайчук сказал мне:

— Ты сильно не старайся толкать, главное — на зацеп вместе с нами входи, одновременно.

Он всегда был такой серьёзный. На три года старше меня. Но доброжелательный. Пацаны его уважали. А сегодня он улыбался и совсем не нервничал, как другие. Ему вроде было как бы даже всё равно. Он отряхивал мокрые волосы, смеялся, обмахиваясь своим веслом, как веером, в то время как другие сосредоточенно разминались, делали движения и приседания.

И я спросил его:

— А твой отец придет?

— Вряд ли,— улыбнулся Толик.

— А почему?

— Он в тюрьме сидит.

«Ого,— подумал я— и потом с досадой:— Ну вот всем везёт!»

— Ну что, утрём сегодня нос Бандане?— спросил Толик, весело шурясь.

Бандана—это Костя Литовкин. Он классный гребец. Давно занимается. Может быть, даже самый лучший. Но такой всегда выступалистый. И любит покрасоваться. Обожает накручивать себе на голову красную бандану с чёрными черепами—типа, он всех круче.

А потом заиграла музыка, и мы пошли на торжественное построение. Это значило, что родители уже приехали. Их запускали организованно всех сразу и пешком. Машины они оставили вокруг забора лагеря, кто как сумел. А были и те, кто просто приехал на автобусе или на электричке. Я молился, чтобы мои родители приехали на электричке. Это ещё можно было бы как-то объяснить. А вот старую «Тойоту Камри» с ржавыми крыльями объяснить было нельзя.

Я сразу увидел в толпе родителей свою маму в платье в горошек и с чёрной сумочкой, а рядом с ней, в камуфляжной куртке, расстёгнутой на могучей груди, шагал, широко улыбаясь, дядя Петя—мамин брат. Это было настоящее чудо! Отца я заметил не сразу, он подотстал и брёл в толчее, протирая очки носовым платком.

Нам дали время поздороваться с родителями, и я, подбежав, кинулся на шею дяде Пете. Он весело удивился и закричал:

— Привет, племяш!

(К счастью, никто вокруг этого не услышал.) Потом я обнял маму. И нерешительно косился на отца, который стоял тут же, сунув очки в нагрудный карман рубашки, и улыбался, ожидая меня. — Ну, мне уже надо строиться,— быстро сказал я и убежал в толпу мальчишек.

Папа крикнул мне вслед:

— Слава...— а дальше я не расслышал.

На какое-то время я успокоился. А потом и во все обо всём забыл, когда мы стали рассаживаться в байдарки и выходить на стартовую линию. Она была отмечена буйками. Всего было семь экипажей. Наша байдарка стояла крайней. До берега было недалеко, и я слышал, как щёлкают на ветру флаги над трибуной. Толик, старший в нашем экипаже, обернулся и кивнул, указывая влево. Там Бандана, натянув свою бандану на самые глаза и надев тёмные очки, «накачивал» свою команду, кричал им что-то, но ветер уносил слова и смешивал их с обрывками музыки. Потом Бандана поднял согнутую в локте руку со сжатым кулаком и три раза как будто дёрнул за невидимый провод. Это у них знак был такой. На удачу. Толик Зайчук

приподнял своё весло от воды, плюнул на лопасть и растёр ладонью. А это у него такой был знак. Музыка оборвалась, и мы все смотрели на тренера, который стоял на пирсе с флажком в руке. С того момента, как упал флажок, я мало что запомнил, потому что смотрел только на вёсла, стараясь попадать «в зацеп» вместе со всеми, и два раза подряд не попал, так что байдарку завихляло, и я подумал, что мы перевернёмся из-за меня.

— Не смотри на вёсла! Смотри вперёд!— крикнул мне Толик.

А впереди я видел только его спину. Удивительное дело: смотрел я вроде Толику прямо между лопаток, но слева видел ритмично налегающего на весло Бандану, а справа трибуну, так чётко, будто она была нарисована, и я её не спеша разглядывал; я разглядел дядя Петю, который махал над головой фуражкой и что-то кричал, разглядел своего отца, который весь подался вперёд и так замер. А потом меня стукнули по голове и сказали:

— Хорош веслом махать, мы уже финиш прошли!

Потом ещё были соревнования двоек и одиночек, и я сидел и болел вместе со всеми и кричал, но мне как будто что-то всё время мешало. Потом вручали награды. В командном зачёте мы заняли второе место. И Бандана с ухмылкой смотрел на нас. Они заняли первое. А мне ещё дали отдельно грамоту, как участвовавшему первый раз в соревнованиях. И тренер пожал мне руку. Сказал: — Молодец.

А мне всё равно было не по себе, и я понял почему, только когда подошёл к родителям. Они собиралась уезжать. Мама и дядя Петя улыбались. Дядя Петя хотел обнять меня, но я спросил, уворачиваясь: — А где папа?

— Уехал, у него работа срочная,— сказала мама.

У меня на глаза навернулись слёзы.

— Ну вот, говорила я ему, что Славка расстроится,— в сердцах сказала мама.

— Нет. Он не виноват,— и я заплакал, кусая себя за губу, чтобы быстрее прошло и никто не увидел.

После отбоя все пацаны ещё долго обсуждали сегодняшние гонки. А потом, когда все уже устали и начали засыпать, Дима Хорошилов сказал мне: — Видел твоего батю. Здоровенный такой шкаф. В камуфляже. Круто,— добавил он с уважением.

— Да,— сказал я и, помолчав, добавил:— Только это не он.

— А кто?

— Это дядя Петя... его заместитель. Мой батя на нём приёмы отработывает.

Так я нарушил свою вчерашнюю клятву никогда не врать. Выходит, что я выпросил чудо, а потом обманул. И я стал ждать, когда чудо мне отомстит.

Правда о Дракуле

И оно мне отомстило за нарушенное обещание. Когда я вернулся домой в конце августа, оказалось,

что мой Дракула уже переселился в лес. Я загрустил. Почему-то я ждал встречи с ним. Но мама рассказала мне, как весело в лесу встретили его другие ежи. Как он тоже обрадовался встрече с ними. И что один из ежей, по виду самый старший, уступил ему свой домик, то есть норку. Мама очень весело рассказывала эту историю. А мне что-то показалось не так, показалось, что так не бывает. Но я ничего не сказал и старался думать, что так оно всё и было. Потом я пошёл гулять во двор и про всё забыл. Рассказывал пацанам про свой спортивный лагерь, а они мне рассказывали, где они были. Потом мы лазили по гаражам, играли в войну. А вечером, после ужина, я сидел и смотрел телевизор. Мама мыла посуду, папа что-то писал. По телику показывали программу про выдр. Было не очень интересно. А потом ведущий программы сказал, что выдры, воспитанные в питомнике, не могут больше жить в естественной природе, ну то есть в лесу. Они не привыкли и погибают. Я сидел и уже не слушал дальше, а потом заплакал. Папа обернулся, посмотрел на меня, потом на телевизор. Потом подошёл ко мне, обнял и сказал тихо: — Не бойся, он не погиб. Мама его в зоомагазине сдала. Ему хорошо.

Но я всё равно плакал.

— Ну хочешь, заведём нового? — не выдержав, спросил папа.

— Нет, — сказал я и отвернулся.

У дедушки

До конца каникул оставалась ещё неделя. Последняя.

А меня отправили к деду, помогать ему клеить обои.

Это странно: я обои никогда раньше не клеил. А как же я буду помогать, если я сам не умею?

— Вот и научишься заодно, — сказали мне родители.

Я, когда вырасту, обязательно научусь так говорить, что со мной будет бесполезно спорить. А пока стал собираться.

— С ночёвкой! — крикнули мне вдогонку, и у меня аж рот задрожал от обиды.

Вообще-то дед Данил (отец моего отца) у нас в семье самый прикольный. Поэтому его никто не любит. Дед Данил, когда немножко выпьет, кричит на всех родственников: «Смирна-а!» Он бывший военный, полковник в отставке. У него есть медали на кителе в шкафу. Вообще, у него много чего есть. Например, пластинки из пластмассы и проигрыватель. Он их иногда включает. Странная музыка.

— Это что, военная? — спросил я как-то.

— Олух, — крикнул дед, — это джаз!

Потом подозвал меня, погладил по голове и сказал:

— Папаша твой — остолоп, ничему тебя не учит.

Когда я был ещё во втором классе, дед выучил меня играть в шахматы. Когда мы с ним играем, он всегда убирает с доски своего ферзя и одну ладью, даёт мне фору. Раньше он убирал две ладьи. Но я всё равно всегда проигрываю. Правда, теперь мы играем долго. А раньше я проигрывал за одну минуту. Это называется киндермат.

Ещё дедушка Данил пишет стихи. Стихи у него такие сложные, что сам Пушкин так бы не смог написать.

В общем, я приехал к деду и позвонил в дверь. Дед открыл и уставился на меня.

— А где мамка твоя? — спросил он.

— Дома.

— А кто ж обои клеить будет?

— Я... ну, когда ты меня научишь.

Дед пнул ногой связку с рулонами обоев, что стояла в коридоре, и сказал что-то ужасно длинное и непонятное. А потом сказал:

— Заходи, помощник...

Но вместо того, чтобы клеить обои, мы сели играть в шахматы. Потом обедали. Дед у меня сам готовит себе обед. На первое борщ, на второе макароны по-флотски. И салат, где было очень много лука. — Ешь, ешь — зимой болеть не будешь! — сказал он, видя, что я поморщился.

За обедом дед налил себе из графинчика жидкость, похожую на чай, но не чай. Я знаю, это настойка. Выпил и сидел улыбаясь. Потом ему захотелось почитать мне свои стихи.

— Слушай! Вот недавно написал...

Я выпрямился. У нас все родственники напрягаются, когда дедушка читает стихи, потому что он одним глазом зорко поглядывает на слушателей, и не дай Бог кому-нибудь из них зевнуть или почесаться.

Дед откашлялся и надел очки.

С победою глупость вновь к власти пришла,
За шлагбаум народы она развела.

Уж Рузвельта нет, а наследник далёк

От мыслей Франклина. И Черчилль завлёт

Его Фултонским планом — Восток обуздать,

Агрессивный блок НАТО в Европе создать.

Но двойственна палка — и вот уж ответ:

в о с из Варшавы шлёт НАТО привет.

Запад и «Сэм» не сумели понять,

Что буфер хлыстом не должно заменять.

Советский Союз играл важную роль.

Для них это было — как на рану соль.

Совсем очевиден стал давний их план:

Рассеять в пространстве всю расу славян,

Блок братских народов развеять, как пух,

Впитавших давно героический дух...

«Вот даёт дед, — думаю, — ничего не понятно! Так бы даже Пушкин с Лермонтовым вдвоём не сумели, а деда мой — запросто!» Я хоть и не понимал, но слушал с гордостью за деда.

— Деда, это тебя в армии научили такие стихи писать? — спросил я.

— Нет, это Божий дар, — ответил дед, снимая очки.

— Классно, — сказал я.

— Что классно?! — закричал дед. — Ты же не понял ни черта!

Но потом успокоился и сказал:

— Вот подрастёшь, подучишься и тогда поймёшь...

Обед и чтение стихов утомили деда, и он задремал на диване, укрывши лицо газетой. А я от нечего делать пускал по квартире самолётики. У деда на столе лежала стопка бумаги. И я сделал много самолётиков. На одних нарисовал звёзды, на других немецкие кресты и пускал. Один из самолётиков летал лучше других. А потом он застрял на шкафу. Я тихонько взял стул, приставил его к шкафу, встал и потянулся за самолётиком. Там я нащупал ещё деревянную шкатулку. Я взял её тоже. Посмотреть. В шкатулке было несколько писем, перетянутых резинкой, золотое кольцо и завиток золотистых волос, завернутый в бумажку, и ещё монета с орлом на одной стороне и каким-то дядькой в профиль на другой. Тяжёленькая. В общем, ничего интересного. Солнце уже стало отражаться в старом трёхстворчатом зеркале, и я совсем заскучал, пуская самолётики, когда один из них клюнул носом газету, которой дед покрыл лицо. Дед заворочался и проснулся, посмотрел на меня строго. — А ты что здесь делаешь? Ах да... — сказал он. — Долго я спал?

— Ты спал, деда, как египетский фараон, целую вечность, — сказал я.

Дед взял со стола пачку папирос и стал искать спички.

— Деда, вредно курить, ты же сам доктор, понимать должен... — сказал я.

— Да, ты прав, — сказал дед.

— А почему куришь?

— Дурак, вот и курю. А ты будь умнее, не начинай.

Дед чиркнул спичкой и вышел на балкон.

— А ты на войне ведь был? — спросил я его.

— На какой? — ответил он, не оборачиваясь.

— Ну, на той, с фашистами.

— Господи! Мне семьдесят лет будет. Посчитай сам, мог ли я быть на той войне. Или теперь в школе и арифметику не учат уже?

— Ну а на какой же ты был?

— На разных. Ты и стран таких не знаешь.

— И ты людей убивал?

— Да ты что, Славка, очумел? Я же доктор. Я раненых оперировал.

Потом мы с дедом пошли в магазин покупать торт. Дед покупает торт, только когда я к нему приезжаю. Я просил ещё купить мне жвачку и сникерс, но дед посмотрел на меня сверху, нахмутив брови. Мы ужинали, потом пили чай с тортом. Потом сели опять играть в шахматы. Я спросил:

— А когда же обои клеить будем?

— Не отвлекайся, — сказал дед, — тебе шах! Молодец, — похвалил он, когда я положил своего короля на доску, — на сорок втором ходу.

— Ты что, считал?!

— Не нарочно, само отложилось... — сказал дед. — А зачем ты шкатулку трогал? — спросил он, только сейчас заметив на столе деревянную коробочку, которую я снял со шкафа.

— У меня самолётик на шкафу застрял, вот я и снял его вместе с ней.

Дед кивнул; видно было, что он не сердится.

— А что там за монета?

— Монета? — дед открыл шкатулку. — А... это золотой червонец, николаевский.

— Что, правда из золота?

Я взял поддержать и заново стал рассматривать монету. Я никогда не видел золотых монет.

— А это кто?

— Ну там же написано: император Николай Второй.

— Русский?

— О Господи... Японский!

— А можно мне её взять себе?

— Чего захотел, — усмехнулся дед. А потом сказал: — Подарю, когда ты у меня в шахматы хоть раз выиграешь.

— У тебя выиграешь...

— А ты постарайся. Поучись.

Дед встал, подошёл к шкафу, открыл дверцу и достал книжку.

— Вот когда прочитаешь всю — выиграешь у меня.

Книжка была старая, автор — иностранец какой-то, Левенвиш, но с русским именем Григорий Яковлевич. А напечатана аж в 1957 году. Наверное, ещё при этом императоре Николае Втором.

Потом мы стали готовиться ко сну.

— Иди в коридор, вычисти хорошенько ботинки себе и мне, потом в ванную — чистить зубы, — велел дед.

Перед сном дед читал мне вслух книжку про следователя, какого-то комиссара Мигрень, как он по жёлтым перчаткам нашёл преступника. А потом я уснул.

Смертельная болезнь

— Ну что, поклеили обои? — спросила мама, когда я на следующий день вернулся домой.

— Дед не захотел, — сказал я.

— Я же говорил, — сказал папа маме.

— Ну а что мне, всё бросить и в свой единственный выходной... — стала говорить мама.

— У тебя половина недели выходных, — выговорил папа чётко.

— Нет, это ты все дни сидишь дома!

— Я дома работаю!

— Ох, скажите, пожалуйста! — воскликнула мама.

— А когда жил Николай Второй? — быстро спросил я, видя, что они начинают ссориться.

Я думал, что смогу их отвлечь.

— Что? При чём здесь?! — крикнул на меня папа.

— Ты где это брюки вымазал? — крикнула мама.

А я правда поиграл немного в футбол с пацанами, прежде чем идти домой.

— Это я в футбол чуть-чуть... — честно сказал я.

— Кто тебе разрешил? Ты стал неуправляем!

В результате у мамы разболелась голова, и меня отправили в аптеку.

Я зажал деньги в кулаке и стоял на перекрёстке, дожидаясь, когда зажётся зелёный сигнал светофора. Всё было как-то всё равно. Вообще.

В аптеке было пусто и светло от белых прилавков.

— Дайте мне что-нибудь от болезни Крейцфельда — Якобса, — сказал я, высыпав горсть монет.

— Что?! — уставилась на меня аптекарша.

— Да всё равно. Что у вас есть?

— Мальчик, кто тебя послал за лекарством?

— Никто, — сказал я. — У нас в детском доме было обследование, я слышал, как они сказали, что у меня болезнь Крейцфельда — Якобса.

— Как?!

Я пожал плечами и улыбнулся. Аптекарша оглядела меня, задержавшись взглядом на выпачканных брюках.

— Завтра нас отправляют в больницу, но я хотел уже сегодня купить что-нибудь, чтобы быстрее поправиться, — сказал я.

— А сколько вас заболело?

— Да всего трое, — ответил я. — Это ерунда, не то что зимой, когда у нас все гриппом болели.

Я снова посмотрел на деньги, высыпанные горстью на блюдечко в полукруглом окошке.

Аптекарша пождала губы.

— В нашей аптеке нет такого лекарства, — сказала она.

— Ну ничего, — сказал я, — тогда дайте что-нибудь от головы, ужасно болит по ночам.

Аптекарша дала мне красную коробочку с таблетками. Я сунул её в карман.

— Подожди, — сказала она, — вот возьми ещё, — протянула мне клубничные леденцы.

— Спасибо, у меня больше денег нет, — сказал я.

— Бери-бери, — ответила она.

— Я стану спортсменом, — сказал я аптекарше на прощанье.

А она только смотрела, не отрываясь, как я шёл к двери.

Я вышел из аптеки и положил в рот два леденца. Светофор опять горел красным. Я улыбнулся. У папы есть диск, сериал про врачей, я оттуда много слов запомнил.

А это было самое лёгкое, потому что у нас в классе учится Борька Крейцфельд, страшный драчун, кстати.

Вечный двигатель

Теперь я читаю *две* книги! Не знаю, есть ли такой второй человек в мире. Раньше я читал в год, может быть, одну, а ещё раньше мне читали сказки родители. А сейчас я сам читаю две одновременно. Папа с мамой думают: не заболел ли я? Это шутка, так всегда говорят, когда кто-то делает что-то необыкновенное. Я чувствую, что и сам стал немного необыкновенным. Недаром я всегда подозревал, что у меня должны быть сверхспособности. Вот они, похоже, и открылись. Одну книжку я читаю про шахматы, чтобы выиграть у деду золотую монету. А вторая — это секрет. Она техническая или научная, ну, в общем, не детская. Её читать сложно, но я надеюсь, что она изменит мою жизнь и моё имя станет известно каждому школьнику. Я нашёл её случайно. Проходил мимо одного дома. А это была библиотека, и оттуда выбросили целую гору книг на улицу. Старьё всякое. «Наверное, решили новеньких купить вместо этого хлама», — подумал я. А потом, вечером, по телику говорили, что эти книги просто увезли на свалку, а в здании вместо библиотеки теперь будет... ну вот только я забыл, что там будет теперь. Так решили депутаты. Слово «депутаты», я тоже хорошо знаю, мой папа с ними часто встречается и пишет про них хорошие статьи. И вот я просто так, от нечего делать, подошёл и разглядывал эту кучу. Взял одну книгу. Она была раскрыта на странной картинке. Какие-то лучи, трубы, облака и два человека внизу, но всё как-то очень плохо нарисовано, так что ничего толком не понять. И непонятная подпись: «Гравюра 17 века». Начало у книги было оторвано, и конец тоже. Короче, вы не поверите, какие они дураки, что выкинули эту книгу! Я поглядел и понял, что там написано, как сделать вечный двигатель. Сначала я не понял, зачем его делать самому, если можно купить. А потом начал врубаться. Оказывается, их не продают нигде. А они очень ценные, потому что работают без бензина и вообще без ничего. Ну, чтоб вы хоть немного поняли, скажу, что на один такой двигатель можно спокойно выменять новенький «Феррари», а если чуток приборзеть, то даже два. Я там полистал бегло, смотрю — детали несложные, у нас такого хлама в гараже и на даче полно. Всякие шестерёнки, гирьки, колёса со спицами, как от велика... Я сунул книгу под куртку, принёс домой и спрятал у себя в столе.

Больше всего я боялся, что не пойму эту книгу и мне придётся спрашивать про всё непонятное у папы. Он вообще любит отвечать на мои вопросы. Даже когда работает над какой-нибудь статьёй, с удовольствием отвлекается и подробно мне рассказывает, как это было, например, когда я его спросил, что такое таблица Пифагора, в смысле, почему так называется таблица умножения. Папа рассказал мне всё про этого Пифагора: как он жил в древности, какие открытия сделал и как потом

от горя уморил себя голодом. И после этого, как мне показалось, папа даже с неохотой вернулся к своей статье. А я подумал про себя: «Да, таблица умножения ещё никого не сделала счастливым».

Но сейчас мне спрашивать не хотелось, мне хотелось сделать сюрприз. Представляете? Захожу я однажды домой и улыбаюсь так загадочно. А меня спрашивают: «Славка, ты чего улыбаешься? Небось, набедокурил что-нибудь?» А я говорю: «Пап, тебе там один депутат «Феррари» подогнал в подарок». Папа смеётся и говорит: «Славка, не валяй дурака...» А я говорю: «Ну, не веришь—сам посмотри». И он злится, но выходит со мной на улицу посмотреть. А там сверкает новенький «Феррари». Папа удивляется: «Что это такое?!» А я делаю такое лицо обычное и говорю: «Да так... Ничего. Выменял вот на вечный двигатель». Тут начинаются охи, ахи: дескать, Славка, да как ты сумел, как ты это сам всё понял и смастерил?! А я говорю: «А чё тут? По книжке разобрался...» Ну, тут вообще я не знаю что начинается. Но что-то очень хорошее. Даже такое хорошее, какого никогда ещё со мной не было. Я бросаю школу, потому что это теперь уже не нужно, и вечно собираю вечные двигатели, пока мне не надоест. А надоест мне, когда у меня появятся все вещи, которые я хочу. Конечно, парутройку вечных двигателей я соберу на подарок, например тётке Зое, потому что она подарила мне приставку «PlayStation», которую папа с мамой не хотели мне покупать. Деду вечный двигатель не нужен, он всё новое ругает. Я бы подарил Светке Однолюкю в благодарность за ежа, но она уехала.

В общем, я решил, что каждый день буду читать один час книгу по шахматам и два часа—про вечный двигатель. Но вместо этого два дня подряд читал только про вечный двигатель и прочёл её всю. Ну, до того места, где страницы оборваны. И тут я испугался: наверное, кто-то нарочно вырвал эти страницы и уже сделал этот *perpetuum mobile*—так это по науке называется. Но тогда бы про это передали по телику. Я смотрел телик весь день и немного успокоился. Пока тихо.

И вот что интересно: пока я читал книгу, мне было «ни черта не понятно», как говорит папа, за что его всегда ругает мама. А когда прочёл—всё стало понятно. Просто надо, чтобы всё время крутилось колесо и не останавливалось. Я даже удивился, зачем вообще было писать такую длинную книгу, если всё так просто. Там было, конечно, много всяких рассуждений—например, про внешние источники энергии и всякие начала термодинамики. Но я это пропускал. Я знаю, книжки полагаются писать так, чтобы обязательно было скучно, поэтому в них вставляют всякие описания природы. Я их всегда тоже пропускал, когда нас в школе заставляли. Да и зачем мне всякие начала этой термодинамики, когда самое важное—конец, результат? Конец—делу венец. Вот поэтому у этой

книжки и не было конца. Таинственно пропал. Это меня больше всего беспокоило, потому что вечный двигатель я планировал собрать только к концу недели. Я мог бы и раньше. Но знал, что не уговорю родителей поехать на дачу до субботы. А ну как до субботы объявится тот, кто вырвал последние страницы? Это меня тревожило, и чтобы успокоиться, я решал шахматные задачи из дедовской книжки. Я сначала путался во всех этих словах и особенно в цифрах, когда обозначаются ходы фигур, но потом привык. Отец ходил на цыпочках и шикал на маму, когда она звала меня ужинать. «То ли ещё будет, когда я в субботу построю вечный двигатель!»—думал я, ликуя.

И вот в субботу наступило долгожданное событие. Мы сели на электричку и поехали на дачу. Мои родители не могли понять, что со мной. Я не люблю дачу, там нет телевизора, компьютера. Дачу любит моя сестрёнка Маша. А её как раз не брали, потому что она простудилась. Я про неё раньше ничего не говорил, потому что про детей всегда сложно рассказывать. Что про них вообще скажешь? Что сказать про человека, который стоит час возле бочки под водостоксом, смотрит на голоставиков и разговаривает с ними?

Она очень просилась на дачу, даже плакала, но её оставили дома. И я вдруг подумал. Как же это я подумал тогда? Когда думал—было ясно, а сейчас сказать трудно. В общем, я подумал, что всё всегда происходит наоборот. Я это уже не в первый раз замечал. Я не люблю, а всегда езжу на дачу, а Маша любит, но её часто не берут. Надеюсь, что это кончится, когда пройдёт детство.

На дачу мы ехали почти час, и я всё время смотрел в окно на эту самую природу, которую так часто описывают в книжках. Природа состояла из деревьев, названия которых я не знал, и полей, где росла трава, разная по цвету и тоже без названия. Ну и всё. Ещё попадались всякие домики, в основном развалюхи.

На даче я улучил момент и незаметно шмыгнул в сарай. В сарае я отвинтил от старого велосипеда переднее колесо, навязал на спицы у обода гайки, потому что гирек, как показано на картинке, у меня не было. Я немного переживал, что гайки неодинаковые. И разноцветные верёвочки, которыми я привязывал, были тоже какие попало, какие нашлись, одни длиннее, другие короче. Пара верёвочек сползала со спиц, и я перевязал их на обод. Отошёл в сторонку, поглядел, подумал: добавлю ещё парочку—и порядок. Ну да, конечно, я торопился, мне не терпелось. Эту свою конструкцию я насадил на штырь, торчавший из верстака, и отошёл полюбоваться. Колесо было похоже на индейца с разноцветными перьями.

А когда оно завертелось, стало похоже на пожар с музыкой, потому что гайки звонко ударили по спицам. Я просто сильно его толкнул и смотрел.

Когда мне надоело смотреть, как оно крутится, я решил бросить секретничать и сказать папе, что изобрёл вечный двигатель.

Папа чистил на веранде картошку, когда я ему это сказал. Мама собирала в огороде помидоры. — Молодец, — сказал мне папа.

Так, будто я получил пятёрку в школе. И я тогда понял, что папа не понял.

— Он работает, — сказал я.

Папа бросил картофелину в миску, вытер руки о полотенце.

— Понимаешь, — сказал папа.

Я ждал.

— Человечество издавна стремилось изобрести дешёвый, а лучше — совсем бесплатный источник энергии. Но когда ты начнёшь изучать физику, ты поймёшь, что это невозможно.

— Вот хорошо, что я изобрёл его до того, как начал изучать эту физику, — сказал я.

Папа засмеялся, и мы пошли в сарай смотреть, как он работает. Папа по дороге улыбался и говорил мне:

— Ты не расстраивайся, над этим великие умы голову ломали — и всё без толку.

Я так и не понял, почему я должен расстраиваться.

А потом папа перестал улыбаться и смотрел на колесо.

Оно вертелось так же бодро, несмотря на то что одна из гаек с верёвочкой отвязалась и валялась на полу. Папа посмотрел на часы, а потом опять на колесо.

— Странно, тут какой-то фокус. Как ты это делаешь, Славка? — спросил папа растерянно.

— Никак. Само вертится, — сказала я.

Папа совсем растерялся и снова посмотрел на часы.

— И что же теперь делать? — спросил он.

— Ничего, пойдём ужинать, — говорю.

Папа шёл, понурившись, и бормотал:

— Противодействующая сила... действующая сила... равно длине, делённой на высоту, — при этом чертил пальцем в воздухе и потом вздохнул. — Совсем я физику забыл.

Ужинал папа без аппетита, и мама даже спросила, не заболел ли он. После ужина мы снова пошли в сарай смотреть на вечный двигатель. Маме пока не говорили. Колесо крутилось по-прежнему ровно и ходко. Мы смотрели десять минут. Мне было странно, что папа совсем не радуется.

— Это меняет всю картину мира, — сказал он.

Я оглянулся вокруг и даже выглянул за открытую дверь сарая. Папа зря волновался, всё оставалось по-прежнему, только темнее, потому что солнце садилось. Мы вернулись в дом, и я лёг спать с каким-то непонятным чувством. Вроде бы всё удалось, колесо вертится, а папа не рад. Среди ночи я проснулся и слышал, как папа

ходит по веранде, видел, как он зажигает спички и прикуривает. А ведь он давно бросил курить. Мне стало тоскливо.

Утром папа мне сказал:

— Через неделю приедем и проверим. Если будет крутиться... — тут он покачал головой, не зная, что сказать.

— Папа, хочешь, я разберу его? Только ты не нервничай, — сказал я.

— Теперь уже поздно, — ответил папа.

Несколько дней папа просидел за школьным учебником физики и не отвечал на телефонные звонки с работы. Я даже дал ему ту свою книжку, и он внимательно её читал, делая выписки. Решал какие-то уравнения и перестал бриться.

В среду вечером папа не выдержал и сказал мне:

— Поехали!

— Куда?

— Посмотрим, — сказал папа, и я сразу всё понял.

Мы сели в нашу старенькую машину и поехали. Всю дорогу папа объяснял мне про вечный двигатель. Начал с Архимеда и Галилея, дальше про какого-то епископа Уилкинса, про термодинамику, про которую я уже слышал, но всё равно не понимал, про всякие законы и вычисления. Потом папа посмотрел на меня и сказал:

— Ты представляешь, что будет, если всё это окажется неправдой, все законы физики?

— И что будет? — спросил я осторожно.

— Ну, во-первых, прекратит существование вся современная промышленность. Большинство изобретений человечества окажутся ненужными, потому что они работают на дорогом топливе. А зачем, если есть вечное движение? Все фабрики закроют постепенно. Способ получения энергии окажется так прост, что большинство людей останется без работы. Рухнет финансовый рынок, начнутся хаос и анархия.

— Это плохо? — спросил я.

— В сущности, это — конец света!

— Ого! — сказал я.

Теперь я начинал понимать, что я наделал, и вспомнил из книжки, что изобретателей вечных двигателей порой отдавали под суд. Теперь я понял почему.

— А школы тоже закроют? — спросил я.

— Школы?! — папа даже ударил ладонями по рулю. — Да какие школы?! Чему учить, если вся наука летит к чёрту? Пение и рисование оставят...

Я даже засмеялся от радости. Со школой было покончено! — как я и предполагал. Кроме того, с папиных слов выходило, что старые машины будут никому не нужны, и я смогу набрать их сколько захочу. А остальные пускай себе ездят на этих вечных двигателях с велосипедными колёсами и гаечками на шнурочках.

Мы подъехали к даче уже в сумерках.

Мы оставили машину у забора, прошли в калитку и пошли по дорожке.

— Смотри-ка, кто-то ободрал наши помидоры, — сказал папа, проходя по дорожке.

«И в такую минуту он думает о помидорах! — подумал я. — Всё-таки взрослые...» Но эту мысль я не успел додумать, потому что остановился: дверь сарая была распахнута настежь! Мы бросились внутрь — колесо исчезло. Пока я стоял, разинув рот, папа уже метался по сараю. А я и не пробовал искать. Я понял, что всё пропало.

— Пропали только металлические вещи, — сказал папа, — лопата, кирка, грабли, гвоздоёр. Это бомжи забрались и на металлолом утащили.

Назад мы ехали уже в темноте, мимо природо-рожных огней, и молчали. Я не знаю, о чём думал папа, а я думал, что если бомжи не дураки, то они не сдали мой вечный двигатель на металлолом, а может быть, наоборот — сдали, потому что они не знают, какая это уникальная вещь.

— Не расстраивайся, ведь ты можешь собрать другой, — сказал папа неуверенно.

И я, конечно, собрал, примерно через месяц. Но — вот странное дело — он не работал. Как я ни привязывал гайки, колесо всё равно останавливалось рано или поздно. Я не мог понять, в чём дело. И приходили на ум только папины мудрёные объяснения, что это невозможно по всяким там законам. Я понял только одно: что теперь все эти законы работали как положено, потому что я про них знал, а раньше, когда я не знал, они не работали, а колесо моё, наоборот, работало, крутилось. Я поделился с папой своими мыслями. Он выслушал меня серьёзно и сказал:

— Это, брат, субъективизм махровый.

Я хотел спросить папу, что такое «субъективизм», но спохватился и промолчал. А то из-за этого ещё что-нибудь работать перестанет, что я, может быть, изобрету.

Аркаша и золотая рыбка

Считается, что всем детям очень нравятся другие дети. Что им вместе ужасно весело. Так думают взрослые. Поэтому, пока я не стал взрослым, хочу сказать, что это неправда. Это собакам всегда нравятся другие собаки, и они обязательно играют или дерутся.

Ну вот, главное сказано.

А вообще эта история так начиналась:

— Надо на морского червя, — сказал папа, когда мы собирались на рыбалку.

Он затачивал о брусочек наши рыболовные крючки.

— Я помню, как мы в семьдесят втором году на плавленый сырок «Дружба» краснопёрку ловили, — сказал дедушка, выражая своё презрение к нынешней краснопёрке, которой вот подавая теперь морского червя.

— Смотри, Слава, завтра катер в шесть утра, — сказал мне папа, поглядывая на часы. — Поедем с тобой на мыс Песчаный, там, говорят, хорошо клюёт.

— Ох ты... ближний свет, — сказал дедушка. — Я помню, как она на Спортивной гавани в центре клевала, по двадцати штук за полчаса, ещё когда там рыбоконсервный завод стоял; а сейчас и на Песчаном без толку просидите.

— Да что ты каркаешь?! — рассердился папа.

— Ну ладно, ладно, — смирился дед, — хоть провертись, и то толк.

И мы поехали. Я очень люблю ездить на катере. Если бы я не решил стать спортсменом, я бы решил стать матросом. Я за свою жизнь путешествовал на поезде, на самолёте, на автобусе, конечно. Но катер лучше всего. И на катере лучше всего пахнет. Нет, не морем, а самим катером. Я не знаю, откуда у него берётся такой особенный запах. И капитан даже простого катера — это не то что водитель автобуса или машинист. Капитан может взять и уплыть куда хочет. Если ему всё надоест...

И вот мы встали утром, пришли на причал, взяли билеты и поехали. И всё было бы хорошо, если бы папа не пригласил с собой приятеля, дядю Геру. Я его давно знаю. Гера — значит Герман. Он нормальный. А в этот раз дядя Гера взял своего сына — Аркашу, которому было шесть лет, и он поэтому считал себя страшно взрослым и вёл себя выступонисто, прямо как избалованный ребёнок. Про всё-то он рассуждал, всё-то он знает. И взрослые, даже с соседних мест, слушали его, смеялись от удовольствия и хвалили его, хотя он нёс полную чепуху. Я даже в три года не был таким дураком, как этот Аркаша. Но всё было ещё нормально, пока он не начал приставать ко мне с разными вопросами. А в каком я классе? а умею ли я считать? а сколько будет миллион прибавить миллион?

— Два миллиона, — сказал я.

И он удивился, что я так быстро посчитал, и говорит:

— Ты врёшь, это будет сиксиллиард триллиардов, правда, пап? — посмотрел он на своего папу Геру, и тот, смеясь, ответил:

— Правда.

Я хотел сказать, он у вас и так дурной, а вы из него совсем дурака сделаете... Но не сказал. Потом Аркаша уронил мне на брюки своё талое мороженое и смеялся аж до хрюканья.

Наконец катер стал причаливать, и мы сошли по трапу на пирс. Толпа грибников, похожих на бродяг, в спортивных костюмах, с корзинами и рюкзаками, прошла мимо нас, и мы остались одни. Стали расчехлять удочки. Аркаша носился вокруг и чуть не запутал мою леску. Я молча вздохнул, и мой папа сочувственно улыбнулся, глядя на меня.

— Не кричи так, ты всю рыбу распугаешь,— сказал дядя Гера своему Аркаше.

Но он всё равно носился и орал:

— Рыба, рыба—я иду тебя ловить!

Дед был прав, поклёвки долго не было. Потом у меня клюнула у первого крупная краснопёрка, я стал тащить и успел увидеть её, сверкнувшую в воздухе, как лезвие, когда она сорвалась с крючка и шлёпнулась в воду.

— Ты не умеешь ловить!— кричал Аркаша так, что мне хотелось столкнуть его с пирса.

Потом одну краснопёрку поймал мой папа. И я за него очень обрадовался. Потом поймал дядя Гера. Потом опять мой папа, а только потом я. Пойманных рыб мы клали в садок и спускали на верёвке в воду, привязав верёвку к большому ржавому кнехту на пирсе, за который швартовался катер. Дядя Гера и мой папа в ожидании поклёвки негромко разговаривали о чём-то мне не очень понятном, о делах. Аркаша не мог сидеть спокойно со своей удочкой и всё время лез ко мне:

— Дай поддержать!

— У тебя своя есть,— отвечал я.

— Моя не клюёт.

— Это рыба не клюёт, а не удочка, удочка не может клевать,— говорил я.

— Ну всё равно—дай.

И я уступил, так было проще. Я сел на кнехт и стал, скучая, глядеть, чтобы Аркаша не упустил мою удочку в воду. И очень правильно сделал. Удилище стало гнутья, Аркаша вздрогнул, выпустил его из рук, но я успел перехватить, и он тоже уцепился своими ручонками, мешая мне правильно тащить, но всё же мы вытащили, и он всё кричал:

— Это моя рыба!

Боялся, что я заберу у него, когда я просто снимал её с крючка.

— Дай, моя!

И я уже знал, что произойдёт, когда дал ему в руки рыбу. Она согнулась пополам, разогнулась, выскользнула, упала на пирс и через секунду—в воду. Аркаша стоял, открыв рот, и мы все смотрели на него и ждали, как в кино смотрят—взорвётся или не взорвётся что-нибудь взрывоопасное. А дальше произошло необыкновенное: Аркаша улыбнулся и стал смеяться. Нам всем стало легче.

С этого момента Аркаша, кажется, совсем утратил интерес к рыбалке. Он сидел на краю пирса, болтая ногами, и улыбался, время от времени надувая щёки и изображая всякие звуки. То ли поезд, то ли самолёт, то ли взрывы, то ли музыку...

Мы наловили не слишком много. Солнце уже стояло высоко, и папа сказал:

— Шабаш, больше клевать не будет.

Дожидаюсь обратного катера, мы пошли испугаться. Аркаша бегал и брызгался на мелководье. А я нарочно уплыл подальше от него, и он мне

завидовал, что сам так не может, и кидался мокрым песком, но не мог докинуть до меня. А я нырял и снова долго плавал. Лежал, раскинув руки, на спине и смотрел на облака. И всё показалось очень хорошо. И даже Аркаша больше не злил меня, потому что я перестал на него злиться. Я заметил: от купанья в море у меня всегда хорошее настроение.

Когда я выбрался на берег и лёг животом на тёплый песок, Аркаша, шевеля пальцами ног и улыбаясь, сказал:

— А мне зефир в шоколаде купят.

Там, правда, был магазинчик неподалёку. И дядя Гера как раз туда отправился.

— Зефир в шоколаде только девочки любят,— сказал я.

Аркаша подумал и спросил:

— А мальчишки что любят?

— Я тоже подумал и сказал:

— Чипсы сырные и кока-колу.

Аркаша наклонил голову и стал щепочкой водить по песку, шевеля губами. «Дети любят делать что-нибудь бессмысленное,— подумал я,— им это интересно». Я подумал так и испугался: вдруг я уже вырос? Потому что я не сильно хотел взростеть. Так только, перед Аркашей показать себя старшим. Я тоже взял щепочку, совсем белую, вымытую морем и сухую, и стал рисовать ею по песку. Я раньше мог сидеть и часами медленно рвать бумагу, слушая и глядя, как она рвётся. И мне было хорошо. Я ни о чём не думал, только иногда удивлялся, как это я так сижу и ни о чём не думаю.

Тут я вздрогнул, потому что к нам сзади подошёл дядя Гера, я его как-то не услышал.

— Зефира не было, Аркадий! Купил тебе чипсов и кока-колы... Только ты маме не проболтайся, что я тебе эту химию покупал.

— А какие чипсы?—спросил Аркаша.

Дядя Гера, щурясь, посмотрел на пачку и сказал:— Сырные.

Я сам не понял, но что-то показалось мне странным во всём этом.

Аркаша, очень довольный, стал хрустеть чипсами и пить колу из бутылки. Поглядев на меня и на бутылку, он спросил:

— Хочешь?

— Нет,— сказал я,— ты туда слюней напускал.

— Это я у рыбки попросил, чтобы папа купил чипсов и колы,— сказал он между делом.

— У какой рыбки?

— У той, которую я отпустил. Она золотая.

— Это краснопёрка была,— сказал я.

— Нет,—убеждённо ответил Аркаша.—Золотая.

Я задумался и сказал:

— Ну попроси у неё ещё что-нибудь.

Аркаша задумался:

— А что?

— Ну,—сказал я,— пусть... настанет ночь!

— Зачем?—спросил Аркаша.

— Ну просто, чтобы проверить.
 — Я ночь не люблю, — сказал Аркаша, — меня спать заставят.
 — Хорошо, — сказал я, — пусть эта бутылка колы не кончается.

В бутылке было ещё наполовину колы.
 — Я больше не хочу, — ответил Аркаша.
 — Ладно, подожди, сейчас... Вот! — сказал я. — Пусть за нами обратный катер не придёт.
 — А зачем?

— Ну как? Тогда мы будем купаться до самого вечера, пока не придёт последний катер, или вообще останемся здесь и ещё завтра будем купаться и загорать.

— Ладно, — согласился Аркаша и стал снова шевелить губами и рисовать палочкой на песке.

Заметив, что я смотрю, он отвернулся.
 — Нельзя смотреть, — сказал он, — рыбка не решает.

Я тоже отвернулся.

А через полчаса мой папа скомандовал:
 — Подъём, ребята! Пошли на пирс, а то грибники все места на катере займут.

Мы стали собираться. И пока шли к пристани, уже был виден подходивший катер с толпой народа на корме. Я шёл, тихонько улыбаясь. А Аркаша канючил, что у него песок и камушки в сандалиях и ему плохо идти. Грибники с полными корзинами уже так плотно обступили край пирса, что сквозь них было не пробиться. Даже тем, кто высаживался с катера, они с трудом уступали дорогу.

Но тут над всеми зазвучал голос из капитанской рубки:

— Граждане пассажиры. На «Муссон» посадки нет.

И потом ещё раз:

— Катер неисправен, посадки нет.

В толпе поднялся возмущённый шум. А я даже удочку уронил.

— Так не бывает! — говорю.

А папа услышал и говорит:

— Бывает. Эти катера уже тридцать лет без капремонта ходят. У нас ещё и не такое бывает...

Короче, мы остались до вечера. Но погода испортилась, поднялся ветер, и купаться нам не разрешили. Почти всё время мы просидели под широким навесом местного магазина. Папа с дядей Герой разговаривали, и им было не скучно.

Я согласился поиграть с Аркашей в пятнашки и даже нарочно ему всё время проигрывал. Только для того, чтобы он согласился загадать ещё одно желание. Но Аркаша отказывался.

— Нет, — говорил он, — не буду. Это же последнее, третье осталось.

— Ну ты ведь всё равно два на ерунду истратил! — убеждал его я.

— Ладно, — наконец согласился Аркаша, — только не смотри.

Я с готовностью отвернулся и ждал, пока он что-то бормотал и чертил палочкой на песке.

— Всё, — сказал он.

Я обернулся.

— Ну?

— Что? — спросил он.

— Что ты загадал? — волнуясь, спросил я. — Ты обещал мне сказать.

— Я загадал всегда поступать правильно, — серьёзно, как взрослый, ответил Аркаша.

— Чего?.. — растерялся я.

Он повторил.

После этого я перестал с ним играть. И вообще почти всю дорогу до дома молчал. Но когда наш катер уже почти причалил к городскому пирсу, меня осенило, и я спросил Аркашу:

— Сколько будет один миллион прибавить один миллион?

Аркаша бойко ответил:

— Шесть сискиллиардов тысяч.

— М-гу, — говорю я.

А дома я первым делом, даже не раздеваясь, побежал, схватил калькулятор и набрал: «1 000 000 + 1 000 000 =». Тут же высветился ответ: «2 000 000».

Я облегчённо вздохнул.

Обман

Иногда мне кажется, что папа любит меня больше, чем мама. Он редко проверяет у меня уроки, не ходит в школу на родительские собрания и не гонит спать в половине десятого. Мама говорит ему, что он совсем не воспитывает ребёнка. А мне это как раз и нравится. Мама, конечно, не жалеет сил для моего воспитания и жалуется, что меня воспитывать трудно, а папа говорит, что он самоустранился. С папой мы только рисуем, играем и гуляем. Я уже стесняюсь, когда он по старой привычке хочет взять меня на улице за руку. Ведь я уже не маленький. Папа не обижается, он мне многое прощает, и, кажется, я знаю почему. Потому что однажды я спас папу от медведя. На самом деле этого не было, но папа думает, что было. Вернее, он тоже знает, что медведя никакого не было, но он не знает, что я об этом знал. Короче, сложная история. Лучше я расскажу её по порядку.

Однажды, когда я был маленький, я заболел. Я тогда ещё не ходил в школу. Ходил в детский сад, в подготовительную группу. То есть это, значит, был последний год перед школой. И вот я заболел какой-то странной болезнью. У меня вроде ничего не болело, но всё было ужасно неинтересно, ничего не хотелось и иногда рвало. Я почти не ел. Меня повели к доктору, и доктор сказал, что у меня болезнь Боткина. Хоть мне и было всё неинтересно, я немного насторожился: как это может быть, чтобы у одного человека была болезнь другого человека, да ещё незнакомого? Никакого Боткина я не знал. У нас в садике был мальчик Бобрин Витя, а

Боткина не было. И меня повезли в больницу. Я до этого лежал в больнице, но так давно, что уже не помнил этого. И вот я понял, что меня оставят в больнице одного, и старался не плакать. Всю мою одежду забрали, и я сидел в пустом коридоре на длинной деревянной лавке и ждал, когда санитарка принесёт мне пижаму. Было холодно, но я считал, что это уже не важно. А потом в этой мешком сидевшей и почти не сгибавшейся на мне пижаме и тапочках с номером пошёл в палату. В палате было пять мальчиков и высокое узкое окно, из которого было видно пустырь за больницей. Мальчики все были старше меня, и в первый же вечер я подрался с одним из них. Не помню из-за чего. Он сказал что-то обидное. Вообще, они говорили много такого, что я не понимал совсем или только догадывался. Но точно чувствовал, что это обидное, и мы подрались, он же первый и начал. А тут как раз в палату вошла медсестра, и драка наша закончилась вничью, потому что мне пришлось ставить капельницу. Я раньше никогда не думал, что в больницах детям запросто втыкают иголки в руку и заставляют с этой иголкой лежать целый час. Потом я привык и понял, что это почти не больно. Но тогда сильно испугался и не заплакал только потому, что вокруг меня, улыбаясь, смотрели мои новые враги.

А через пару дней мы почти подружились. Но держать себя надо было настороже, потому что когда я засыпал, кто-нибудь из пацанов, набрав воды в рот, подкрадывался и выплёвывал эту воду мне в ухо. Это была просто шутка, они и друг с другом так шутили. Тырили друг у друга сладости, а у меня забирали банановый сок, если я не успевал его сразу выпить.

Родителей к нам не пускали, потому что больница была инфекционная. Родители только приносили передачу и подходили к окошку с улицы, чтобы поговорить недолго.

— Это что? К тебе дедушка приходил? — спросили пацаны, когда папа пришёл проведать меня.

— Нет, папа, — сказал я.

А они стали смеяться, почему он такой старый. — Он не старый, — обиделся я.

Папа у меня действительно старше моей мамы лет на десять, кажется, но он совсем не старый.

По вечерам пацаны рассказывали, как водится, страшилки. И один мальчик выдумал, что вокруг больницы по вечерам ходит медведь. Все слушали, но никто ему не поверил, конечно.

А я стал стесняться, когда ко мне приходил папа. Вернее, я даже не стеснялся, а боялся, что пацаны как-нибудь его обидят, назовут старым или дедушкой. Поэтому я всё время торопил папу и просил его уже идти домой. Папа даже стал немного обижаться. Он подумал, что я не хочу с ним разговаривать, а это было совсем неправда, и тогда я выдумал другую неправду: я сказал ему,

что пацаны говорят, что здесь по вечерам ходит медведь. Пацаны были счастливы, что я такой глупый — поверил в медведя, и не мешали мне говорить с папой, наслаждаясь, что я такой дурак. А папа был растроган моей заботой и действительно уходил раньше, чтобы я за него не тревожился так сильно, а он видел, что я по правде тревожусь.

Так папа до сих пор и думает, что я тогда спасал его от медведя. А я так и не рассказал ему правду. И вот странно: я думаю, что это правильно. Хотя все говорят, что быть лгуном нехорошо.

Свитерок

Папа с мамой собирались в гости. Мама надела длинное платье, сделала причёску, потому что они шли в ресторан. А папа ничего не сделал. Он даже не оделся, а только сидел на стуле в расстёгнутой рубашке и повторял:

— Что же ему подарить?

Они шли на юбилей одного папиного друга, дяди Геры.

— Я не могу подарить ему ручку «Монблан», — говорил папа. — Во-первых, она ему не нужна, она всё печатает на компьютере, а во-вторых, у него уже есть, а в-третьих, у меня нет на неё денег. — Третьего достаточно, — улыбнулась мама.

— Ну а если подарить ему диктофон? Ему же нужен для работы? — спросила мама.

— Нет, — сказал папа, — у него есть.

— Подарите ему свитерок, — сказал я.

Родители посмотрели на меня, а я сидел с невинным, как говорят про детей, лицом, даже без улыбки.

«Неужели так и не вспомнят?» — подумал я.

Это был полтора года назад, на мой день рождения. Мамина подруга, тётя Полина, ещё за месяц до этого сказала мне:

— Я подарю тебе нечто необыкновенное!

— А что? — сразу спросил я.

— Это секрет, — сказала она. — Подожди.

И я ждал. Я до того дождался, что мне по ночам снилось «нечто необыкновенное». Я старался узнать у мамы побольше о тёте Полине. Я спрашивал невзначай, где она живёт, кто её муж, сколько лет её сыну или дочке. Мама любит поболтать про своих подруг, поэтому как-то раз, за гладкой белья, рассказала мне всё про тётю Полину. Я уже всё понял, и мне стало неинтересно, а мама всё продолжала рассказывать, переключившись уже на воспоминания о том, как они с тётёй Полиной учились в институте на одном курсе. А узнал я главное: муж у тётки Полины — большой начальник в пароходстве, а детей у них вообще нет. Вывод из этого мог быть только один: мне подарят квадроцикл. У меня сердце так билось, как будто я совершил великое открытие. «Где же я буду его держать? — перепугался я. — Ведь у папы в гараже так мало места».

Во дворе я стал держаться по-другому. И, не выдержав, сказал приятелю Пашке, что скоро у меня будет квадроцикл. Пашка не поверил, но я ему рассказал, в чём дело, и Пашка перестал сомневаться. Правда, ему я сказал, что тётя Поля мне уже прямо пообещала. Мне самому так казалось. И тогда Пашка поверил. И все пацаны уже просили у меня покататься и заискивали передо мной.

И вот настал мой день рождения. Тётя Полина пришла с букетом роз, про которые я подумал, что это уже лишнее. Но так положено у взрослых. Розы она подарила моей маме, поздравив её с «новорождённым». Потом тётя Поля, улыбаясь, посмотрела на меня. Правую руку она держала за спиной. Я уже знал, что в ней ключи от квадроцикла. Но почему-то вместо них оказался целлофановый пакет, а в пакете свитер. Я не мог понять ничего. А моя мама стала восхищаться, разглядывая подарок: — Какой дивный свитерок!

— Из ангорской шерсти, — сказала тётя Полина.

А когда гости разошлись, был скандал. Оказывается, я даже не поблагодарил тётю Полину за её подарок; оказывается, я надулся и весь вечер сидел как сыч; оказывается, тётя Полина очень из-за меня расстроилась, она так старалась, сама вязала этот свитерок, у неё нет детей, и ей хотелось связать этот свитер, может, как будто собственному ребёнку, с такой же любовью, а я отнёсся к её подарку так неблагодарно. Всё это мне высказала мама, а потом меня даже поставили в угол. В день рождения — и как маленького! Я стоял в углу и думал, что простою в нём нарочно всю ночь; даже когда мне скажут идти спать, всё равно буду стоять в углу, пока не упаду и не умру. А потом я вспомнил, что завтра я выйду во двор и все пацаны будут ждать, где же мой квадроцикл. И тогда я не выдержал и заплакал. Услышав, что я плачу, мама подошла ко мне и сказала:

— Ну вот, теперь ты осознал, как больно ты сделал тётю Полине...

А я только плакал и дал маме отвести себя в кровать.

Я уснул, и мне, как назло, приснился квадроцикл. Приснилось, что всё это был сон, и на самом деле, мне, конечно, подарили квадроцикл, и я катаюсь на нём по двору. Только он почему-то без мотора, и мне нужно крутить педали...

И вот сегодня я сказал:

— Подарите ему свитерок.

Папа и мама посмотрели на меня, потом друг на друга, как бы ища подсказки. Они не вспомнили, они ничего не вспомнили — ни про свитерок, ни про тётю Полину, ни про моё наказание. «Значит, всё это было не важно?!» — удивился и одновременно обиделся я. То есть, значит, то, что прошло, оно уже не важно? Я растерялся: так это или не так?

А папа с мамой ещё долго рещали, что же подарить дяде Гере, а времени у них оставалось всё

меньше, и они оба нервничали, когда папа вдруг просиял, хлопнул себя ладонью по лбу и сказал: — А давай подарим ему альбом репродукций Рериха!

— Какой альбом? — спросила мама.

— Ну тот, такой большой, — сказал папа и кинулся искать его на книжных полках.

Наконец он вытащил с самого верха большой тяжёлый альбом и сдул с него пыль, взвизнувшая, как пудра.

Мама посмотрела на альбом и сказала:

— Да. Но ведь это ты мне его подарил.

— Да? — сказал папа и нерешительно добавил: — Но ведь он тебе, кажется, больше не нужен...

— Ну почему? Нужен, — сказала мама обиженно.

— Ну ты ведь даже не помнила о нём, — сказал папа.

— Нет, я помню, это было на годовщину свадьбы, я просила подарить мне серьги с сапфиром, а ты сказал тогда, что даришь мне вещь, в которой есть и сапфиры, и яхонты, и бирюза, и горный хрусталь... что-то в этом роде.

Папа как-то поник, и отвернулся, и почесал себе ухо.

В общем, они чуть не поссорились и так ушли, не выбрав подарка. А книга осталась лежать на столе. Я пролистал её от нечего делать. Мужик умел рисовать только горы, а это самое лёгкое, и потом их раскрашивал. Людей тоже рисовал, но люди у него получались хуже.

Я взял лист ватмана и тоже нарисовал, а потом раскрасил, пока подогревал себе бульон, который мама для меня оставила на плитке.

Мама с папой вернулись поздно, когда я уже спал, они пришли весёлые, вспоминали что-то и оба смеялись. Мне принесли кусок торта, и утром, когда я ел этот торт на завтрак с чаем, я спросил папу:

— Ну так и что вы всё-таки ему подарили?

— Да те маски африканские, что лежали в гараже, — мимоходом ответил папа, и они с мамой снова стали смеяться, вспоминая прошедший вечер и кого-то из гостей.

Бурунди-Суся

А я вспомнил эти маски. Я ведь вам ещё не говорил про дядю Витольда, папиного приятеля. Дядя Витольд — моряк. Он очень большой и всегда разговаривает громко. Сначала я его даже боялся. — Что, Славка, много двоек получил? — спрашивал он меня и, даже не дождавшись моего ответа, кричал: — Ремня ему надо по попе! Как нас воспитывали? — обращался он к папе и, не дав ему ответить, продолжал: — У меня отец контуженный с войны вернулся, я его как огня боялся, ну и учился, не дай Бог тройку получить!

Но при этом дядя Витольд всегда приносил мне полные карманы конфет и ещё какую-нибудь игрушку — машинку или самолёт, или мультфильм

на диске. Так, скоро я понял, что он совсем не злой, а просто говорит громко. Главное, что мне по-прежнему не нравится в дяде Витольде, это то, что он сажает меня к себе на колени. Он говорит моему папе:

— Какой у тебя пацан! Я всю жизнь хотел пацана, а у меня одни девчонки...

Это он про своих детей, ну и я как бы его прощаю, но всё равно мне не нравится сидеть у него на коленях, как будто бы мне пять лет.

Ну, в общем, это всё долго; я только хотел сказать, что дядя Витольд подарил нам эти маски, потому что его жена из дому выгнала. Взрослые вообще такие темы при мне не обсуждают, но я случайно услышал.

Дядя Витольд купил в Африке маски «ручной работы», как он повторил раз десять, а его жена сказала, что они «дьявольские», а он не любит, когда ему говорят что-то против, и они поссорились, но жену он любит, поэтому пообещал ей маски сжечь. Но у него «рука не поднимается», говорил он, потому что искусство, особенно народное, он всегда уважал. И тогда мой папа сказал: ну, принеси их мне,—и дядя Витольд очень обрадовался и принёс. Когда моя мама увидела эти маски, она уронила на пол заварной чайник и закричала, чтобы папа унёс их поскорее. Но папа стал говорить, что это мешанство и бабские страхи и ещё много слов, которые я не знал и на которые мама обижалась, и они оба уже кричали друг на друга, и папа вместо того, чтобы повесить их, эти маски, в гостиной, унёс к себе в кабинет.

— Все женщины одинаковы,—сказал папа.

Что особенно обидело маму.

— Видишь, с того дня начались наши несчастья!—потом говорила мама.—Неужели ты не слышал про ужасных колдунов Африки? Даже фильм такой есть!

Папа только утомлённо закрывал глаза и отвечал:

— Да. Так проще. Свалить все наши неприятности на колдунов Африки. Замечательно.

Узнав, что эти маски настолько колдовские, что в это даже верят взрослые, я очень обрадовался и почти каждый день просил у этих масок что-нибудь. Маски были из дерева, с прорезанными ртом и глазами, на голове у одной маски сидел ещё вдобавок маленький человечек. Видно, её сын. Эту маску мама считала особенно ужасной. Поэтому я решил, что она надёжней, и обращался именно к ней.

Сначала я попросил просто так, я даже сам не верил. Я попросил, чтобы меня не спросили по русскому языку стихотворение, которое я не выучил. И меня точно не спросили. Я решил попробовать что-нибудь более сложное и попросил, чтобы меня не спросили ещё раз. И меня опять не спросили.

Тогда я попросил, чтобы отменили контрольную по математике. И наша училка заболела в тот день.

Моя сестрёнка Маша заметила, что я разговариваю с маской.

— А о чём ты говоришь с Сусей?—спросила она.

— С каким ещё «сусей»?—спросил я.

— Я его так называю, этого деревянного человечка.

Странно, но я тоже придумал маске имя: по моему маску звали—Бурунди.

— Мама молится Богу и называет его Иисусе, а у меня мой, детский бог—Суся,—сказала Маша, показывая на маску.

— Ладно, ты называй как хочешь, а для меня он Бурунди,—ответил я.

— Как бурундучок?—засмеялась она.

— Да, да...—отмахнулся я.

— А зачем ты ему в рот суёшь бумажку?—спросила она.

А я всегда для верности писал свои пожелания на бумажке, свёртывал трубочкой и толкал в круглый рот маски, пока бумажка не провалится внутрь—там было много места между полостью маски и стеной.

— А я не умею писать,—сказала Маша, когда я объяснил ей про свои желания на бумажках,—вот, дай ему!

Она держала в руках карамельку.

— Сунь ему в рот.

— Зачем?—спросил я.

— Чтобы он лучше исполнял желания,—сказала Маша.

— Думаешь, он любит конфеты?—усмехнулся я.

— Их все любят,—ответила Маша уверенно.

— Ладно, давай,—сказал я, протолкнул в круглый рот конфету и услышал, как она там стукнула внутри.

Так у нас и пошло. Теперь мы с Машей по очереди говорили свои желания. Иногда я писал Машины желания на записках, ей тоже так хотелось. Кроме конфет, мы бросали в маску ещё пластики жвачки, мелкие монетки. Бурунди работал неплохо. Были, конечно, осечки. Но у кого их не бывает? Я чувствовал давно, что Бурунди нельзя просить о чём-нибудь большом и по-настоящему прекрасном—например, о том, чтобы сгорела наша школа. А когда Маша убила меня, что Бурунди любит карамельки, я понял, что так оно и есть,—Бурунди может выполнять только маленькие просьбы. Видно, он действительно детский бог. Иногда он уставал, и тогда мы с Машей давали ему передышку. И вообще, мы договорились загадывать ему желания по очереди. Так выходило надёжней. Мои дни были—понедельник, среда, пятница, а Машины—вторник, четверг, суббота. По воскресеньям у Бурунди-Суся был выходной.

— А когда у него день рождения?—спросила однажды Маша.

— Этого мы уже никогда не узнаем,—сказал я.

В самом деле, не можем же мы взять и поехать в Африку, найти мастера, который выточил нашего Бурунди, и спросить у него, какого числа это было.

— Тогда пусть будет сегодня, — сказала Маша.

— Почему сегодня?

— Потому что у меня есть для него подарок. Я подарю ему свои бусики. И ты тоже что-нибудь подари.

Я думаю, день рождения нашего деревянно-го друга мог пройти хорошо, если бы Маша не сказала нашей маме, что «сегодня у Суси день рождения».

Мама, естественно, спросила, кто такой этот Пуся или Суся.

А вот того, что будет дальше, никто из нас предположить не мог. Маша испугалась, и даже я испугался. Особенно когда мама руками стала отрывать маску от стены и наружу посыпались все эти конфеты, монеты и прочие подношения. А мама плакала и кричала, что её дети — идолопоклонники. Раньше меня называли лодырем, иногда лгуном, двоечником. Но идолопоклонником я ещё не был. И чувствовал, что это страшно. Маму буквально трясло от негодования, и я боялся, что ей придётся вызвать врача. И врач, может быть, защитит нас, потому что когда мама сорвёт, наконец, со стены маску, она примется за нас с Машей. Маша плакала, хватала сзади маму за платье и тоже кричала ей со слезами:

— Не трогай Сусю, он хороший, ему же больно!

Мама, обернувшись, так глянула на Машу, что я испугался ещё сильнее и подумал, не убежать ли нам с Машей во двор. Я до этого смотрел как-то ужасно про бесноватых родителей, которые хотели убить своих детей и гонялись за ними по дому с топорами. В них там вселился какой-то дух. Но в жизни ведь так не бывает, успокаивал себя я и не мог успокоить. Тут за моей спиной хлопнула входная дверь, и я вздрогнул от этого так, что ударился головой об косяк. Я подумал... уже не знаю что. Но это, оказывается, пришёл с работы папа.

Папа не любит, когда хозяйничают в его кабинете. Он даже снял очки от изумления. А потом крикнул на нас с Машей:

— Ну-ка марш отсюда!

Мы обрадовались, что можно убежать, и убежали. А папа вошёл в комнату и захлопнул за собой дверь. Мы даже подслушивать боялись и сидели на кухне.

В тот же вечер Бурунди-Суся и другая маска, без имени, отправились в гараж. Мы с Машей боялись задавать родителям вопросы. Даже друг с другом об этом не говорили.

Только через месяц Маша, узнав, что мы с папой идём в гараж мыть машину, отозвала меня в сторонку и тихонько сказала:

— Вот, передай там нашему другу...

Она протянула мне украдкой две карамельки и свои детские голубенькие бусики. «Какому другу?» — хотел спросить я, потому что уже почти забыл про Бурунди. Но сейчас же вспомнил и не спросил. Я кивнул и спрятал её подарки в карман. Да, думал я по дороге, фигово, когда ты приехал из самой Африки и тебя никто не любит, а тем, кто любит, запрещают это делать. Наверное, одиноко.

— Ничего, чувак, — сказал я, отыскав в гараже маску.

Она валялась в углу и маленько потемнела от сырости.

— Они просто считают, что ты идол. Не расстраивайся, меня, бывает, в школе ещё похлеще обзывают, — сказал я и отдал ему подарки. — Держи, это без всяких желаний, по-корейски...

Три розовых свиньи и скворечник

У нас в школе объявили конкурс поделок. А я не знал, что это такое, и немного испугался. Оказалось — ерунда. Просто нужно что-нибудь сделать. Ну там, из дерева, картона или даже из пластилина.

Узнав, что всё так просто, я спросил:

— А можно ничего не делать?

И, конечно, сказали, что нельзя. Сказали, это ваш «технологический проект», и я опять не понял. Но мне объяснили, что «технологический проект» и поделка — это одно и то же. Это потому, что труды, в смысле — уроки труда, у нас называются «технология». Я сразу посчитал и смекнул, что можно купить в магазине швабру и сказать, что я её сделал, тем более что до этого на трудах мы делали швабры. Но папа и мама сказали, что это обман и так нельзя поступать.

— Ты должен развить своё творчество, — кажется, так мне сказали.

Я лежал вечером в кровати и думал: «Лепить я не люблю, вырезать из бумаги тоже, склеивать ровно у меня не получается. И главное, я не могу даже придумать, что мне лепить, вырезать и склеивать». И тут меня осенило! Я вспомнил, что в прошлом году у моей сестрёнки Маши был конкурс, типа такого же, в детском саду, и Маша заняла первое место. Она сделала свинью. Свинья была из яйца. Снизу к яйцу были прилеплены пластилиновые ножки, спереди пяточок и два уха, а сзади хвостик. «Работы на пять минут! И первое место обеспечено», — подумал я и уснул довольный. А если я сделаю двух или даже трёх свиней, причём из пасхальных яиц, ну, в смысле, покрашу их, как на Пасху, розовой краской, свиньи же розовые, то вообще займу все первые места. На технологический проект надо было подать заявку, и на следующий день я её подал, написал: «Три розовых свиньи». Наш учитель по трудам, Валерий Павлович, прочитав, сам сделался розовым и закричал:

— Это что такое, Шуккин?!

— Это будут такие свиньи из яиц,— робко ответил я.

И тогда уже весь класс заржал.

Тут уже я покраснел, как сто свиней.

— Нет. Ты будешь делать скворечник,— сказал наш учитель труда.

Дома папа сказал мне:

— Это хорошо. И куда полезней, чем какая-нибудь игрушка. Птицы будут жить.

— Нужно представить технологический проект,— сказал я.

— Чего?— не понял папа.

— Скворечника.

— Сделай этот скворечник им, и всё,— отмахнулся папа.

— Я не умею,— сказал я.

— Чему тебя на трудах учат?!

— Швабру делать,— отвечаю.

— Всё, отстань!— сказал папа,— у меня срочная работа, разберись как-нибудь сам со своим скворечником.

Я расстроился и пошёл к маме. Мама у меня любит шить, умеет кроить, а это почти как чертить. Вместе с мамой мы начертили скворечник, указали размеры, ну там, длина высота и всё такое. Дырка для птиц получилась особенно хорошо, идеально круглая. Мама ещё красиво нарисовала весёлую птичку, которая уже летит в этот скворечник, и я, тоже весёлый, понёс свой проект в школу.

Учитель труда зачеркнул красным карандашом нашу весёлую птичку и внизу нарисовал двойку. А под ней написал свои замечания: «Нет списка материалов и экономического расчёта» Моя мама так обиделась, что сама пошла в школу и вернулась совсем растерянная. Она принесла с собой образец «проекта». Оказывается, там нужно было всё-всё перечислить, доски какого размера, из какой древесины, какие использовать шурупы, указать порядок сборки материалов, их цены, а кроме этого, все используемые инструменты.

— Ого!— сказал папа.

— От этого конкурса зависит годовая оценка по труду,— сказал я.

— Да что у вас за гимназия?!— воскликнул папа.

— Номер один,— робко подсказал я.

— Так,— сказал папа,— отправляйтесь в магазин «Садовод», купите там этот чёртов скворечник, а я напишу к нему этот чёртов «проект».

— А можно не ругаться при этом?— спросила мама укоризненно, и мы с ней поехали в магазин.

— Да, слишком хорошо он сделан,— сказал папа, хмуро оглядывая новенький скворечник,— не поверят, что это наш Славка его смастерил. Сейчас поправим,— сказал папа, бросил скворечник на пол и несколько раз сильно пнул по нему ногой.

— Правда— крепкий!— удивился папа.— Несите-ка молоток.

— Ну к чему это правдоподобие?!— восклицала мама, схватившись за виски, пока папа лупасил молотком по скворечнику.

— Ну вот... Так уже лучше...— сказал папа, разглядывая слегка покривевший домик для птиц.— А вот тут шкуркой вмятины от молотка зачисть— типа, ты старался,— сказал мне напоследок папа.

На другой день я отнёс свою поделку в школу, и все мы ждали, что из этого выйдет. Через два дня учитель труда возвратил мне мою работу.

— Сделано нормально, вижу— старался, на четыре с минусом,— сказал он.— Но нет дневника сборки. Чем ты слушал? Я же всем говорил, что нужно вести дневник сборки!

Когда я появился на пороге со скворечником под мышкой, родители замерли.

— Что это ещё за «дневник сборки»?— спросила мама.

Я объяснил, как делали другие дети. Их родители фотографировали от начала до конца, как эти старательные дети, чертили, пилили, строгали, привинчивали и так далее. И эти фото приклеивали в специальный альбом.

Я надел фартук, взял в руки ножовку, молоток. Мама принесла из чулана какие-то досточки, которые остались от наших старых полок, и папа фотографировал меня. А за ужином мы все хохотали, представляя, что на самом деле надо было фотографировать, как мы с мамой покупаем скворечник в магазине «Садовод», и особенно над тем, как выглядел бы папа на фото, где он пинает наш купленный скворечник и лупит по нему молотком. Было очень весело. И тогда я понял, что совместный труд действительно сближает людей. Хотя папа и сказал, что это называется «фальсификация истории».

Но папа зря переживал, потому что наш учитель труда нечаянно уронил на мой скворечник тяжеленные тиски, досточки, из которых он был собран, рассыпались, и на одной из них оказалась фабричная печать.

— Так что правда всё равно всегда торжествует,— сказала мама, хотя ей пришлось ходить объясняться с учителем труда, и, вернувшись, она сказала, что наш учитель труда вполне приятный мужчина, но что папа ничего не сказал, только несколько раз пощёлкал зажигалкой, но не закурил, потому что он бросил курить...

Шпион

Иду как-то раз по улице, в центре города, часов примерно в шесть вечера,— меня послали в книжный магазин, купить тетради. Народу кругом много. И вдруг чувствую: что-то не так. И не сразу могу понять— что. Какой-то странный человек идёт, и я на него смотрю, и мне от этого вроде странно. А он на меня не смотрит. Он смотрит куда-то вперёд. Я пригляделся и вижу,

что это ведь Владимир Николаевич, наш физрук. Наш физрук всегда ходит в спортивном костюме, а тут я его прямо не узнал. Идёт в пиджаке! Рубашка на нём белая и галстук. Вместо кроссовок — ботинки. Вот это да! — думаю. Зачем он переоделся? Я тут же решил, что Владимир Николаевич — шпион. Он только для виду работает физруком. Вот почему он так хорошо по канату лазает, это его всему в шпионской школе научили. Ещё и тёмные очки надел, чтобы его не узнали.

Я в душе понимал, что это неправда. Но мне было жалко, что это неправда, и хотелось, чтобы это было правдой. Я решил проследить за Владимиром Николаевичем. Вдруг мне повезёт и он действительно шпион или хотя бы опасный преступник. Я шёл за ним в толпе прохожих.

Видимо, Владимир Николаевич был опытный шпион, потому что вёл себя осторожно. Для начала взял и купил цветы. Хитрый лис! — подумал я. В цветах наверняка секретный передатчик. Недаром эта цветочница так на него посмотрела и улыбалась, когда он отдавал ей деньги, и ещё что-то сказала тихо. Они в разговор. Потом Владимир Николаевич поймал такси и уехал. Неужели заметил, что за ним «хвост»? Теперь я стал приглядываться к нему повнимательней во время уроков. А он, видимо, нарочно придирился ко мне, говорил, что я неправильно отжимаюсь, плохо подтягиваюсь, неправильно бросаю мяч в кольцо.

Однажды я снова встретил его в городе. И опять в тёмных очках! Но к тому времени я уже не удивился. Я уже знал многое. Я знал, что Владимир Николаевич окончил секретную шпионскую школу, знает в совершенстве десять языков, владеет гипнозом, в голове у него специальный чип, который позволяет ему считывать информацию с удалённых компьютеров и даже может их перепрограммировать. То есть я знал, что мир в опасности. Это всё мне как-то само собой открылось, когда я размышлял. Самое страшное было то, что Владимир Николаевич умел читать мысли. Поэтому я не подходил к нему близко, а прятался за других прохожих, чтобы их обрывочные мысли накладывались на мои и невозможно было бы ничего прочитаться. Несколько раз до этого Владимир Николаевич мне снился. Вернее, приходил ко мне, чтобы убить меня во сне. И я убежал от него по длинным узким коридорам, запутанным, как лабиринт. Во сне у него было шесть конечностей, и он мог гнаться за мной по стенам и по потолку, как паук. Но во сне у меня тоже появлялись сверхспособности. Например, я умел летать. Надо было только выбраться из лабиринта, и тогда надо мной распахивалось небо, такое большое и звёздное, что становилось страшно. Я управлял собственным телом, как ракетой, мчался свободно и далеко, так что Земля оставалась позади и скоро сливалась

с другими светящимися, как рассыпанные бусы, зёрнышками Вселенной.

Так вот, стоит он в тёмных очках на ступеньках перед кинотеатром. И подходит потом к нему какая-то девушка. Я её не сразу узнал. А потом вспомнил. Это практикантка, она у нас в прошлой четверти несколько уроков вела. Юлия Петровна, кажется. Она ещё всегда говорила: «А теперь повторим этот параграф».

Ну и я сразу разочаровался во Владимире Николаевиче. У суперагентов не бывает таких девушек. Она рыжая с веснушками и вообще вся какая-то как пацан. У суперагентов девушки совсем другие. Я видел про Джеймса Бонда три фильма.

И вот с тех пор, как я разочаровался во Владимире Николаевиче, он мне, как нарочно стал всюду встречаться. Раньше я мечтал его выследить, хотел даже составить карту его шпионских маршрутов, но он мне нигде не встречался. А тут чуть не через день видел его, и всегда с этой рыжей практиканткой. Но мне уже это было не важно.

А потом он исчез. Совсем. В школе три недели не было физкультуры. Ну, то есть его, Владимира Николаевича, замещал трудовик Валерий Павлович, с которым мы просто играли в баскетбол, и всё.

А потом однажды я узнал всё. Вернее, узнал не я, а Борька Денисов. У него мама — училка в нашей школе, преподаёт географию. Так вот Борька услышал, как его мама с кем-то по телефону обсуждала Владимира Николаевича. Оказывается, Владимира Николаевича арестовали за то, что он буянил и дрался пьяный в ресторане, разбил зеркало, разогнал оркестр, а когда пришла милиция, он в них кинул барабан со сцены. Я слушал с ужасом и с каким-то восхищением, пока Борька не сказал, что всё это из-за того, что Владимира Николаевича бросила эта рыжая практикантка. — Помнишь, которая у нас была в той четверти? — сказал Борька.

— Да, помню, — сказал я и хотел рассказать Борьке, что видел их вместе возле кино и ещё несколько раз потом, но передумал и не стал рассказывать.

Мне было жалко Владимира Николаевича. Хоть он и преследовал меня, когда был шпионом, но это была честная мужская борьба. И мне теперь было жаль, что с ним так вышло. Вот если бы он (я чуть не подумал «слушался меня») был шпионом, с ним бы такого не случилось никогда. Шпионы не раскисают из-за женщин. И я решил про себя считать, что его арестовали за шпионаж. А рыжая — это так, прикрыtie. Это было единственное, что я мог для него по-товарищески сделать.

Авторитет

Раньше я думал, что авторитеты — это такие бандиты, но заслуженные, вроде нашей учительницы математики, которую все уважают и поэтому говорят, что она пользуется авторитетом. Я не

мог понять, как она пользуется этим, но что-то опасное я чувствовал, и все мы её побаивались.

Я как-то спросил об этом у папы, и папа, раздражённый, крикнул:

— С чего ты взял эту глупость?! Мой сын не знает русского языка!

— Так по телевизору говорят, — ответил я, — уголовный авторитет, ну, в смысле, значит, бандит, короче.

— Что это за «короче»? Что это за «в смысле»?

Папа иногда бывает вспыльчив из-за ерунды. Потом он немного успокоился и стал объяснять, хотя я уже обиделся на него и не хотел слушать; у нас так часто бывает.

— «Авторитет» — значит «уважение», «авторитетный» — «уважаемый», «авторитет» — значит «власть», — объяснял папа.

— Понятно, — сказал я.

Теперь многие слова открылись мне. «Автомобиль» — властный мобиль, «автопортрет» — портрет властей, «автостоп» — когда приказывают остановиться.

— Что за чушь! — сказал папа. — Не путай корни «автор» и «авто».

И я тут же запутался.

— «Автор» — это как бы «хозяин», «властитель», а «авто» — это значит «сам» или «само». «Автомобиль» — значит самодвижущийся, «автопортрет» — портрет самого себя, — говорил папа.

— «Автосервис» — сам-себе-сервис, — сказал я.

— Нет, — затрясся папа, — «автосервис» — это значит «обслуживание и ремонт автомобилей», здесь корень «авто» — это сокращение от слова «автомобиль».

— Папа, ты становишься автозлой, когда объясняешь, — сказал я.

Папа рассмеялся и повторил «автозлой» уже другим, добрым голосом.

— Молодец, по правилам словообразования. А какие ещё словообразующие приставки ты знаешь?

При слове «приставки» мне стало скучно, но потом оказалось, что это прикольно.

Их, оказывается, была целая куча, и все такие странные: «архи», «мега», «псевдо», «квази», «амфи», «мета», «пара», «про» — похожие на старые монеты из дедушкиной коллекции, которыми больше не платят, так и этими словами больше не говорят.

— Говорят, — сказал папа.

— Ну тогда скажи чего-нибудь...

— Мегафон, — сказал папа.

— Точно! — сказал я.

— А что это значит?

— Ну, это как МТС, только «Мегафон».

— Да, компания сотовой связи, но название себе она взяла от прибора, усиливающего звук. «Мега» — значит «большой», «фон» — «звук».

Мало-помалу я стал для прикола придумывать всякие слова с этими приставками.

«Амфиотстой, квазикруто, метатормоз, мега-троль, гипербеспонтово...»

В классе я приобрёл некоторый авторитет, хотя никто не мог понять меня толком. Но я заметил, что когда тебя не понимают, это верный путь к авторитетности. Вот, например, у нас в классе есть хулиган Пятаров, он пользуется авторитетом. Он стал хулиганом случайно. Его не поняли однажды. Раньше его просто считали за придурка, потому что он любил дурачиться. И вот однажды на перемене он плясал и пел перед окном песню, которую сам придумал, а слово там было всего одно, но неприлично: «говно». Он пел его и плясал перед окном. А класс у нас тогда был на первом этаже, и окна были открыты. Дворничиха под окном подумала, что это он ей строит рожи и обзывает её. Пришла и пожаловалась учительнице. Родителей Пятарова вызвали в школу. Ну а дальше как-то само пошло.

И математику у нас тоже полкласса не понимает, а учительницу уважают. Загадочная штука авторитет, и чем больше загадочности, тем больше авторитет.

Домик в деревне

На каникулах я гостил у своей двоюродной бабушки. У неё был домик в деревне. Сначала было скучно, но в сарае я нашёл древний велосипед «Орлёнок» и поехал кататься. Цепь у него была вся ржавая, но ездил нормально. Я давно не катался и теперь плавно летел на велосипеде, а рядом со мной летела стрекоза, а навстречу — тополиный пух. И шмель пролетел, гудя и ни капли не удивляясь, что я, такой тяжёлый и большой, тоже лечу рядом. Я ездил по узким, ныряющим тропинкам, высокая трава и цветы приятно ударили меня по рукам, оставляя пятна пылицы, и с музыкальным звуком цеплялись за спицы велосипеда, а впереди на тропинке столбиком стоял суслик. Мне понравилось кататься, и я ездил каждый день, да и делать больше было нечего. Однажды я заехал далеко, до самой реки. Погода испортилась. Прошёл сильный дождь. А за дождём опустился туман. Меня прямо накрыло туманом, который шёл по реке ровной белой стеной высотой с дом. И всё стало как во сне — другим. Неба не было, и реки не было, и деревья были видны лишь вблизи и только до половины. Еловая хвоя казалась чёрной. Я подошёл близко к воде, она была такого цвета, что казалось — по ней можно ходить. Издали шёл непонятный гул. Нарастал, тревожа меня и захватывая всё вокруг. Мне одновременно хотелось убежать, но куда? И дожидаться: что это? И вдруг раздался такой резкий рыдающий хрип, что у меня сердце оборвалось, и тут же в молочной пелене я увидел смутные огни проходящего совсем близко парохода.

Я вернулся и хотел об этом рассказать бабушке, но не знал как. Ну подумаешь, видел пароход

в тумане... И тогда я сказал, что видел парход-призрак. Бабушка не удивилась и даже не сказала мне, что я сочиняю.

— Может, и призрак, — спокойно сказала она. — Здесь тридцать лет назад парход с пассажирами затонул, в таком же тумане.

«Ого!» — подумал я.

В деревне, конечно, не было Интернета, игропарка, кино, у бабушки даже телевизора не было, только радио. И событий никаких никогда не было. Только один раз было событие — похороны. Умер один дедушка. Я его до этого видел ещё живым. Он был такой полный, бородатый и всегда какой-то сердитый, строгий на вид. Он всегда стоял в своём огороде, опершись на лопату, когда я проезжал мимо на велосипеде. Копнёт пару раз землю и стоит, отдыхает. А в сарае у него, как я узнал потом, стоял гроб. Он сам его себе сделал ещё лет десять назад, а умереть всё не мог.

Когда его хоронили — это был как праздник. Все собрались. Гроб везли на тракторе в прицепе. Вернувшись с кладбища, накрыли длинный деревянный стол во дворе под большим деревом. Края скатерти поднимались на ветерке, и солнце остро колело глаза через шестилетнюю листву. Понаставили закусок, графинчиков такой диковинной формы, каких я никогда не видел у нас дома. Два щенка соседской собаки играли в сторонке на влажно блестящей траве у крыльца. И, глядя, как все эти старички и старушки чокаются и закусывают, я подумал, что смерть — это, оказывается, совсем не страшно. И дедушка Степан тоже теперь доволен там, и ему хорошо смотреть оттуда, как его здесь поминают.

А ночью, выйдя на крыльцо, чтобы пройти всего-то двадцать шагов до деревянной уборной, я вспомнил эту свою мысль, как бы для проверки: точно ли всё так хорошо? Чёрная дверь сарая стояла приоткрытой, и жутко было представить то самое земляное «там», где сейчас находится совсем один дедушка Степан.

Но утром опять всё прошло и казалось лёгким.

Катаясь на велосипеде, я воображал себя всадником — например, индейцем. Я ехал себе, такой спокойный, прямой, воображая, что за мной из засады наблюдают бледнолицые. Потом спускался к узкой речной протоке, как будто напоить коня, и шёл в высокой траве, так что меня было даже не видно. Протока была узкая, я мог перейти её вброд, но течение быстрое, и пена бурлила вокруг двух острых камней на середине. И там, на другом берегу, я поехал по тропинке, которая становилась всё шире и превратилась в настоящую грунтовую дорогу, по которой очень давно никто не ездил. Я уже, как настоящий следопыт, мог это понимать: не было следов от покрышек, и упавшее поперёк дороги деревце успело покрыться мхом. Мне пришлось слезть с велосипеда и обойти его. По всему

выходило, что по этой дороге очень давно никто не ездил. Она шла немного в гору и всё время прямо. Потом был поворот. Сразу за поворотом я увидел дом и остановился. Это был всего лишь двухэтажный дом, но в лесу он казался мне высоким. Стены белые, а окна чёрные, без стёкол и даже без рам. Двери тоже не было, можно было запросто войти внутрь и посмотреть, но мне стало как-то не по себе. Я осторожно подошёл ближе и увидел, что на некоторых окнах сохранились ржавые железные решётки. Справа от дома была пристройка с провалившейся крышей и каменной печной трубой, на которой уже рос бурьян. «Что же здесь было?» — подумал я, осторожно обходя дом. Веточка хрустнула под колесом велосипеда, и я испугался этой ерунды. «Чего здесь бояться?» — подумал я. — Просто пустой дом... Что я, пустых домов не видел?... Для проверки я поднял камень и швырнул его внутрь дома через дверной проём. Камень стукнул там обо что-то внутри, и всё. «Здесь просто много деревьев, и дом стоит как-то в тени, от этого он и кажется мне немного страшным», — думал я. Я обходил дом слева, он постепенно скрывался за деревьями, а дорожка, немного сузившись, шла прямо и слегка под гору, в низину между двумя невысокими холмами. Потом дорожка превратилось совсем в тропинку, я запнулся о какую-то проволоку. «Откуда здесь проволока?» — подумал я и потянул за неё, чтобы посмотреть. Из высокой травы на небольшом холмике я вытащил чёрную ленту, которой была обмотана проволока, и, приглядевшись, увидел на ленте наполовину стёртые золотисто-грязные буквы. Разбирая, что там написано, я почувствовал, как у меня похолодела спина. «Покойся с миром», — было написано на чёрной ленте. Я огляделся и понял, что стою в самом центре заброшенного кладбища. А холмик рядом — это чья-то могила. Я развернулся и побежал назад, постоянно оглядываясь. Выбежал на дорогу и сел на велосипед. Теперь самым страшным было проехать мимо того дома. Вот он показался за поворотом, страшно сверкнув своими чёрными окнами. Я ещё поднажал, и когда проносился совсем близко от него, кто-то крикнул мне изнутри таким странным, нечеловеческим голосом, что дальше я уже полетел, не оглядываясь, и на всей скорости въехал в протоку, слыша, как гремит речная галька под колёсами. Велосипед завяз, я соскочил, выбрался на другой берег и только тогда обернулся. Солнце приветливо играло в протоке и на листьях низко склонённых ветвей. Я огляделся по сторонам и поспешил домой в деревню.

Дома я рассказал бабушке о странном доме в лесу.

— Что это за дом? — спросил я.

— Больница, — ответила бабушка, вытирая тарелки.

— А почему там решётки на окнах?

— Ну, больные ведь разные бывают...

— Какие разные? — не понял я.

— Там был дом-интернат для психохроников, — сказала бабушка и, видя, что я не понимаю, пояснила: — Больница для неизлечимых сумасшедших. А за ней больничное кладбище. Наши деревенские туда не любят ходить.

— Почему? — спросил я.

— Страдали эти люди много. Сами они ушли, а страдание их там осталось.

— Как это?

Бабушка пожала плечами:

— Как тут объяснишь? Может, и оно теперь скоро уйдёт, после того как мы Степана Петровича схоронили?

— Это вот этого старичка? — спросил я.

Бабушка кивнула.

— Он там главным врачом был. Как больницу закрыли, он здесь остался жить. Только одного просил — похоронить его на деревенском кладбище. А того кладбища сильно боялся. Говорил: нельзя мне с ними рядом лежать.

— Почему? — спросил я.

— Ему видней было, — ответила бабушка и добавила: — Всякое про него говорили, но не нам его судить...

— Знаешь, бабушка, там кто-то крикнул из дома, когда я проезжал, — сказал я.

— Наверное, птица, а тебе с перепугу показалось, что человек, — отвечала бабушка, уже расставив все тарелки по полкам.

Мне казалось, что бабушка как-то не всё мне говорит, а это вроде как обманывать, но я ничего не сказал.

Больше я в ту сторону не ездил. Ездил туда, где был элеватор. Туда приходили грузовики и становились в очередь; летела белая пыль с элеватора и садилась на кабины машин. Там была столовая, в которой обедали шофёры, и я там покупал себе компот в стакане и пил его, сидя на крыльчке столовой возле своего велосипеда. Там было спокойно. Я там познакомился с одним пацаном — Костей. Его мама, или, как он говорил, «мамка», работала на элеваторе. Он был такой щуплый, белобрысый, а, протягивая мне руку, представился солидно:

— Костян.

Мне стало смешно, и я сказал, протягивая руку:

— Славян.

— Ты чё, из Семёновки? — спросил он насмешливо.

Семёновка (так называлась бабушкина деревня) очень маленькая, а Костян был из Ракитного, это большое село, там есть два магазина и раньше был даже кинотеатр.

Я сказал ему, что я из города и только на полмесяца приехал к бабушке в Семёновку.

Тогда его презрение не исчезло, но как бы съехало на другую сторону.

— Из города? — сказал он с высокомерным унынием. И оглядел мой велосипед. — И чё, у вас такие барахлянские велики в городе продают?

— Нет, это я у бабушки в сарае нашёл.

— Ну-ка, дай прокатиться, — сказал он.

— Бери, — сказал я небрежно, и он был разочарован, думал, что я буду дрожать за этот велик, не давать, и он, может, даже сможет подражаться со мной за него. — Да правда — бери, — сказал я. — Буду уезжать — могу тебе насовсем подарить.

Костя посмотрел на меня и сказал:

— Мне брат мотоцикл свой старый подарит в следующем году.

Потом выяснилось, что он не умеет кататься на велосипеде, и я его учил; мы подружились.

— Жалко, что ты скоро уезжаешь, — часто говорил он.

Но я видел, что он так говорит, чтобы я не забыл о своём обещании подарить ему велик.

— Ну, зато велик у тебя останется, — говорил я, и он успокаивался, улыбался, приглашал приезжать на следующее лето, звал на рыбалку.

До сумерек я возвращался домой, ужинал, а когда бабушка засыпала, слушал стук часов и всё равно думал про тех людей из того дома и про страшного доктора, дедушку Степана.

А перед самым моим отъездом с бабушкой Степаном случилось ещё одно событие, хотя он и был уже мёртвый. Его могила провалилась.

— Девять дней прошло — и провалилась, — рассказывал шёпотом дедушка Кузьма моей бабушке.

Я видел, как бабушка изменилась в лице и спросила его:

— Как так?

— А вот так, просела вся, в землю ушла, вглубь, — говорил дедушка Кузьма, бабушкин сосед. — И крест повалился... Видно, он туда, на то кладбище, к «своим» ушёл...

Я видел, что бабушку очень огорчила эта новость. Она весь день ходила растерянная, собирая меня в дорогу в город. Потом приехал папа, который, как всегда, спешил, беспокоился, что мы не успеем в город до темноты, что до ближайшей заправки далеко, что у него не дописана срочная статья.

Мы собрались. Я обнял бабушку и поцеловал. Она тоже поцеловала меня, утирая слёзы. Мне стало грустно, но мы уже скоро поехали, и я, сидя на заднем сиденье, махал бабушке рукой, видя, как она одиноко стоит у ворот своего домика и машет мне рукой. Папа вёл машину, спрашивал, как мне было в деревне, но когда я начинал рассказывать, ему звонили, и он отвечал по сотовому, потом снова спрашивал.

— Жалко бабушку, — сказал я. — А кем она раньше работала, крестьянкой?

— Нет, медсестрой. Там у них больница была недалеко от деревни, — ответил папа.

У меня аж сердце стукнуло—точно как в тот раз, когда я услышал крик из того страшного заброшенного дома в лесу.

Бизнес

— Тебе уже двенадцать лет будет!
— Ты уже большой!
— Совсем взрослый!
— Как он у вас вымахал, как возмужал!
— Слава, да тебе в армию пора!
Так говорят мне взрослые, знакомые моих родителей.

Я до сих пор не уверен, хорошо ли это—быть взрослым. И ещё я уверен, что они меня не считают взрослым, а просто так говорят.

— Да, только вот почерк у него—пишет как курица лапой,—жалуется мама.

— Как же так?—сокрушённо качает головой какая-нибудь тётя, мамин друг.—Как же тебя в армию возьмут с таким почерком? С плохим почерком тебя в армию не примут.

Я смотрю вниз, изображая, что мне стыдно за мой почерк и жалко, что я не попаду в армию.

Раз я такой взрослый, дай, думаю, займусь серьёзным делом, начну свой бизнес. Только вот какой? У папы я нашёл в шкафу книгу, которая называлась «Как стать богатым». Там говорилось про всё на свете, и про бизнес тоже. Я иногда отвлекался от чтения и думал: почему мой папа не стал богатым? Не прочёл эту книжку или она ему не помогла? И я снова читал, пропуская всякие графики и таблицы. Иногда я подбегал к папе и спрашивал у него, например, что такое «инвестиция». Папа откидывался на спинку кресла и говорил:

— Это вложение. Когда ты вкладываешь деньги, а извлекаешь прибыль. Например, мы с мамой вкладываем деньги в твоё образование, надеясь, что ты станешь развитым человеком.

— А какая от этого прибыль?—спросил я.

— Ты устроишься на хорошую работу, станешь хорошо зарабатывать.

— А ты сам развитый человек, папа?

— Думаю, что да...

— А почему тебе платят мало?

— Мне достаточно платят.

— А мама говорит, что мало.

— Ей ещё меньше платят!—сказал папа.

— Это потому что она человек неразвитый?

— Так! Всё! Ты спросил про инвестицию—я тебе ответил. Иди, я занят!

Я уходил и снова прибежал через полчаса:

— Папа, а что такое маркетинг?

— «Маркет»—это «рынок» по-английски. Маркетинг—это всё, что связано с продажей товаров на рынке.

— В смысле, весы, продавцы, прилавки?—спросил я.

— Нет, это продвижение товара на рынке. Ну, в общем, это наука о том, как заставить покупателя купить именно твой товар.

Через пять минут я снова появлялся в папином кабинете и спрашивал:

— А что такое консалтинг?

— Консалтинг,—отвечал папа, уже порядком раздражённый,—это то, чем я занимаюсь с тобой уже час, вместо того чтобы работать. Консультирую тебя по вопросам бизнеса. «Консалт»—это от английского «консультировать».

— Не сердись папа, я всё понял. Только самый последний вопрос: а что такое «консультировать»?..

— Тыфу ты!—кричал папа, и я убежал.

Консультировать—это, оказывается, просто объяснять.

Я читал дальше, уже боясь отвлекать папу, и мне стало скучно. Я стал вспоминать знакомых бизнесменов. Самым крутым бизнесменом у нас в школе был Генка Малюга из одиннадцатого класса. Он некоторым пацанам из старших классов продавал кирпичи. За пятьсот рублей один кирпич. А кто не хотел покупать, тот ходил потом с фингалами под обоими глазами и убеждал своих родителей, что он упал. Все боялись Генку, так я думал раньше, а теперь понял, что у него был хорошо налажен маркетинг.

И ещё я вспомнил другого бизнесмена, во втором классе был у нас мальчишка—Кеша Тарапатов, он сделал свой бизнес. У нас тогда в классе была мода на жуков. Все просто помешались на этих жуках. Ловили их в траве, сажали в коробки, давали им имена, пытались дрессировать. Но жуки долго не выдерживали, умирали или убежали. А потом пришла осень, выпал снег, и жуков было не сыскать днём с огнём. И вот тогда Кеша стал приносить в школу жуков и продавать их сначала по десять, а потом по двадцать рублей. Мы спрашивали, где он их берёт, а Кеша говорил, что у него папа—какой-то там учёный, вроде микробиолог, изучает всё маленькое, и у него там, в лаборатории, есть лишние жуки. Некоторые пытались меняться, но Кеша признавал только деньги. Я и ещё несколько пацанов в нашем классе не покупали у Кешы жуков, нам не нравилось, что они такие маленькие. Зато девочкам, наоборот, нравилось. «Какие лапусечки!»—визжали девочки, когда Кеша приносил своих питомцев в спичечной коробке. «А есть у тебя синенькие или зелёные?»—спрашивали Кешу. «Нет, только такие»,—отвечал он строго. «А что они кушают?» Кеша задумчиво отводил глаза и говорил: «Просто водичку». Некоторые девочки давали своим любимцам имена. Правда, эти любимцы часто терялись, и тогда вместо них покупали новых, ведь отличить одного от другого было невозможно. Бизнес у него шёл очень хорошо, но быстро кончился, когда мама одной девочки прибежала в школу и стала кричать, что её дочка

натаскала домой клопов. А у нас в классе никто не знал, что эти красивые красные жучки — клопы.

Папа смеялся, выслушав эту историю, мама — всплеснула руками. Папа, по своему обыкновению, сказал что-то непонятное:

— То, что никто в вашем классе не видел клопов, это положительный санитарно-социальный индикатор.

Но, услышав это незнакомое слово, я вспомнил, что сам знаю теперь много мудрёных слов, и среди них вспомнил одно: «автограф». Оно-то и натолкнуло меня на мысль. Я решил продавать открытки. Но не простые, а с автографами знаменитостей. У нас была куча всяких открыток, сам не знаю, откуда они взялись, — несколько пачек. А вот знаменитости вокруг не было ни одной. Я спросил у папы, есть ли у него знаменитые знакомые. Он задумался и почти сразу ответил:

— Конечно!

Я так и подскочил на стуле:

— А кто?!

Папа снял очки и отвернулся от компьютера, довольный, что у него образовался перерыв.

— Ну, вот возьмём хотя бы дядю Германа.

— Дядю Геру, что ли? — удивился я. — Какая же он знаменитость?

— Не скажи, — ответил папа. — Лучше него никто во всём мире маринад для шашлыка сделать не сумеет.

— Папа! Я серьёзно... — обиделся я.

— А я что — шучу?!

— Это не то...

— Хорошо, — сказал папа. — Есть у нас на работе Эдик Бабаев, я его с института знаю, он за пять лет ни одного экзамена сдать не мог, его за пять лет пять раз отчислили.

— Какие примеры ты ребёнку даёшь?! — возмутилась мама.

— А что? Хороший пример упорства. Доучился ведь, получил диплом, — сказал папа.

— Нет, это не те примеры, этих людей никто не знает, — сказал я уныло.

— Ну прямо никто? Его весь институт знал... Ну хорошо, а вот ещё был у меня один знакомый, он каждый месяц после полочки попадал в вытрезвитель или в реанимацию. Его вся милиция и все врачи по имени знали.

— Да что же это у тебя за знакомые такие?! — всплеснула руками мама; у неё даже голос задрожал от огорчения.

— Нормальные знакомые. Теперь он спортивный журналист в Москве, со всеми звёздами футбола знаком.

— Правда? — спросил я.

— Конечно, — ответил папа.

— И хоккеистов знает?

— Да всех, — отмахнулся папа, увлечённый новой мыслью. — А был у нас ещё Вадик Полуэктов, так

он вообще... — папа засмеялся, но, поймав строгий мамин взгляд, осёкся и замолчал.

Я понял, что стану продавать открытки с автографами знаменитых футболистов и хоккеистов. Я надеялся, что папин друг сможет мне их прислать. Папа ответил неопределённо, сказал, что попробует у него спросить. А я пока уже провёл в классе рекламную кампанию, и нашлось довольно много желающих. Я не знал, какую цену назначить за автограф, и стал рассуждать: Если жук, который на самом деле, как потом выяснилось, ещё и клоп, стоил у нас в классе двадцать рублей, а клоп — это даже не человек и тем более никакая не знаменитость, то роспись знаменитости должна стоить, по сравнению с клопом, ну миллион, наверное. Но миллиона ни у кого в нашем классе нет. И я решил сбросить цену до ста рублей. Это можно накопить из карманных денег за два-три дня.

Время шло, а папин друг, спортивный журналист, ничего до сих пор не прислал. Я каждый день спрашивал у папы и надоел ему своими вопросами так, что папа не выдержал и накричал на меня, что никаких автографов мне не будет, что всё это был несерьёзный разговор.

И как вести с такими людьми бизнес? Это по-взрослому, я вас спрашиваю? У меня уже заказчиков набралось полкласса. Пришлось мне как-то выкручиваться самому. Я стал искать в Интернете, как выглядят росписи знаменитых спортсменов. Теперь надо было перенести их на открытку. Можно было просто сунуть открытку в принтер и распечатать роспись. Но это было бы не то. Я ведь обещал, что это будет настоящая роспись, а не распечатка. Я взял тетрадь и весь вечер копировал автограф Овечкина. Лучше всего у меня получалась восьмёрка, которую он всегда ставит после своей росписи. Остальное никак не получалось, было видно, что криво, и рука дрожит, как будто Овечкин расписывался во время землетрясения. На третий день я научился. И взялся за роспись Аршавина, у него после росписи идёт цифра «десять», иногда похожая на букву «и». Так постепенно я освоил росписи нескольких спортивных звёзд и аккуратно перенёс их на открытки. Открытки эти все были с картинками природы, собранные в один продолговатый альбом, из которого они легко выдирались, и подписаны были все не по-русски.

Теперь я был готов к своему бизнесу. Но в первый же день случилось то, чего я не учёл. Когда пацаны сгрудились на перемене, толкаясь головами и разглядывая открытку, на одной стороне которой были нарисованы жёлтый домик без окон и дерево без листьев, а на другой стояла уверенная роспись Овечкина, к нам подошёл Пашка Курносов, хулиган из девятого «А» класса, и одним движением выхватил открытку. Я первый бросился и повис на его руке с криком:

— Отдай!

Но он шутя, без усилия, стяхнул меня. Я упал на пол, а он остановился и смотрел на меня сверху так, что я не решался встать. А потом медленно пошёл по коридору. Пацаны из нашего класса побоялись вступаться за меня и только смотрели. Я поднялся, отряхивая брюки, и не знал, куда смотреть и что делать, боялся заплакать.

— Родителям скажи, — посоветовал мне шёпотом во время урока мой сосед Борька Крейцфельд, — вещь ведь ценная.

Но что я мог сказать родителям — что из-за их безответственности мне пришлось самому рисовать обещанные мне автографы?

— Такая у коллекционеров стоит, — Борька задумался, — ну, как айпэд...

«Ого! — подумал я. — Надо поднять цену».

А на следующей перемене случилась ещё более удивительная вещь. Ко мне опять подошёл Пашка Курносов. Только вид у него был совсем другой. Растерянный и трусливый. А рядом с ним шёл сам Генка Малюга — здоровенный сутулый парнище, вечно державший в карманах свои огромные кулаки. Хриплым, как бы растресканным голосом Генка спросил у семенившего рядом Курносова:

— Этот?

Пашка кивнул.

— Отдай, — велел Генка и потом сказал Пашке: — Вали отсюда.

Пашка отдал мне открытку и моментально скрылся в толпе выбежавших на перемену ребят. Генка посмотрел на меня сверху и спросил:

— Где взял?

Я рассказал ему историю про папиного друга, спортивного журналиста, который дружит со всеми звёздами. Генка слушал молча, внимательно глядя на меня сверху.

— А ещё есть? — спросил он.

— Могу достать, — сказал я.

— Кого?

— Аршавина.

Генка вздохнул и посмотрел в сторону.

— Сколько хочешь за эту? — спросил он.

Я вспомнил совет из книжки «Как стать богатым»: «Говорите всегда уверенно и прямо глядя в глаза».

— Триста, — сказал я.

— Хорошо, — ответил Малюга, так что я даже удивился, как это у меня всё так быстро получилось.

Вот что значит книга! Он взял у меня открытку, сунул её в карман и пошёл.

— Деньги потом. Надо всё проверить, — сказал Генка через плечо.

И у меня упало сердце. Я подумал, что Генка не знает как, но как-нибудь обязательно всё узнает; узнает, что подписи не настоящие, и тогда... Тогда я решил, что мне нужно срочно заболеть, чтобы

хотя бы неделю не ходить в школу, и по дороге домой я купил на все деньги мороженого и стал его есть. Я сел на лавочку в сквере и ел быстро, чтобы оставшиеся три порции не успели растаять. И тут, как назло, подскочили два пацана из параллельного класса, Стасик и Дёма. Не то чтобы они были хулиганы, а просто какие-то придурки. То начнут изображать из себя роботов, говорят, типа, как роботы, ходят как роботы и при этом нарочно бьют всех кулаками или пинают и говорят механическим голосом: «С-бой про-грам-мы». А потом ржут. То подсакивают сзади и надевают всем на голову пакеты из супермаркета, то ещё что-нибудь... А тут они подкрались незаметно сзади, перескочили через скамейку и схватили моё мороженое. Все три оставшиеся порции. Стали кривляться, танцевать и петь в мороженое, как в микрофон.

— Ну-ка положи на место! — сказал я, поднявшись.

Но их было двое, и они меня не боялись. Я погнался за Стасиком, а Дёма в это время схватил и последнее, вернее, самое первое моё мороженое, которое я оставил на лавке. Потом они, улюлюкая, вместе убежали, а я остался, как дурак, и пошёл домой в самом ужасном настроении. Вдобавок Дёма сбил с лавки мой портфель прямо в лужу.

На следующий день я шёл в школу как на казнь. Проклиная свой бизнес. Тогда я снова вспомнил книжку «Как стать богатым» и решил думать про своё положение по книжке. Получилось, что в свой бизнес-проект я инвестировал пока что одну открытку (ноль рублей ноль копеек затрат) и несколько часов своего труда (я не знал, как его оценивать); вспомнил только, что слышал, что детский труд ценится страшно дешёво (ладно, пусть будет пятьдесят рублей), и ожидал сегодня пятьсот процентов прибыли. В уме выходило неплохо. Но, вспоминая кулаки Генки Малюги, я опасался, что отдача от моих инвестиций может выйти неприятная.

Ну и не успел я дойти до школы, как ко мне подбежал Пашка Курносов и сказал:

— Пойдём, тебя Генка зовёт.

Мы свернули за угол, не доходя до школы. Генка стоял там и курил.

— Закуришь? — сказал он мне.

Я засмеялся, но не потому, что мне было смешно, а потому, что неловко. Генка тоже смеялся своим потресканным смехом, и я вдруг понял, что не хочу больше заниматься бизнесом. И я сказал ему: — Давай назад автограф, я его больше не продаю.

У Генки сигарета повисла на губе.

— Чего? — сказал он.

А Пашка рядом с нами аж замер. У меня столько страха накопилось за прошлый и этот день, что теперь он кончился.

— А если не отдам? — спросил Генка, сам немного удивлённый.

— Ну тогда оставь себе и гордись, что отобрал картинку у пацана из шестого класса. Дарю—если ты такой бедный. У меня их ещё до фига.

Я подумал: «Ну даст он мне по морде один раз, ну изобьёт, но не убьёт ведь, наверное...» Но Генка не дал мне по морде, он сунул руку в карман и протянул мне сложенные вчетверо пятьдесят рублей. — Больше с собой нету. Но потом отдам,—сказал он твёрдо.

Я не хотел и эти деньги брать, но всё-таки взял—не из жадности, а потому что всё-таки боялся его ещё и этим разозлить, если не возьму.

Если мне так будут даваться каждые пятьдесят рублей, то лучше я стану учёным или врачом, чем идти в этот самый бизнес, подумал я.

Но в книге «Как стать богатым» было напечатано крупными буквами: «Не останавливайтесь перед первыми трудностями». И я решил не останавливаться. Просто из принципа. Выражаясь по-учёному, я решил сменить рынок сбыта продукции. Не продавать больше в школе. А где? Я слышал, что у нас в парке собираются люди, которые меняются, продают и покупают старые монеты, марки, значки. Я решил пойти туда. Там всё-таки взрослые дядьки, а не всякие бандиты вроде Генки.

Да, ещё забыл сказать про Генку: он мне отдал ещё пятьдесят рублей, а остальные так и зажал. Да и эти-то пятьдесят рублей были не его, как я потом узнал от Пашки Курносова. Пашка меня сильно зауважал после того случая, ну, в смысле, после того моего разговора с Генкой. Он мне и рассказал, что видел, как после школы Стасик с Дёмой утащили моё мороженое, и потом просто ради прикола пересказал это Генке, а Генка уже велел ему поймать Стасика с Дёмой и стрясти с них деньги за моё мороженое.

— Они перепугались оба, аж побелели, когда я к ним подошёл, и заикались уже по-настоящему, а не как роботы,—рассказывал Пашка, очень довольный и гордый тем, что нагнал столько страха.

Мне стало немного жалко этих двух дураков—Стасика и Дёму. А они с тех пор стали обходить меня десятой дорогой. Такой у них случился «сбой программы».

И вот однажды в воскресенье я с утра настроился психологически. В книге «Как стать богатым» написано, что нужно настроиться на богатство психологически. Я не знал точно, как это делать. Это, типа, думать о хорошем, и быть уверенным в себе, и вызывать у людей доверие и симпатию, когда на самом деле чувствуешь себя плохо, неуверенно и никого видеть не хочешь. Я сидел и думал про всё это, и мне стало грустно. Я сунул в конверт свою открытку с замечательным, хоть и ненастоящим автографом Овечкина и пошёл в парк. Я ещё никогда не обманывал незнакомых мне взрослых, иногда только маму с папой. И ни

разу в жизни не обманывал ради денег. Я шёл и подумал, что от этой мысли мне станет стыдно, но мне стало от неё интересно, и я пошёл бодрее. Я прошёл по подземному переходу, в котором у стены стояли двое парней, один с длинными волосами, а второй бритый наголо. Длинноволосый играл на гитаре и пел, а лысый подходил к прохожим и протягивал им шапку. А мне он не протянул, потому что дети не подают музыкантам в переходах. Я прошёл мимо и вышел с другой стороны, уже у ворот парка. Там в центре была круглая клумба, а вокруг клумбы расставлены скамейки, и там собирались эти дядьки со своими значками и монетами. Я ужасно стеснялся, что мне надо к ним подойти и спросить, кому нужен автограф спортивной звезды. Поэтому я очень обрадовался, когда увидел, что в парке никого нет. И тут же сообразил, что с утра шёл дождь и сейчас ещё пасмурно, вот они и не пришли, наверное. Я пошёл по лужам вокруг клумбы и увидел, что на одной лавочке всё-таки сидит какой-то старичок и рядом с ним лежат альбомы. Такие специальные большие альбомы для монет и марок. Старичок был не очень старый, в квадратных очках, голова лысая, только по бокам головы у него стояли волосы, как у клоуна. Его ботинки со шнурками отражались в луже. Я подошёл к нему и спросил: — Вы монетки продаёте?

Он посмотрел на меня через очки и сказал:

— Монеты, а не монетки, юноша.

— А вам не нужен, случайно, автограф Овечкина?—спросил я.

Он посмотрел на меня, и я понял, что он не знает, кто такой Овечкин.

— Это хоккеист знаменитый,—сказал я и добавил: — Очень.

Старичок взял открытку и долго на неё смотрел. А я смотрел на него и ждал, когда же он догадается её перевернуть. «Ну, совсем тормоз»,—подумал я. — Автограф на оборотной стороне,—наконец не выдержал я.

Он как-то без интереса перевернул, посмотрел на автограф и спросил:

— Сколько вы, молодой человек, просите?

— Что?—не сразу понял я.—Да всего за сто пятьдесят рублей отдам.

Он поднял на меня глаза, покачал головой, улыбнулся и протянул мне сто рублей одной бумажкой.

«Вот это другое дело,—подумал я, шагая домой,—спокойно пришёл и заработал. Надо ему ещё принести». И в скором времени я стал богат, потому что перетаскал этому старичку ещё двадцать открыток с разными автографами. У меня до этого никогда не было собственных двух тысяч, мной самым заработанных, и я очень гордился. А старичок мой сделался прямо спортивным фанатом. В нём прямо проснулось увлечение спортом.

Как увидит меня—сам бежит навстречу, чтобы другие коллекционеры меня не перехватили, отводит в сторонку:

— Ну, чем порадуете, молодой человек?

Правда, он всё время путал хоккеистов с футболистами. «Ну он ведь старенький,—думаю,—у него память уже плохая». Я ему Ковальчука, Брызгалова, Лактионова, Анисимова автографы приносил. Он всё говорил: «Да, да...» А сам, я чувствую, не врубается ни капли. Я даже один раз спросил его:

— А зачем вы их покупаете, если вам про хоккей неинтересно?

— Для внука своего, для внука,—торопливо закивал он, улыбаясь доброй улыбкой.

— Понятно,—говорю,—через неделю ещё принесу, внучок ваш будет доволен.

— Приноси,—говорит,—я всегда здесь.

Я стал каждую субботу туда ходить или в воскресенье, и с некоторыми даже здоровался уже, как со знакомыми. Там были разные люди. Мне запомнился один старичок, который всё время улыбался. Я сначала думал, что у него всегда хорошее настроение. А потом оказалось, что у него болезнь какая-то, ему вроде как мышцы на лице зажало, и он теперь всегда улыбается, даже когда спорит с кем-то или сердится. От этого мне как-то не по себе делалось, но другие коллекционеры привыкли и называли этого дедушку между собой—Компрачикос. Я не знал, что это такое, а спросить не решался.

А другой всегда ходил с палочкой, согнувшись чуть не под прямым углом. Этого называли Чарли Чаплин. Я даже удивился: у них там у всех почти была прозвища, как у нас в школе. Со мной здоровался за руку молодой дядя, такой высокий, худощавый, в очках, у него тоже была кличка—братец Кролик, потому что он был действительно похож на Кролика из русского мультика про Винни-Пуха.

И вот приношу я однажды своему старичку с клоунскими волосами четыре новых автографа, всю неделю над ними просидел, учился правильно рисовать, зато вышло классно. Тут тебе и Павел Буре, и...

...А он посмотрел, повертел в руках и отдаёт мне назад.

— Спасибо,—говорит,—молодой человек, больше не надо.

— А как же внучок?

— Уехал,—говорит,—совсем, назад к родителям.

— Ну, может быть, вы ему теперь по почте посылать будете?—неуверенно спросил я.

— По почте? Это хорошая мысль. Только если вы мне автографы на открытках приносить будете, как раньше.

А надо сказать, что это было первый раз, когда я ему принёс автографы не на тех открытках, а просто на листочках, открытки у меня кончились уже.

— Открытки у меня кончились, но я могу новых купить,—проболтался я.

А он и не заметил. Он говорит:

— Вообще-то пока не надо. Может быть, потом...

И я ушёл. «Ладно,—думаю,—придётся искать новые «рынки сбыта продукции». Или начать новое дело. «Стартовый капитал» у меня уже есть». И я пришёл домой. А дома гости. Вернее, один гость. Папин приятель дядя Лёва. Он необычный человек: он носит бороду, курит трубку и всегда объясняет моему папе какие-нибудь необыкновенные вещи. Например, как правильно закусывать коньяк.

— Что ты делаешь? Ты что, директор завода? Кто же закусывает коньяк лимоном? Это убивает букет послевкусия. Это же натуральный «Мартель». К нему хорошо китайский рыбный суп,—говорил дядя Лёва моему папе, а папа смеялся и говорил: — Давай я тебе шпроты открою, супа нет.

Ещё дядя Лёва объяснял, как и где правильно ловить форель, почему он перестал покупать сигары «Корохо» и ещё много всякой никому не нужной ерунды. Но моему папе почему-то нравится слушать дядю Лёву. И в этот раз дядя Лёва говорил о какой-то очередной ерунде. О масле. Потом я понял, что они говорят даже не про настоящее масло, а про масляные краски и вообще про художников. Мне было интересно смотреть, как они говорят, хоть я и мало что понимал, но со стороны мой папа и дядя Лёва были сейчас как два пацана, которые, перебивая друг друга, торопятся похвастаться своими игрушками, только вместо игрушек у них были фамилии художников. И мой папа вдруг вскочил и сказал:

— А у меня ведь есть изумительный Сезанн! Ты оценишь.

Он начал возбуждённо рыться в шкафу, на тех полках, куда давно уже не заглядывал. Одновременно он через плечо объяснял дяде Лёве:

— Это удивительное по изяществу издание и уже антикварное, тридцать пятый год, музей «Метрополитен» выпустил серию «Сезанн в Провансе» в формате почтовых открыток.

И тут меня что-то кольнуло, мне стало беспокойно. Мне даже показалось, что в комнате потемнело, и как будто бы я уснул и во сне вдруг оказался на краю огромной пропасти, так у меня захватило сердце. А папа вытащил, наконец, из шкафа жалкую похудевшую обложечку этого альбомчика, из которого были выдраны все до единой открытки, и стоял, глядя то на дядю Лёву, то на меня, совсем не злой, а только очень удивлённый. Ему почему-то сразу пришла в голову мысль, что это моя сестрёнка Маша сделала. Девчонки любят всякие картинки, тем более что однажды Маша уже вырезала ножницами репродукцию из одного альбома: ей там понравилась женщина на чёрной лошади, и Маша решила её вырезать, но не успела,

подбежали папа с мамой, отняли у неё ножницы, Маша испугалась и заплакала, хотя её даже не ругали. И теперь папа закричал и направился в её комнату, но я шагнул ему навстречу и быстро негромко сказал:

— Не надо, это я. Я одному мальчику отнёс в школе, мы с ним менялись открытками,— торпливо врал я.

Дядя Лёва засмеялся, и это меня немножко спасло.

— Не кипятись так, вспомни об утраченных шедеврах, вспомни храм Артемиды Эфесской.

Папа подавил негодование и страшно прошептал мне:

— Я с тобой потом поговорю.

Вообще, я папу не боюсь, даже когда он сильно сердится, мне скорее смешно, но сейчас мне было грустно, потому что было жалко его. Я же не знал, что эти открытки были ему нужны, что он их любил. Я думал, он о них совсем не помнит, и не знал, что мне теперь делать. И, наверное, для того, чтобы утешить папу, я сказал, что всё верну, заберу у этого мальчика, поменяюсь назад. Зачем я это говорил? Ведь я знал, что вру. Но мне хотелось как-то утешить папу, так что врал я не от страха перед ним, а от жалости к нему.

— Ну и где? — спросил папа на другой день, когда я только появился на пороге, вернувшись из школы.

Я, конечно, сразу понял, что он спрашивает про открытки. Он смотрел на меня прямо и вертел в пальцах карандаш.

— Этот мальчик заболел, его сегодня не было в школе.

— И долго он будет болеть? — спросил папа. — Может быть, тебе сходить к нему домой?

Когда папа это говорил, я понял, что он мне не верит, не верит в историю про мальчика, но пока ещё делает вид, что верит, и хочет посмотреть, что я буду делать.

— Хорошо, я схожу, — согласился я сразу.

Папа прищурился, но ничего не сказал.

На другой день была суббота, и я отправился как будто бы к этому мальчику за открытками, а на самом деле я пошёл к дедушке. Ночью я придумал такой план: я прихожу к деду, сажусь играть с ним в шахматы, выигрываю у него ту золотую монету с царём, которую он мне ещё тогда, давно, обещал. Эту монету я несу в парк тому хитрому нестарому старичку с клоунскими волосами. Он ведь собирает монеты. Я ему даю монету с условием, что он вернёт мне назад все открытки. Главное теперь было — выиграть у деда в шахматы. Я прочёл его книжку, этот шахматный учебник, но всё равно мне казалось, что я не всё там усвоил. Но выбора у меня не было. Это был единственный мой план.

У деда двор лучше, чем у нас. Дед живёт тоже в старом доме с высокими подъездами, в которых всегда сыро и прохладно. Там широкие

подоконники на площадках, и выщербленный кафель на полу украшен какими-то завитушками. А вверху по углам паутина чёрного цвета. Я люблю играть у деда во дворе и знаю здешних пацанов, но сегодня мне было не до них. Дед не ждал меня и удивился.

— Что, из дому выгнали? — спросил он сердито по своей всегдашней привычке, но было видно, что он не сердится, а, наоборот, рад.

— Дедушка, я пришёл выиграть у тебя монету.

— Ага! Официальный вызов, — дед, улыбаясь, отступил вперёд, пропуская меня в свою прихожую. — Это серьёзно... Чаю хочешь? — спросил он мимоходом.

— Нет.

— Ну и правильно. К чему время тратить, к чему?.. — повторял он, уже доставая доску и составляя фигуры.

Дед не забыл и про монету, он достал её и торжественно положил на середину стола между нами, потом вытянул вперёд два кулака, я ударил его по левому, в левом оказалась белая пешка, и я сделал первый ход. Но только сейчас я заметил, что дед не убрал своего ферзя и ладью, как он это делал обычно, а собрался играть против меня всеми фигурами.

Раньше у меня бы сразу пропало настроение, я бы накуксился, стал клянчить, чтобы дед убрал ферзя и ладью, а сейчас, когда вроде бы это было важнее всего, я ничего не сказал. Дедушка Данил обычно разговаривает или даже поёт, когда играет со мной, а тут он играл молча. Только смотрел на меня и на доску. И разгромил меня уже на двадцатом ходу.

— Реванш хочешь? — спросил он.

— Что?

— Отыграться.

Я подумал и сказал:

— Нет.

— Тогда давай чай пить.

— Спасибо, дедушка, я пойду, — сказала я.

— Ты чего, расстроился?

— Нет, — пожал я плечами.

Дед внимательно посмотрел на меня и спросил: — А зачем тебе монета — хвастаться перед пацанами?

— Нет, — сказал я и неожиданно легко, ничего не скрывая и не стесняясь, рассказал деду всю историю с открытками.

Дедушка Данил слушал меня очень серьёзно. А потом вдруг стал хохотать так, что не мог остановиться. Я сам стал невольно хмыкать, чувствуя, что сейчас засмеюсь.

— А ты-то чего смеёшься? Тебе, Славка, плакать надо!

Но скоро и дедушка Данил стал очень серьёзным. Я его отговаривал, даже не пускал, тянул назад за руку, когда мы подходили к парку. Мне

было и стыдно, и страшно одновременно. Я думал: «Хоть бы не было сегодня моего старичка, хитрого коллекционера монет с клоунскими волосами на висках». Но он, как назло, был тут как тут!

Увидев нас с дедом Данилом, он изменился в лице, встал и хотел куда-то идти, но его удерживал другой дяденька, что-то увлечённо ему объяснял и не давал уйти.

— Подожди меня здесь, — сказал дедушка, и я остался стоять в сторонке.

Я видел, как вскоре моего деда помаленьку обступили все коллекционеры, и он возвышался среди них один, как второгонимик, оставшийся на третий год среди новых одноклассников-малышей. Мне стало стыдно стоять в сторонке, и я нарушил дедушкин приказ, подошёл. А там уже собрались все — и Чарли Чаплин, и Компрачикос, и Кролик, и все остальные. Начало разговора я пропустил. Взрослые, особенно когда их несколько, спорят так непонятно, что только стоишь и чувствуешь, как пот выступает на лбу.

— Ну если мальчик вам врал (раньше дедушка никогда не называл меня мальчиком, и я успел мельком удивиться этому), почему вы вместо того, чтобы пристыдить его, врали ему сами и использовали его ложь в своих корыстных целях?! — У меня нет этих открыток! — запальчиво и пугливо отвечал мой коллекционер.

Тут дед нагнулся, как бы перегибаясь через них всех, и взял со скамейки альбом с монетами. Высоко поднял и сказал:

— Вот когда будут — получишь назад! — и страшным военным голосом прокричал: — Вопросы есть?!

Потом мы зашагали обратно. Я шёл не оглядываясь, и мне хотелось идти ещё быстрее. Из дому дед сам позвонил моему папе и всё ему рассказал. А через неделю, уже без меня, дедушка Данил забрал мои открытки и вернул старичку его альбом и две тысячи рублей. Эти деньги дедушка заплатил сам. Я принёс ему свои. Я потратил из них только двести рублей, уже не помню на что. Дедушка посмотрел и сказал:

— Оставь на память о своём бизнесе...

Я ждал, когда он скажет мне, что нельзя обманывать, нельзя подделывать ничьи подписи, нельзя брать без спросу чужие вещи и продавать их незнакомым людям, что нужно зарабатывать честным трудом, чтобы потом не было так стыдно... Но дедушка Данил ничего этого не сказал мне. Он сказал:

— Когда опять задумаешь какую-нибудь ерунду — посмотри на эти деньги.

Но долго смотреть на них мне не пришлось, потому что в тот же вечер я принёс их своему папе. — Это что? За моральный ущерб? — спросил папа и тоже не взял.

А мама сказала:

— Давай их сюда, на хозяйство пойдут, сестрёнке твоей надо сапожки новые купить.

Я отдал, не жалея. Потому что мне и так уже было много о чём жалеть.

Чуть не забыл! Была во всей этой истории и хорошая сторона. Правда, маленькая.

Теперь у меня лучший почерк во всём классе (это я на автографах так натренировался). Даже учительница удивлялась и спрашивала мою маму:

— Как вы этого добились?

— Ну, он... много трудился, — выговорила мама, смутившись.

— Молодец, Славик! Так держать! — сказала учительница, улыбаясь.

Сибуй

Тётю Люсю я помню хорошо, потому что в детстве она читала мне книжки. Она делала такие странные ударения и умела произносить с таким звонким «е» имена героев, вроде — Питер Пен, Мери Поппинс, что я, ещё не зная, кто это такие, заранее представлял каких-то придурков.

Хотя тётя Люся и считает, что я до сих пор ещё в детстве, но книжек уже мне не читает. Она и себе их не читает. Видимо, она думает, что книжки пишут только для маленьких, а у больших есть дела посерьёзнее чтения. Вообще-то все так думают, кроме школьных учителей литературы и моего папы. Но это другой разговор.

Так вот, у тёти Люси есть муж, дядя Боря. Очень большой и очень добрый. Свою жену дядя Боря называет «Люсиена» и часто смотрит на неё с восхищением, как будто в первый раз увидел. Они вместе уже давно, я не знаю сколько, но я ещё тогда не родился. Они так любят друг друга, что иногда прогуливаются по улице, держась за руки. Мои папа и мама добродушно посмеиваются над ними и иногда нет-нет да и вспомнят какую-нибудь смешную историю из их жизни.

Вот, например, недавно они вспоминали историю о том, как дядя Боря ездил в отпуск. Вообще, тётя Люся и дядя Боря всегда ездили в отпуск вместе. К себе на дачу. Им очень нравилось. А однажды дяде Боре пришлось ехать одному. Ему на работе вручили в подарок туристическую путёвку. Ну, за то, что он всегда хорошо работает, и если надо, выходит на работу даже в выходные или праздники. Дядя Боря растерялся и хотел отнести путёвку назад, но тётя Люся сказала ему, что это будет невежливо и что ничего страшного, если он, дядя Боря, один разок съездит на недельку самостоятельно, без неё, без тёти Люси. Тем более что Япония — интересная страна, и дядя Боря там ещё не был, как и во всех других странах. И тогда дядя Боря развеселился и начал с воодушевлением готовиться. Купил себе самоучитель японского языка, прочёл книжку «Ветка сакуры», научился

говорить «коничева» и «аригато», правда, всё время путал их значения.

Приближался день отъезда, и дядя Боря стал тревожиться.

— Чего это ты вздыхаешь? — спрашивала его тётя Люся.

— Да так, ничего, — отвечал дядя Боря. — Думаю...

Когда мой папа изображал в лицах эту сцену, он всегда старался, чтобы у него губы не дрожали от смеха, но иногда у него это не получалось, и он смеялся. А я думал: ну чего в этом смешного? — пока сам не привык к этой истории и тоже начал смеяться вместе с папой и мамой, а моя младшая сестрёнка Маша смотрит на нас и думает: чему они смеются? Она ещё маленькая для юмора.

— О чём же ты думаешь? — участливо спрашивала тётя Люся.

— Да вот, думаю, как я поеду.

— Что же тут думать? Как все, — разводила руками тётя Люся. — Сядешь на пароход и поедешь. Это пускай уже капитан думает, как ему пароход вести. Тебе-то чего?

— Хорошо тебе говорить, тебе не надо никуда ехать, — отвечал ей дядя Боря.

— Тебе что же, не хочется ехать? — удивлялась тётя Люся.

— Ну почему?... Хочется. Только я бы лучше на дачу, с тобой, как обычно, — говорил дядя Боря и в надежде глядел на тётю Люсю.

— Ты на даче миллион раз был. А в Японии — нет.

— Это конечно... — отвечал дядя Боря и вздыхал, не зная, что ещё сказать.

День отъезда приближался, и тётя Люся уже не обращала внимания на вздохи дяди Бори и нарочно отворачивалась и начинала бодро говорить о чём-нибудь постороннем, только бы не дать дяде Боре заглянуть ей в глаза своим жалостным взглядом. Но сама однажды чуть не прослезилась, нечаянно услышав, как дядя Боря на кухне разговаривает с кошкой и жалуется кошке на свою судьбу. Но она — в смысле, тётя Люся, а не кошка, — решила быть твёрдой и настоять на своём, то есть, в смысле, на его, дяди Бори, поездке.

За неделю до отъезда дядя Боря по рассеянности забыл закрыть на ключ сейф у себя на работе и получил первый в жизни выговор. И что самое удивительное — не придал этому, кажется, никакого значения.

И вот настал уже последний день, когда дядя Боря, выдохнув, подтянул ремень, зачесал назад мокрые волосы, взял в руку чемодан и, поглядев в зеркало, как бы для того, чтобы запомнить самого себя и не забыть на чужбине, обнял тётю Люсю и быстро, чтобы не дать воли чувствам, побежал по ступенькам к выходу из подъезда, где его уже ожидал шофёр такси, скучно глядевший на облака. И дядя Боря, заметив этот скучающий взгляд, позавидовал таксисту, который может вот так

спокойно смотреть и скучать. (Я всегда думал: откуда папа знает, о чём думал тогда дядя Боря? Но потом перестал морочить себе этим голову. Так выходило интересней. Я сам, бывает, что-нибудь присочиняю, когда рассказываю.)

— А чего он боялся? — всегда спрашивал я раньше, когда слышал эту историю. — Утонуть в море?

Оказывается, дядя Боря боялся ерунды: он опасался, что ему попадутся какие-нибудь неприятные соседи по каюте и по гостинице. Он привык общаться только с тётей Люсей и сослуживцами на работе. Я, когда узнал об этом, очень удивился. Я думал, что такое бывает только у детей. Я помню, что когда я лежал в больнице, мне было не страшно, что я болен, а вот соседей по палате, пацанов постарше меня, нахальных и задиристых, я побаивался. Я и взрослым-то хотел стать только потому, что у взрослых, я думал, такого не бывает. Тем более что дядя Боря такой большой, он одной рукой человека может поднять и на пять метров бросить. А вот ведь — боялся ехать из-за соседей по каюте. Но вышло так, что соседи ему попались очень хорошие. Один был агроном-рисовод, другой — кинооператор, а третий — я не помню уже кто, про него мало говорили, но тоже хороший. И все были весёлые дядьки, так что дядя Боря потом ещё целый год пересказывал тётю Люсе их шутки. И тётя Люся смеялась, пока уже не выучила их наизусть и не устала немного от рассказов про Японию, которые начались с того самого момента, как дядя Боря, в японской шляпе, с японскими значками на пиджаке, сошёл по трапу с теплохода, и не прекращались, наверное, полгода. Он и к нам приходил и долго показывал фотографии, которые сделал в Японии, и рассказывал про каждый город и про каждую гостиницу, где он жил, так что все уже немного устали, а он был такой радостный, что не замечал этого. На даче у себя дядя Боря выкопал маленький японский прудик и сам построил маленький японский мостик через него. Он хотел ещё сделать японский сад камней, чтобы смотреть на него, но тётя Люся ему не позволила и сказала, что на этом месте они будут, как и прежде, выращивать помидоры, а не какие-то камни. Тётю Люсе он привёз веер и настоящее кимоно, которое она стеснялась надевать. На некоторое время дядя Боря даже хотел ввести у себя японские обычаи. Например, он убрал стол из гостиной, вместо стульев разложил на полу подушки, а в центре поставил чёрный лакированный поднос. Тётя Люся терпела несколько дней эти «чайные церемонии», как она выражалась, из любви к дяде Боре, а потом наотрез отказалась «есть с полу, как собачонка». Дядя Боря немного обиделся, но уступил своей «Люсиене» и просто ставил чёрный лакированный поднос на стол и хватал тётю Люсю за руки, не позволяя ей сразу приниматься за еду, пока она не полюбуется некоторое время красотой блюда, как

велит японская традиция. Тётя Люся всё терпела и даже старалась научиться есть палочками, как настоящая японка.

— Расскажи, расскажи про вазу, — просила мама моего папу, сдерживая смех.

Да, приближалось Восьмое марта, и дядя Боря хотел сделать тёте Люсе подарок. Он помнил, что тётя Люся давно намекала, что хочет красивую вазу для цветов. Они были уже давно женаты, но дядя Боря по-прежнему часто покупал тёте Люсе цветы. И вот на Восьмое марта он торжественно вошёл в комнату нечто, завёрнутое в белую бумагу. Тётя Люся заранее расцвела, как роза, готовясь увидеть хрустальное чудо. Но постепенно выражение её лица менялось. Дядя Боря держал в руках шершавый глиняный кувшин, вдобавок сделанный очень грубо и даже немного кривой. А возле самого горлышка даже проглядывала какая-то зеленца, вроде плесени. Так что тёте Люсе даже показалось, будто бы дядя Боря нашёл этот кувшин где-нибудь на мусорке, на свалке и притащил в дом, даже не вымыв. Она всплеснула руками и расплакалась. Дядя Боря был страшно обеспокоен, он не мог выносить слёз тёти Люси, виновато утешал её и пытался объяснить, что этот кувшин — просто образец красоты в стиле сибуй.

— Какой ещё сибуй? — сквозь слёзы стонала тётя Люся.

— Это один из самых высоко ценимых типов красоты у японцев, — рассказывал ей взволнованный дядя Боря. — В нём главное — простота, как в природе. Никаких украшений. Естественность, сдержанность и внутренняя сила...

Но тёте Люсе хотелось украшений. Ей хотелось вазу из хрустала, самую обычную, высокую, большую. Ей не хотелось сибуй. И дядя Боря вынужден был уступить и купить ей именно такую вазу, огромную, как ледяная скульптура. Этим он надеялся загладить свою вину. И загладил. А кувшин в стиле сибуй дядя Боря поставил на шкаф и любовался им, лёжа на диване, под звон японских колокольчиков, которые он привязал к люстре и нарочно открывал везде форточки, чтобы колокольчики звенели от сквозняка, пока, наконец, не простудился.

Вообще, я любил слушать рассказы про тётю Люсю и дядю Борю. Мне становилось как-то уютно и очень спокойно от этих историй. И мои мама с папой становились как-то дружнее, когда рассказывали эти истории. Я иногда думал, почему мои мама с папой не любят друг друга так, как дядя Боря с тётей Люсей. А потом догадался: они тратят эту любовь на нас с Машей, и на самих себя им меньше остаётся. А у дяди Бори с тётей Люсей детей не было. И я почему-то с жалостью вспомнил, как видел их недавно гуляющими по бульвару, держащимися за руки.

Театр

В школе сказали, что в следующую субботу мы всем классом идём в театр. Все очень обрадовались. Пятыров даже закричал:

— Ура!

Не потому что он любит театр, а потому что уроки отменяются.

— Мы идём в театр вместо уроков?

Это он специально уточнил у нашей учительницы и только после этого уже закричал «ура». И все остальные подхватили. Но Пятыров кричал громче всех, потому что он двоечник и особенно не любит школу. Театр он тоже не любит. У нас в классе вообще все больше любят кино. Есть даже такие, которые ни разу в театре не были за всю жизнь. А я был. Аж три раза! Поэтому смотрел на всех немного свысока, как уже бывалый.

В первый раз меня повели в театр, когда я был очень маленьким. Я плакал и хотел идти на ёлку и кататься там на пони вокруг ёлки. Но мама с папой говорили мне, что театр лучше, а я не верил. Я первым делом стал искать, где там этот пони, который лучше. Видимо, я неверно понял родителей и думал, что театр — это такое место, где пони ещё лучше, чем возле ёлки на городской площади. Меня успокаивали и говорили:

— Подожди.

Зачем-то нужно было сесть в зале, где кругом галдели дети и совсем не было места, где мог бы развернуться даже небольшой пони. Наконец мне показали, куда смотреть. Там была такая большая синяя тряпка, а на ней нарисованы снежинки. Потом стало тревожно темнеть, тряпка разделилась на две части и уползла в стороны. Я раскрыл рот и забыл про пони. За тряпкой открылось настоящее небо, а на нём настоящая звезда, из которой светил тонкий луч, и играла музыка. Вдруг из луча появился человечек. Игрушечный, но живой. Я знал, что такое бывает по телевизору, в мультфильмах, но чтобы по-настоящему! Такого я представить не мог. Мне родители заранее не сказали, что в театре кукол будут куклы, или я как-то не обратил на это внимания. Что там было дальше и про что была сказка, я уже не помню. Но появились другие человечки. Они пели, плясали, иногда смешно ссорились. Я вышел вдохновлённый и, придя домой, тут же принялся делать из бумаги свой кукольный театр. Мама мне помогала, потому что я торопился всё сделать поскорее и неровно вырезал ножницами. У меня потом среди игрушек ещё долго валялись этот выцветший синий замок из картона и картонные человечки. Но я не мог сделать звезду с лучом и придумать таких человечков, чтобы у них двигались руки и ноги, поэтому быстро охладел к своей затее. Но когда я просто смотрел на них, то вспоминал тех, настоящих человечков, и мне становилось

весело. Потом я приделал к ним бумажные, тоже плоские, парашютики и пускал из окна. После этого дворничиха ругала мою маму, что я мусорю. И мама почему-то обиделась на меня больше, чем дворничиха. Наверное, потому что мама вырезала каждого человечка отдельно, а дворничиха просто смела их метлой всех вместе. А дальше я совсем ничего не помню про тот первый раз.

Второй раз я был в театре, который назывался тюз. В первом классе, кажется. Этот спектакль я уже запомнил, но, честно говоря, не понял, хотя все говорили, что он для детей, и папа говорил, что я обязательно должен знать это произведение. Называлось «Маленький принц». До этого папа читал мне на ночь книжку про одного маленького принца, которого перепутали с другим мальчишкой, очень на него похожим, но только не принцем, а нищим. И вот я думал, что мы идём смотреть про это спектакль. Оказалось совсем не то. Там было про пилота, который потерпел аварию в пустыне, и у него начались видения. Маленького принца, который ему привиделся, играла тётенька, невысокого роста и с таким звонким-звонким голосом. Она любила другую тётеньку с другой планеты, которую называла Цветок. Женщина-цветок была покрупнее и ещё больше похожа на женщину, чем маленький принц. А на цветок совсем не похожа. Была ещё куча другого народа: говорящие лисы и змеи, не похожие на лис и змей. Папа даже расстроился, когда я рассказал ему эти свои впечатления. И тогда папа сказал, что это взрослая, философская сказка и что я ещё не дорос. Тогда уже я обиделся и подумал: зачем же он повёл меня в театр на этот взрослый спектакль, который, видимо, по ошибке показывали в детском театре?

Но если из этого спектакля я хоть что-то понял, то в третий раз я не понял вообще ничего. Зато как понравилось! Меня не хотели брать. И я не хотел идти. Так случилось, что родители купили два билета, а у папы, как назло, оказалась срочная работа, и он не мог пойти. Мама позвонила двум своим подругам, но те тоже не могли пойти. Тогда мама взяла с собой меня. Хотя папа предупредил её. Папа сказал, усмехнувшись:

— Славка там уснёт.

В этом театре я до этого не был. Он мне понравился сразу, ещё издали. Белый, очень большой, со стеклянными окнами в несколько этажей и ступеньками перед входом, такими длинными, что от одного конца ступеньки до другого можно было бы выстроить в ряд весь наш «А» класс и «Б» тоже. Внутри были колонны, люстры и гардероб, большой, как лес, в котором растут шубы и пальто вместо деревьев. Мама положила себе в сумочку два наших номерка, а мне дала программку, которую купила у билетёрши в форменном жакете. Мы поднялись на второй этаж и стали гулять по жёлтому полу от одного буфета к другому,

отражаясь в зеркалах и обходя других гуляющих, которые тоже вежливо обходили нас. Все были нарядные, как на празднике. Детей почти не было, и мне это понравилось. Я чувствовал себя тоже взрослым. Иногда я чувствовал запах духов и ещё того напитка, который иногда пьёт мой дедушка. Потом все пошли в большой красный зал. Там все кресла были красные и очень мягкие. И занавес был красный, но другого цвета, с золотым рисунком. А перед занавесом была такая тумбочка с лампочкой. Мама объяснила мне, что это дирижёрский пульт. Я раньше видел только пульт от телевизора и подумал: «Ничего себе!» Рассаживаясь, никто не визжал и не кричал, как это было в прошлом театре для юных зрителей. Потом всё стихло, и, пошарив в карманах, я понял, что потерял программку.

— Ничего,— сказала мама,— я тебе сейчас всё быстро объясню. Две девушки, Одиллия и Одетта, и принц Зигфрид, который влюблён...

Но тут началась музыка, я увидел старичка за дирижёрским пультом, в очках и с тонкой палочкой.

— А где музыканты?— успел спросить я.

— В яме,— ответила мама, и я подумал, что услышался.

Сначала была просто музыка. А потом вышли артисты и начали танцевать. Девушки были в таких стоячих белых юбках, как лепестки ромашек, и перестраивались на сцене, как цветочки на торте или клумбе. А парни были в трико, только не таких, как у нашего физрука, без лампасов. Я сразу понял, кто из них принц. Все остальные были в таких жёлтых куртках типа толстовок, но без капюшона, а он был в синей и всегда танцевал отдельно. Похоже, там был какой-то праздник, потому что он танцевал со стаканом в руке, вернее, с кубком. И когда он его поднял вверх, то все остальные тоже подняли и закружились вокруг своих девушек. Потом девушки построились, как мы строились у нас на зарядке в спортивном лагере, и стали по очереди поднимать и опускать руки. Очень красиво, и ни одна не ошиблась, сколько я ни ждал. А может, я не заметил. А потом заиграла такая знакомая музыка, что я вздрогнул, подумал, что это звонит бабушкин телефон. У бабушки точно такая музыка, только я раньше не знал, что она из балета. А дальше появился такой парень в маске Зорро, как Антонио Бандерас. Я сначала так решил, а потом пригляделся и увидел, что просто это у него так брови густо нарисованы и глаза подведены, что похоже на Зорро. Он ходил по сцене с поднятыми руками и на полусогнутых ногах, хотел всех напугать. Было совсем не страшно, но его всё равно все боялись, кроме принца Зигфрида.

Потом я устал приглядываться ко всему этому и стал просто смотреть. Иногда я поглядывал по сторонам на взрослых, как они смотрят. Все сидели

и смотрели, как будто бы всё понимают. И я тоже так сидел. А потом, как и предсказал папа, меня стало клонить в сон. Я почувствовал сладкое тепло, опустился поглубже в кресло, и даже глаза у меня стали слипаться. И вот тогда вдруг музыка показала мне такой красивой, как раньше со мной никогда не бывало наяву. Это длилось, может быть, недолго, но было удивительно хорошо, и мне не хотелось просыпаться, потому что я боялся, что тогда музыка уже не будет такой, но и заснуть совсем, полностью мне не хотелось, потому что тогда я ничего не услышу. Не знаю, сколько я так просидел. Но потом вдруг все захлопали, и я пришёл в себя.

— Антракт,— сказала мама и негромко засмеялась, глядя на меня.— Ты спал?

— Нет,— смутившись, ответил я.

Мы вышли из зала, и мама купила мне в буфете кофе и пирожное.

Я не знал, как рассказать про свои чувства, и после театра ответил на мамин вопрос просто: — Да. Понравилось.

Она, наверное, подумала, что я так сказал, только чтобы ей было приятно, но я действительно не знал, как мне про всё это рассказать.

В этот раз всё было не так. Мы шли всем классом, но не из школы. Встречались у театра, где нас ждала учительница Маргарита Васильевна. Всех поразил Пятыхров, который пришёл в клетчатом пиджаке и красном галстуке, розовый от смущения, что родители заставили его так вырядиться. Девчонки тоже пришли нарядные не по-школьному и всё время о чём-то хихикали, сбившись в кучку. Пацаны в основном бесились, гоняясь друг за другом между колоннами у входа в театр. Пашка с Витькой—типа, самые умные,—стояли в сторонке и разговаривали про игроков нхл, обсуждая, кто из них сколько стоит и на какой машине ездит. Сашка Готов стоял спокойно и щёлкал семечки, поднося ко рту кулак и сплёвывая на ступеньки. Я подошёл к нему, как к самому приличному и не такому воображистому, как Пашка с Витькой. Пятыхров вынул из кармана клетчатого пиджака трубочку и плюнул из неё жёванной бумажкой в одну из девчонок. Побежала Маргарита Васильевна и стала отбирать у Сашки Готова семечки, чтобы он всё вокруг не заплывал. «Да, хорошая у нас компания...— подумал я.—С такими в зоопарк идти и то стыдно». Но тут Серёжка Порфирьев ударил меня сзади по затылку, я обернулся и погнался, петляя, вслед за ним между колоннами, догнал и дал ему такого классного пинка, что он побежал, выставив руки вперёд, и чуть не врезался в пожилую пару в тот самый момент, когда раскрасневшаяся Маргарита Васильевна уже держала меня за шиворот. Так я и вошёл в фойе. Мне всегда достаётся ни за что!

В зале было много пустых мест—может быть, потому, что спектакль шёл днём. Можно было садиться куда хочешь. Но мы сели на свои места по билетам, как велела Маргарита Васильевна. Кроме нас, пришёл ещё какой-то класс из другой школы. Тоже с учительницей. И я заметил, как наша Маргарита Васильевна обменялась с ней взглядом и улыбкой. Не очень весёлой. Сзади меня опять сел Серёжка Порфирьев и стал дуть мне в затылок. Я показал ему кулак. Наконец, заиграла музыка, и поднялся занавес. На сцене появился дяденька в длинном пальто и круглой шляпе. Не успел он рта раскрыть, как наши пацаны уже заржали. — Валерий Палыч! Валерий Палыч!— корчась, стонали они и показывали пальцем.

Артист был действительно сильно похож на нашего учителя по труду. Я тоже засмеялся. Было смешно увидеть нашего трудовика в такой дурацкой шляпе. Дальше они уже ржали просто так надо всем. Чаше и громче всех—Пятыхров. Маргарите Васильевне пришлось схватить его за руку и вывести из зала. В это время Порфирьев опять принялся дуть мне в затылок, и я решил пересесть на другой ряд, пока Маргарита Васильевна не видит. Я пробирался, запинаясь о колени своих одноклассников, и думал, куда мне сесть подальше от всех. Тут я поднял голову и увидел над собой балкон и ложи. Пойду туда, решил я. Потихоньку выбравшись в фойе, я пробежал по боковой лестнице на второй этаж, а потом на третий и оказался на самом-самом верху. Здесь вообще все места были пустые. И сцена хорошо видна. И там, внизу, наш класс. Я усмехнулся от удовольствия. Сейчас бы кинуть сверху Порфирьеву по башке огрызком яблока! Но у меня не было яблока, и я расселся там, наверху, как король, и стал смотреть спектакль. Начало я немного пропустил, но дальше становилось понятно. Тот, в смешной шляпе, был профессор. А девушка в шляпе с перьями—Элиза—у него училась. Эта Элиза напомнила мне тётю Люсю, жену дяди Бори. Не то чтобы она была на неё хоть каплю похожа, нет, она просто делала часто неправильные ударения и неграмотно говорила слова, вроде: «польга», «туфлей», «ложить»... А профессор и его друг во фраке и перчатках её учили говорить правильно. А когда пришёл папа этой девушки Элизы, весь такой бомж, они все запели и затанцевали. Мне было интересно, что я тут наверху совсем один, и захотелось походить; я пошёл по этому балкону направо до самого конца и увидел там открытую дверь. Я остановился, а потом решил-таки заглянуть, просто из любопытства. Там была маленькая комнатка, почти вся занятая прожекторами, направленными на сцену, а под прожекторами сидел в кресле мальчик моего возраста и чистил мандарин. Увидев меня, он положил дольку мандарина в рот и, жуя, спросил меня:

— Чё ты тут делаешь? Это служебное помещение, осветительская.

Я пожал плечами и сказал:

— Ничего. Просто с классом в театр пришли...

— Это вот эти, что ли?—спросил мальчишка, сплюнув косточкой от мандарина в ту сторону, где внизу сидел наш класс. Я кивнул.

— Я бы таких зрителей к театру на пушечный выстрел не подпускал,—сказал загадочный мальчик,—они же работать артистам не дают.

— А ты что тут делаешь?—немного осмелев, спросил я.

— Не видишь? Мандарины ем...—он достал откуда-то и протянул мне ещё один мандарин.—Хочешь? Заходи. А то мне одному тут скучно.

Оказалось, что этот мальчик был сын той самой актрисы, которая играла ту девушку, которая не могла правильно говорить.

— А папа твой кого играет?—спросил я.

— Папа никого не играет, он режиссёр,—ответил папан.

— А ты, типа, прожекторами управляешь?—спросил я с улыбкой.

— Нет, дядя Валера, осветитель, попросил меня посидеть на всякий случай, пока он в магазин сбегает,—ответил мальчик.

Мы познакомились, этого мальчика звали Валька (дурацкое имя, но я ему, конечно, этого не сказал), и он рассказал мне, что родители наказали его за двойку по математике и не пустили в кино, сказали, чтобы он сидел и занимался, а он вместо этого забрался сюда и ест мандарины. А я рассказал ему, что мне неохота было сидеть с классом, потому что мне мешали смотреть спектакль, и я забрался сюда, наверх.

— Я этот спектакль раз сто видел,—ответил Валька небрежно.

А когда наступил антракт, он предложил мне:—Хочешь, отведу тебя за кулисы, помотришь на актёров?

— Куда?—не понял я.

Мы спустились по боковой лесенке и юркнули в узкую дверку, над которой был зелёный, запачканный извёсткой фонарик с надписью «Служебный вход», потом свернули и сразу оказались в полной темноте.

— Дай руку!—прошептал мне Валька и повёл меня вперёд.

Мы оказались за сценой. Сбоку я увидел её, ярко освещённую, но пустую. На сцене также стоял стол, на столе графин, и рядом лежали белые перчатки. А зала не было видно, потому что занавес был закрыт.

— Ого!—сказал я.

— Хочешь, походи тут,—радуясь моему изумлению, предложил Валька.

Я осторожно, как на лёд, вышел на сцену, подошёл к столу и с глупой улыбкой потрогал графин.

— Пойдём дальше!—торопил меня Валька.

Мы быстро пошли по коридорам, таким запутанным, что я бы один тут заблудился и назад не выбрался. Но Валька чувствовал себя как рыба в воде. Вдруг на пути нам попался тот самый бомж, который играл отца той девушки. Он стоял в коридоре, пил кефир и говорил по сотовому телефону.—Здравствуйте, дядя Юра,—бросил ему на ходу Валька.

Потом он открыл какую-то дверь, и мы оказались в небольшой комнате с зеркалами, и над каждым зеркалом были включённые лампочки, поэтому всё казалось очень ярким. За столиком перед одним из зеркал сидела эта девушка, Элиза. Но я узнал её только по плетью, потому что рыжие волосы она сняла и вытирала ваткой веки. А настоящие волосы у неё были чёрные. Она вполоборота посмотрела на нас и сказала:

— Валя, в гримуборную нельзя входить без стука, я могла переодеться. А кто этот мальчик?

Я бы испугался, но она спросила совсем не сердито.

— Мама у нас ещё сок остался?—спросил Валька, не обращая внимания на её слова, но потом, как бы опомнившись, быстро ответил:—Один мой друг, мечтает стать артистом.

Я покраснел. Мама-Элиза улыбнулась и бросила на меня ещё один взгляд. Валька налил стакан сока. Из маленького радио, висевшего на стене, раздался голос: «Внимание! Даём первый звонок». Мама-Элиза достала тоненькую сигарету, щёлкнула зажигалкой и, откинувшись на спинку кресла, выпустила вверх струйку дыма и тут же затушила сигарету о блюдце.

— Мама! Ты обещала...—укоризненно сказал Валька.

— Хорошо-хорошо,—сказала мама-Элиза.

— Пойдём, ещё кое-что покажу,—дёрнул меня за рукав Валька.

Я сказал:

— До свидания.

— Пока,—ответила мама-Элиза, и мы уже снова почти бежали по коридору, пока не добежали до какой-то лестницы, идущей вниз, в темноту.

Я стал осторожно спускаться следом за своим новым приятелем.

— Где это мы?—спросил я шёпотом.

— Под сценой,—ответил Валька.

Глаза мои привыкли к темноте, и Валька показал мне большой и малый поворотный круг.

— Это чтобы быстро менять декорации на сцене,—объяснял он мне.

— А кто же его крутит?

— Машинист сцены,—ответил Валька,—но не сам, конечно, там электромотор стоит. Хочешь, посидим здесь, после первой картины будет смена декораций, увидишь, как он работает.

Мы просидели минут пятнадцать под сценой, слыша голоса актёров из такого же радио, какое

висело в гримуборной. Машинист сцены, дядя Лёня, как его называл Валька, пил чай и разгадывал кроссворд. Потом он нажал кнопку, и пол над нами стал вращаться, как небо в планетарии, только без звёзд. После этого мы вернулись в осветительскую ложу и уже там досматривали спектакль.

В конце оказалось, что Элиза — герцогиня, а её папа — богач из Америки, который раньше был бомжем. А может, я что-то опять упустил. Но все снова стали танцевать и петь. И спектакль закончился.

— Приходи ещё, — сказал мне на прощание Валька. — Заходи со служебного входа и спроси на вахте Валентина Пилявского. Это моя фамилия. Если захочешь, можешь предков своих на спектакль привести. Я проведу. Бесплатно. Ну, или просто, сам.

— Спасибо, — сказал я, — как-нибудь заскочу.

Это ещё хорошо, что я хоть что-то запомнил из этого спектакля, потому что наша учительница потеряла меня и решила, что я сбежал из театра. Я встретился со своим классом только возле гардероба, и Маргарита Васильевна даже слушать не хотела моих оправданий и вместо этого заставила меня одного из всего класса писать доклад про эту пьесу. А пьесу-то я и не запомнил толком. Вот так и получается, что теперь я знаю о театре больше всех, может быть, даже больше, чем мои родители, а доклад всё равно пришлось скачивать из Интернета. Зато когда теперь мне случается проходить мимо театральной афиши, где под названием спектакля крупными буквами написано: «Режиссёр: Герман Пилявский», — я горжусь, и мне хочется рассказать приятелям о своём театральном приключении. Но я не рассказываю, им это неинтересно. Они не такие театралы, как я.

Грипп

Больше всего я люблю каникулы, запах костра, купаться в море, отдира́ть клей, когда он присохнет к пальцам, и болеть гриппом. Особенно зимой. Но не на каникулах.

Я помню все разы, когда я болел. Ещё когда был маленьким, ходил в детский сад и боялся. А теперь я не боюсь. Я знаю, что грипп хорошо лечится.

Я знаю, как он начинается, когда вдруг в школе накатит на тебя лень, но не такая, как всегда, а другая. И на перемене неохота бегать, ходишь как под водой и слышишь как сквозь вату, а глаза начинают болеть, если помотришь в сторону, не поворачивая головы. И докторша в медпункте встряхивает градусником, который кажется таким холодным под мышкой, что мурашки бегут по спине. А потом она смотрит на градусник, ахает или качает головой и пишет записку учительнице. И после этого я иду домой по снегу, медленно, останавливаясь, нагибаюсь, чтобы зачерпнуть снега, и прикладываю его ко лбу. На секунду становится

так ясно, и холодные струйки начинают бежать по лицу. А дома мама сразу пугается и начинает помогать мне расшнуровывать ботинки. А я иду, волоча за собой портфель, и падаю на кровать, лицом вверх, чтобы найти знакомую полоску на потолке, трещинку в извёстке, похожую на скрюченного человечка. Я заметил, что замечаю этого человечка, только когда болею. Мне дают чай с лимоном и пульт от телевизора и вызывают по телефону врача. Приезжает тётенька в белом халате под зимней шубой. И я, уже переодетый в пижаму, встаю лицом к окну, чтобы она могла посмотреть мне горло, надавив ложечкой на язык. А потом она долго пишет и объясняет маме, что покупать в аптеке и как давать. Меня пытаются кормить бульоном, но я не хочу есть и засыпаю. А когда просыпаюсь ближе к вечеру, на меня наваливается жар. Уже не тридцать семь и семь, как было в школе, а тридцать восемь и девять. И папа садится рядом и говорит мне, чтобы успокоить, что это хорошо, значит, организм борется с болезнью, раз высокая температура, но я вижу, что он сам волнуется. И они с мамой вечно спорят, какое жаропонижающее мне давать — аспирин или парацетамол. И потом что-нибудь дают и кладут мне на лоб холодный мокрый платок, от которого ударяет в нос уксусом, но он мгновенно высыхает, и мне снится сон, что я встал и намочил платок под холодным краном. Но когда я просыпаюсь, платок сухой и горячий, и мне снова так лень встать и даже просто попросить, чтобы мне намочили платок, что я опять засыпаю, и мне снова снится этот сон. А ночью мне становится так холодно, хотя я и лежу под толстым одеялом, что я весь дрожу и при свете ночника смотрю на потолок, на знакомого человечка, который начинает расплываться и двигаться. И я всё смотрю и жду, когда он доберётся до рисунка обоев на стене, но он никак не может добраться; зато сами обои расцветают, узор на них меняется и кажется мне то масками, то диковинными зверями, то буквами, завитушки которых временами отливают золотым или малиновым цветом.

Утром я просыпаюсь с мокрыми волосами, в мокрой от пота пижаме, но чувствую, что жар прошёл. И вот тогда начинается самое хорошее. Я ещё неделю валяюсь в постели, смотрю телевизор или играю в компьютерные игры, пью чай с малиновым вареньем и с лимоном и смотрю, как на улице падает снег. Рано утром мне даже хочется специально встать и посмотреть в окно, как идут в школу другие ребята, чтобы сильнее обрадоваться, что я остаюсь дома. Но мне лень выбираться из тёплой постели, и я просто представляю себе синюю улицу, по которой идут под фонарями чёрные фигурки.

Почти все книги в своей жизни я прочёл благодаря болезням. Вернее, мне их читали — мама,

бабушка, но больше всех папа. Он совсем не уставал, читая, говорил, что, наоборот, отдыхает за этим занятием, и мог читать мне час и два, не замечая, что я уже сплю.

И вот это случилось опять. Я заболел. Всё началось как обычно. И я знал, что нужно перетерпеть только первый тяжёлый день. Но, проснувшись на второе утро, я почувствовал, что температура у меня не прошла, и приуныл. Я, конечно, смотрел телевизор, но мне было невесело. Глаза болели, и я быстро устал. Я уже начал засыпать, когда мне позвонил мой школьный приятель Лёшка:

— Ты чего в школе не был?

— У меня грипп,— ответил я.

— Птичий?— спросил он.

А я не знал тогда ещё про птичий грипп и не понял.

— Да есть такой,— сказал он.

И мы стали говорить уже про другое. Он мне рассказывал, что наш одноклассник Пятыхов, оказывается, сводил стиральным порошком двойки в дневнике и переправлял их на четвёрки. Он хотел, чтобы родители купили ему новую игровую приставку. И вот теперь всё это открылось. А Пятыхов так расстроился, что взял и забросил свой школьный портфель на козырёк подъезда, как раз под окном кабинета директора, а сам ушёл в неизвестном направлении, и теперь его будут искать вместе с милицией, потому что бояться, что вдруг у него нервный срыв и он пойдёт и бросится с пирса в море из-за своей несчастной игровой приставки.

— Во дурак!— сказал я восхищённо.

— Ну!— весело подтвердил Лёшка.

Я даже про температуру забыл на какое-то время, лежал, вспоминал наш разговор с Лёшкой и смеялся. «Птичий грипп,— наконец вспомнил я, смеясь.— Если бы у меня был птичий грипп, я бы уже давно выздоровел. Что я, воробей какой-нибудь, или курица, или канарейка? У меня тело в сто раз больше и сильнее». Я вспомнил жёлтенькую канарейку, которую недавно кормил с руки хлебными крошками в зоомагазине, пока продавщица меня не прогнала. Там запрещают кормить птиц. А я люблю заходить в этот магазин по дороге из школы. Там стоят огромные аквариумы, а в них стоят, выпучив глаза, рыбы телескопы. Только плавники едва колышутся. А маленькие рыбки летают, как ракеты, по всему аквариуму. И компрессоры выдувают серебряные пузырьки воздуха. Красиво. Только долго стоять жарко. Я снимаю шапку, расстёгиваю куртку и иду посмотреть на хомячков и на кроликов. Я бы завёл себе хомячка, но не хочу. Они мало живут, и мне будет грустно, когда мой хомяк умрёт. А вот черепахи живут долго, но черепаху я не хочу. Черепахе всё всё равно. У неё глаза такие. Древние. Как сказал бы Пятыхов, им всё «до балды». Они, наверное, уже

устали столько жить со времен динозавров, им ничего не интересно. А вот живут. И мозга у них в голове, говорят, всего со спичечную головку. И то у самых умных. Птицы веселее. Там был один такой попугай с синим пером на голове и таким клювом, что я боялся его кормить. А канарейку не боялся. Хотя в этот раз она меня немного больно клонула. У меня была незажившая ссадина на руке, и так получилось, что когда я её кормил, она меня как раз туда клонула. Нечаянно, конечно, но до крови.

Я решил рассказать папе историю про Пашку Пятыхова. Папа смеялся и сказал:

— Хороший парень.

Я давно заметил, что папа и мама по-разному реагируют на одно и то же. Мама бы покачала головой и сказала: «Какой кошмар...»

— А бывает птичий грипп?— спросил я у папы.

— Да. Очень опасное заболевание с высокой смертностью. Самые опасные типы— аш пять эн один и аш семь эн девять.

Папа у меня всегда отвечает, как справочник, и я горжусь за него. Но на этот раз у меня в глазах поплыло.

Папа ушёл на работу. А я решил как-то лечиться. Какие пить таблетки от птичьего гриппа, я не знал. Вспомнил, что бабушка всегда во время болезни уговаривала меня поесть, говорила, что это придаёт силы для борьбы с болезнью. Есть мне совсем не хотелось, но я пошёл на кухню и налил себе тарелку супа. Взял ложку и начал есть, жмурясь от неохоты. Я доел всё до последней ложки, так что даже вспотел. А потом меня вырвало. Теперь я понял, что у меня точно птичий грипп, потому что никогда раньше меня при гриппе не рвало. Значит, это другой грипп. Тот самый. Я сидел, упёршись локтем в колено, а лбом в ладонь, и у меня всё дрожало— и нога, и рука. «Надо разобраться. Может быть, всё и не так, как я думаю,— решил я.— Надо найти птицу и посмотреть, что с ней. Если она ещё не умерла, то и я, может быть, не умру». Дома как раз никого не было. Я стал одеваться, и одежда казалась мне такой тяжёлой и неровной, никак не налазила. Одевшись, я очень устал, но надо было идти.

На улице я ободрился от свежего морозного воздуха. Кругом были нормальные, весёлые люди и машины. «Всё это ерунда,— подумал я.— Вот ведь никто не болеет, значит, и я тоже. Не может быть, чтобы мне одному из всех так не повезло и я один заболел этим страшным гриппом. Но ведь только тебя клонула в руку канарейка,— тут же подумал я.— Ну и что?! Других собаки кусают, и ничего. Это потому что нет собачьего гриппа». Так я рассуждал, шагая по снегу и дыша ртом.

Возле магазина я остановился и боялся войти. В дверь входили и выходили разные весёлые люди с детьми. «Они скоро встретят Новый год, а я умру»,— подумал я. Наконец я решился и вошёл

внутри; нарочно не глядя пока в ту сторону, где стояла клетка с моей заразной канарейкой, я прошёл мимо кроликов, хомяков, черепах и аквариумов и остановился перед той самой клеткой. Клетка была пуста. Канарейки не было. «Всё. Сдохла», — подумал я. Но решил убедиться и подошёл к продавщице.

— У вас там канареечка была, жёлтенькая такая, — робко спросил я.

— Поздно пришёл, — ответила продавщица печально.

— Умерла?

— Продали! — засмеялась продавщица. — Купи другую, зелёнькую, — предложила она.

— Давно продали? — спросил я.

— Дня три назад, — сказала продавщица.

Пот лился с меня так, что даже брови промокли.

— А у вас есть гарантия на животных и птиц? — неожиданно додумался спросить я.

— Что?

— Ну, вот если животное или птицу купили и эта птица вдруг умрёт, её можно вернуть в магазин по гарантийному талону?

Продавщица даже кашлянула, а потом, смеясь, отвечала:

— Нет, мальчик, гарантию на животных никто не даёт, это тебе не пылесос.

Уже другие покупатели стояли у прилавка и ждали, когда я прекращу свои глупые расспросы, и сама тётенька продавец стала смотреть на меня немного раздражённо.

— Что вам, мужчина? — обратилась она к одному дяденьке в дублёнке нараспашку.

Этот дяденька долго выбирал ошейник для собаки. Видно, хотел сделать на Новый год подарок своему четвероногому другу. После него подошла тётенька и покупала разные корма для своей кошки. А после неё старичок с внучкой выбирали хомячка. А я всё стоял, не зная, но чувствуя, что мне надо ещё о чём-то порасспросить продавщицу. Иногда мне казалось, что я сейчас упаду от жары. И тут мне пришла в голову мысль. Я вытер шапкой лицо и пошёл твёрдо, как будто я взрослый, прямо в дверь с надписью «Служебный вход». Никто даже не заметил, что я туда вошёл. Там, внутри, ещё сильнее пахло кормом для животных, стояла очень большая, но поломанная клетка, и нигде не было никаких надписей или указателей. Так что я просто открыл первую попавшуюся дверь.

Женщина в белом, как у доктора, халате посмотрела на меня удивлённо. Она до этого что-то писала, а теперь подняла на меня глаза.

— Вы директор? — спросил я, от волнения забыв поздороваться.

— Нет. Я заведующая, — ответила она и отложила ручку.

— У меня к вам один вопрос, — начал я со слов, которые часто слышал от взрослых по телевизору.

Заведующая улыбнулась, как будто я сказал что-то смешное.

— Скажите, у птицы из вашего магазина может быть птичий грипп?

У заведующей глаза как-то вздрогнули, она посмотрела на меня внимательно, вышла из-за стола и, подойдя ко мне, спросила:

— Какую птицу ты у нас купил?

— Никакую, — ответил я. — Просто я кормил одну вашу канарейку, и она меня нечаянно клюнула.

— И ты думаешь, что у тебя птичий грипп? — рассмеялась она. — Нет. Этого быть не может. Основные переносчики птичьего гриппа — дикие перелётные птицы, например утки. А к нам все животные поступают с ветеринарными свидетельствами. Без этого мы и в магазин их не примем.

— Правда?

— Конечно.

— Ну, то есть точно? — спросил я.

— Абсолютно!

Не помню, как я вышел из магазина, как дошёл домой, помню только, что мне было так легко дышать, что я просто шёл и дышал с таким удовольствием, как никогда раньше. Хорошо, что я успел вернуться до прихода родителей, раздеться и лечь в постель. Но одежду я бросил в коридоре, и с моих зимних ботинок натекла лужа. Мама с папой, придя домой, пришли в ужас. Они решили, что я бегал гулять на улицу. И значит, я не только болен гриппом, но ещё и безумен. А к вечеру у меня поднялась такая температура, что родители были уже в панике и звонили в скорую помощь. Зато я был абсолютно спокоен и даже весел. И это ещё сильнее пугало моих родителей. Теперь они думали, что я ошалел и помешался от температуры. Но доктор из скорой помощи сказал им, что такого быть не может.

— Просто дети, бывает, легче переносят температуру, — сказал он.

— Тем более это ведь не какой-нибудь там птичий грипп, пустяки! — сказал я.

Доктор посмотрел на меня и сказал:

— Пневмония — это не пустяк.

Потом обернулся к моим родителям и добавил: — Завтра надо сделать рентген лёгких.

Папа с мамой очень испугались, они объяснили мне, что пневмония — это воспаление лёгких.

— Разве это страшно? — спросил я, желая их успокоить.

Но они успокоились, только когда доктор сказал им, что снимок у меня чистый и воспаления лёгких нет.

Кулинария

Как-то раз мама с папой поспорили, какие профессии женские, а какие мужские. Спор этот начался с того, что в школе нам задали написать сочинения под названием «Мужские профессии». И вот все

стали писать про военных лётчиков, военных моряков, пограничников, милиционеров и капитанов кораблей. Я узнал об этом, когда обзванивал по телефону своих друзей. А папа мне сказал:

— А ты, Славка, возьми и прояви оригинальность, напиши про повара.

— Ну какая же это мужская профессия? — сказали ему мы с мамой.

— У нас в школьной столовой все повара — женщины, — сказал я.

На что папа улыбнулся и сказал:

— Это потому, что у вас просто школьная столовая. А возьми любой хороший ресторан. Там всегда шеф-повар — мужчина. Мужчины — лучшие повара и кулинары. Так повелось ещё с давних времён. И учителя, кстати, тоже, — добавил папа. — У нас и учителя все женщины, — сказал я, — кроме физрука и трудовика.

— Это плохо, — сказал папа.

— У нас плохие учителя? — спросил я с интересом.

— Чему ты опять учишь ребёнка? Подрываешь авторитет школы! — сказала мама.

— Я не подрываю, я не говорил, что учителя плохие. Я хотел сказать, что лучшие учителя и повара — всё-таки мужчины. Вот посмотри: Ушинский, Сухомлинский, Макаренко, Песталоцци, наконец... А назови мне хоть одну великую женщину-педагога?

Мама задумалась и сказала:

— Крупская.

Папа засмеялся. А мама обиделась.

— Хорошо, — сказала она, — раз так, то вы сегодня готовите обед! Посмотрим, какие вы мастера...

— Ну я же не в том смысле говорил... — начал папа.

— А я — в том! — ответила мама и ушла в парикмахерскую.

Мы с папой переглянулись, и он сказал:

— А что, Славка? Давай постоим за честь мужчин-поваров.

И мы отправились на кухню. Папа сказал:

— Прежде всего — отойдём от стереотипов.

— От кого? — спросил я.

— Ну, от привычного образца. Что это у нас всегда суп на обед и картошка с котлетами на второе? Давай соорудим что-нибудь оригинальное, необычное.

— А что?

Папа задумался.

— Давай тащи кулинарную книгу, — скомандовал он.

Я достал с полки толстую, сильно потрёпанную книгу в твёрдой жёлтой обложке. Не успел я её раскрыть, как из неё так и посыпались всякие вырезки из журналов и газет, всякие рецепты, написанные ещё от руки бабушкиным почерком. И вдобавок выпало несколько лавровых листочков. Папа долго листал книгу. Потом вздохнул и сказал:

— Всё слишком традиционно. Не на чем блеснуть. Тефтели, ростбиф, суп-пюре — разве это интересно?

Я пожал плечами.

— Ты прав! — сказал папа, хотя я ничего ему не говорил. — Мы найдём нужный рецепт в Интернете!

В Интернете мы нашли много удивительного: суп из бычьих хвостов, суп из гнёзд ласточек, блюдо из кузнечиков в остром соусе. Но папа сказал: — Это неверный путь. Давай исходить из того, что у нас есть в холодильнике. А блюдо придумаем сами.

Мы вернулись на кухню. Папа достал банку сгущёнки и вылил её в кастрюлю.

— И что дальше? — спросил я.

— Ещё не знаю, — сказал папа и облизал палец, испачканный в сгущёнке.

— Может, воды налить? — подсказал я.

— Идея! — ответил папа и вылил в кастрюлю полчайника воды.

А потом он открыл банку шампиньонов и побросал их в кастрюлю.

— Молочный суп с грибами — оригинально!

— Наверное, — ответил я. — А есть это можно будет?

— Ты, чем критиковать, лучше сам хоть что-нибудь придумай, — сказал папа.

Я придумал бросить туда немного сырой курицы и покрошить зелёного лука.

— Перец, перец надо добавить! — суетился папа.

Похлёбка «Фантазио по-трансильвански» — так папа назвал наш суп.

— Почему по-трансильвански? — спросил я.

— Просто так. Для экзотики, — ответил папа.

Мы попробовали похлёбку. Я сразу выплюнул. А папа всё-таки проглотил и сказал:

— Соль забыли.

Он посолил и снова попробовал.

— Ну вот! Теперь другое дело.

Я тоже попробовал и на этот раз уже удержался, чтобы не выплюнуть. Мы поставили суп остывать, а сами принялись за второе.

— Что-то меня потянуло на английскую кухню. Давай сварганим пудинг, — предложил папа.

— Это вроде запеканки?

— Совсем нет. Ты, оказывается, ничего не знаешь. Учись.

С пудингом оказалось много мороки. Сначала мы чистили яблоки. Потом папа просеивал муку и стал похож на настоящего повара: почти весь белый, даже волосы. Потом мы бросили в кастрюльку яйца, молоко, сливочное масло и стали всё это перемешивать. А перемешав, поставили в духовку и стали ждать. Пока мы ждали, папа рассказал мне, что мы готовим классический хемпширский пудинг. Хемпшир — это графство на юге Англии, столица называется Винчестер. Но ружья «винчестер» изобрели не там, а в Америке. Их

придумал изобретатель Генри, но его изобретение купил один бизнесмен по имени Оливер Винчестер и стал изготавливать на своём заводе эти ружья. Там был такой рычаг для быстрой перезарядки. Мы с папой даже пошли в комнату, потому что он хотел нарисовать мне на бумаге принцип действия этого ружья. Там в магазин вставлялось пятнадцать патронов, которые опытный стрелок мог расстрелять всего за пятнадцать секунд. Не только у белых, но и у индейцев появились такие ружья. — Ты смотрел «Хороший, плохой, злой»? Нет? — спросил меня папа.

Но тут мы почувствовали запах дыма и побежали на кухню с криками, как индейцы.

Нам удалось проветрить квартиру. А вот вынуть пудинг из формы, в которой он пёкся, мы долго не могли. Папа забыл смазать дно жиром, как это указывалось в рецепте. Наконец пудинг выпал на блюдо, почернелый, искромсанный и дымящийся. Он был похож на метеорит, упавший на Землю из космоса. Папа потыкал его вилкой. Осторожно, как сапёр в кино.

Тут мама вернулась из парикмахерской. Мы обрезали черноту с пудинга и стали сервировать стол. Вышло очень красиво. Но ещё красивее было в ресторане, куда мы пошли обедать за папин счёт. Там папа блеснул по-настоящему. Он заказал суп пармезан с профитролями, а на второе — карпа в маковой глазури со сливовым соусом. Всем нам очень понравилось. Мама каждую ложку подносила ко рту благосклонно и как-то торжественно, радуясь, что доказала нам с папой свою правоту. И папа тоже нахваливал блюда и улыбался как-то хитро. Под конец, когда нам уже принесли счёт, папа спросил официанта:

— Скажите, пожалуйста, а кто в вашем ресторане шеф-повар — мужчина или женщина?

— Мужчина, — ответил официант, и папа торжественно посмотрел на маму.

Но это не испортило ей настроения. Она всё время смеялась, когда мы с папой рассказывали ей о наших кулинарных опытах.

А наш суп и пудинг мы отдали соседям. Они держат собаку. И собака всё съела. На что папа сказал:

— Животные плохого есть не станут.

А мама только улыбнулась.

И только вечером я вспомнил про своё сочинение и написал всё-таки про военных. У меня ведь дедушка военный.

Ёлка

Некоторые дети не верят в Деда Мороза, а я вот всегда в него верил. Зато я долго не мог поверить в Новый год. Когда я был совсем маленький, я, конечно, просто не понимал, к чему вся эта суета вокруг ёлки. А потом понял и не поверил. Как это так? До этого вечером мы гуляли с мамой

во дворе. Падал частый пушистый снег. Огни светились. Бегали другие дети и за ними с лаем собачка. Я вышел первый раз в новых сапожках и с удовольствием наступал ими в снег. Дома стояла наряженная ёлка и мигала огоньками. А на следующее утро я смотрел из окна во двор и отчётливо видел вчерашние следы от своих новеньких сапожек, слегка заметённые за ночь снегом. Это было вчера. А мама с папой говорили, что это было в прошлом году. Я не мог в это поверить. Но Новый год мне всё равно нравился, хотя я и не верил в него. Оказывается, так бывает. Вот взрослые не верят ведь в Деда Мороза и Снегурочку, но они им нравятся. Я не верю в Микки Мауса и крокодила Гену, но они мне нравятся. Так же и Новый год: его придумали, чтобы он всем нравился.

Раньше к нам приходила на Новый год моя прабабушка Маргарита Фёдоровна. Кроме подарков, она всегда приносила с собой столовый набор в старой коробке, на которой было написано по-немецки: «Krupp Berndorf». Она открывала коробку и раскладывала по столу, покрытому белой скатертью, серебряные вилки, ножи и ложки. Когда праздник заканчивался, она аккуратно собирала их, мыла отдельно от прочей посуды, вытирала полотенцем и складывала назад в бархатные выемки футляра, уже сильно протёршиеся от времени. Этот набор достался моей прабабушке от её отца, прапрадедушки Фридриха. Так что правильно было называть мою прабабушку Маргарита Фридриховна, но её упростили на Фёдоровну. Один раз, когда мы с прабабушкой сидели под ёлкой, дожидаясь Нового года, пока папа и мама принимали бесконечные поздравления по телефону и сами звонили и поздравляли своих друзей, я спросил бабушку:

— А кто был твой папа Фридрих?

Оказывается, мой прапрадедушка Фридрих Карлович был офицер, и даже немец. Но служил не в немецкой армии, а в русской, и так давно, что видел ещё царя. Бабушка рассказывала мне не спеша и говорила обо всём так, будто это случилось вчера, на её глазах.

— В июле тысяча девятьсот четвёртого года государь император Николай Второй проводил смотр войск, отправлявшихся на японский фронт, это происходило в Пензе. И на этом смотре присутствовал твой прапрадедушка, тогда он был в чине поручика... Он был кавалеристом и носил усы как у императора Вильгельма, — продолжала бабушка. — Возможно, это была дань уважения его бывшей родине — Германии. Но погиб он, воюя за Россию. Это было в тысяча девятьсот четырнадцатом году на австрийском фронте. Тогда он был уже в чине ротмистра. Мне потом подробно рассказывал его товарищ, Пантелей Елистратович Мигун, который был ранен в этом же бою. Это было в августе, вечером, у реки Гнилая Липа.

Фридрих Карлович развернул свой эскадрон, чтобы отразить удар австрийцев с фланга. Был дождь, кони вязли. Они попали под обстрел австрийской батареи стасорокадевятимиллиметровых гаубиц «Шкода». Тяжёлый снаряд упал рядом с Фридрихом Карловичем, но не разорвался, а только забрызгал его грязью. Он улыбнулся, отирая капельки грязи с лица, что-то крикнул своему товарищу, и в ту же секунду пуля пробила лаковый козырёк его фуражки.

Я не знал, кто такой император Вильгельм и какие он носил усы, никогда не слышал про места, где протекает речка Гнилая Липа, не понимал слова «гаубица», но сидел, открыв рот, и видел всё ясно, как в кино.

А в другой раз, на другой Новый год, я запомнил, как около двенадцати, когда оставалось всего минут пятнадцать до боя курантов, папа сказал мне: — Славка, вспомни всё хорошее, что было в уходящем году.

И мы стояли с ним вместе у окна и вспоминали молча. Каждый своё, а может быть, иногда что-то совпадало, что-то вместе вспоминали, но не знали этого, потому что не говорили друг другу ни слова. И это тоже было так хорошо.

А ещё как-то раз пришёл к нам на Новый год дядя Юра вместе со своей женой тётёй Наташей. Я даже не знаю, чей дядя Юра друг, не мамин и не папин. Просто когда-то тётя Наташа работала вместе с моей мамой, они были вроде подруги. Но уже давно не виделись. И вот встретились на улице накануне Нового года, и тётя Наташа схватила маму за рукав и не отпускала её — и всё рассказывала, рассказывала, причём одно и то же: про то, как она, наконец, вышла замуж и какой замечательный, удивительный человек её муж. И вот как-то так получилось, что они пришли к нам отмечать праздник. Тётя Наташа высокая, в длинной шубе, а её муж дядя Юра, наоборот, такой невысокий, скорее круглый, в кожаной куртке и в шапке Деда Мороза. Он сразу стал смеяться и кричать:

— Я вам Снегурочку привёл!

И дальше он весь вечер говорил тосты, рассказывал анекдоты, которых я не мог понять. Сам же над ними хохотал, а мои мама с папой немного краснели и отводили глаза. Зато тётя Наташа не сводила глаз с дяди Юры и, хохоча, одной рукой прикрывала рот, а другой стучала по столу от счастья так, что под конец смахнула на пол фужер с шампанским.

— Как хорошо сидим! — часто вскрикивал дядя Юра.

Когда пробили куранты, дядя Юра кричал «ура» до хрипоты, а потом бросился всех целовать. После этого танцевал с тётёй Наташей и уронил ёлку. Мой папа успел в последнюю секунду её поймать. Зато после этого дядя Юра как-то скис

и всё время обращался к моему папе с одним и тем же вопросом:

— Ты где служил? Я был командиром расчёта пусковой установки на полигоне. А ты где служил?

Во втором часу ночи они уехали на такси, причём дядя Юра по ошибке надел шапку моего папы. Но папа совсем не расстроился — до того был рад, что они наконец уехали.

— Дикий амигошон, — сказал папа загадочные слова.

А мама, грустно улыбнувшись, сказала:

— Но ты заметил, они друг с другом счастливы.

И папа посмотрел на маму, но отвернулся и ничего не сказал. И я почувствовал, что это плохо, что он ничего не ответил. Мне стало не по себе. «Дурацкий Новый год, — подумал я, — всё из-за этого дяди Юры».

А вообще-то я хотел рассказать про один случай, когда мы чуть не остались на Новый год без ёлки.

Мой дедушка по папиной линии любит говорить: «Я старый солдат!» Родственники вздрагивают от этой фразы, потому что она ничего хорошего не предвещает. После этого дедушка обычно начинает всё критиковать и говорить, как на самом деле должно быть. Когда он приходит к нам в гости, моя мама старается ему во всём угодить, но ей это никогда не удаётся. Дед всем недоволен. Мой папа пытается его успокоить и переубедить. Но тогда получается ещё хуже, дедушка кричит на него:

— Смирно! Салага...

— Данил Егорович невозможный человек, — говорит моя мама чуть не со слезами на глазах после его ухода.

А папа вздыхает.

— Ну, зато он хороший врач, — виновато оправдывается папа.

— Может быть, он и хороший врач, но зачем же учить меня борщ варить? — отвечает мама.

И вот однажды под Новый год дедушка сказал:

— Что это у вас за селёдочные объедки стоят вместо ёлок на Новый год? Я вам настоящую ёлку доставлю, мне ребята из части привезут. А вы даже не вздумайте сами опять покупать.

А мама у меня очень любит, когда дома пахнет хвоей от настоящей ёлки. И вот она спрашивала папу, почему он не покупает. А папа боялся сам покупать, ждал, когда дед нам привезёт. И так мы дождались до тридцать первого декабря, когда папа уже не выдержал и позвонил дедушке.

— Какая ёлка? — переспросил дедушка по телефону, и папа побледнел.

Оказывается, дедушка забыл. Мы с папой кинулись покупать ёлку. Ёлочных базаров вокруг было множество. Но теперь был уже вечер тридцать первого числа, и все они исчезли. Валялись на снегу только ветки. Папа очень расстроился, а я

даже рассердился на деда, что он нас так подвёл, и позвонил ему сам. Сказал:

— Ну, деда, ты даёшь! Сам обещал: ёлка, ёлка, — и что?

Я единственный человек во Вселенной, которому дед позволяет так свободно с ним говорить. Дед на секунду растерялся. Я понял это по молчанию в трубке.

— Значит, так. Сбор через полчаса у моего подъезда. И папку своего, недотёпу, возьми, —скомандовал он.

Дедушка живёт недалеко от нас, и мы дворами по короткой дороге отправились к нему. Начинало смеркаться. «Догорала последняя заря этого года», — как сказал бы папа, будь он в хорошем настроении. Но теперь папа шёл нахмурившись, сунув руки в карманы, и не обращал внимания на зарю. Иногда он что-то шептал, как будто произносил заклинания. Но я знал, что это он так ругается. Мой папа всегда ругается шёпотом, если очень сердит. А так — не ругается вообще. Дед вышел в длинном, похожем на шинель пальто и барашковой шапке. Посмотрел на часы. Папа стоял и смотрел на деда с редкой независимостью, как бы спрашивая всем своим видом: «Ну?..»

— Меня ребята подвели, там у них новый начснаб. Салага, — сказал дедушка, как бы извиняясь.

— Да нам-то какая теперь разница, кто у вас там начснаб? Ёлок больше по городу нет, — резко отвечал папа.

— Ну где-то же они есть, — возразил дедушка.

— Да! Они есть везде. В каждом доме, — отвечал папа, тыча пальцем во все окна вокруг нас.

— В каждом доме, — повторил дедушка, задумчиво глядя себе под ноги.

— Кроме нашего, — добавил папа.

— Поэтому ваш не подойдёт. Поехали! —скомандовал дедушка.

— Куда? — воскликнул папа.

— На кудыкину гору! — ответил дед, энергично двинувшись вперёд, и через плечо добавил: — К тебе на работу.

Мы с папой побежали за ним.

— Зачем? — спрашивал папа почти в ярости.

— У вас на работе корпоратив новогодний был? Был. Значит, и ёлка была? Была. А сейчас она стоит никому не нужная, так? Так!

— Это безумие! — восклицал папа. — Там же вахтёр! Ты хочешь украсть ёлку?

— Это не кража, так как вещь уже никому не нужна, — быстро шагая, отвечал дед.

Мы бежали за ним до проспекта, а там взяли такси и поехали молча, как гангстеры.

Мы вышли из такси у подъезда большого дома с колоннами и высокими деревянными дверями. — Ну! Иди. А мы с тобой, — сказал дед папе.

Папа кашлянул, склонил голову набок и энергично вошёл в дверь, мы — за ним. В просторном

зале было пусто, за железной вертушкой в стеклянной будочке сидела вахтёрша. Она удивилась, узнав моего папу.

— С наступающим вас, Татьяна Ивановна! — бодро сказал папа. — А мы вот Славке подарок забыли взять от Деда Мороза.

Упапы на работе под Новый год всем сотрудникам, у которых есть дети, выдавали такие подарки — кульки с конфетами, яблоками и апельсинами. И я свой кулёк уже получил и даже почти съел вместе со своей сестрёнкой Машей. Но вахтёрша ведь не могла про это знать. Папа взял на вахте ключ от своего кабинета и даже, как положено, расписался в журнале. Дедушка, проходя мимо вахтёрши, поздоровался, по-военному чётко кивнув головой, чем вызвал её улыбку. Мы поднялись по ступеням широкой лестницы, и шаги наши отдавались под потолком по всему зданию.

— Молодец, имеешь оперативную смекалку, — похвалил папу дедушка.

Папа только нервно улыбнулся половиной лица. Мы прошли мимо папиного кабинета и прямо направились в актовыв зал, который не запирался на ключ. Здесь ещё до сих пор висел с потолка серпантин и стояли столы, сдвинутые вместе буквой «П». А дальше стояла ёлка.

— Ух ты! — ахнул я от восхищения.

Такой здоровенной ёлки у нас дома ещё никогда не было.

— Ну и как ты собираешься её тащить? — посмотрел папа на дедушку.

— Где здесь у вас столярка? Пила нужна, — сказал дед.

— Ты соображаешь? Пилить! Как я возьму ключ от столярки, зачем? Новогодний подарок распиливать? — трясся папа.

— Ладно. Я смогу выбить дверь в столярку плечом, — сказал дед.

Папа развёл руками, озираясь по сторонам, и засмеялся:

— Я в новогоднюю ночь совершаю кражу со взломом в собственном учреждении!

— Ну это ведь ночь чудес, сынок, — сказал ему дедушка. — Я на себя всё возьму, мне много не дадут, я ветеран, имею правительственные награды.

— Не надо, дедушка! — чуть не заплакал я. — Я не хочу, чтобы тебя сажали в тюрьму. Тем более из-за какой-то ёлки. Не нужна нам ёлка. Мы без неё обойдёмся, правда?

— Дед обещал — дед сделает. Будем выносить так. Целиком, — отрезал дед.

— Через вахту? — спросил папа.

Дед подошёл к высокому окну актового зала, взобрался на широкий подоконник, повернул шпингалеты и открыл окно.

— Всего второй этаж, — сказал он, — сбросим.

Мы стали вынимать ёлку из железной крестовины, в которой она была закреплена винтами.

— Мы держим, чтоб не упала, а ты, Славка, винти.

Винты были закручены плотно, так что пальцы у меня покраснели и даже посинели, прежде чем первый из винтов слегка повернулся. Потом пошло легче.

— Всё! — крикнул я.

Дедушка с папой аккуратно наклонили ёлку. Игрушки на ней зазвенели, мишура зашуршала. Они осторожно высунули её верхушкой в окно, переглянулись друг с другом, и дед scomандовал:

— Майна!

Ёлка ухнула в темноту.

— Ты тут всё закрой, а мы со Славкой побежим, чтобы никто часом не уволок её с улицы вперёд нас, вещь стоящая, особенно под Новый год! — сказал дед папе, и мы выбежали из зала и поспешили по ступенькам на первый этаж.

— А где же Пётр Данилович? — спросила нас вахтёрша про моего папу.

— В сортир забежал по нужде. Приспичило ему, — отвечал дедушка весело.

Самое удивительное, что ни одна стеклянная игрушка не разбилась, потому что ёлка упала так удачно — прямо в здоровенный сугроб. Мы втроём взяли её и понесли. Я за верхушку, папа за середину, дедушка за низ. Широкие нижние ветки мешали дедушке идти и всё время царапали ему лицо.

— Надо было подпилить! — ругался дед.

Папа шёл и смеялся. А я всё время ждал, что нас остановит милиционер. Особенно когда мы так, с ёлкой втроём, переходили дорогу. Но милиционер, наоборот, поднял палочку, чтобы машины остановились и дали нам перейти.

— Спасибо, сержант! — крикнул ему дед.

— С Новым годом! — ответил милиционер.

Мама ахнула, когда увидела нас на пороге.

— Вы что, её с центральной площади утащили?

— Почти, — ответил дед. — Для тебя, невестушка, старались.

Хорошо, что у нас дом старый и потолки высокие, а то бы нам пришлось спилить чуть не половину ёлки. А так — только чуть-чуть, внизу. За столом мы рассказали маме историю похищения ёлки. Мама у меня очень правильная, но на это раз она почему-то не сердилась, а смотрела счастливыми глазами на папу, который умеет так смешно всё рассказывать. И с дедушкой в тот вечер они ни разу не поругались. Поэтому тот Новый год запомнился мне как самый праздничный и счастливый.

А на работе у папы, вы не поверите, никто про ёлку даже не спросил. Когда все вышли после праздников, всем было уже не до неё. Зато у нас ёлка достояла аж до марта. Жалко было с ней расставаться. Щепотку иголок с той ёлки я сохранил до сих пор — на память.

Сказки

Однажды родители пошли в гости, а мы с моей сестрой Машей остались вдвоём дома. И мне было поручено уложить Машу спать. Сказали, как всегда, что я уже взрослый и справлюсь с таким несложным, но ответственным поручением. Я уже заметил: когда так говорят, тут скрыт какой-то подвох.

Вот, например, как-то летом отправили меня в магазин за рисом. Папа в очередной раз испытывал кулинарное вдохновение и свою судьбу, мечтая потрясти маму приготовлением плова. И вот я пошёл купить два килограмма риса. Пришёл, а мне говорят:

— Тебе какой рис, мальчик?

Я растерялся. А меня спрашивают:

— Тебе шлифованный, круглозёрный, японку или необрушенный?

Я ещё больше растерялся и позвонил папе. А папа тоже растерялся и кричит на меня:

— Ты что, обыкновенного риса купить не в состоянии?

— Давайте любой, — говорю.

И это ещё не самый тяжёлый случай.

Так оказалось и на этот раз. Всё не так просто. Я думал, что придётся всего-навсего сказать Маше в десять часов: «Иди спать», — и погасить свет у неё в комнате. Нет. Сначала я должен был разогреть ей ужин и проследить, чтобы она его съела, потом проследить, чтобы она почистила зубы, а уже потом уложить спать и проследить, чтобы она не включила тайком телевизор.

Началось с того, что Маша не хотела есть кашу. Она сказала:

— Я хочу картошку. Свари мне картошку.

Варить картошку несложно. А вот чистить её я плохо умею. Медленно, криво и толсто. Но я всё-таки стал чистить, и мне повезло — я порезался. Маша испугалась, когда увидела кровь, и согласилась есть кашу. А я прижёл порез одеколоном, как всегда делает папа. И вот Маша начала есть и съела подряд две ложки, а потом сказала:

— Всё. Я больше не хочу.

— Надо доесть до конца, — сказал я. — Я обещал родителям, что покормлю тебя.

— Тогда рассказывай мне сказку! — сказала Маша.

— Я не знаю сказок, — сказал я. — Я уже взрослый и забыл все сказки.

— Ты ещё не взрослый, — сказала Маша, — а если забыл — придумай сам.

Я сел, подперев щеку и глядя на ложку в Машинной руке, задумался о том, какая сложная вещь — воспитание детей. Маша вертела ложкой, но не ела, а строила рожицы, глядя в эту ложку.

— Хорошо. Слушай, — сказал я. — Одна очень глупая маленькая девочка ползала под столом и нашла там ложку. Но она была такая дура, что даже не знала, что это ложка. Она стала стучать ложкой по

кастрюле. Кастрюля звенела, и девочка подумала, что ложка—это музыка. Потом она устала стучать и посмотрела на ложку. В ложке отражалось её лицо. Но ложка была вогнутой, и девочка подумала, что она такая страшно некрасивая, с большими ушами и вогнутым лбом. Тогда она обиделась на ложку и закопала её в большом горшке с землёй. А через месяц из горшка выросла роза,— закончил я, вспомнив, что у сказочников, типа Андерсена, часто вырастают всякие розы.

— И в чём прикол? — спросила Маша.

— Это философская сказка,— сказал я, вспомнив папины слова про «Маленького принца»,— её понять нельзя.

— Тогда понятно,— сказала Маша.

Потом мы пошли в ванну, и я проверял, чтобы Маша тщательно чистила зубы.

— Мне одной скучно зубы чистить,— сказала Маша.

Тогда я тоже взял щётку, пасту и стал чистить зубы.

— И пой!— крикнула Маша, и мы вместе запели с зубными щётками во рту какую-то ерунду, но вышло смешно, весело, мне самому понравилось.

Я так долго ещё никогда не чистил зубы, даже язык стало жечь.

И вот, наконец, мы пришли в спальню, и Маша переделалась в пижаму и легла в постель, прихватив с собой любимую куклу.

— Теперь сказку на ночь!— попросила она.

Я понял, что мне не отвертеться.

— Чтобы мне было про что думать, когда я засыпаю,— сказала Маша.

— Только короткую,— выторговал у неё я.— Одной девочке подарили куклу, и эта кукла стала её лучшей подругой. Она играла с ней целыми днями и ложилась спать тоже вместе с ней. И даже во сне она тоже играла с куклой. И вот однажды случилось так, что во сне они поменялись местами. Девочка стала куклой, а кукла—девочкой. Когда девочка не хотела есть кашу, кашу ела кукла, когда девочка не хотела чистить зубы, зубы чистила кукла, когда девочка пошла в школу и не хотела делать уроки, уроки делала кукла. И вот кукла выросла и стала прекрасной девушкой, за которой приехал принц на белой лошади и увёз её, а девочка так и осталась куклой, её бросили в чулан к старым игрушкам, а потом вообще выбросили на свалку.

— Это грустная!— запротестовала Маша.

— Хорошо,— сказал я и подумал.—...Но кукла не забыла свою хозяйку и нашла её на свалке, отмыла, очистила и взяла к себе домой, а там снова поменялась с ней местами, потому что ей уже надоел её принц, и вообще надоело быть человеком и хотелось опять спокойно зажить себе просто куклой. Так лучше?

— Ладно, сойдёт...— сказала Маша.

И вот тогда с чувством исполненного долга, как говорит моя мама, я погасил свет и пошёл к себе в комнату играть в компьютерные игры. Я ведь всё хорошо и правильно сделал? Но нет, и тут мои родители остались недовольны. Они сказали, что я за один вечер умудрился разбаловать сестру. Что теперь она отказывается есть и спать без сказок и чистить зубы одна без песен. Я давно понял, что взрослым трудно угодить. Это вообще была бы какая-то сказка, если бы их всё устраивало сразу, без придирок.

Прогулка

Папа предлагал всем, но поехал с ним только я. Папа говорил:

— У меня выходной, и такая погода! Снегу сколько навалило. Красота в лесу какая!

Но мама с Машей не поехали. Мама не захотела ехать на электричке и не пустила с нами Машу.

— Вот заберёшь машину из ремонта, тогда поедем,— сказала мама.

Папа хотел что-то ответить, но промолчал, чтобы совсем не испортить воскресного настроения. И мы поехали вдвоём. Сначала на вокзал. Мне нравится, как на вокзале пахнет от пассажирских вагонов, особенно зимой. Мы сели в электричке у окна. Сначала ехали всё между разными заборами, бетонными и кирпичными стенами с яркими рисунками и колючей проволокой, мимо высоких труб, из которых шёл дым или пар. А когда город кончился, всё стало белое. Только на той стороне залива, вдалеке, синели горы, а с другой стороны бежал, как зебра, лес. Потом мы вышли на пустой перрон и пошли по дороге, прямой и тихой. Впереди она блестела, как натёртый пол. Потом мы играли в снежки, слепили снеговика, только не могли найти морковку ему для носа и сделали нос из палочки, а глаза из камешков. Я ещё выложил снеговикам зубы из камешков. Правда, он стал страшноватый после этого. И мы пошли дальше. Зашли на лёд и двинулись в сторону полуострова Де-Фриз. Папа рассказал мне, кто был этот Де-Фриз, потому что я раньше думал, что это просто название, одно из тех непонятных слов, которых много у взрослых. И я спросил, откуда в наших местах французы. А папа сказал, что вообще-то он был англичанин, и стал рассказывать, как так получилось, что его занесло в наши места.

— А кто считается самый великий путешественник?— спросил я.

Папа подумал и говорит:

— Сын одного ткача и тоже ткач.

— Русский?— спросил я.

Мне казалось, ткачи все почему-то наши, русские. Правда, я не знал, кто такие ткачи и что значит ткать, но думаю, это что-то из древности и сейчас не важно.

— Нет.

— А откуда?

Папа задумался.

— Одни говорят, что из Генуи, а другие—что из Савоны. И ещё есть городов пять в Италии, где его считают земляком.

Я подумал: «Вот ведь—какой-то парнишка, сын ткача. Может, и я вырасту и стану кем-нибудь таким».

— А как его звали?—спросил я.

— Кристобаль.

— Так он был итальянец?

— Да как тебе сказать?—отвечал папа.—Город Генуя находится в Италии, но в те времена он был столицей самостоятельной Генуэзской республики, и значительную часть населения составляли испанцы. А есть ещё подозрение, что парень этот был француз.

— Как это так получается?—спросил я.

— У берегов Португалии в те далёкие времена грабил торговые суда жестокий французский пират Гийон де Куллон. Однажды схватка с генуэзскими купеческими судами закончилась гибелью для всех моряков. Только один человек спасся, выбравшись на берег. Фамилия его была Colon,—папа написал это слово палкой на снегу,—а фамилия пирата—Coullon. Похоже? Может, это и был тот самый пират Гийом де Куллон или его брат или сын.

Я даже и не понял, что папа, оказывается, рассказывает мне о Христофоре Колумбе. Я знал про Колумба. Мы в школе проходили, что он открыл Америку. Дальше папа стал рассказывать о том, как у Колумба оказалась карта, по которой он плыл в Америку, как Колумб скрывался от преследований в одном монастыре и там обнаружил ещё другие карты, принадлежавшие крестоносцам. Как, наконец, он отправился в своё плавание на трёх маленьких судах—«Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта». Каждый день Колумб отмечал на карте расстояние, которое они прошли, а своей команде всегда сообщал, что пройдено меньше, чтобы настроить их на долгое путешествие. А команда, не веря Колумбу, хотела даже поднять восстание, и ему приходилось всё время быть начеку. А когда они, наконец, добрались до Америки, то капитан «Пинты» предал Колумба. Он самовольно отправился на своём судне вместе с командой на поиски золота, чтобы ему всё досталось. А «Санта-Мария» села на мель. Осталась только «Нинья», но она была совсем крохотным судёнышком, водоизмещением всего восемьдесят тонн. Рискованно было на ней одной пускаться назад через океан. Однажды начав путешествовать, Колумб уже не останавливался и предпринял ещё несколько путешествий.

— И даже после смерти не мог успокоиться и всё продолжал скитаться,—рассказывал папа.—Умер он в бедности, раздав все деньги товарищам по путешествиям. Похоронен был в испанском городе Севилья, но потом император Карл Пятый

вспомнил о нём, почти всеми забытом, и велел исполнить последнюю волю Колумба—похоронить его на тех землях, которые он открыл. Прах Колумба отвезли через океан и похоронили на острове Эспаньола, в городе Санто-Доминго. Но в девятнадцатом веке Эспаньола захватили французы, и тогда останки Колумба перевезли на Кубу. А потом испанцев изгнали с Кубы, и опять пришлось перезахоранивать Колумба обратно в Санто-Доминго. А уже в двадцатом веке его опять повезли через весь Атлантический океан, чтобы снова захоронить в Испании, в Севилье.

Выходит, что Колумб начал путешествовать в пятнадцатом веке, а закончил только в двадцатом. Этого нам ничего в школе не рассказывали.

Только сейчас я обернулся назад и прямо ахнул от удивления—так далеко мы зашли по льду от берега. Далёко-далёко виднелись столбы вдоль железной дороги, едва заметное одноэтажное здание станции, лес. И было так тихо, что всё это казалось не настоящим, а просто нарисованным вдалеке. Я даже снял шапку, чтобы было лучше слышно тишину. Обратно идти было тяжелее. Я попросил папу рассказать мне ещё что-нибудь, и он стал рассказывать мне о полярных путешественниках Нансене и Амундсене. О том, как они мужественно терпели все тяготы пути, страдали цингой и снежной слепотой, которая начинается, если человек очень долго смотрит на снег без тёмных очков, а когда они съели всех своих ездовых собак, то сами тащили тяжёлые сани... И я опять так увлёкся, что не замечал пути и только уже у берега почувствовал, что устал. Мы зашли с мороза в маленькое кафе возле станции, и я радостно сказал папе:

— У меня снежная слепота!

Действительно, сначала почти ничего не было видно, но потом глаза привыкли. Мы выпили горячего чая, который казался с мороза особенно душистым, и ели руками жареную курицу с хрустящей корочкой.

Дома, встречая нас, мама с Машей спросили:

— Ну, где вы были?

Мне казалось, что мама чувствует себя немного виноватой, что не поехала с нами.

— Мы были в Америке и ещё на Северном и Южном полюсе!—сказал я.

— Слава,—сказала мама,—ты неисправимый выдумщик, пора уже становиться взрослее.

А я ведь ничего не выдумывал, это всё папа...

Три мушкетёра

Папа у меня спокойный, даже, как говорят, выдержанный человек. Он не хватается за голову от пустяков, как, например, мама. Если, например, я получил двойку или её вызывают в школу. Но иногда папа ведёт себя хуже мамы. Он может завестись из-за такой ерунды, из-за которой мама бы

и бровью не повела. Вот недавно папа узнал, что я не читал книгу «Три мушкетёра». Ну не читал и не читал, подумаешь... А папа начал взмахивать руками, ходить по комнате, усмехаться, как он это делает, когда сердится, спрашивать меня: — Тебе сколько лет?!

Как будто он сам не знает. В общем, ему зачем-то очень понадобилось, чтобы я прочёл эту книгу. Это потому, что в его детстве все мальчишки читали эту книгу, и папа думает, что так должно быть вечно и со всеми детьми. В общем, меня заставили читать. Книжка мне сразу не понравилась. Ещё до того, как я её открыл. Она была толстая. Но всё равно я начал читать. Читаю и ничего понять не могу. Какие-то гугеноты, бердыши, Ла-Рошель, беарнский мерин и роман о розе. Папа мне стал объяснять, но рассердился вдруг, что я качаю ногой, пока он объясняет. Я тоже обиделся на него, что он рассердился из-за такого пустяка. Я решил тогда просто посмотреть фильм и сказать папе, что прочёл книгу. Но получилось неудачно. Папа как раз вернулся с работы и запретил мне смотреть. — Фильм — не то, — сказал он. — Читай!

Это было даже как-то странно, что он так привязался ко мне с этой книгой. Он у меня даже уроки не любит проверять. А тут прямо следил, чтобы я читал. И мне пришлось. Но постепенно я увлёкся и даже читал вместо того, чтобы делать математику, и папа только улыбнулся, увидев, как я пытался спрятать книгу под учебник, и ничего мне не сказал. Наверное, когда-то в детстве, когда не было других развлечений, кроме книг, он сам так читал. Местами было по-прежнему непонятно, но я не обращал на это внимания и так увлёкся, что, приходя из школы, первым делом хватался за книгу. Я стал жалеть, что не живу во Франции в те времена и не служу в мушкетёрах. Я даже достал свой старый пластмассовый меч, которым уже давно не играл, и стал учиться фехтовать. Вот говорят, что книги помогают набираться ума и взростеть, а я, наоборот, впадал обратно в детство и вдобавок разбил этим мечом плафон на лампе в гостиной. Мне было стыдно сказать правду, и я вместо этого сказал, что нечаянно попал мячом по люстре. То есть я не то чтобы соврал. Меня и так за это всё время ругают. Я просто сказал неразборчиво: «Попал мечом», — но так, что было больше похоже на: «Попал мячом». Вроде б и разницы никакой, но не так стыдно. Что я, маленький?

В школе мой приятель Лёшка сказал: — «Три мушкетёра» — отстой. «Властелин колец» — классно! — «Властелин колец» — отстой, — сказал другой мой приятель — Вовка. — «Сталкер» и «Ведьмак» — круто!

— Это значит — ты дурак! — сразу сказал Лёшка.

В общем, как сказал бы мой папа, у нас «развернулась дискуссия». Потом они немного подрались,

а я не стал. Каждый «остался при своём мнении». Только Лёшка — с оторванной пуговицей на рубашке, а Вовка — с красным ухом.

Но однажды у нас во дворе я встретил пацана, который тоже любил «Трёх мушкетёров». Правда, он не читал книгу, он смотрел фильм. Я предложил ему сразиться на шпагах, как мушкетёры. Мы взяли две палки, и он сразу меня победил, ткнув палкой в ребро.

— Туше! — сказал он.

Я не понял. Я решил, что это случайно, и говорю: — Давай ещё.

Он согласился и опять сразу меня победил. И потом снова. Я не успевал и глазом моргнуть, как получал несильный, но чувствительный укол палкой в грудь или в живот.

— Да не расстраивайся, — сказал этот пацан, Олег, — я фехтованием занимаюсь.

Он рассказал мне про спортивный клуб «Бастион», и я в тот же день пошёл туда записываться. Хотя родители мне сказали:

— Это хорошо, но ты ведь все спортивные кружки бросаешь. Где твоя гребля? Где бокс?

И на этот раз я точно решил, что никуда не уйду из этой секции. Из принципа, как говорит папа. Я раньше уходил не потому, что мне перестали нравиться гребля или бокс. А потому, что мне тренеры перестали нравиться. На гребле у нас сначала был прикольный тренер, весёлый и незлой. А потом пришёл другой, который сказал: «Я вашу команду подниму. Я вас выведу». И он увеличил нам тренировки на суше. Мы по часу бегали кросс, ходили гусиным шагом так, что падали уже, отжимались от пола и от скамейки. В общем, потом уже не хотелось смотреть на эту байдарку. И точно, он вывел из нашей секции человек семь. Ну а остальные, наверное, уже стали чемпионами.

А тренер на боксе ввёл правило проверять у всех школьные дневники, и если видел там двойку, то бил подошвой кед по заднице. А у одного пацана-двоечника, Вадика, был брательник-хулиган. И Вадик ему пожаловался на тренера. Брательник Вадика с дружками встретил тренера вечером. И бокс тренеру не помог, потому что они подошли сзади и их было четверо. После того, как я увидел нашего тренера с двумя фингалами под глазами, я разочаровался в боксе и ушёл. Хотя пацаны говорили, что с тех пор заниматься в секции стало намного лучше. И вот я решил, что фехтование уже не брошу точно, и даже прямо сказал об этом родителям.

Вот зря, конечно, я так решил. Это я поторопился. И незачем было родителям говорить. Если бы я не поклялся им, что буду ходить, то бросил бы сразу. Как я и ожидал, шпаги нам не дали, а начали с общей подготовки. Я хотел сказать, что я уже подготавливался и на гребле, и на боксе,

но Олег дёрнул меня за руку: типа, не надо. И мы пошли по кругу уже знакомым мне гусиным шагом, потом кувыркались, потом отжимались, а потом мне показывали, как надо держать шпагу и как делать приветствие перед боем. Даже фехтовать ни с кем не дали. Тренер просто давал мне рапиру или шпагу и говорил:

— Три, пять, четыре, шестая сабельная, семь, три, восемь.

А я должен был только принимать правильную позицию, меняя положение рапиры, там у них всё по цифрам расписано. И так прошло недели четыре, пока меня не начали учить «фрапе», то есть удару шпагой. Потом — как отбивать прямой удар и удар сбоку. И так каждый раз до бесконечности я повторял одно и то же. А на соревнования меня не взяли, меня даже в пару редко ставили. А если ставили, то просто опять повторяли мне цифры, учили отбивать одиночные удары, которые повторялись без конца или неожиданно сменялись на другой удар без всякого предупреждения. И я уже решил, что это фехтование мне никогда не пригодится.

А тут ещё у меня начались проблемы в школе. Вернее, они начались у всех. С того самого момента, как наш директор решила организовать в школе хор. Раньше я после уроков шёл домой, обедал, а потом шёл в спортклуб на фехтование. А теперь после уроков всех оставляли на хор часа на полтора. Сразу после хора мне приходилось бежать на тренировку, а уже только после тренировки я приходил домой и обедал. Я был такой голодный, что съедал по две тарелки борща и полную миску второго, всё равно, что там было на второе, — картошка с котлетами, или плов, или... ну, в общем, всё равно. А делать уроки после этого я уже не мог. Я делал их, конечно, но прямо засыпал над тетрадь. Я стал получать двойки почти по всем предметам, и родители сказали:

— У тебя не получается совмещать спорт и учёбу.

— Ну почему?.. — вяло возразил я.

— Потому что! Сам посмотри в свой дневник, — отвечали они.

А я отворачивался, как бы показывая, что мне грустно, но на самом деле — чтобы скрыть улыбку. И наконец — свершилось! Мне запретили ходить в секцию фехтования. Я не сам ушёл. Я доказал! Я пообещал, что не уйду, и выдержал. Родители сами мне запретили из-за двоек. А хор они запретить не могли, потому что это было распоряжение директора школы. Хуже всего было, что руководительница хора, преподавательница музыки Ангелина Антоновна меня хвалила. Говорила, что у меня хороший голос и слух. Я завидовал тем, кого на хор не взяли. Например, моего друга Лёшку. Лёшка схитрил. Когда было прослушивание и нужно было спеть немножко под пианино, Лёшка нарочно во всё горло орал так фальшиво, что его

тут же забраковали. А я не смог. Я тоже так хотел сделать. Но против своей воли пел правильно. Голос не слушался меня и сам, как назло, ложился ровно на музыку. Теперь после уроков Лёшка, улыбаясь, похлопывал меня по плечу.

— Ну, не подкачай там... Стас Михайлов, — говорил он, собираясь домой.

Он теперь вечно обзывал меня именами всяких певцов. Иногда директор нашей школы приходила послушать нас и сидела, улыбаясь от счастья, одна в пустом зале. А Ангелина Антоновна, сидя за пианино и ударяя по клавишам, поворачивалась в нашу сторону и тоже открывала рот, как бы изо всех сил помогая нам получше спеть перед директрисой.

Мой папа часто говорит, что никакой труд не бывает напрасным. И вот я впервые в жизни стал убеждаться в этом на собственном опыте. Сначала пение в хоре казалось мне совсем зряшным занятием, напрасной тратой времени. Но скоро я понял, что это не так. Я полюбил хор, когда началась наша подготовка к выступлению на городском конкурсе. Директору так хотелось занять там первое место, что нас стали снимать почти со всех уроков, и мы только и делали, что пели как ненормальные. Теперь уже я показывал язык своему другу Лёшке, когда уходил с контрольной по математике.

— Не подкачай тут без меня, Пифагор! — говорил я ему.

А за несколько дней до нашего выступления на городском конкурсе я умудрился заболеть ангиной. Теперь я не то что петь — разговаривать не мог толком. А я мечтал, что если хор наш победит и займёт первое место, то всем нам, как победителям, разрешат вообще больше не учиться, ну, или просто не будут ставить двойки. И вот теперь я вылетел из числа этих избранных счастливиц, причём вылетел по самой глупой случайности — из-за какой-то ангины. Которую я вдобавок подхватил по недоразумению, когда ел снег во дворе. Мы после школы играли сначала в снежки, потом в футбол на катке. Вместо мяча у нас была Лёшкина шапка, а потом моя, чтобы не обидно. Мне стало жарко, захотелось пить, и я поел снега. И все потом поели. Но никто не заболел, кроме меня. Несправедливо!

Я болел две недели, а когда вернулся в школу — хор исчез. Пропал совсем, как будто и не было его никогда. И табличка исчезла с двери. И даже успели все о нём забыть. Папа мне как-то говорил, что есть такой научный закон: плохое быстро забывается, чтобы человек больше радовался жизни и не уставал от неё раньше времени. Я стал расспрашивать пацанов. Оказывается, наш хор на выступлении не занял первого места.

— Второе занял? — спросил я.

— Нет. Последнее, — сказали мне пацаны.

Ангелина Антоновна утешала всех ребят, говорила, что они выступили замечательно, но что мы

ещё молодой, начинающий коллектив, другие уже годами поют, а мы всего месяц репетировали. Но директрису нашу эту не утешило. Теперь вместо хора она организовала в нашей школе драматическую студию.

— Чё за студия такая?—спросил я.

— Ну, там они спектакли будут ставить. Один про снеговика. А младшие классы—про репку.

— А про снеговика старшие?—спросил я.

— Иди сам узнай, если так интересуешься,—сказали мне пацаны.

Думаете, я не пошёл? Я взял и пошёл. Я по театрам у нас в школе первый эксперт. Я под сценой в настоящем театре был, и за кулисами, и в осветительской, и всех там знаю почти.

Зашёл в кабинет с табличкой «Театральная студия» и вижу—опять там наша Ангелина Антоновна. Мне даже жалко её почему-то стало. Особенно когда я узнал, что теперь она не главная, а просто помогает с «музыкальным оформлением». Она сидела в уголке за пианино и читала журнал. А главная была другая тётенька—Зульфия Рашидовна. Она раньше была настоящей артисткой, но в цирке. Ходила по канату и делала всякие прыжки и сальто под куполом. Когда я её в первый раз увидел, то даже испугался немного и подумал, что она ненастоящая. У неё были такие большие глаза и ресницы, как бывает только в кино. Потом я понял, что это просто у неё косметика такая.

— Так!—сказала она, выстрелив в меня своим указательным пальцем с длинным красным ногтем.—Пройдись-ка...

— Я снеговика не буду,—сразу сказал я.

Зульфия Рашидовна расхохоталась так, что я опять испугался. «Ненормальная какая-то»,—подумал я. Но потом оказалось, наоборот, что она нормальная и даже прикольная. Когда я посмотрел, как она с третьеклассниками сделала спектакль про репку, то я бы согласился быть не то что снеговиком, но даже репкой. У неё, у Зульфии Рашидовны, всё было прикольно, всё под музыку, все пели прикольные песенки и плясали. Я и не представлял себе, что про репку может быть так смешно. Сам Репка был в тёмных очках, такой весь навороченный, и пел хип-хоп. Мы с пацанами ржали и аплодировали, когда этот спектакль показывали у нас в актовом зале. Всем вообще понравилось. Только директриса наша сидела не очень довольная. Я по лицу её заметил. Она вообще не любит, когда шумят. Но это же театр, здесь можно.

А потом Зульфия Рашидовна стала ставить другой спектакль. И я, конечно, записался.

— Теперь надо что-нибудь серьёзное, из классики,—сказала Зульфия Рашидовна, постукивая своими длинными ногтями по полировке пианино.

«Это её, наверное, директор заставила»,—подумал я.

— Что вы читали из классики, ребята?—спросила она.

— «Муму», «Каштанка», «Тарас Бульба», «Руслан и Людмила».

Зульфия Рашидовна слушала и качала головой. Она задумалась и даже стала как будто грустной, а потом вдруг вскрикнула:

— Але-ап!

Встала, выставила ногу вперёд, сделала что-то типа «ласточки» и вдруг прошла в сальто колесом от одной стены до другой. Мы прямо обалдели! А она, улыбаясь, поправила волосы и сказала:

— Будем ставить фантазию на тему «Трёх мушкетёров». Кто читал?

И вот тут я второй раз вспомнил слова своего папы о том, что никакой труд не бывает напрасным.

Кроме меня, записались в студию Серёга Порфирьев, Сашка Глотов, мой друг Лёшка, и даже Пятывров записался. Хотя мы его не хотели принимать и даже честно сказали Зульфии Рашидовне, что он дурак и всё испортит. Потому что он любит нарочно всегда всё портить. Но она посмотрела на нас и сказала:

— Я тоже была хулиганкой в школе. Пусть приходит.

Мы приступили к репетициям, и теперь я уже охотно оставался после уроков. Всё выходило у нас как-то странно. Но я уже заметил, что фильмы бывают мало похожи на книжки. А наш спектакль был вообще не похож на книжку Дюма. Началось с распределения ролей. Вернее, с того, что Зульфия Рашидовна велела всем прочитать этот роман. И на следующий день все как один сказали, что уже прочитали. На самом деле они просто посмотрели фильм. И я уже улыбнулся, чтобы сказать, что они все врут, но передумал. А то вышло бы как-то выпендрёжно—типа, я самый умный.

— Молодцы!—сказала доверчивая Зульфия Рашидовна.—Ну и кто кого хочет сыграть?

— Д'Артаньяна!—ответили мы все в один голос.

Только Пятывров сказал:

— А я—кардинала. Он самый крутой злодей.

— Хорошо,—согласилась Зульфия Рашидовна.—Чтобы никому было не обидно, будете играть д'Артаньяна по очереди.

Эта она, конечно, здорово придумала, чтобы сразу все не перессорились. Но только у неё ничего не вышло, потому что каждый хотел играть д'Артаньяна первым. И тогда она спросила:

— А кто из вас умеет фехтовать?

И все тут же подняли руку. Я даже растерялся и тоже поднял руку. Последним.

— Хорошо,—улыбнулась Зульфия Рашидовна,—сейчас проверим.

Она расстегнула молнию на своей длинной спортивной сумке, и мы все замерли. Она держала в руках две настоящие рапиры. Тренировочные, конечно, я это сразу понял. А пацаны ахнули:

— Шпаги! Настоящие?

Они даже не знали, чем рапира отличается от шпаги.

— Ну, кто первый покажет своё мастерство, господа мушкетёры? — спросила Зульфия Рашидовна, выйдя на середину.

Она стояла, держа рапиру перед собой, одной рукой за рукоять, а другой за скруглённый наконечник, и сгибала упругий клинок то вверх, то вниз.

— Я! — крикнул Пятывров.

— Ты же кардинал! — крикнули ему пацаны.

— Ну и что? — он уже выскочил вперёд и схватил со стула вторую рапиру.

Он схватил её как саблю и ринулся вперёд, рубя сверху. Но тут же рапира была выбита у него из рук одним лёгким движением нашей режиссёрши.

— Не, это не в счёт! — закричал он, подхватил рапиру, ринулся второй раз и тут же получил лёгкий укол в грудь.

— Убит! Убит! — радостно закричали пацаны. — Теперь я!

Они все выходили по очереди, и никто не поддержался дольше пяти секунд. А я не спешил. Сидел и смотрел. Я заметил, что Зульфия Рашидовна повторяет со всеми один и тот же приём. Он называется «фруассе». Она подставляет остриё своей рапиры под рапиру нападающего, а потом резко по всей длине скользящим движением до самой гарды противника переводит её в положение третьей защиты, и рапира нападающего летит вниз.

Я остался последним и сидел, пока меня не окликнули:

— А ты не будешь?

Тогда я как бы нехотя поднялся.

— Даже не пытайся! — смеялись пацаны.

Я вышел и тут же выдал себя. Я по привычке, как нас учили в секции, отсалютовал. Чёрные глаза Зульфии Рашидовны весело дрогнули, и она ответила мне таким же салютом-приветствием. Я встал в позицию, и пацаны заржали:

— Чё ты из себя изображаешь, Славка?!

Но я не обращал внимания, глядя, как учил тренер, в глаза противнику, а не на его оружие.

Она пошла вперёд, я навстречу, мы соприкоснулись рапирами и отошли по шагу назад, потом снова. Потом она провела атаку, я ушёл в четвёртую защиту и провёл атаку в третий сектор; она ушла в седьмую защиту и пошла из неё в прямую атаку; я ответил второй защитой, из неё развернулся на полный оборот вокруг себя и прямым ударом поверх её рапиры нанёс укол. Мы оба так и замерли в этой позиции.

— Туше, — сказал я.

Это был мой миг славы. Пацаны сидели раскрывши рты, а Зульфия Рашидовна плавно упала на пол и, выпустив рапиру, захлопала в ладоши.

Так я стал первым д'Артаньяном. А остальных нам с Зульфией Рашидовной пришлось вдвоём обучать с самого начала. Лёшка стал Атосом, Серёжка — Арамисом, а Сашка — Портосом.

Я всё время думал о том, что книжка такая толстая, и как же мы всё это запомним наизусть. Но Зульфия Рашидовна сказала, что она сократит книжку и что запоминать вообще будет ничего не надо. «Как это?» — думал я. Была ещё другая проблема — к нам в студию не хотели записываться девчонки. Они видели, что там одни пацаны, и вдобавок с хулиганом Пятывровым. Девчонки только пожимали плечами и криво улыбались, когда им предлагали записаться. Но Зульфия Рашидовна показала им рисунки платьев, в которых они будут выходить на сцену, и сказала всем, что они будут играть королев. И после этого к нам записались Танька Донская и Ирка Волкова.

Спектакль

Будет очень долго рассказывать, как мы ставили и репетировали пьесу. Поэтому я лучше сразу расскажу, как мы её сыграли в актовом зале, перед всей школой, и как закрылся занавес, и наша директриса простонала, приложив пальцы к вискам и как бы проверяя, на месте ли у неё голова:

— Какой ужас!

Хотя рассказывать всё это бесполезно. Надо было видеть. Все заржали, когда увидели нас с Лёшкой в париках. Хоть парики и были сделаны из бумаги, нарезанной мочалом, как хвост у воздушного змея, но смотрелись прикольно. Лёшка временно изображал моего отца старика д'Артаньяна. Он жарил над камином шашлык, используя шпагу вместо шампура, и думал, что сынуля хочет отобрать у него шашлык. Мы бо-ролись. Наконец, шпага оказывалась у меня, а шашлык у него. И всё это было без слов, как и обещала Зульфия Рашидовна. Это было под музыку. Но не как балет, а как раньше в чёрно-белом кино без звука. За пианино сидела Ангелина Анатольевна и играла такие забавные мелодии. Перед спектаклем она открыла крышку пианино и подсунула под струны фольгу, так что звук у пианино получился такой забавный, несерьёзный. Я под эту музыку скакал на палке с резиновой головой лошади и зелёной гривой из крашенной зелёной тряпки.

Зато все девчонки ахнули, когда Танька Донская появилась посреди сцены в чёрном бархатном платье до пола, на котором, как звёзды, горели большие драгоценные камни. А лицо её наполовину прикрывал веер. И причёска тоже была такая большая, высокая, почти как у нашей директрисы, только рыжего цвета. Они с королём, которого временно играл Серёжка, танцевали танец под старинную музыку. Это их Зульфия Рашидовна научила танцевать менуэт. А сбоку появился

Пятыров в чёрном плаще, чёрном берете и со здоровенным крестом на толстой белой цепи от собачьего поводка. Пятыров делал страшные глаза, скалился и подносил к губам руку, как бы кусая ногти от зависти и чёрных планов. Глаза у него были подведены чёрным, так что его тоже не сразу узнали, зато когда узнали, в зале поднялся просто вой, некоторые вскочили со своих мест и, указывая пальцами, кричали:

— Пятыров, жги!

(После спектакля Пятыров очень этим гордился и говорил важно: «Я популярен!»)

Но больше всего всем, конечно, понравилось, как мы сражались на шпагах. Ну, я так думаю, потому что нам самим это больше всего нравилось. Сначала мы с Лёшкой, который уже был Атосом, сражались против Серёжки и Сашки, которые были временно гвардейцами кардинала и надели чёрные безрукавки с белыми бумажными крестами. Потом Серёжка с Сашкой, переодевшись Арамисом и Портосом, сражались против нас с Лёшкой, когда мы временно изображали гвардейцев, надев эти же чёрные безрукавки. Поединки эти никогда не заканчивались победой, потому что всегда выбегал Пятыров со своим крестом и свистел в милицейский свисток. И тогда мы все разбежались и прятались за кулисами.

У Пятырова, в смысле у кардинала, была злая помощница, Миледи. Её играла Ирка Волкова. Они тоже танцевали, как и король с королевой, но совсем другой танец, танго. При этом Ирка пела под фонограмму песню: «А я не знаю почему, но ты мне нравишься. Сама не знаю почему, но ты мне нравишься». Они, сцепив вытянутые вперёд руки, прижавшись друг к другу щеками, лодочкой ходили по сцене, поднимая ноги, как цапли, и проделывали всякие смешные движения одновременно под музыку. А в конце, повторяя: «Сама не знаю почему, но ты мне нравишься», — Миледи, глядя кардинала по голове, снимала с него как бы нечаянно берет, и оказывалось, что кардинал лысый. Зульфия Рашидовна принесла такой специальный парик без волос и немного ушила его по голове Пятырова, чтобы был плотно в обтяжку. Увидев лысого Пятырова, публика стонала от хохота, многие били ногами в пол от восторга.

Вообще, это было даже странно. Я думал, что вся слава достанется мне, потому что д'Артаньян ведь главный герой. А вышло, что больше всего запомнили Пятырова, который даже ни разу ни с кем на шпагах не дрался. Он так вошёл в образ кардинала, что даже получил пятёрку по истории. И вообще стал лучше учиться. Также прочитал «Трёх мушкетёров» и очень любил, когда к нему в шутку обращались: «Ваше преосвященство». Все, кто был в нашей студии, прочитали «Трёх мушкетёров» и мечтали снова что-нибудь сыграть. Да вот только студию нашу закрыли. Директор

сказала Зульфии Рашидовне, что это не студия, а безобразие и бесовство, что ей чуть актовый зал не разнесли из-за этого спектакля.

Зульфия Рашидовна собирала свои вещи, а мы пришли с ней попрощаться и сидели грустные на стульях, не зная, что сказать. Огромная сумка на молнии стояла посреди пустой студии, и скучный серый свет лился в окно. Зульфия Рашидовна посмотрела на нас, хлопнула в ладони и сделала сальто без рук через свою сумку: «Але-ап!» — Кто хочет участвовать в следующем спектакле?! — спросила она, блестя глазами.

Мы все изумлённо посмотрели на неё. — Приходите во Дворец культуры моряков. Теперь у меня там будет студия. Ну, если опять не выгонят, — добавила она весело.

Тут начались радостные крики, Лёшка пронзительно засвистел, девчонки завизжали, хлопая в ладоши, а Пятыров вскочил и, танцуя, запел: «А я не знаю, почему она мне нравится!»

Мы всей командой тащили тяжёлую сумку до такси и расстались с Зульфией Рашидовной в хорошем настроении, надеясь на скорую встречу и новый спектакль.

Карт-бланш

Перед моим днём рождения папа спросил:

— Что ты хочешь получить в подарок?

Я задумался и сказал:

— Я хочу две новых видеоигры.

— А ещё что? — спросил папа.

— Ну и ещё одну новую видеоигру.

— А что-нибудь, кроме этих твоих игр, тебя интересует?

— Ну, чтобы мне разрешали играть в них больше одного часа в день. Всем разрешают, — пожаловался я.

— Может быть, завтра всем разрешат на голове ходить, — сказал папа.

— На голове ходить нельзя, — сказал я.

— Ну, это в переносном смысле.

— Это как?

Я знал только переносы, которым нас учили в школе, когда слово не умещается в строчку и его переносят на другую.

Папа задумался.

— Ну, это, например, когда ваш учитель называет кого-нибудь безголовым или безмозглым, он не хочет сказать, что у человека буквально нет головы или мозга, а хочет сказать, что тот не умеет думать. А ходить на голове — это значит вытворять что кому захочется.

— Я хочу ходить на голове! — тут же выпалил я.

— Хорошо, — сказал папа, — в твой день рождения я разрешаю тебе делать всё, что захочется. Посмотрим...

— Весь день?!

— Весь день, — сказал папа.

И вот наступил мой день рождения. Утро выдалось замечательное. Ещё сквозь сон я слышал, как щебетали птицы за окном, а когда открыл глаза, увидел, что вся комната залита солнцем, а перед кроватью на стуле лежат коробки с подарками. Там была радиоуправляемая машина, кроссовки, конструктор «Лего», две видеоигры, походный набор с фонариком и раскладным ножом, в котором были даже ложка с вилкой, футболка, новый футбольный мяч и какая-то книга. Я всё это разглядывал и даже нюхал — новенькие вещи всегда так особенно хорошо пахнут. Потом пошёл умываться и чистить зубы, а после этого чуть было не начал делать зарядку. Это меня дед приучил. Но я вовремя вспомнил: какой же я дурак! — сегодня мне всё можно. Раз всё можно делать, значит, и не делать тоже можно всё! Я, счастливый, сел на кровать и задумался. А что, если не завтракать? Вернее, завтракать одним только мороженым и тортом. Я знаю, много мороженого припасено на мой день рождения в холодильнике, а торт мама испекла вчера вечером, и он тоже стоит в холодильнике. Когда мама увидела, что я вытащил из холодильника торт и занёс над ним нож, у неё сделалось точно такое же лицо, какое было лет шесть назад, когда она увидела, что я собираюсь засунуть её шпильку для волос в электрическую розетку.

— Мне папа разрешил делать всё, — сказал я.

— Вот пусть папа испечёт торт, а потом разрешает! — сказала мама.

Торт пришлось «отставить», как сказал бы дед. Мама хотела и мороженое мне запретить, но папа её удержал, сказал:

— Пускай, один день всего, пусть попробует свободы, я даю ему карт-бланш!

Оказывается, так называется, когда всё можно делать. Это в переводе с французского — белая карта, или чистый лист, на котором можно написать всё, что хочешь. В общем, так говорят. Вернее, никто так не говорит, кроме моего папы, который любит всякие непонятные вещи.

Я съел одно кофейное и одно клубничное мороженое, и когда я по привычке решил выпить чаю, у меня зубы заломило после холодного так, что я зажмурился. Думал, что они у меня сейчас потрескаются и выпадут, как это бывает в мультках про Тома и Джерри.

После завтрака я сразу же включил компьютер, чтобы установить на него новые игры и поскорее начать играть. Но тут вдруг я подумал: ведь это я смогу сделать и в любой другой день. А сегодня надо спешить делать то, что в другие дни уже не разрешат. Я снова задумался. Хотелось сию же минуту куда-то бежать, но я не знал куда. Долго не знал. Минуты три сидел. А потом понял, что пойду в игропарк. Прямо с утра. Мне всегда в день рождения дают деньги на игропарк, и мы идём

туда с пацанами. Я стал звонить своим друзьям. Лёшка сказал:

— Нет, я сейчас не могу, я квартиру прибираю.

Вовка сказал:

— У меня с утра тренировка.

Димка сказал:

— Мы же на вечер договаривались, я сейчас с мамой на базар иду.

«Ну и ладно! — подумал я. — Пойду один». И пошёл. Игропарк от нас недалеко, две остановки на автобусе. Было ещё утро, и в зале никого не было. Я попрыгал на батуте, поиграл в 5-D «Трансфорс», бил молотком по силомеру. Но понял скоро, что одному скучно. В аэрохоккей вообще один не поиграешь, и в боулинг, и в настольный теннис. Ерунда какая-то получается. Дяденька в костюме человека-паука оглядел пустой зал, вышел на балкон и закурил там, облокотившись о перила. Мне стало скучно.

В кино! — решил я. Но, выйдя на улицу, вспомнил, что перед кино мы с пацанами всегда идём в кафе, набираем попкорн, играем в аэрохоккей или фотографируемся вместе в специальной кабине, строим рожи и подставляем друг другу рожки — и мне расхотелось идти одному.

Я побрёл по улице, разглядывая витрины, зашёл в пиццерию. Мне захотелось пиццы, но там была очередь, а стоять одному так скучно. В зале было много детей, и все в компании, всем весело. Я посмотрел и ушёл. Надеюсь встретить хоть кого-нибудь из своих знакомых, я пошёл дворами. Это были старые дома. Во дворах было много кошек и сушилось на верёвках бельё. Но я так никого и не встретил. Незаметно для себя я вышел к нашей школе. Необычно было смотреть на школу, зная, что там никого нет. Я даже обошёл её вокруг по пустому двору. Все окна и двери были закрыты. Только сбоку, там, где высокое крыльцо в мастерскую, дверь была открыта, и на ступеньках, подставив лицо солнцу, сидел наш учитель труда Валерий Павлович. Он удивился, увидев меня, и сказал:

— Привет, Шукин!

— Здравствуйте, Валерий Павлович, — сказал я.

— Ты что тут делаешь?

— Гуляю, — сказал я.

— А чего один гуляешь?

Я пожал плечами.

— А вы разве и по воскресеньям работаете? — спросил я.

— Да нет. Так. Зашёл просто кое-что подремонтировать.

— А у меня сегодня день рождения, — сказал я.

— Да ну? Поздравляю. А чего не отмечаешь?

— Ещё рано, гости только в четыре придут.

Валерий Павлович кивнул. Потом сказал:

— Хочешь, покажу, как на токарном станке работать?

На станках у нас работают только старшеклассники, и я сказал:

— Хочу.

Мы вошли внутрь, здесь было прохладно, пахло краской, столярным клеем, машинным маслом.

Токарный станок был большой, как пианино, только пониже. Валерий Павлович объяснил мне, что такое передняя и задняя бабка, подручник, шпиндель; показал мне, как правильно закрепить заготовку и как правильно держать резец. Потом я нажал красную кнопку, и станок красиво загудел, завращалась ременная передача, и тёмное пятнышко на деревянной заготовке стало неразличимо, так она быстро крутилась.

— А что вытачивать?—спросил я.

— А что хочешь!

— Я не знаю, Валерий Павлович, чего я хочу,—сказал я, вспомнив своё сегодняшнее утро.

— Хорошо. Сделай толкушку для картошки. Это самое простое. Маме подарить. У неё ведь тоже сегодня праздник,—сказал Валерий Павлович.

Толкушка для картошки похожа по форме на ручную гранату, только ручка у неё округлая и тоньше, и заготовка у меня всё время трескалась, когда я вытачивал ручку.

— Здесь надо плавно, фигурно, не спеша,—говорил Валерий Павлович, и по голосу чувствовалось, что ему очень нравится самому делать вещи плавно, фигурно.

Он брал новую заготовку, и я снова включал станок.

С третьего раза у меня получилось, и я бережно снял новенькую, ещё тёплую от резца толкушку со станка.

— Теперь зашкурим аккуратно,—сказал Валерий Павлович, довольный моей работой, как будто он сам никогда не делал толкушек, а вот сегодня научился.

Пока я зашкуривал, то есть тёр мелкой наждачкой, Валерий Павлович поставил чайник на маленькой плитке и высыпал из кулёка пряники:

— Угощайся.

Мы поели пряников с чаем, и я сказал:

— Ну, я пойду.

— Давай,—сказал Валерий Павлович.

Странно, но теперь мне не было скучно. Я думал, как обрадуется мама, что я принёс ей подарок, и как удивится папа, узнав, что я сам сегодня работал на станке.

Когда ко мне пришли вечером пацаны и захотели посмотреть, какие подарки мне подарили на день рождения, я всем им первым делом толкал под нос толкушку для картошки и рассказывал, что я её сам вытачивал на станке. А они всё торопились посмотреть мои новые видеоигры, конструктор, кроссовки.

— У меня такой был!.. Я в такую игру играл!.. У моего брата такие же кроссовки!..—кричали они.

Но никто не сказал, что у него есть такая толкушка для картошки или что он работал на станке. И я понял, что они не понимают, в чём тут кайф. А как объяснить, я не знал.

— Ты чё, так картошку любишь?—только и спросил меня Лёшка.

А папа наблюдал за мной и моими друзьями и иногда улыбался, но так, чтобы никто не заметил.

Вечером, когда гости уже разошлись, когда мама вместе с Машей прибрала со стола и вымыла посуду, а мы с папой вытерли и разложили её по полкам в буфете, когда скучно было смотреть на остатки торта, папа меня спросил, доволен ли я своим днём рождения. Я сказал, что да, я доволен. — Вот ты делал всё, что ты хотел. А что тебе больше всего запомнилось?—спросил папа.

Я посмотрел на папу. А он со сдержанной улыбкой смотрел на меня, будто уже зная что-то.

— Мне запомнилось... как я завтракал мороженым.

Я видел, что это не то, что ожидал услышать папа. Поэтому я так и сказал, нарочно. Чтобы взрослые не думали, что они всегда всё знают. А потом я пожалел, что так сказал. Выходит, что я хоть один раз, да опять соврал. Но ведь папа мне дал карт-бланш, а день рождения ведь ещё не кончился.

Витамины

У нас в семье все пьют. Папа, мама, моя младшая сестра Маша—все пьют каждый день витамины. Мама пьёт от похудения, папа—от зрения, Маша—«Растишку» от детства, а я иногда пью таблетки от головы. Только дедушка Данил не пьёт. Он доктор и военный, поэтому вместо витаминов он принимает коньяк. Он привык ко всему, чтобы было как в армии, и до сих пор делает утреннюю зарядку на балконе с гантелями, даже зимой. В детстве я пил рыбий жир. И думал, что от него заболел желтухой, потому что он такой жёлтый. Но потом мне сказали, что это не от рыбьего жира, а от какого-то Боткина.

А ещё в детстве я любил смотреть сквозь цветные стёкла. У нас в серванте стояло много разноцветных бокалов—синих, красных, зелёных, жёлтых. Я брал эти бокалы и по очереди смотрел сквозь них. И почему-то это называлось у меня—витамины. Мне становилась хорошо, весело и как-то загадочно. Потом родители опять мне сказали, что витамины—это другое, и показали такие весёлые жёлтые шарики, сначала сладкие, а потом такие кисленькие. И я в первый же день, пока родители были на работе, съел почти весь пузырёк, меня затошнило, и я снова пожелтел и думал, что у меня опять началась желтуха. С тех пор я не очень люблю витамины и не пью их. А все остальные у нас пьют. Но помогают они только маленькой сестрёнке Маше, потому что она хоть и медленно, но взрослеет. Папа всё так

же носит очки, а мама всё так же ходит на аква-аэробiku—плавает в бассейне, чтобы не полнеть. Видимо, витамины на взрослых не действуют. Но они—взрослые—этого почему-то ещё не поняли.

А я открыл для себя другие витамины. Они такие особые, что я ещё никому о них не рассказывал. Потому что если рассказывать, то люди подумают, что я какой-то ненормальный. В первый раз это было, когда мы с пацанами играли на стройке. Недалеко от нашего дома был завод. Там что-то раньше делали. А потом перестали, и даже в окнах выросла трава. Мы часто там играли в войну. А потом кто-то купил эти развалины и начал там всё заново делать—в смысле, строить супермаркет. Но мы всё равно там играли, хотя нас гонял сторож, но так было ещё интересней. Нам нравилось от сторожа убежать. И там стояла бочка с известью. Я однажды спрятался за ней, и мне вдруг так стало приятно от запаха извести, что я потом нарочно приходил к этой бочке, и мне всегда становилось хорошо. Я даже спросил у мамы, почему так. И она сказала, что мне не хватает кальция, и купила мне какие-то таблетки. Я их пил, но это было совсем не то, что та бочка с известью, никакого удовольствия.

Потом однажды у нас на улице клали асфальт, и от этого запаха тоже было как-то особенно хорошо. Я не стал говорить маме, а то вдруг она скажет, что мне асфальта не хватает, и заставить пить такие чёрные таблетки, которые даёт моей сестре, когда у неё болит живот.

Ещё мне нравится, как пахнут рельсы, когда мы приезжаем на дачу и идём вдоль железной дороги.

Но самое странное было однажды, когда я шёл домой из магазина. Меня попросили купить хлеб. Я купил в булочной одну булку белого и одну чёрного хлеба и шёл домой. Было пасмурно и как-то скучно. Всё вокруг было такое обыкновенное. И небо такого цвета, как алюминиевая миска, что стоит у нас на даче. В неё складывают остатки после обеда и оставляют возле крыльца, чтобы бездомные кошки или собаки могли поесть. Накапывал мелкий дождь. А когда я вышел из булочной, дождь уже лил всюду, и я побежал домой, прыгая через лужи. Я, чтобы срезать расстояние, побежал через сквер, пригибаясь и задевая за мокрые ветки, с которых мне за шиворот лилась вода. Не помню, зачем я остановился, поглядел вниз с небольшого откоса, туда, где под козырьком подъезда военной части стояли два офицера и какая-то женщина с красным зонтиком. И мне вдруг стало так удивительно, будто я раньше всё видел сквозь какую-то плёнку или целлофан, а сейчас её сняли, и я видел всё необыкновенно чётко. Даже капли, которые висели на железной узорной решётке, поддерживающей козырёк подъезда. Я не мог понять, в чём дело, и только смотрел, удивляясь от незнакомой свежести.

Так вот до сих пор и не понял и никому не рассказывал. Просто не знаю—что это. Может быть, что-то ещё никем не открытое, и я, когда вырасту, открою, что это такое. Вот это и будут настоящие витамины!

Зоопарк

— Нет, я с дедом не пойду!—закричал я так, что родители замолчали и посмотрели на меня.

— Почему?—спросил папа.

А я не знал, что сказать, и поэтому сказал:

— Он ужасный человек!

Ляпнул я первое, что пришло в голову. А пришло это в голову потому, что так говорит иногда моя мама про дедушку Данила, папиного папу.

Теперь папа молча посмотрел на маму. А мама посмотрела в сторону.

— Что случилось?—спросили меня и мама, и папа по очереди.

А я не знал, как рассказать. Хоть дед Данил и ужасный человек, но мне всё-таки не хотелось его выдавать.

Дело было так. В прошлый выходной поехали мы с дедом в зоопарк. Моя сестрёнка Маша была у бабушки—у маминой мамы—на даче. В зоопарке всё было нормально. Не считая того, что я не люблю зоопарки. Там всегда ужасно пахнет, и жалко зверей. У них бывают такие глаза, что хочется выпустить их из клетки. Но дедушка вёл себя нормально—я это хотел сказать. Дедушка у меня любит делать всем замечания. А я этого не люблю, я стесняюсь, когда дедушка начинает лезть к людям со своими замечаниями или даже скандалит. Но сегодня он был спокойный, в миролюбивом настроении. Он купил нам по порции мороженого; правда, своё почти сразу выбросил в урну:

— Тьфу, вода с сахаром! Разучились делать...

Но у меня забирать и выбрасывать не стал. Мы долго стояли возле вольера с верблюдами.

— Ох и нагляделся я на них в своё время,—сказал дедушка,—а сейчас даже как-то приятно вспомнить.

Если бы я был зверем и попал в зоопарк, то я бы, наверное, убежал. И куда бы я побежал, если бы был слоном или львом? Поймали бы снова. Тогда бы я стал что-нибудь изучать. Но звери не могут изучать науки. И переписываться со своими родственниками и друзьями тоже не могут. А как бы я ждал письма из Африки, если бы был слоном и умел читать и писать! И дружить здесь мне было бы не с кем, потому что все в клетках и не могут переговариваться друг с другом. Если у зверей и есть язык, то у всех, наверное, разный, не может слон разговаривать с буйволом, леопардом, тюленем или обезьяной. Тогда бы я только спал и видел во сне свою родину. Больше мне бы ничего не осталось, как только спать и ждать, когда я умру.

Мне бы хотелось умереть поскорее, чтобы стать свободным; может быть, я потом снова бы родился свободным слоном или медведем и больше бы сюда не попадался.

Я смотрел на разных зверей в разных клетках и думал: вот они сидят каждый в своей клетке, мирно смотрят, едят свой корм. Все хорошие, и всех их жалко. Каждому хочется помочь, с каждым поговорить и приласкать. И кажется, что каждый зверь тебя обязательно поймёт. А если их выпустить из клеток, они начнут охотиться и убивать друг друга. И бесполезно будет им что-то говорить. Они не послушают. И прав будет каждый из них, а самый сильный будет самым правым.

— О чём задумался, Слава? — спросил меня дед.

Я сказал ему, что мне жалко зверей в неволе.

— Да, — сказал дед, — но животное, в том числе и человек, ко всему привыкает и начинает дорожить той жизнью, которой живёт.

— Это хорошо? — спросил я.

Дедушка пожал плечами.

— Если бы ты мог освободить одного зверя, кого бы выбрал? — спросил я.

— Слона, — сказал дедушка. — Ездил бы на нём за пенсией, как падишах.

— Я серьёзно! — сказала я.

Но вместо ответа дедушка стал рассказывать мне одну книжку; он всё время что-нибудь читает, но в основном про войну. А эта была про одного человека, который ходил в зоопарк, и там ему очень понравился молодой тигр. И вот, это было в Италии или во Франции, этот человек решил выкрасть этого тигра, чтобы дать ему свободу. Он тщательно готовился, купил фургон для перевозки, медикаменты, чтобы усыпить тигра, инструменты, чтобы ночью сломать замок клетки. Он подкупил ночного сторожа. На подготовку он потратил все свои деньги. И ему удалось. Сначала он провёз тигра через границу и в порту погрузился со своим фургоном на паром, идущий в Африку.

Потом он снова долго ехал и, наконец, выпустил тигра в джунглях. И уехал обратно. Но на обратном пути его арестовали. За ним уже до этого гнались как за похитителем. А ему, конечно, было досадно, что его арестовали, но сильно он не расстроился. Ему было хорошо и легко на сердце оттого, что он спас живое существо, дал ему свободу, и поэтому он теперь был уверен, что будет чувствовать эту свободу даже в тюрьме. И он сидел в полицейском участке и улыбался. Пока один офицер не сказал ему, что тигры в Африке не живут.

— Вот как важно учить географию, ну и вообще, — сказал дедушка.

А у меня даже настроение испортилось от жалости к этому человеку и тому тигру. Я не люблю книги с плохим концом. Где их только дедушка находит? Но это ещё было не самое плохое и вообще

не то, про что я хотел рассказать, вернее, не то, про что я не хотел рассказывать родителям.

Мы ещё немного погуляли в зоопарке. Потом, когда вышли, я вспомнил, что мне надо купить тетради в клеточку и пару ручек. И мы зашли в книжный магазин. Пока я выбирал ручки и тетради с прикольными обложками, дедушка разглядывал книжные полки. Он пробегал по ним глазами без интереса, со скучным и насмешливым выражением. Как вдруг остановился и выхватил одну книгу с полки. Он раскрыл её, стал листать, потом замер, а потом двумя руками швырнул её на пол так, что на звук обернулись покупатели и продавцы. Я испугался и поскорее поднял книжку, стараясь сделать лицом такое выражение, что мой дедушка нечаянно обронил, а я вот поднял, и всё... Дед уже шагал к выходу, а я, прежде чем поставить книгу на полку, успел только прочитать на обложке: «С. О. Рокин „Ленин-Цы“». Ерунда какая-то... Я даже забыл про свои ручки и тетради. Дед широко шагал к остановке, а я скакал за ним вприпрыжку, чтобы не отстать. На ходу дедушка немного успокоился, а потом мы ещё долго ждали автобуса, и я боялся его о чём-нибудь спрашивать. Но вот он совсем остыл, выгасил папиросу, покрутил её в пальцах, понюхал и выбросил в урну. Дедушка у меня волевой, бросает курить.

Маршрут, который идёт до зоопарка, ходит редко. Ему надо проехать через весь город. Потом через пригород, где много деревянных одноэтажных домов, есть огороды, собаки в будках, и даже есть во дворах ещё деревянные туалеты. Иногда мне хочется, чтобы мы жили в таком доме, потому что в таких домах есть чердаки с полукруглым окошком. И я бы там сделал себе комнату, а ночью мог бы выходить прямо на крышу... Ну и вообще, жить в таких домах как-то интересней. Мне кажется, что там даже могут водиться домовые, хотя я в них не верю.

Наконец, автобус пришёл и долго стоял на конечной остановке, ожидая пассажиров. Я сидел у окна и рисовал пальцем по стеклу, хотя рисунка не было видно; дедушка протирал от скуки очки уже в третий раз. Пассажиры, многие с детьми, постепенно наполняли автобус. Я так долго сегодня смотрел на разных зверей, что теперь мне уже и люди в автобусе стали казаться на них похожими. Вот эта тётенька с узким лицом и длинными глазами казалась похожей на лань, а другая, нахмуренная, с завитыми волосами, спадавшими на лицо, напоминала овцебыка. Третья, с широким удивлённым лицом и близко поставленными круглыми глазами, была похожа на сову. Сутулый дядечка в клетчатом шарфе смахивал на доброго жирафа. А другой, небольшого роста, но носатый и очень важный, напоминал верблюда. Возле женщины-лани вертелись двое её детей, мальчик и девочка, но похожие не на маму-лань,

а на лисят с острыми мордочками. А вот сынуля женщины-овцебыка был вылитая мама, тоже серьёзный, нахмуренный, и ел булку. Маленькая старушка с серыми от седины волосами смотрела вперёд добродушной мордочкой мишки коала, а её внучка держала двумя руками конфету и откусывала от неё, как белочка. А потом появились эти две гиены, два взрослых хулигана. На них были пятнистые камуфляжные штаны. И лица такие... не знаю. Они сели на заднее сиденье, щёлкали там семечки, пили пиво, громко, противно смеялись и ругались. Я, даже если бы захотел, не мог бы пересказать родителям те слова, которые они говорили. Пассажиры стали делать им замечания, особенно женщины с детьми. А я несколько раз хватал дедушку за руку и шептал ему:

— Не надо, дедушка, пожалуйста.

И дедушка терпел, смотрел в окно. А хулиганы всё громче смялись и ругались, и дяденька-жираф пытался их успокоить, но они его не послушались и даже стали его обзывать. И я видел, что он хотя и взрослый, намного старше их, а испугался и отвернулся. И женщина-овцебык нагнулась ниже, и женщина-лань обняла детей и устоялась в окно застывшим взглядом, и мужчина-верблюд закрылся журналом. Я хулиганов, конечно, и раньше видел много — у нас во дворе и в кино. В кино они часто нестрашные, иногда даже красиво поют и танцуют. Но эти были настоящие, они были даже хуже, чем наш Генка Малюга. Генка по сравнению с ними был просто добродушный озорник вроде Буратино. Из этих один был рыжий и всё время длинно так улыбался, а второй был в такой вязаной шапочке, в которых поют хип-хоп, в безрукавке, и на руках у него были синие татуировки.

Мы с дедом сидели ближе всех к ним. И вдруг рыжий положил свою ногу в грязном ботинке с присохшей к подошве глиной, из которой торчала зелёная травинка, на спинку нашего сиденья, как раз между мной и дедом. Дедушка встал и взял меня за руку, чтобы перейти отсюда подальше, в начало салона. Но отпустил мою руку, и не успел я обернуться, как дед ударил рыжего парня головой о железную спинку сиденья, на которую тот положил свою ногу. Тот парень, который был в шапке, вскочил, но дед моментально ударил его кулаком в живот так, что парень согнулся пополам. Потом дед схватил их обоих за шиворот, поднял в воздух, как будто они были не настоящие, а картонные или тряпчатые, и ударил их головами друг о друга. Двери автобуса раскрылись, потому что мы подъехали к остановке, и дедушка выбросил обоих наружу. Тут в автобусе всё переменялось, и все стали возмущаться уже моим дедушкой. А хулиганов, наоборот, называть детьми, и жалеть, и кричать дедушке, что он избил детей. Но никто не посмел подойти к нему, и мы так и стояли вместе целую вечность до следующей остановки,

взявшись за руки. Дед мой не ответил никому ни словом, а просто стоял и смотрел в окно, а я вообще зажмурился и дал себе самое честное в жизни слово, что больше с дедом никуда не пойду. — Вот те и зоопарк! — повторял дед, усмехаясь, пока мы шагали по улице, уже выйдя из автобуса. — Вот уж кого надо в зоопарке держать!

И всего этого я родителям не рассказал. И они поссорились, потому что папа решил, что это мама настроила меня против дедушки, и обиделся на неё. А как я мог рассказать? Тогда бы я выдал дедушку, и они бы оба на него сердились. А это всё-таки несправедливо. И я решил не говорить правду, а это всё равно как опять соврать. Да, дедушка ужасный человек, но я подумал и решил, что это как в природе, как среди зверей: наверное, кто-то должен быть таким сильным и ужасным, чтобы его боялись даже те хулиганы.

Инопланетяне

У меня и раньше не по всем предметам оценки были хорошие. Особенно по математике и по русскому, когда диктант. Вообще, я мог получить двойку по любому предмету. Мне это было несложно. Я получал двойки и по труду, и по рисованию, и даже по пению. Родители, когда я получал двойки по этим предметам, скорее удивлялись, чем огорчались. Им казалось странно, как можно получить два по рисованию. А вот двойка по математике им совсем не казалась странной. Но если это не странно, то зачем сердиться? Я не понимал своих родителей, а они не понимали меня, когда я приносил двойки. Двойку по рисованию я получил, когда нарисовал наш город. Было такое задание. Я взял и всё закрасил чёрным карандашом. Я сказал, что это город ночью, поэтому ничего не видно. Папа, посмотрев на мой рисунок, сказал, что я, конечно, хитрец и лентяй, но всё равно двойку было ставить некорректно. — Как? — спросил я.

Мне хотелось запомнить это слово, если оно подходит для того, чтобы критиковать оценки учителей. Папа стал объяснять.

— Корректный — это значит правильный, уместный, допустимый в данной конкретной ситуации, ну и ещё вежливый.

— А почему двойка мне некорректная? — спросил я. — Потому что в условии поставленной задачи — изобразить город — не было оговорено, в состоянии какой видимости должно быть представлено изображение, также не оговорена творческая манера исполнителя.

— Класс! Круто! — сказал я восхищённо.

Можно сказать, что каждый раз, получая двойки, я старался чему-то научиться, как вот, например, вышло с этим словом «корректный».

Но никогда раньше я не получал столько двоек, как теперь, когда у нас начался английский язык.

Этот предмет у нас вела молодая учительница — Татьяна Андреевна. Она была совсем не злая, наоборот, приветливая и улыбчивая. Вот, наверное, поэтому я с самого начала как-то расслабился и не особенно обращал внимание на то, что она там говорит. Мне вообще казалось, что иностранный язык — это то же самое, что русский, только там другие буквы. А когда мы стали учить алфавит и я увидел, что даже буквы почти одинаковые с русскими, тогда я вообще расслабился и решил, что надо выучиться записывать почти русскими буквами английские слова. Так я и выучил своё первое слово. Легко запомнил, по-русски оно называлось «тапу» и писалось именно так, а по-английски оно называлось «tapu» и переводилось как «много». Долгое время это было главное моё достижение. Я ещё, конечно, знал все эти «маза», «фаза», «систа», «браза», но не умел их писать. Я писал правильно: «маза», «фаза», «систа», «браза», — а учительница всё зачёркивала и ставила мне за диктант из четырёх слов единицу. Мои родители не привыкли к единицам и старательно считали ошибки. Вышло, что в диктанте из четырёх слов я допустил восемнадцать ошибок.

— Да, брат, это ты с запасом взял, — сказал мне папа. — Восемнадцать ошибок — это хватит на три двойки и одну тройку с минусом.

И вот папа с мамой взялись учить со мной правописание слов. Я согласился учить правописание и произношение. Но и этого оказалось мало моим придирчивым родителям. Я уже хорошо выговаривал какое-нибудь слово, например, «bring», даже писал его правильно. А они не отставали и задавали мне вопрос:

— А как оно переводится?

Я готов был заплакать от досады. Потому что перевод я не учил. Мне и без перевода запомнить их было сложно. Но родители у меня очень упорные и, к сожалению, любят доводить начатое дело до конца. И вот они меня до него довели так, что мне уже ночью снились английские слова. Но по следующему диктанту я получил четыре. И ошибка у меня была всего одна. А слов уже не четыре, а двадцать! И среди них, кстати, было такое сложное и совсем ненужное слово, как «certainly». Но я даже его написал правильно. Я уже готов был решить, что английским я овладел, но тут оказалось, что, кроме слов, там ещё есть какая-то грамматика. И тут я сильно растерялся. Мне сказали, что в английском языке не три времени, как в русском, а шестнадцать. Я весь вечер сидел и старался придумать хоть одно время, кроме настоящего, прошедшего и будущего. И ни одного не выдумал. Потом я вспомнил, что когда-то читал одну фантастическую книжку. Там дело было в космосе, на одной планете, где было не три измерения, как у нас, а семь. И время там тоже могло течь в двенадцати разных направлениях одновременно. И тогда

мне всё сразу стало ясно. Англичане — потомки инопланетян. Как это раньше никто не сообразил! Недаром же у них ещё этот... ну этот... ну как его?!

Я побежал к папе в комнату, взволнованный своим открытием, и с ходу выпалил:

— Папа, где находится этот... секунд-хенд?

— Какой? — спросил папа удивлённо.

— Ну этот, он же один!

— Почему один?

Мы долго не могли понять друг друга, я сердился от нетерпения, а папа от досады.

— Ну в Англии, там камни такие по кругу стоят торчком! — даже крикнул я.

— Стоунхендж?! — папа расхохотался и ударял себя по коленям, а потом даже записал себе в блокнот: «Секунд-хенд — Стоунхендж».

Теперь я знал, почему Стоунхендж находится именно в Англии! Я понял это раньше многих учёных, которые ещё и до сих пор гадают. Но понять английскую грамматику это мне не помогло.

Папа мне объяснял. Но в результате сломал карандаш от злости, когда увидел, что я не отличаю подлежащее от сказуемого, первое лицо от второго, второе от третьего и так далее... А я просто случайно перепутал.

— Тебе прежде русский надо выучить! — сказал папа гневно.

И тогда за меня взялась мама с повторением русского, и я совсем запутался между русским и английским. И теперь стал получать двойки по обоим предметам.

Диктанты я по-прежнему писал хорошо. Это меня только и спасало. Потому что за все грамматические работы я получал «два». Никто не мог объяснить мне, что значит «настоящее простое», «настоящее длительное», «настоящее продолженное», «настоящее будущее» и «настоящее прошлое»... или я опять что-то спутал? Да, они не совсем так называются. Я даже названия их дурацкие путал.

И вот после очередной двойки по полугодовой контрольной Татьяна Андреевна оставила меня после уроков. Я думал, она станет сейчас меня ругать. А она дождалась, когда все ушли, и стала мне жаловаться, что её за меня завуч ругает. Завуч говорит ей, что я способный ученик, а у неё учусь на «два», как какой-нибудь Пятый. С ним ладно, с ним всё ясно. Но если она, Татьяна Андреевна, не может выучить нормального ученика, то, значит, она не справляется со своей работой. Мне стало жалко, что её из-за меня ругают, но что я мог поделать, если англичане инопланетяне и я их не понимаю? Татьяна Андреевна засмеялась, когда я назвал их инопланетянами, и сказала:

— Но ведь полмира говорит на английском именно потому, что у них лёгкая, очень доступная для понимания грамматика.

— Ничего себе доступная, — сказал я.

Тогда она сказала, что станет заниматься со мной дополнительно.

— Это бесполезно, — сказал я, — со мной уже и папа, и мама занимались — я не понимаю.

— Это моя задача как педагога, — сказала она. — Я и себе должна доказать, что смогу.

Я согласился, чтобы её не расстраивать.

И вот мы начали всё с самого начала. Начали так, что я вообще растерялся и ещё больше ничего не понял вначале — потому что Татьяна Андреевна стала рассказывать мне сказки.

Английские сказки

Я сидел и слушал. Татьяна Андреевна нарисовала на доске английский глагол «be».

— Жил-был король, — сказала она, указывая на этот глагол указкой, — и было у него три сына.

Она нарисовала ниже на доске трёх сыновей — это были «am», «is», «are». Сыновья эти были все разные по своему характеру. Первый сын был очень гордый и любил одиночество, у него совсем не было друзей. Он привык без них обходиться и очень любил слово «я». Второй сын любил только небольшие компании. Он любил быть только с одним своим другом, подружкой или со своей собакой. А третий был очень весёлый, жизнерадостный, он любил большие компании. «I am a prince. I am strong. I am clever. I am beautiful»¹, — любил говорить первый принц. Второй говорил: «He is my brother. She is my friend. It is my dog»². А третий: «We are brothers. They are friends. You are pupils»³.

— Понятно? — спросила она.

— Ну, — кивнул я.

— Хорошо, тогда скажи мне по-английски: «Я ученик».

— I pupil, — сказал я.

— Нет, ты говоришь как по-русски, но только английскими словами. Ты забыл, какого принца надо в это предложение поставить. Какой принц любит слово «Я»?

Ну, тут я врубился, наконец, и сказал:

— I am a pupil.

— Молодец! — обрадовалась Татьяна Андреевна. — А теперь напиши без моей подсказки три предложения: «Я ученик. Она учительница. Мы друзья».

Я написал: «I am a pupil. She is a teacher. We are friends»⁴. И обернулся. Татьяна Андреевна

улыбалась и выглядела просто счастливой. А мне стало стыдно, что я такой тупой, что не мог раньше этого понять.

— Хорошо. А теперь задай ко всем предложениям вопросы, — сказала она.

Я подумал и поставил вопросительные знаки после всех предложений.

— Нет, принц хочет быть первым во всех вопросах, он же принц! Ставь принца на первое место.

Я переписал предложения иначе: «Am I a pupil. Is she a teacher. Are we friends»⁵.

— Да! Молодец! А вот теперь уже поставь вопросительные знаки. Но у всех этих принцев был один недостаток, — продолжила Татьяна Андреевна. — Позвал их как-то к себе король и говорит: «Пора вам, сыновья мои, жениться. Выйдите на двор, возьмите каждый лук и пошлите стрелу. Куда стрела ваша полетит, там и ищите себе невесту».

Я сидел и удивлялся, как у неё похоже на настоящую сказку получается.

— А принцы взяли и не пошли.

— Почему? — спросил я. — Не хотели жениться?

— Потому что они ничего не хотели делать. Они были очень ленивые. Любили только смотреть в окно и замечать разные вещи. Например, что день холодный, яблоки красные, на улице осень. Попробуй сказать по-английски эти предложения.

Я стал осторожно говорить:

— Day is cold, apples are red, it is autumn⁶.

— Правильно!

— А что говорил первый принц, когда смотрел в окно? — спросил я.

— А первый был такой ленивый, что даже в окно не смотрел, а если и смотрел, то всё равно говорил только о себе, — ответила Татьяна Андреевна. — Например: «Мне грустно» или «Я счастлив».

Я подумал и сказал за первого принца:

— I am happy. I am sad⁷.

— Правильно. Но иногда он сомневался, как принц Гамлет, и спрашивал себя: «Мне весело?» — и потом сам отвечал: «Нет, мне не весело».

— Хорошо, сейчас, — ответил я и заставил принца сомневаться по-английски: — Am I happy? Am I sad? I am not happy, I am not sad...⁸

Получилось прямо как стихи. Я даже не знал, кто больше радуется, что у меня стало получаться, — я сам или Татьяна Андреевна.

Мне понравились эти лентяи-принцы. Хотя жизнь у них выходила не очень весёлая, и я спросил: — Они что же, так всю жизнь и прожили?

— Да, — сказала Татьяна Андреевна, — так они и состарились. И когда стали старыми, то, конечно, как все люди, изменились. Принцы «am» и «is» стали так похожи, что их никто не мог отличить друг от друга, они оба стали «was», а принц «are» превратился в старичка «were».

Принцы вспоминали свою молодость. Первый говорил: «Я был молодым». И второй говорил:

1. «Я принц. Я сильный. Я умный. Я красивый».

2. «Он мой брат. Он мой друг. Это моя собака».

3. «Мы братья. Мы друзья. Мы ученики».

4. «Я ученик. Она учительница. Мы друзья».

5. «Я ученик? Она учительница? Мы друзья?»

6. «День холодный, яблоки красные, осень».

7. «Я счастлив. Я печален».

8. «Я счастлив? Я печален? Я не счастлив, я не печален...»

«Он был молодым». И третий говорил: «Мы были молодыми». Я с небольшой подсказкой Татьяна Андреевны перевёл всё это на английский: «I was young, he was young, we were young»⁹. И, оказывается, так просто получилось прошедшее время.

— А будущее, будущее?! — уже сам попросил я.

Мне хотелось освоить с ходу и настоящее, и прошедшее, и будущее. Тогда я бы стал властелином Времени в этом придуманном царстве.

— Будущее? — задумалась Татьяна Андреевна.

Мы с ней одновременно, не сговариваясь, посмотрели в окно, как будто там, за голыми ветками и серым небом, за поворотом идущей под гору дороги, тоже серой, но другого цвета, — как будто за всем этим располагалось будущее. Нормальное будущее, не серое.

— Знаешь, почему принцы были такие ленивые? — повеселев, спросила Татьяна Андреевна. — У них наследственность была плохая. Вот кто был самый главный лентяй! — и она снова указала на самую верхнюю строчку, где был написан глагол «be». — Он не помнил ничего из прошлого, не интересовался ничем в настоящем, он только и делал, что мечтал о будущем. И для этого у него был... у него был... нет, вернее так: у него была волшебная палочка, которая называлась «will». Стоило этой палочке к чему-нибудь прикоснуться, как всё становилось будущим. Только это палочку нужно было держать строго перед собой, иначе она не работает. Ну-ка попробуй! Скажи: «Я буду королём».

Я задумался. Сначала будет слово «я», потом слово «быть», потом «король». Волшебную палку надо поставить перед королём. Значит, получается: «I be will a king».

— Подумай: кто из этих двух настоящий король, а кто нет? — сказала мне Татьяна Андреевна. — Вспомни: у кого из них три сына-принца?

— А-а! — догадался я. — «Be» настоящий король, значит, будет: «I will be a king»¹⁰.

— А как сделать вопрос? Давай волшебную палочку вперёд!

— Will I be a king?

— Молодец! Теперь отрицание: «Я не буду королём».

— Я думаю, здесь надо по-другому объяснять, Татьяна Андреевна, — сказал я и вышел к доске. — Вот, смотрите!

Я взял мел и стал рисовать.

— Вот здесь мы, а вот здесь будущее. Мы, к примеру, во Владивостоке, а будущее в Москве. И вот нам надо туда попасть. Смотрите, вот мы с вами в самолёте: «we». Но сам он не полетит, в него надо залить топливо, это и есть «will», он любой глагол будет отправлять в будущее: «will go», «will be», «will come»... Похоже?

— Да, здорово! — сказал Татьяна Андреевна. — Главное, ко всему подходит, кроме модальных глаголов.

— Кроме чего? — спросил я.

— Нет-нет, это не в счёт, про это я ещё не придумала, как в сказку вставить.

В общем, с первого нашего урока я почувствовал, что разобрался сразу во всём. Конечно, я потом ещё часто путался, пока не привык автоматически ставить все слова в нужных формах и в правильном порядке. Я уже думал, что на этом грамматика вообще закончилась. Мне даже стало немного жалко. Но Татьяна Андреевна меня успокоила. Она сказала, что, кроме трёх времён, которые мы прошли, нам осталось ещё тринадцать, и плюс ещё десять в каком-то пассивном залоге. «Ого, — подумал я, — это какую сказку сочинить надо. Ещё покруче «Гарри Поттера» выйдет!»

Английские сказки 2

Оказывается, не такие уж они и мирные, эти ребята — английские глаголы. Настоящая мафия. У них там всё поделено, расписано. У короля «be» есть заклятый враг, глагол «do», и его брат глагол «does». Это крутые парни, они не зевают, глядя в окно, как наши принцы «am», «is», «are». Они — страшно деловые пацаны. Но при этом сами предпочитают оставаться в тени, не засвечиваться без лишней необходимости. Они появляются, только если нужно разрулить какие-то вопросы. Вот, например, в предложении «Мы грабим банки каждый месяц» вы даже не найдёте ни этого «do», ни его братишку. Будет просто: «We rob banks every month». А как только возникнет вопрос, он и выскочит сразу первый со своей пушкой: «Do we rob banks every month?»¹¹. И если нужно от всего отпереться — типа, мы все тут честные ребята и ни про какие банки ничего не знаем, — тут тоже он со своим адвокатом «not» вступает в дело: «We do not rob banks every month»¹², — а сам хитро так улыбается. Со своим братом они разделили обязанности. «Does» — младший братишка, он занимается только мелочёвкой, на крупные дела не ходит, его интересуют только отдельные личности: «он», «она» или «оно». А брат «do» заведует всем остальным: «we», «you», «they», «I». Но он выпендрёжник, этот младший, этот «does». Он любит оставлять на месте преступления метку, вроде своего фирменного знака. Как я видел в одном фильме, там бандиты всегда рисовали на стене чёрную кошку. А этот «does» оставлял на месте преступления свой автограф «s» или иногда «es». Например: «He robs banks sometimes»¹³, «This gun

9. «Я был молод, он был молод, мы были молоды».

10. «Я буду королём».

11. «Мы грабим банки?»

12. «Мы не грабим банки».

13. «Он иногда грабит банки».

14. «Этот пистолет стреляет быстро».

shoots very fast»¹⁴, «She likes flowers and sweets»¹⁵. А когда он появлялся собственной персоной, то уже не оставлял никаких автографов: «Does this gun shoot fast?»¹⁶, «She likes only chocolate»¹⁷. Но больше всего эти парни не любят, когда какой-нибудь чужак заходит на их территорию; а уж если он начинает совать свой нос в их дела, тогда и подавно, тогда этому парню просто кранты.

Вот был такой случай. Один неплохой парнишка по имени «am» пришёл и решил, как он давно привык у себя на районе, встать после слова «I» в простеньком предложении, которое так любят все учителя: «Я хожу в школу каждый день». И вот этот «am» пришёл такой и встал — типа, он в теме. И вот он стоит, смотрите: «I am go to school every day»¹⁸. Но недолго он так стоял: не успел и глазом моргнуть, как чик по нему красной полоской — и хана парню. Только на полях тетради появилась такая красная пгичка от учительской ручки, как скромный памятник на кладбище. И всем другим, кто не на своё место становился, им тоже появлялись такие памятники на полях. Вот такие были у этих ребят, «do» и «does», крутые разборки. Но если вдруг они сами заходили на чужую территорию, то и их там не щадили. Допустим, ляпнется по ошибке «do» в предложение «This do a book»¹⁹ — «is» его сразу прикончит. И правильно сделает, потому что надо: «This is a book»²⁰. И никак иначе.

Эту сказку я сам сочинил и рассказал Татьяне Андреевне на нашем следующем дополнительном занятии. Она даже руками всплеснула и говорит: — Да тебе надо методические пособия писать для колоний малолетних преступников! Кто у тебя родители?

— А мне так больше нравится, так прикольной, — сказал я.

— А вот я сейчас возьму и помирю их, этих твоих хулиганов.

— Они не хулиганы какие-то, они мафиози, — уточнил я, немного обидевшись за своих крутых парней.

— Всё равно помирю.

— Ну, попробуйте, — сказал я.

Мне казалось, что помирить их уже нельзя, и было интересно посмотреть, как учительница выкрутится из такой ситуации. С одной стороны, мне хотелось, чтобы у неё ничего не получилось, и тогда я бы как бы выиграл. А с другой стороны,

Татьяна Андреевна — хорошая, и мне было бы жалко смотреть на её поражение. Получается, что я как-то одновременно болел и за неё, и против. Она подумала, а потом начала рассказывать. И уже по тому, как она улыбнулась, прежде чем начать, я догадался, что у неё получится и она сама это уже чувствует.

— И вот они так враждовали, как Монтеки и Капулетти.

Я уже привык не спрашивать учителей, когда слышу от них непонятные слова, вроде вот этих. Если спросить, то, во-первых, долго начинать объяснять, иногда становится ещё непонятней, потом оказывается, что это всё вообще-то и не обязательно было знать; и вдобавок ещё пристыдят, что ты этого не знал. У нас Пятывров однажды спросил у учительницы, что такое сувенир. Учительница ответила, что это какое-нибудь небольшое украшение или игрушка на память. А Пятывров тогда стал спрашивать, какая игрушка и почему называется «сувенир», а не «игрушка» или «украшение», и в конце концов его выгнали с урока, потому что решили, что это он нарочно спросил, чтобы сорвать урок. Конечно, Татьяна Андреевна была хорошая, но всё же ведь учительница, и я решил не рисковать лишний раз, не спрашивать её про этих Капулетти.

— А одна девушка из семьи «do» влюбилась в принца «am». Она очень переживала, что их семьи враждуют. Она боялась одновременно за своего возлюбленного и за своих братьев, как бы они не перебили друг друга, и решила во что бы то ни стало их помирить.

— И как же её звали? — спросил я, зная, что в наших сказках нельзя давать имена просто так, надо, чтобы они что-то значили по-английски.

— Её звали Инга, — сказала Татьяна Андреевна, и я удивился, потому что это было вроде как против правил, обычное имя, как в жизни, но не стал её перебивать и слушал дальше. — Как только кто-нибудь из семьи «be», будь то «am», «is» или «age», становился не на своё место, она тут же выбегала и хватала за руку первый попавшийся глагол в предложении, чтобы он не напал и не звал на помощь грозных братьев «do» и «does». Вот что получилось, — сказала Татьяна Андреевна, взяла мел и написала на доске: «I am going to school»²¹ (я же говорил, что учителя обожают это предложение).

Татьяна Андреевна указывала на три буквы «ing», добавленные к глаголу, и говорила:

— Вот эта девушка! И теперь благодаря ей получилось новое грамматическое время — настоящее длительное. Это когда действие происходит не вообще постоянно, а именно сейчас, в данный момент, прямо у нас на глазах.

— Круто... — сказал я, признавая, что это у них, у Татьяны Андреевны и у этой Инги, здорово получилось.

15. «Она любит цветы и конфеты».

16. «Этот пистолет стреляет быстро?»

17. «Она любит только шоколад».

18. «Я есть ходить в школу каждый день».

19. «Это делать книга».

20. «Это книга».

21. «Я иду в школу сейчас».

Теперь до меня стало доходить, как это может быть, что настоящих времени два, а не одно, как в русском языке.

— А есть ещё два настоящих, перфектное и перфектное длительное, но я тебе потом про них расскажу,— сказала Татьяна Андреевна.

Я был рад, что стал понимать английскую грамматику, но мне было немного жаль, что англичане не потомки инопланетян. Я собирался это доказать, когда вырасту, и прославиться. Теперь я начинаю понимать, почему в древности было так много великих людей, первооткрывателей. Это потому, что они не учились в школе и всё открывали сами. А школ тогда почти и не было, а если были, то самые простые, наверное.

Ключ

Сам не знаю, как это так получилось. Родители вместе с сестрёнкой Машей поехали на дачу. А я остался дома один до следующего вечера—такое везение. Делай что хочешь, а хочешь—ничего не делай. Я, конечно, пообещал, что буду вести себя хорошо, лягу не поздно и не притащу домой целую ораву друзей. На самом деле я именно это и мечтал сделать.

Меня вообще оставили случайно. Завтра должна была вернуться бабушка из санатория. Она там отдыхала две недели. А ключ от своей квартиры на всякий случай оставляла у нас. И ещё просила, чтобы мама приходила поливать цветы. И вот завтра бабушка возвращалась рано утром. А родителям не хотелось вставать чуть свет и мчаться с дачи домой, чтобы отдать бабушке её ключ. Вот меня и оставили. Редко выпадает такое везение. Я проводил родителей и сестрёнку до машины, помогая им нести вещи и изображая на лице лёгкую грусть по поводу их отъезда. Постоял, пока они выедут со двора на улицу, и только после этого улыбнулся. А потом я побежал сразу в соседний двор, где пацаны лазили по гаражам. Они там играли в войну. Я тоже залез и сказал, что у меня родители уехали до завтра. И ещё сказал, что кто хочет вечером ко мне, пусть приносит с собой кока-колу и чипсы. Это было как входной билет на вечеринку. Но сначала мы играли во дворе на гаражах, потом полезли через забор военной части. Раньше там был контрольно-пропускной пункт, и посторонним запрещалось проходить. Нас оттуда гоняли и грозили сдать в милицию. Теперь пункт убрали, заходи кто хочешь. Но мы по привычке лазили через забор. Так было веселее, и мы надеялись, что, может, нас кто и погоняет, как в старые времена. Но никому не было дела. И вот Сашка из седьмого подъезда предложил залезть на склад.— Вдруг мы там патронов наберём?!— сказал он.— Будем в костёр на стройке их кидать!

И вот мы полезли втрём—Сашка, Генка и я. Денис не полез.

— Слабак!—сказал ему я.

Мы залезли внутрь через крышу. Там, внутри, было темно. И только полосками проходил такой пыльный свет. Мы привыкли к темноте, огляделись и начали искать патроны. Но там были только огромные брезентовые чехлы, какие-то железные рамы и ящики. Сашка из седьмого подъезда сказал, что в ящике должны быть патроны, и предложил разбить его. А я сомневался. На склад залезть было ещё как-то ничего. А вот разбивать ящик я не решался. Это было уже похоже, как если бы мы были воры.

— Позорник!—обозвал меня Сашка и вместе с Генкой стал разбивать камнями доски.

Поднялся такой грохот, что я даже зажмурился. А они колотили себе как ни в чём не бывало. И вот одна доска треснула. Сашка с Генкой выломали её, пока я стоял в нерешительности.

— Чё это?—спросил Генка.

А Сашка вытащил какую-то брезентовую сумку, а из неё—настоящий противогаз. Они набрали себе каждый по три штуки. Ну и я тоже взял себе один. А когда мы стали вылезать со склада, собаки подняли лай. Собаки бегали на цепи вдоль проволоки и не могли нас покусать. Но на их лай вышел какой-то дядя в форме, но не солдат, а офицер, и стал кричать на нас. Мы побежали. Потом, оглянувшись, я увидел, что за нами бегут двое солдат в пятнистой форме. Я так испугался, что бросил свой противогаз в траву. Сашка с Генкой бежали быстрее, потому что оба были старше меня, и не бросали свои противогазы. Я слышал, как сзади грохочут тяжёлые солдатские ботинки, и свернул направо. Там между близко стоящими казармами была щель, в которую взрослый не пролезет. Я добежал до этой щели и втиснулся в неё. Я знал, что на другой стороне будет спортивная площадка с турником и лестницей. Там солдаты занимаются. А сразу за площадкой—ворота, через которые можно свободно выйти. Но прежде чем туда протискиваться, я выглянул и увидел, что оба солдата побежали за Сашкой и Генкой. Тогда я потихоньку вылез. Пробежал, пригибаясь, к забору и перелез его в знакомом месте. Я огляделся. Никого не было видно. Сердце у меня до сих пор колотилось, и я решил поскорее идти домой, закрыть дверь и никому не открывать. Мне теперь уже никакой вечеринки не хотелось. Я думал так: Сашку с Генкой поймали, они всё рассказали, и теперь за нами за всеми приедет милиция. А что будет дальше, я не думал. Я не знал, что бывает дальше в таких случаях. Мне и так страшно было.

Я осторожно подошёл к своему дому, а зайти в подъезд боялся. Я думал: вдруг меня там уже подкарауливают эти солдаты? Я ходил туда-сюда, не решаясь войти. Наконец я сбежал в магазин и купил там бутылку молока. У меня было с собой немного денег. Мне почему-то казалось, что если

я буду идти с бутылкой молока и скажу солдатам, что я ходил в магазин за молоком, что меня мама попросила купить молока, то они мне поверят и отпустят. И вот я решил идти в подъезд. Там никого не было. Но я подозревал, вдруг солдаты спрятались и сейчас выскочат из-за угла. Я осторожно поднимался по лестнице и успокоился, только когда остановился перед дверью нашей квартиры. Я стал искать ключ. Сначала в левом, потом в правом, потом в задних карманах, потом снова в левом и правом. И стал весь мокрый, хотя нигде не бежал. Ключа не было.

Я сел на ступеньки и стал думать. Где я мог его выронить? Да хоть где! Может быть даже, этот ключ лежит сейчас там, внутри склада, в который мы залезли. А может быть, в траве на газоне. А может быть... Да где угодно. Я подошёл к двери и стал её толкать, надеясь на какое-то чудо, надеясь, что она откроется просто потому, что мне очень надо, чтобы она сейчас открылась. Может же она сделать один раз в жизни исключение ради такого безвыходного случая и открыться просто так, без ключа. Она же видит, что я свой. Но дверь не делала мне исключения. Я был готов заплакать от обиды на самого себя, дурака! Ведь как-то открывают двери в фильмах про бандитов. Суют в замок проволоку и открывают. Я снова пошарил в карманах в поисках проволоки и втайне надеясь, что, может быть, сейчас, когда я как бы не ищю ключ, он возьмёт и найдётся. Но ни ключа, ни проволоки я не нашёл. Тогда я поднял с пола бутылку молока и пошёл к выходу из подъезда.

Во дворе было всё как обычно, и поэтому казалось странно, что вот так же, как всегда, сидит у подъезда кошка, а на скамейке — бабушка Тоня из второго подъезда, солнце спит глаза, отражаясь в луже, ходят голуби, а я не знаю, куда пойти и что делать. Я бы пошёл к бабушке, но бабушка уехал на рыбалку до вторника. Одна бабушка была в санатории, другая лежала в больнице, и я даже не знал, в какой именно. Я сообразил, что надо ехать к родителям на дачу. Электрички ведь ещё ходят. Точно! Но тут же меня как обожгло. Все деньги, что у меня были в кармане, я потратил на молоко. Я с досадой посмотрел на эту не нужную мне бутылку молока и подумал: может быть, продавец возьмёт её обратно. Я побежал в магазин и долго ждал, чтобы кассирша, к которой стояла большая очередь, отвлеклась и посмотрела на меня. Напрасно я терял время. — Не принимаем обратно! — сказала она быстро и больше уже не смотрела в мою сторону.

«Так», — подумал я. А что именно «так», я и не знал. Я пошёл пешком на вокзал и решил, что смогу доехать без билета, если не будет контролёров. Их ведь иногда не бывает. Я сел в электричку и сидел тихонько. И мне казалось, что все вокруг

знают, что у меня нет билета, и поэтому смотрят на меня. А некоторые не смотрят, потому что им стыдно за то, что я хочу проехать зайцем. Наконец двери закрылись, и мы поехали так медленно, как никогда ещё не ехала электричка. Медленно и плавно тянулись за окном заборы, стены, трубы заводов, изредка мелькала улица. Мы проехали одну станцию. Я всё время вертел головой и смотрел, не вошли ли в вагон контролёры. Проехали вторую. Потом третью. И поезд пошёл быстрее, потому что город кончился. Теперь за одним окном мелькал лес, а за другим тянулся, изгибаясь, берег моря. Колёса стучали бодро, и я сам немного ободрился. И тут грохнула, отодвигаясь, дверь за моей спиной, и в вагон вошли контролёры. Их было двое, мужчина и женщина, в форме. А с ними ещё и милиционер. У меня сердце упало. Я встал и пошёл к другому выходу, как будто мне просто захотелось встать и пойти зачем-то в другой вагон, как будто у меня там дело и я вот вспомнил только что. Я заметил, что одновременно со мной встал ещё один дяденька и тоже пошёл в другой вагон, а потом ещё один парень в красной футболке с белой надписью и ещё одна женщина с тяжёлой сумкой на колёсиках. Милиционер смотрел прямо на нас. Я увидел это, когда обернулся. Он просто смотрел, как мы убегаем, и по тому, как он спокойно смотрел, было понятно, что он всё равно нас поймает, даже не беспокоится об этом. Я поглядел на своих новых попутчиков-безбилетников, что они будут делать. Мы все стояли в тамбуре, потому что поезд подъезжал к станции. Уже мелькали за окнами люди и скамейки на перроне. Двери открылись, и мы вчетвером выбежали наружу. Все — мужчина, парень в красной футболке и женщина с сумкой — побежали по перрону, чтобы успеть в другой вагон. И я тоже побежал. Мы не договаривались, что нам делать, а просто вместе побежали. Я уже второй раз за сегодня убежал. И мне это совсем перестало нравиться. Тут нам навстречу из другого вагона вышел другой милиционер и стал, улыбаясь, на нас смотреть. Все остановились. Сначала парень в красной футболке, потом дяденька, а потом и женщина с сумкой на колёсиках взяли и вошли в ближнюю дверь электрички. «Зачем они? Там же милиционер и контролёры опять...» — подумал я. Наверное, они решили заплатить штраф, а у меня денег не было. И пока я думал, что мне делать, двери закрылись, и электричка медленно ушла. Я остался стоять на перроне. «Ну вот», — подумал я, опять не зная, что именно «ну вот». Я пошёл к маленькому белому домику с одним окошком, где были касса и расписание поездов. Я долго смотрел на это расписание, а потом всё-таки спросил у тётеньки в окошке:

— А когда следующая электричка до Сиреневки? — До Сиреневки сегодня не будет. Опоздал ты. Последняя только что ушла.

Теперь я вообще не знал, что делать. Лучше бы я остался дома, ну, то есть в городе, у себя во дворе. А сейчас я был далеко и от города, и от нашей дачи. Я сел на скамейку и поглядел по очереди в обе стороны пустого перрона. Открыл бутылку молока и попил. Я знал эту станцию, иногда мы ездили сюда летом купаться. И сейчас было ещё тепло, я пошёл на пляж и бродил там по песку, слушая, как он хрустит, подбирая от нечего делать камешки и бросая их в море. Это меня как-то отвлекло. Я даже забросил в море палку и теперь целился в неё камешками, представляя, что это корабль и я по нему стреляю. Два раза я попал! Сел на песок и выпил ещё немного молока. Надо экономить припасы, подумал я, как путешественник. Я стал отпивать маленькими глотками, смотрел на синие горы на той стороне залива и думал: «Сашка с Генкой уже в тюрьме. Конечно, за шесть противогаров их надолго не посадят, к тому же они ещё не взрослые. Может, их даже сразу выпустят. Всего, допустим, через год. Интересно, в тюрьме есть школы? Татьяна Андреевна говорила, что есть. Там, наверное, все ужасные двоечники. Выходит, я бы мог стать там круглым отличником. Завтра приедет бабушка, а ключа у неё нет. А родители вообще не знают, где я. И никто не знает. А потом к ним придут из милиции и скажут, что я тоже в тюрьме. Это если Сашка с Генкой меня выдадут. И родители обрадуются, что я всё-таки нашелся, хотя и в тюрьме. А я вернусь через год и буду тогда самым крутым в классе пацаном...» Так я думал, но на самом деле мне этого совсем не хотелось.

Я побрёл дальше по пустому пляжу и дошёл до лодочной станции. Она была уже закрыта. Только какой-то дяденька красил перевернутую лодку. Ветер доносил по пляжу запах краски, и я видел, как маслянисто блестит зелёным выпуклый борт лодки. Я свернул и пошёл через парк, тоже пустой, далеко видный насквозь. Там были разные карусели, и я перелез через ограждение и забрался на спину белой лошади с поднятыми копытами. Так сидел себе, болтая ногами, и сам не заметил, как допил молоко до конца. Я слышал и видел, как за деревьями парка время от времени подходили к перрону и отправлялись в город электрички. Я знал, что мне нужно пойти и сестра на электричку, чтобы вернуться в город. Но я боялся, что опять встречу с контролёрами, и поэтому всё время откладывал.

А потом я заметил трёх пацанов, которые стояли и смотрели на меня. Один был постарше меня, постриженный под машинку почти что налысо, а двое других, наверное, моего возраста. Лысый стоял впереди, а те двое чуть за ним и улыбались. И улыбки их мне не понравились. А лысый не улыбался. В городе я бы перешёл на другую сторону улицы, если бы заранее увидел таких пацанов. А здесь убегать мне было некуда.

— Ну и чё усталились? — сказал я и добавил: — Карусель не работает, — как будто это была моя карусель, а они пришли покататься.

Лысый даже слегка приоткрыл рот, услышав это, а те двое переглянулись.

— Ты откуда тут взялся? — спросил лысый.

Я слез с лошади, спустился по ступенькам с карусели и подошёл к лысому, всё это время придумывая, как мне ему ответить. Подойдя к нему вплотную, я увидел, что он больше чем на голову выше меня, и ещё — что у него коротковатые брюки и высоко видно носки в ромбик.

— Мы с пацанами противогары со склада украли. Меня милиция ищет. Вот я сюда и приехал, — сказал я.

Те двое за спиной лысого перестали улыбаться, а лысый, наоборот, улыбнулся.

— Давно ищут? — спросил он.

— С утра, — сказал я.

Лысый достал из кармана пачку сигарет и, тряхнув её в руке так, что одна сигарета высунулась из пачки, протянул мне. Я взял сигарету и сказал: — Спичек нет.

Лысый вытащил из кармана зажигалку и щёлкнул. Я прикурил, задержал дыхание и выпустил дым. Потом ещё раз. Тогда лысый тоже закурил и тем двоим — их звали Стасик и Вова — тоже дал по сигарете. Мы уселись на ступеньках, ведущих на карусель.

Я подумал: как хорошо, что я иногда воровал папиросы у моего дедушки и тайком курил их на балконе, сев на корточки, чтобы меня никто не увидел. Это была моя страшная тайна. И вот теперь это мне пригодилось. Пацаны уже не строили из себя таких грозных. Они расспрашивали меня, а я рассказывал всё по правде, как мы залезли на военный склад. Правда, я приврал, что склад этот охраняли солдаты с оружием и с собаками. Про солдат и про собак всё было почти правдой, хоть солдаты и были без оружия, а собаки на цепи. Но я чувствовал себя уверенно и видел, что мне верят. — Да, теперь тебе домой нельзя, — уважительно сказал этот лысый, которого звали Генка.

А я как раз хотел домой, но для виду согласился, чтобы не подрывать свой авторитет.

— Ничего, — решительно сказал Генка. — Перекантуешься пока у нас, а завтра в шесть утра мы тебя на поезд до Москвы посадим. У меня там брательник проводником работает, он пустит, если я попрошу. Доедешь в их служебном купе. Ну, если чего там скажут помогать им — поможешь, — и он посмотрел на меня весело и прямо, как на нового друга, которого ему очень хочется выручить.

— Здорово! — сказал я, похолодев от ужаса.

— Есть хочешь? Пойдём! — не дожидаясь моего ответа, скомандовал Генка.

Стасик и Вовка тоже поднялись со ступенек. Мы вышли из парка, перешли через железнодорожные

пути и стали подниматься вверх по асфальтированной неширокой дороге с фонарями на обочине. Потом асфальт и фонари кончились. Вовка со Стасиком начали разговор про какой-то велосипед и уже не умолкали, выясняя, кто кому и когда должен был его отдать и почему не отдал. При этом оба то и дело обращались к Генке:

— Генка! Скажи ему!

— Угу,— отвечал Генка и тому, и другому.

Потом ему, видно, надоело, и он сказал:

— Я его себе пока забрал, так надёжней.

А я шёл и думал, что мы идём куда-то что-то воровать. И я теперь уже был уверен, что на этот раз меня посадят в тюрьму, когда поймут и узнают, что я ворую по два раза в день и ещё бесплатно езжу на электричках. Но пришли мы к деревянному одноэтажному домику с кирпичной трубой. За забором на верёвке висели голубая клетчатая рубашка и большие кеды, прицепленные к верёвке прищепками за язычки. Генка открыл калитку, и мы пошли за ним гуськом по доскам, которые были проложены к дому через огород. Доски громко чвякали у нас под ногами, присасываясь к жирной грязи и снова отлипая. Я не понимал, зачем мы сюда идём. На веранде, за столом, покрытым клеёнкой, сидел толстый дядя с мутными глазами, в майке, и не мог встать. Он хотел встать, когда нас увидел, но не смог. Он только приподнялся и, покачнувшись, снова сел. Генка прошёл, не глядя в его сторону, ну и я за ним.

— О! Тимур и его команда,— сказала женщина с рыжими коротко подстриженными волосами, одетая в спортивный костюм, и засмеялась таким смехом, как будто она быстро-быстро икала.

— Здравствуйте,— сказал я и отвернулся, чтобы не смотреть на её беззубый рот.

Генка потянул меня за рукав на кухню. Кухня была маленькая, тесная, особенно когда мы вчетвером туда набились.

— Кого это ты притащил опять?— крикнула женщина.

Но Генка вместо ответа закрыл кухонную дверь. Клеёнка на столе была липкая, и вокруг летало столько мух, что мне совсем расхотелось есть. А от запаха, который стоял вокруг, даже слегка затшнило.

— Вот, бомж-пакет будешь?— спросил меня Генка.

Я сначала не понял, и он показал пачку кофейной лапши, которую заваривают кипятком. Он развёл в кипятке из чайника и разделил на четверых два пакета такой лапши. Пацаны поели с жадностью, а я вообще не смог, потому что увидел тараканов, которые ползали по стене за холодильником. Тут дядечка, что сидел на веранде, стал колотить кулаком в стену и кричать:

— Э! Пацан!

Он повторил это раз десять и всё стучал. Но ни Генка, ни Вовка со Стасиком не обратили никакого

внимания. А дяденька стучал всё сильнее, так что со стены упал на пол прошлогодний календарь. Я всё думал, когда же мы отсюда уйдём.

— Идёт!— громко прошептал наострившийся Стасик, и мы все услышали шум в комнате.

Генка вскочил, схватил из угла швабру и ловко просунул её в дверную ручку. И тут же кухонная дверь стала дёргаться так страшно, что я вскочил. Дяденька пришёл с веранды, дёргал дверь и ругался. Генка спокойно доел остаток лапши, открыл окно и сказал:

— Давай!

Мы все по очереди выбрались во двор, и я вздохнул с облегчением, потому что во дворе было свежо и не пахло так, как в доме. Мы прошли мимо кустов смородины, перелезли через забор и оказались на улице.

А я всё не понимал, зачем мы сюда пришли, почему эти люди нас впустили и зачем нужно было есть именно в этом ужасном месте. Мне просто не приходило в голову, что эти двое—мужчина и женщина—могут быть Генкины родители. И я это понял, только когда Стасик, обернувшись, сказал Генке:

— Твой батя швабру сломал.

Мы обернулись и увидели, как этот дядечка грозит нам из окна поломанной шваброй и ругается. Вернее, я и тогда никак не мог понять, что это могут быть Генкины родители и что вообще такие бывают. На месте Генки я бы сам срочно уехал от таких родителей не то что в Москву, а хоть куда.

Мне так захотелось домой, что никакие контролёры меня уже не пугали, и я сказал:

— Мне надо в город съездить, дело там есть.

Генка посмотрел на меня и говорит:

— Я с тобой вместе прокачусь за компанию, только сначала поможешь тут нам немного.

Он говорил это по-дружески, и я согласился, хотя мне совсем не хотелось. Мы подошли к магазину, и Генка скомандовал Вовке и Стасику: — Ты внутрь, а ты возле окна стой. А ты подойди к кассирше и отвлеки её, спроси что-нибудь,— это он мне сказал.

— А что спросить?

— Мятную жвачку... да что хочешь!— ответил Генка.

Мы зашли в магазин. Все, кроме Стасика, который остался стоять на улице возле окна. Генка прошёл в дальний конец магазина, Вовка стал разглядывать пакеты с печеньем и пряниками, а я подошёл к кассе и каким-то чужим голосом спросил мятную жвачку. В это время Генка открыл изнутри окно и передавал что-то наружу Стасику. — Двадцать рублей,— сказала мне кассирша и смотрела на меня, а я на неё.

— Ну, клади деньги!— сказала мне кассирша, сердясь.

Тут мимо меня прошёл Вовка, дёрнул меня за руку и сказал:

— На фига тебе жвачка? Пошли!

И я пошёл с ним. Следом за нами на улицу вышел Генка с пустыми руками, небрежно глядя по сторонам. А Стасик уже махал нам из-за кустов. — Не беги! — сказал Генка мне.

Мы пошли медленно. А Вовка нахально достал из-под футболки две пачки печенья и улыбался. — Ты с этим печеньем, — сказал Генка, — уже достал. Сколько я тебе говорил: бери чай!

Когда мы зашли за кусты, Стасик уже разложил на траве несколько банок сгущённого молока, пакет сухофруктов и две банки джема. Я думал, что пацаны сейчас же начнут всё это делить. Но Генка достал из кармана плотный пакет и сложил всю добычу в него.

— Ну, я пойду, — сказал я как бы нехотя.

На самом деле мне давно очень хотелось уйти. — Куда? — сказал Генка. — До твоей электрички ещё час. Я расписание на память знаю.

Вовка всё же забрал себе одну пачку печенья, раскрыл её и протянул мне и Стасику. Генка отказался. А мне так хотелось есть, что я взял и ел это ворованное печенье. Оно само таяло во рту быстрее, чем я его прожёвывал, и казалось, что ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Когда печенье кончилось, Вовка смял в кулаке бумажную пачку и сказал Генке:

— Унас со Стасом дело есть. Вечером встретимся.

Генка кивнул, и Вовка со Стасиком ушли.

— Сейчас отнесём это — и свободны! — сказал Генка. — Тут недалеко.

Я не стал ничего спрашивать. Всё получалось как-то само собой и неправильно. А остановиться как-то не получалось. Наверное, потому что электричка была только через час.

Мы повернули обратно и вскоре прошли мимо Генкиного дома. Я узнал его по голубой рубашке и кедам, так и висевшим на верёвке. Я немного удивился: я думал, что Генка несёт всю добычу к себе домой. Но я опять ничего не спросил. Я вёл себя, как будто всё понимаю или как будто мне всё равно.

— Отнесём это деду, — сказал Генка.

Я подумал, что это кличка какого-то хулигана, которому подчиняется Генка. Но оказалось, что это его настоящий дедушка. Только он жил не с Генкой, а в Доме инвалидов, потому что был уже старый и немощный.

— Это они его туда сдали, — сказал Генка, не поясняя, кто «они», но мне было понятно, что он говорит про своих родителей.

Мы вошли, и дежурная в белом халате, которая сидела на первом этаже, пропустила нас, потому что давно знала Генку, а я был вроде с ним. Мы поднялись на второй этаж. Там был коридор и ещё зал посредине, где стоял диван, и сидели на диване

старики в очках и все смотрели в одну точку, туда, где был телевизор. По телевизору шла реклама, но они всё равно не отрывали глаз, даже не переговаривались друг с другом. Я сначала не мог понять, почему мне тут так тяжело. А потом понял, что от запаха. Но я не мог понять, чем именно пахнет. Просто был такой тяжёлый, неприятный запах. Я раньше никогда такого не чувствовал и поэтому не знал, с чем его сравнить. Мы повернули по коридору ещё раз и остановились перед палатой. Дверь в неё была приоткрыта. Но Генка всё равно постучал, не в саму дверь, а в дверной косяк, и потом вошёл, а я стоял за его спиной.

— А где дед? — спросил он у старичка в очках, который сидел на своей кровати в синих больничных штанах и тапочках, на которых краской было написано «2 эт.».

Старичок поднял глаза, посмотрел на нас и тут же закрылся газетой. Генка обернулся, и лицо у него в первый раз за весь день было растерянное.

Он улыбнулся, но улыбка вышла кривой, и он почти побежал по коридору. А я за ним. Генка нагнал полную тётеньку в белом халате и схватил её за рукав:

— А где Пантелеев из тринадцатой палаты?

— Нету его, — ответила эта тётенька, не останавливаясь.

— А где он?

— Поговори с врачом!

— Где он?!

— Его больше здесь нет, — сказала, не останавливаясь и не оборачиваясь, эта сердитая медсестра.

Генка посмотрел огромными страшными глазами, губы у него задрожали.

— Перевели его, на третий этаж, — сказала какая-то добрая бабушка, проходившая медленно с палочкой по коридору.

Генка, схватив сумку под мышку, побежал на третий этаж. А я еле успевал за ним. Генка совсем забыл обо мне и не оглядывался. Я отстал и смотрел потом издали, из коридора, как Генка сидел возле кровати своего дедушки и плакал. А дедушка, жалея его, улыбался и гладил его по голове большой белой рукой. Высыпавшиеся из сумки банки со сгущёнкой и джемом лежали на полу. А сам Генка, обняв деда, сильно вздрагивал спиной, но я не слышал, как он плакал, а только видел этого седого растрёпанного дедушку с этой жалостливой улыбкой. Мне стало неудобно, я отвернулся и пошёл к выходу.

Мне как-то стало всё равно и ничего не страшно. Я шёл к станции, и мне было всё равно, если в электричке будут контролёры. Не важно было, что у меня нет ключа от нашей квартиры. Я не знал, который час, но на станции уже зажглись фонари. Я видел их из-за деревьев. Вагон был почти пустой. Я вошёл и сел посредине у окна. Когда за моей спиной время от времени хлопала

раздвижная дверь вагона, я даже не оборачивался, чтобы посмотреть, не контролёры ли это. Я задумался, но не мог понять, о чём именно, и так сам не заметил, как доехал до города. На перроне было уже прохладно, пахло по-городскому, и вокруг стояла ночь. Я пошёл быстро, чтобы согреться. По привычке пошёл на остановку и только перед автобусом вспомнил, что у меня нет денег. Я вошёл с первой площадки и сказал водителю, что у меня нет денег. Он махнул рукой, и я доехал до дому бесплатно.

В подъезде было теплее, чем на улице, я сел на ступеньки и подумал, что так можно просидеть до утра, а утром всё как-нибудь уже станет нормально. Мне было хорошо уже просто оттого, что мой дом совсем рядом. Я привалился плечом к перилам, и тут что-то стало колоть мне в бедро. Я сунул руку в карман и через дырку в кармане нащупал в подкладке ключ. Оказывается, он туда через дырку провалился. Я сначала даже не поверил своему счастью.

В квартире было темно, и так уютно пахло нашим домом. Слышно было, как идут настенные часы в папином кабинете. Я прошёл по всем комнатам, счастливый, включил телевизор, набрал ванну с белой пеной. А потом, после ванны, согревшись, ел, сидя в кровати, салат и пирожки, запивал апельсиновым соком и смотрел телевизор. Мне было бы вот совсем хорошо, если бы я не вспоминал про Генку и его дедушку. И я решил, что надо поехать и привезти Генке продуктов, чтобы он не воровал в магазине. А то его отправят в колонию для несовершеннолетних, и тогда они оба—и Генка, и его дедушка—останутся совсем одни, друг без друга. И неизвестно, что с ними тогда будет дальше. Твердо решив это сделать, я уснул.

Утром приехала бабушка и сидела у нас до приезда родителей, рассказывая мне, как замечательно она отдохнула, и какая у неё была замечательная соседка по палате, и какая к ней приезжала замечательная внучка, которая учится на одни пятёрки. И бабушка спрашивала меня, когда я исправлю свои оценки.

Потом приехали родители с Машей, и мама похвалила меня за то, что в доме у нас такая чистота и порядок.

— Ну вот теперь я вижу, что ты вёл себя хорошо и выполнил своё обещание никого к нам не водить из своих друзей и не устраивать тут чёрт-те что, пока мы на даче,—сказала мама.

— И ещё он обещал исправить свои оценки по математике и русскому,—добавила бабушка.

А я сидел, слушал, и почему-то всё это казалось мне немного ерундой. Но приятной. Приятно было просто сидеть дома, среди своих. Но я не забыл о своём вчерашнем решении; я думал, что можно поехать к Генке позже, например, завтра. И ещё я не знал, что я скажу, если возьму из дома

продукты для Генки. Тогда мне придётся как-то объяснить, кто этот мальчик, как я с ним познакомился, и вообще, как это я оказался за городом. И я представил себе, что начнётся после этого объяснения. И ещё я понял, что одного меня на этот раз не отпустят. А представить, что я приеду с продуктами к Генке на папиной машине или за руку с мамой, я просто не мог. Я чувствовал, что Генка почему-то не возьмёт тогда у меня ничего. И опять я не знал, как всё это объяснить своим родителям. «Но ведь я же ничего Генке не обещал, и его дедушке тоже!»—радостно подумал я. Но не успокоился, потому что я ведь пообещал себе. «Ну, значит, ты только самого себя и обманул. А раз так, то самому себе можешь и простить»,—говорил я в уме. И вот я говорю, что прощаю самому себе, а оно не прощается. То есть как бы во мне есть ещё кто-то, кто не слушается меня. Кто это? Как вообще кто-то, кроме меня, может существовать в моей голове? И кто тогда я сам, если я сам себе не хозяин? Ни на один из этих вопросов я не нашёл ответа, или, как говорит мой папа, «не подобрал ключа». Я просто перестал об этом думать, и всё само прошло постепенно. Значит, если о чём-то перестаёшь думать, оно перестаёт существовать! Раньше я об этом не знал! Это было интересное открытие. Но помогло оно ненадолго. Вечером я снова вспомнил всё. И я хотел снова перестать думать о своём обещании, которое дал сам себе. Но кто-то вместо меня нарочно о нём думал. И я не мог победить этого некто.

Только через неделю я вечером рассказал папе всю историю, всё по-честному, с самого начала и до самого конца. И рассказал про это обещание, о котором никто, кроме меня, не знал. Папа выслушал весь рассказ молча, хотя несколько раз—я видел—ему хотелось меня перебить, но он останавливал себя и, сцепив руки, кивал головой.

На другое утро папа сказал, что сам отвезёт меня в школу. Но мы поехали в другую сторону и скоро были на шоссе, ведущем за город. По дороге мы остановились в большом супермаркете и набрали два пакета всякой всячины.

— Ты сможешь их сам донести?—спросил папа.

Я кивнул. Мы не сразу нашли нужный поворот, а потом ещё долго искали, как проехать от станции к Генкиному дому. Я так устал за эту неделю от своего невыполненного обещания, что мне сейчас уже было всё равно—возьмёт Генка или нет эти пакеты. Не возьмёт—его дело. Мне было почти так же спокойно, как в тот раз, когда я шёл один к станции и не боялся контролёров. Я только боялся, что Генки не окажется дома, а где его искать, я не знал. Но нам повезло. Ещё не доехав до Генкиного забора, мы увидели Стасика. Он кидал камнями в консервную банку, которую повесил на ветку дерева. Правая штанина у него была короче другой. Приглядевшись, я увидел,

что она просто закатана. А рядом, на земле, лежал велосипед. «Это чтобы брюки не попадали под цепь велосипеда, когда катаешься», — сообразил я, вышел из машины и пошёл к нему. Он не сразу меня узнал и удивился. Смотрел на машину, но ничего не спросил.

— Генка из дому убежал. Он у бати сотовый телефон стащил. На лодочной станции сейчас шкелится, — сказал Стасик.

— Как туда проехать? Покажешь? — спросил я.

Стасик сел на свой велосипед. И мы с папой поехали за ним. Это оказалось совсем рядом. Я вспомнил эту лодочную станцию и как я на неё смотрел в тот день, как дяденька красил перевёрнутую лодку. Мы остановились, не доезжая. Стасик и я вышли с пакетами и пошли по песку. Стасик два раза ударил ногой в деревянную дверь и крикнул: — Геныч, свои!

Дверь заскрипела по песку и открылась. На пороге стоял заспанный Генка и моргал глазами. Он удивился, увидев нас, и поглядел на большие пакеты.

— Деду передашь, — сказал я, — ну и себе что надо возьми. Ты же мне тогда помог. По-корректно, — добавил я.

Генка молчал. Я боялся, что он сейчас откажется, и пока он этого не сделал, я сказал:

— Ну, пока, идти надо.

Повернулся и пошёл.

— Да! Подожди, — сказал я и вернулся бегом. — Вот, возьми, может, уладишь там как-то со своим батей.

Я достал из кармана и протянул Генке свой сотовый телефон. Он не брал.

— Бери, говорю, — крикнул на него я сердито от испуга, что он не возьмёт, и сам сунул ему в руку.

— Бери, Геныч! — поддержал меня Стасик.

— Симку свою вытащи, — сказал Генка.

— Да ладно, — ответил я, — на ней ещё рублей двести, тебе пригодится.

— Позвони мне, — сказал Генка.

— Позвоню.

Я дошёл до машины, и мы поехали назад, в город.

— Я ему свой телефон отдал, — сказал я папе сразу, чтобы это уже не откладывать, пусть сразу меня отругает, если надо.

Но папа ничего не сказал, только посмотрел на меня.

— Не жалко?

— Нет, — сказал я.

— А если я тебе новый не куплю?

Я пожал плечами.

На въезде в город была ужасная пробка, мы стояли почти час и потом еле двигались вперёд. Я понял, что в школу уже не успею, и обрадовался. Но потом мне всё равно стало скучно. Я по привычке полез в карман за телефоном, чтобы поиграть в «Angry Birds», но вспомнил, что телефона у меня больше нет. Тогда я прислонился виском к стеклу и стал смотреть, как машины проносятся по встречной полосе.

— Я не знаю... — сказал папа. — Но это твой первый взрослый поступок, сын. Ты выполнил собственное обещание. Этим можно гордиться, Славка! Ты гордишься?

— Да. Горжусь, — соврал я.

Синяя тетрадь

Творческие мастерские Елены Тимченко

Лиза Рыжкова

Литературный лицей, 9 класс

Пассажиры

Закат за окном автобуса был кукольно-розовым. В салоне было тепло, но нос ещё оставался собачьи мокрым и холодным. За моей спиной разговаривали какие-то бабушки.

— А как-то на День пожилого человека она даже подарок не взяла,— говорила одна.

Голос её звучал громко: наверное, вторая была глуховата.

— Да ну?!

— Ну да! Сказала, что ещё «не пожилая»! Понимаешь, ей восемьдесят лет!

— Мда...

— Ей хотели приятное сделать, подарок принесли. Зачем же людей обижать? Зачем отказываться?

— Вот уж точно сумасшедшая... Шарик у неё за ролики заходят. Зачем же от подарка отказываться?

В это время освободилось место рядом со мной. Я села и справа увидела этих самых бабушек. Та, что с громким голосом, была похожа на одну из тех игрушек с резиновыми головами, в которых на Новый год раньше дарили подарки,— такая же большеногая и белокуро-кудрявая. Удругой были нечёткие черты лица и берет, точно с портрета Христофора Колумба. На коленях она держала кошмарных размеров охапку последних подмёрзших осенних цветов.

Чем дольше я слушала разговор бабушек, тем настойчивее меня одолевала какая-то неопределённая улыбка.

— Чё хорохориться-то? Чё хорохориться? Ну, теперь-то уже что сделаешь?

— Да, теперь ничего... Теперь только доживать, а молодые пусть...

— А она как будто не понимает! Восемьдесят лет—уже дети, внуки взрослые! Правнуки уже вот-вот! А она: «Не пожилая!» Так совсем свихнётся и в куклы играть начнёт,—не унималась курдюная.

И ещё с четверть часа они продолжали обсуждать знакомых.

Места напротив меня освободились, и до самой конечной на них никто не садился. Я уже не слушала разговор бабушек, а бесконечно прокручивала в голове слова: «Ей восемьдесят лет... Сказала, что ещё «не пожилая»... В куклы играть начнёт... В куклы играть начнёт... Как будто не понимает... В куклы играть начнёт...»

Всё это показалось мне ужасно важным, воображение заработало. Теперь у окна напротив сидела маленькая старушка с отчаянно злыми узкими глазками, капризным детским выражением лица. У неё дрожали руки и шевелились губы. Мне стало грустно, больно и страшно. Но вот уже на её месте болтала тонкими ножками и ёрзала по сидению шестилетняя девочка в ярко-синем платье с белыми бусинами на воротнике и с длинными русыми волосами, отливающими медью под светом ярких солнечных лучей, неизвестно откуда взявшихся в сумерках заката. Я долго рассматривала её, подбирая слова, чтобы описать...

— «Ветлужанка», конечная.

Кажется, я только и успела вздрогнуть от неожиданности, но сидение уже опустело. Беспокойная пассажирка исчезла, воскресив в моей голове мучительные вопросы: как связаны маленькая девочка, её мама и папа, чай с песочным печеньем, зимние прогулки, сказки и колыбельные на ночь—с восьмидесятилетней бабушкой, её взрослыми детьми, внуками, правнуками; и почему так страшно принять подарок на День пожилого человека той, что когда-то играла в прятки и строила домики на деревьях?

Автобус остановился. На улице стемнело окончательно, и стало совсем холодно, а я ещё долго бродила по неприветливым улицам, прежде чем пойти домой...

Инга Юронен

Литературный лицей, 8 класс

Луч света в тёмном царстве

Настроения нет. Всё как-то скучно и нудно, мрачно и холодно! И у меня внутри творится то же самое. Ведь всё в этом мире взаимосвязано.

Я шла по улице и рассматривала тёмную дорогу, будто бы усыпанную сажей. Она вела меня в какую-то тьму и неизвестность, забытую всеми. По бокам этой дороги лежит снег, больше похожий на чёрный песок. Он вызывает ощущение зла и темноты; также и небо, которое всё больше и больше давит на мир тяжёлыми тучами грязи, скопившейся в течение безветренной погоды, царившей уже долгое время над нашим «чистым» городом...

И весь этот мрак проникает в меня, давит на меня и снаружи, и изнутри, пытаюсь выжать из меня все соки хорошего.

Уже умирая от безысходности всего происходящего, я замечаю свет. Нет, не тот, который я видела последние несколько дней, мрачный и тусклый; скорее, я вижу что-то яркое. Но оно очень маленькое и беззащитное. Я пытаюсь найти его, поймать и взять хотя бы капельку себе, я жажду его. Этим светом оказывается маленький пухлый мальчик. Он сидит на скамейке и забавно болтает ножками. Этот милый мальчуган светится радостью и улыбкой. Мне хочется подойти и быть с мальчиком, ведь я почувствовала тот свет, в котором нуждалась.

К моему удивлению, на скамейку к нему подсаживается старушка, которая злобно о чём-то ворчит. На её лице столько ненависти и гнева ко всему, что только она видит. Её злобный взгляд устремляется на мальчика, желая разрушить этот прекрасный свет, излучаемый им. Но его милая улыбка и горящие любопытством глаза оказываются сильнее. Лицо женщины меняется и начинает таять. На нём появляется улыбка. Радость. Бабушка берёт мальчугана за руку, и они идут вместе по улицам. Некоторые люди начинают загораться тем же светом. Они берут частичку его и несут в мир.

Теперь я могу видеть свет в окнах домов по вечерам. Свет в конце улицы или в автобусе. И с каждым разом его становится всё больше и больше. Главное—не переставать светить, ведь этот свет очень важен для всех.

Лера Абрамова

Гимназия № 10, 7 класс

Школьные рассказы

Алле-оп!

В нашем любимом 3-оз стоят отдельные высокие парты. С одной стороны, это очень удобно, так как никто не лезет, не списывает, не толкается, но с другой—это сплошные трудности. Упавший с парты карандаш превращается в испытание на равновесие, ловкость и координацию движений. Так как столешница очень узкая и постоянно

ёрзает, то чуть ли не на каждом уроке в 3-оз что-нибудь падает. Так произошло и сегодня...

Неловко повернувшись в сторону, я умудрилась локтем столкнуть на пол свою любимую и единственную синюю ручку. Задорно звякнув о ножку парты, она откатилась довольно далеко и остановилась, предварительно покатавшись влево-вправо, словно дразня меня. И так, настало время для гимнастики. Почти идеальный полушпагат, «чемоданчик» под столешницей, коснуться обуви руками, умудриться ещё что-нибудь уронить, получить по лбу чужим ботинком—и в исходную позицию. И всё это—не слезая с сидения! В конце концов, парта не выдерживает моих упражнений и...

Ласточка! Полёт! Бам! Алле-оп!

Я уже сижу на полу, прижатая перевёрнутой партой. Сижу и смеюсь. «Надо же, теперь и за ручкой далеко идти не надо!»

Шагом марш!

Привычная картина на перемене: девочки, шагающие строем и, словно рапорт, выкрикивающие имена. Каждая предыдущая девочка ждёт следующую. Обычно, когда эти четверо проходят мимо, можно услышать вот такую переключку:

— Ксюша!— вопит Аня.

— Лера!— кричит Ксюша.

— Даша!— настойчиво говорит Лера.

— Сменка!— гордо отвечает всем Даша, забывшая в раздевалке свой пакет.

— Седьмой «А»...— вздыхают учителя, проводя строй взглядом.

Красивое слово

Было недавно у седьмого класса изложение после уроков. Весь класс задумчиво скрипел ручками в кабинете 3-оз. Каждую минуту кто-нибудь из одноклассников сдавал тетрадь и уходил по своим делам. Вскоре в кабинете осталось несколько человек, включая меня.

Я сидела и переписывала своё изложение, не замечая ничего вокруг. Вдруг совершенно неожиданно мне на парту приземлился значок, красненький такой, с пиратом. Оборачиваюсь и вижу одноклассника, скачущего с задних рядов. Он извиняется и просит значок обратно. На мой шуточный вопрос: «Зачем?»— отвечает:

— Мне в твоего соседа кинуть. Я не в тебя целился.

Отдаю ему значок и отвлекаюсь от изложения: что будет дальше? Одноклассник садится на своё место и принимает позу стрелка. Я прячусь под парту.

И вот над моей головой, словно пуля, свистит значок. Но мой сосед протянул руку и отбил «снаряд», изменив траекторию его полёта. Стрелок-неудачник встаёт с места и кричит через весь класс: — Ты зачем мне тут аэродинамику нарушаешь?!

В ответ сосед резонно спрашивает:

— И что это такое?

Небольшая пауза—и тихий ответ:

— Не знаю, просто слово красивое...

Кабинет вздрогнул от дружного хохота, а я вместо изложения записала эту историю.

Перепутал

Очередная контрольная по алгебре. Сложная тема, много заданий. Класс вдумчиво работает на черновиках.

Прежде чем рассказать об этом случае, сделаю небольшое введение: сижу я за одной партой с очень крикливым, непоседливым, супер-пупер-активным мальчиком, который любит делать замечания кому ни попадя.

На этот раз один из одноклассников спросил учителя, можно ли ему подсмотреть формулу в учебнике. А мой сосед ка-а-ак заорёт:

— Нельзя пользоваться контрольной во время учебника!

Я, прикрывшись тетрадкой, тихо хихикаю.

— Лера, чего ты смеёшься?

— А ты сам понял, что сказал только что?

И он, вспомнив собственное восклицание, тоже хватается за живот!

Закон подлости

Вот только усядешься ты делать уроки, как сразу пропадает ручка, звонят подруги, приходит кошка и усаживается рядом, начинает бурчать в животе, а на кухне одиноко лежит пирожок. Очевидно, не судьба.

Катя Самусенко

Школа № 24, 9 класс

Молодой дворянин...

Сценарий для «Ералаша»

Школьная библиотека. За партой сидит Отличница и читает увесистую книгу. Вбегают Двоечник.

ДВОЕЧНИК (*кричит с порога*). Галка, спасай! Через полчаса зачёт по литре, а я ничего не читал! Срочно!

ОТЛИЧНИЦА (*закрывает книгу*). Так, успокойся. Что тебе надо?

Д. Этот... ну... (*Чешет голову*). Онегин, Печорин, потом... как его... «Горе от ума», «Война и мир» и эта, про мужика с топором... «Преступление и наказание», во!

О. (*в ужасе*). За полчаса?!

Д. Ну ты же Мозг, помоги! (*Достаёт ручку*.)

О. Хорошо. (*Откладывает книгу, начинает диктовать*.) Первым по списку—«Евгений Онегин». Молодой дворянин, уставший от суеты большого света, приезжает в деревню навеситить умирающего дядюшку, который оставляет ему наследство. В деревне он встречает юного поэта Владимира Ленского, контрастирующего...

Д. (*усердно записывает*). Кон-та-стри... Ничё не понял. И это, давай короче, у меня зачёт.

О. (*в сторону*). Хорошо, про Ленского опустим. (*Продолжает*.) В главного героя влюбляется Татьяна Ларина, но Онегин...

Д. (*пишет*)... влюбляется. Всё, хватит, давай дальше, нечего рассусоливать.

О. (*мрачнеет*). Хорошо. «Горе от ума». Молодой дворянин Чацкий приезжает к своему старому знакомому Фамусову...

Д. Стоп. Это уже было! Он оставляет ему наследство...

О. Не торопись. Это другой молодой дворянин.

Д. Других нам не надо. Дальше, про Печорина давай.

О. Молодой дворянин...

Д. Опять?!

О. Это совсем другая история!

Д. Дай угадаю. Приезжает, в него влюбляется чья-то дочь, только ему она даром не нужна.

О. В принципе, ты прав. Только про дуэль Печорина с Грушницким забыл и про девушку-контрабандистку.

Д. С этим как-нибудь разберёмся. «Войну и мир» давай.

О. «Война и мир»... Здесь всё куда сложнее. Молодой дво... то есть человек, князь Андрей Болконский, влюбляется в Наташу Ростову, та в него...

Д. (*устало выдыхает*). Слушай, у этих твоих классиков что, совсем с фантазией плохо? Ничего нового придумать не могли?

О. Почему же? Там ещё про дуб есть. Князь Андрей мысленно с ним разговаривал и считал, что он на него похож... Что с тобой?

Двоечник отрывается от записей и крутит пальцем у виска.

Д. Да так, проехали. Всё, я побежал! (*Убегает со сцены*.)

О. Подожди, а как же Раскольников?

д. (из-за сцены). Да про мужика с топором я и так знаю!

Отличница остаётся на сцене, пожимает плечами и берёт следующую книгу. Из-за кулис звучит голос Двоечника.

Так. «Образ Евгения Онегина в одноимённом романе А. С. Пушкина»... Что сказать? Онегин — молодой дворянин, который приезжает в деревню навестить умирающего дядюшку...

Отличница отвлекается от книги, прислушиваясь к словам Двоечника, одобрительно кивает головой.

Там он встречает свою соседку Наташу Ростову...

Отличница вновь отрывается от книги, на этот раз в недоумении.

...И Онегин безответно влюбляется в Наташу. Но та не может быть с ним, так как она — его конкурентка в борьбе за дядюшкино наследство... Наконец, дядюшка умирает и оставляет завещание, в котором написано, что свои богатства он спрятал в дупле старинного дуба...

Отличница закрывает книгу, в ужасе встаёт из-за парты.

...Но завещание оказывается в руках у контрабандиста Владимира Грушницкого, который сам решает найти этот дуб... Понятное дело, завязывается дуэль... Наконец, смертельно раненный Онегин хватается за топор, на корточках подползает к этому самому дубу и из последних сил рубит его: не доставайся же ты никому!

Отличница хватается за сердце.

Да! Чёрт возьми, я же всё напутал! В самом конце выясняется, что на самом деле дядюшку отравила Наташа, которая мечтала сбежать с Грушницким и стать контрабандисткой. Конец!

Отличница падает на месте и произносит:

о. Люди... учите... литературу...

Занавес.

Дети про любовь

(На вопрос «Что такое любовь?»
отвечают ученицы 4-х-5-х классов)

Маша Васильева:

Любовь — это мгновенное электрическое чувство, которое поражает за секунду. Любовь — это человеческая слабость. Любовь — это закрытые глаза. Любовь — это смерть рассудка. Любовь — это гипноз.

Эх... Завидую я Шерлоку Холмсу с его бесчувственностью.

Богдана Ковальчук:

Любовь — это такое чувство, когда ты понимаешь, что не можешь наглядеться на этого человека.

Любовь — это когда мама своего плачущего малыша прижимает головкой к себе и напевает ему колыбельную.

Любовь — это когда папа до двенадцати ночи сидит со своей дочкой, которая не может заснуть, зная, что уже через пять часов сорок пять минут ему на работу. Это маленькая, но дорогая частичка любви.

Марина Петрова:

Любовь — это когда мальчик дарит тебе самодельные подарки, а не покупает что-нибудь в магазине.

Любовь — это когда ты лежишь на диване с кошкой, гладишь ей пузико, а она тебя царапает.

Любовь — это когда ты боишься собак, но так хочешь их погладить.

Любовь — это когда ты говоришь: «Какой ты дурак!» — а думаешь при этом: «Какой ты хороший!»

Любовь — это когда улыбаешься ребёнку, а он улыбается тоже и смеётся.

Оля Григорьева:

Любовь — это когда мама готовит тебе завтрак и провожает в школу со словами: «Удачи, доченька!» — и ласково целует в щёку.

Любовь — когда делишься последним с родными.

Любовь — это не цветы и подарки, не кольца и не гаджеты. Любовь — это забота, которую ты не всегда принимаешь.

стр.
113

Айтукаев Иса Билалович
Красноярск, 1961 г. р.

Родился в Дагестане. В 1984 году, после окончания Ачинского сельскохозяйственного техникума, поступил на отделение «Журналистика» филологического факультета КГУ. Публиковался в журналах и альманахах на Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири. В 2013 году вышла в свет книга стихов и прозы «Душан». Работает начальником отдела ФГУП «Охрана» МВД РФ.

стр.
23

Алексеев Константин Александрович
Москва, 1971 г. р.

Родился в Москве. Окончил школу подготовки прапорщиков Московского военного округа и заочно — Санкт-Петербургский военный институт. Служил в армии. Работал в транспортной милиции в качестве патрульного милиционера и оперуполномоченного уголовного розыска. С 1994 года — сверхсрочник и прапорщик Российской армии. Участвовал в вооружённых конфликтах в Абхазии, Баку, Нагорном Карабахе, Чечне. Дважды ранен, имеет боевые награды. В настоящее время — офицер штаба Московского военного округа. С 1991 года по настоящее время неоднократно выступал с публицистическими очерками в военной и общероссийской печати: журналах «На боевом посту», «Братишка», «Молодая гвардия», «Кубань», газетах «Пульс Тушина», «Русский пульс», «День», «Завтра», «Советская Россия», «Патриот», «Славянское единство», «Правда Москвы», «Союз офицеров», «Зоркий часовой», «Ситуация». Автор художественных произведений «Ещё не вечер» (1991), «Шуты» (1992), «Последний шанс капитана Евстигнеева» (1995), «Человек без прошлого» (1996), «Олигарх» (1998), «Возвращение» (1999), «Палёный», «Чужая судьба» (2000), «Дом на перекрёстке» (2001), «Расплата», «Три дня тревоги» (2002), «Мираж» (2003).

стр.
120

Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске.

Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр.
36

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии им. Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 1970-х), «Полит-бюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр.
66

Брель Сергей Валентинович
Москва, 1970 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московское педагогическое училище №1 им. К. Д. Ушинского, затем — Московский открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова по специальности «учитель русского языка и литературы». Кандидат филологических наук. В 2009 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская Л. Голубкиной и О. Дормана, специальность «Драматургия игрового и неигрового кино»). Автор двух поэтических сборников: «Мир» и «Свой век». В 2007 году с С. Арутюновым

и М. Лаврентьевым основал литературную группу «Дети Ампира», выступления которой проходили в Москве. Член Союза писателей XXI века. Преподаёт русский язык, литературу, мировую художественную культуру, ведёт открытый семинар для школьников и студентов «Современная драматургия и основы сценарного мастерства».

стр.
30

Вахто Марина Юрьевна

Москва, 1962 г. р.

Поэт, журналист. Родилась в городе Онега Архангельской области. В 1984 году приехала в Городец, долгое время работала художницей на «промысловой» фабрике и журналистом районной газеты. Автор сборника стихов «Оберег» (2000), книги очерков «Связь времён — связь судеб» (2002), коллективных сборников городецких авторов «Стихотворения» (1997), «Вдохновение» (1999), стихотворных публикаций в журналах «Нижний Новгород», «Роман-журнал XXI век», «Москва», «Студенческий меридиан», «Кириллица». Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

стр.
104

Герман Игорь Викторович

Минусинск, 1964 г. р.

Окончил Кемеровский государственный институт культуры. С 1985 года работает актёром в театрах Красноярского края, с 1996 года — в Минусинске. Публикации в журналах «Истоки», «День и ночь», а также в коллективных сборниках.

стр.
68

Ерёмин Николай Николаевич

Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы: «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья». Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института» (2011) в номинации «Классическая Лирика». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр.
61

Замостьянов Арсений Александрович

Москва, 1977 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московскую городскую педагогическую гимназию, Литературный институт им. А. М. Горького, аспирантуру при Литинституте. Кандидат филологических наук. Зам. главного редактора журнала «Переправа»,

редактор журнала «Народное образование». Ведущий проекта «Настоящее прошлое» в «Литературной газете». Лауреат программы «Новые имена» Российского фонда культуры. В 1991 году стал победителем конкурса «Интеллект XXI века». Член Союза писателей России. Основные публикации: в газетах «Литературная газета», «Правда», «Литературная Россия»; в журналах «Народное образование», «Свободная мысль», «Юность», «Литературная учёба», «Вверх», «Переправа», «Воспитательная работа в школе», «Наше наследие», «Литература в школе», «Человек и закон», «Марка» и др.; в сетевых СМИ «Переправа», «Православие и мир», «Национальная безопасность», «Столетие» и др.

стр.
70

Замшев Максим Адольфович

Москва, 1972 г. р.

Поэт, литературный критик. Родился в Москве. Служил в рядах Вооружённых сил СССР. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных (1995) и Литературный институт им. А. М. Горького (2001). В 1999 году вышла первая книга стихотворений «Ностальгия по настоящему». Стихи публиковались: в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Юность», «Поэзия», «Воин России», «Немига литературная»; в газетах «Завтра», «День литературы», «Московский комсомолец», «Московский литератор», «Литературная Россия»; в альманахах «Родник», «Академия поэзии», «День поэзии» и др. Награждён медалями «Защитник Отечества», «За просветительство и благотворительность», медалью Суворова; дипломом «Золотое перо Московии» 1 степени, дипломом им. Станиславского и дипломом «За выдающийся вклад в пропаганду русской словесности». Исполнительный секретарь президиума правления Московской городской организации Союза писателей России, секретарь правления Союза писателей России, член Союза журналистов России, секретарь исполкома МСПС, главный редактор журнала «Российский колокол».

стр.
18

Козловский Алексей Дмитриевич

Хакасия, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района Красноярского края. Окончил географический факультет Красноярского пединститута. С 1970 года работает учителем в Новотроицкой средней школе Бейского района Хакасии. Автор нескольких поэтических и прозаических сборников. Член Союза писателей России, заслуженный учитель России. Публикации в краевых периодических изданиях: «Енисей», «День и ночь», «Стрежень» и др.

стр.
21

Костров Владимир Андреевич

Москва, 1935 г. р.

Родился в деревне Власиха Костромской области. Поэт, переводчик, литературный критик. Окончил

химфак МГУ (1958), Высшие литературные курсы (1969). Был членом КПСС. Работал инженером-химиком на оборонном предприятии в Загорске, в журналах «Техника — молодёжи» и «Смена», рабочим секретарём правления Московского отделения СП РСФСР (с 1980), зам. главного редактора журнала «Новый мир» (с 1986). С 1979 года ведёт семинар поэзии в Литинституте; доцент. Печатается с 1957 года. Автор книг стихов: «Первый снег», «Кострома — Россия», «Утро в Останкине», «Металл и нежность», «Я вас люблю», «Товарищества светлый час», «Солнце во дворе», «Если любишь...», «Нечаянная радость», «Открылось взору», «Свет насущный», «Роза ветров», «Стратостат», «Песня, женщина и река» и др. Публиковался в газете «Завтра», в журналах «Знамя», «Новый мир» (1988, № 11; 1991, № 7), «Россия» и в коллективных сборниках. Член СП СССР. Избирался членом правлений СП РСФСР и СП СССР, председателем Клуба независимых. Член правления СП России, редколлегии журнала «Литературная учёба», редсовета журнала «Роман-газета XXI век». Председатель Пушкинского комитета СП России, вице-президент Фонда 200-летия А. С. Пушкина. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1984), медалью «За укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат многочисленных государственных и литературных премий.

стр.
47

Кудимова Марина Владимировна
Москва, 1953 г. р.

Русский поэт, писатель, переводчик, публицист, общественный деятель. Родилась в Тамбове. Окончила филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Первые публикации появились в 1969 году в молодёжной газете «Комсомольское знамя». Первая книга стихов «Перечень причин» вышла в Москве в 1982 году; за ней последовали «Чуть что», «Область», «Арысь-поле» и др. В 1990-е годы печаталась в журналах и альманахах «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат премий им. В. Маяковского Совета министров Грузинской ССР, журналов «Новый мир», «Дети Ра», Союза журналистов России. Член Союза российских писателей. Член Русского пен-центра. Произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. С 2001 года — председатель жюри проекта «Илья-Премия». В 2010 году за интеллектуальную эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и социальным проблемам, была удостоена премии Антона Дельвига. В настоящее время работает в еженедельнике «Литературная газета». В 2011 году, после более чем двадцатилетнего перерыва, выпустила книгу стихотворений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день».

стр.
125

Мамонтов Евгений Альбертович
Красноярск, 1964 г. р.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии им. Виктора Астафьева в номинации «Проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Преподавал русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. В настоящее время живёт и работает в Красноярске.

стр.
100

Миллер Константин
Германия

Родился в Комсомольске-на-Амуре. Окончил исторический факультет Новосибирского пед-университета. Несколько лет работал в археологических экспедициях, преподавал историю в разных учебных заведениях города Новосибирска. Автор нескольких пьес, опубликованных на сайте «Проза.ру», в журнале «День и ночь».

стр.
67, 112, 124

Минин Евгений
Иерусалим, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках пво. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово \ Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложения к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (ARIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпротранство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза

литераторов и журналистов (АРИА). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 55 Молчанов Виталий Митрофанович
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской Академии нефти и газа. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и координационного совета Ассоциации писателей Урала. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции» (2010), лауреат малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV международного поэтического конкурса им. С. И. Петрова, дипломант V международного конкурса памяти Владимира Добина («Русское литературное эхо», Израиль), победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, победитель литконкурса фестиваля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо-2009» по результатам литконкурса фестиваля «Русский стиль-2009» (ФРГ). Публиковался в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», «Зинзивер» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Живой звук» (Москва), «Окна» (ФРГ), альманахах «ЛитЭра» (Москва), «Гостинный Двор» (Оренбург), «Чаша круговая» (Екатеринбург), газетах «Зарубежные задворки» (ФРГ), «Южный Урал», «На юго-восточных рубежах» (Челябинск), «Литературная гостиная» (Тверь), «Молодой дальневосточник» (Владивосток), сборнике «Обретённый голос», «Антологии русской поэзии XXI века» и др.

стр. 4 Мушинский Ахат Хаевич
Казань, 1951 г. р.

Родился в Казани. Окончил отделение журналистики КГУ. Работал в СМИ Республики Татарстан. Автор романов, повестей, рассказов, стихов. Широко известен как публицист. Издал более десяти книг, среди которых сборник повестей «Треугольники» (1984), роман «Шейх и звездочёт» (1991), книга избранных произведений «Яблони цветут в октябре» (2011). Директор Татарского пен-центра. Член Международного пен-клуба. Главный редактор журнала «Казанский альманах». Член Союзов писателей РФ и РТ. Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат многочисленных литературных премий.

стр. 27 Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. В 1995 году окончил ММУ №1 им. И. П. Павлова, долгое время работал по специальности «ортопед». В настоящее время оканчивает

Литературный институт им. А. М. Горького, обучается в мастерской Сергея Арутюнова. Работает преподавателем истории в ГБОУ СОШ №1263. Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии им. А. П. Платонова в номинации «Очерк» (2011). Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Юность», «Переправа», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» и антологии стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института им. А. М. Горького «Поклонимся Великим тем годам».

стр. 101 Осипова Надежда Михайловна
Енисейск, 1955 г. р.

Родилась в селе Шалап Целинного района Алтайского края. После окончания школы училась в родном совхозе на курсах комбайнёров, затем освоила профессию токаря в ремонтной совхозной мастерской и работала токарем. В 1980 году переехала в Енисейск. В 1998 году поступила на заочное отделение Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, который окончила с красным дипломом в 2001 году. В 2005 году в Енисейске вышел сборник рассказов «Улыбка волчицы», в 2006-м — книга «Счастье всегда за горизонтом», потом — книги «Феденька», «Житейские заметки». Печаталась в газетах «Енисейская правда» и «Красноярский рабочий», журналах «Работница» и «День и ночь». В 2006 году поступила на заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького (руководитель творческого семинара прозы — Алексей Николаевич Варламов).

стр. 3 Попов Евгений Анатольевич
Москва, 1946 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Московский геологоразведочный институт (1968). Работал геологом в Сибири, затем переселился в Москву. Публикует рассказы с 1962 года. Приобрёл известность после публикации рассказов в журнале «Новый мир» (с предисловием В. Шукшина). В 1978 году принят в СП СССР, из которого был исключён в 1979 году за участие в редколлегии неподцензурного альманаха «Метрополь»; в декабре 1980 года исключён из Литфонда СССР. В мае 1980 года вошёл в неофициальный московский «Клуб беллетристов», участвовал в неподцензурном альманахе «Каталог». Выпустил на Западе книгу рассказов «Веселие Руси» (1981). Широко печатается в российских журналах и альманахах только с 1986 года («Юность», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Нева», «Дружба народов», «Огонёк», «Октябрь», «Иностранная литература», «Весть», «Зеркала», «Вестник новой литературы», «Согласие», «Континент», «Вестник Европы» и др.). Автор многочисленных книг прозы. Многие произведения

изданы в переводах на английский, испанский, китайский, немецкий, французский, финский и другие языки. Как публицист и эссеист работает для российского и зарубежного радио. В 1994 году в Нидерландах поставлена в театре и сделана радиоверсия пьесы «Хреново темперированный клавир», в 1993 году в Германии (Баден-Баден) — радиопьеса «Счастье на века». Член исполкома (с 1989-го), вице-президент Русского пен-центра, сопредседатель СРП (с 1996-го), секретарь Союза московских писателей. Член редколлегии журналов «Соло», «День и ночь». Отмечен премиями журналов «Волга» (1989), «Стрелец» (1995), «Знамя» (1998), «Октябрь» (2002), премией Союза писателей Москвы «Венец» (2003), памятным знаком венгерского Министерства культуры «Pro cultura Hungaria» (2005), премией «Триумф» (2009) и др.

стр.
117

Пшеничный Александр Владимирович
Харьков, Украина, 1955 г. р.

Харьковчанин. Значительную часть жизни проработал экономистом в управлении облисполкома. Постоянный автор общероссийской газеты «Моя семья». Печатался в журналах «Юный натуралист», «Экология и жизнь», «Колесо жизни», «Мир животных», в газетах «Литературная Россия», «День литературы» в периодических изданиях Украины, России и Баларуси. Дипломант и лауреат нескольких литературных премий.

стр.
11

Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Писатель, журналист. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт им. А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998-го), заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза российских писателей, Международного пен-клуба (Русский пен-центр, Сибирский филиал), экспертного совета благотворительного общественного фонда им. В. П. Астафьева.

стр.
12

Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы

«Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор девяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного пен-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края.

стр.
71

Скакун Наталья Викторовна
Чехия, 1969 г. р.

Родилась в посёлке Балахта Красноярского края. Окончила школу с золотой медалью, училась на филфаке КГУ. Работала учителем в школе, корреспондентом в районной и региональной газетах. Автор книги «Дырки на карте». Лауреат премии фонда им. В. П. Астафьева (2008). Редактор русскоязычной пражской газеты «Информ-Прага».

стр.
40

Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университета христианского образования в Женеве и аспирантуры факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-Консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. Член Союза журналистов Москвы, Союза писателей Москвы, Русского пен-центра. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Президент Международного Союза писателей XXI века.

стр.
20

Тарасов Борис Николаевич
Москва, 1947 г. р.

Писатель, философ, литературовед, доктор филологических наук. Родился во Владивостоке. Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ и аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького, где с 1988 года возглавляет кафедру истории зарубежной литературы, а с 2006 по 2014 год являлся ректором. Среди произведений автора — известные книги серии ЖЗЛ «Паскаль» и «Чаадаев». Заслуженный деятель науки РФ, сопредседатель Союза писателей России.

Лауреат Международной литературной премии Ф. М. Достоевского, Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева, Всероссийской премии им. Александра Невского, Бунинской премии, Горьковской литературной премии, премии Правительства РФ, премии Правительства Москвы. Заслуженный деятель науки РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждён Золотой Пушкинской медалью и Золотой Тютчевской медалью за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной культуры.

стр.
98**Цейтлин Евсей**

Чикаго, США, 1948 г. р.

Прозаик, культуролог, литературовед, критик. Родился в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года, публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии: «Снег

в субботу» (2012), «Послевкусие сна» (2012), «Несколько минут после. Книга встреч» (2011; 2012), «Откуда и куда» (2010), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (1996; 1997; 2000; 2001; 2009; 2010; 2012), «Писатель в провинции» (1990), «Голос и эхо» (1989; 2011), «На пути к человеку» (1986), «О том, что остаётся» (1985), «Долгое эхо» (1985; 1989), «Свет не гаснет» (1984), «Жить и верить...» (1983), «Всеволод Иванов» (1983), «Так что же завтра?..» (1982), «Всегда и сегодня...» (1980), «Беседы в дороге» (1977) и др. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Член Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, Международного пен-клуба.

стр.
63**Шарга Людмила**

Одесса, Украина

Поэт, прозаик, публицист. Лауреат международных литературных конкурсов и литературных премий. Автор шести сборников поэзии и прозы. Автор многочисленных публикаций в периодических печатных и сетевых изданиях. Редактор сайта Творческой гостиной «Diligans».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков

Набережные Челны

Сергей Арутюнов

Москва

Вера Зубарева

Филадельфия, США

Юрий Беликов

Пермь

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Александр Лейфер

Омск

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Петрушкин

Кыштым

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Тарковский

Бахта

Вероника Шелленберг

Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Краснояр-
ского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Т. Н. Садырина

Декан филологического
факультета КГПУ им. Викто-
ра Петровича Астафьева.

Издание осуществляется при поддержке
Агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании
принимал участие В. П. Астафьев. Пер-
вым главным редактором с 1993 по 2007 гг.
был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации
ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано
Министерством Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина
Туйаары Шапошниковой «Поэтэсса. Куорсуннах».

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы материалов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. При перепечатке материалов ссылка
на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск,
а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:

ул. Ладос Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 15.05.2014

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.

в типографии «Литера-принт»,

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10

эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577



Туйаара Шапошникова

